В. В. Бибихин

Лес (hyle)

В. В. Бибихин

Том 94

В. В. Бибихин

ЛЕС (hyle)

(проблема материи, история понятия, живая материя в античной и современной биологии)

Санкт-Петербург
«НАУКА»
2011

УДК 1
ББК 87
Б59

Серия основана в 1992 году

Редакционная коллегия серии «Слово о сущем»

В. М. КАМНЕВ, Ю. В. ПЕРОВ (председатель), К. А. СЕРГЕЕВ,
Я. А. СЛИНИН, Ю. Н. СОЛОНИН

*Текст публикуется в авторской редакции
с сохранением орфографии и пунктуации*

Бибихин В. В. Лес. — СПб.: Наука, 2011 — 425 с. — (Сер. «Слово о сущем»).

ISBN 978-5-02-025445-9

Исследуется лес в истории планеты и человечества. Прослеживаются основания философского понятия материи в опыте неметрического пространства леса. Уточняется отношение мужского начала эйдоса к материи в биологических трактатах Аристотеля. С привлечением отечественной и зарубежной литературы разбирается проблематика образования и развития видов, двух начал (аспектов) жизни, приспособления (годности) и выживания форм жизни. Конструктивно оцениваются перспективы современной этологии.

© В. В. Бибихин, 2011
© О. Е. Лебедева, составление, 2011
© Издательство «Наука», серия «Слово о сущем» (разработка, оформление), 1992 (год основания), 2011

ISBN 978-5-02-025445-9

ПРЕДИСЛОВИЕ[1]

Опыт леса как поглощаемого, сжигаемого для получения разнообразной энергии, формируемого вещества предопределил использование соответствующего термина (*гиле*) для обозначения материи. Промежуточной ступенью его принятия было применение этого термина в античной медицине, т.е. также и биологии. Лес с его неметрическим пространством (ср. представления о клетке как тропическом лесе) через мечты о первобытном, лесном, косматом человеке, через мифопоэтику мирового дерева, через возвращение в нашей современности оторвавшихся от природы человеческих масс к эрзацам леса в табаке, вине и наркотиках принадлежит к реалиям современного человечества в гораздо большей мере чем это принято признавать. В философских концепциях *гиле*, материи, в религии и богословии (крест как мировое дерево), в поэзии (образы дерева, куста, сада) лес обнаруживает недостаточно понятую интенсивность своего присутствия. Мы окружены лесом со всех сторон, вплотную, и то, что кажется интимно нашим, наша мысль, не в лучшем положении чем наши настоящие тела. Лес всегда уже успел сомкнуться вокруг.

Оправд⟨ано⟩ периодически возобновляющееся в современной науке внимание к биологическим трактатам Аристотеля и его школы. Можно убедиться, что материя (*гиле*) не противополагается в его биологии эйдосу, которому полярно только «лишение». Женское материальное начало оказывается содержащим всю полноту будущего развития; так называемое самозарождение живого у Аристотеля необходимо связать с его вниманием к партеногенезу. Эйдосу как мужскому началу отводится роль исторического целевого смысла движения, обеспеченного в своей динамике материальным, женским и материнским началом. Тема *материи* у Аристотеля относится к самым трудным. Трудности двух родов: Аристотель не обязывает себя, если он предложил какой-то тезис, всегда помнить об этом и не предлагать другого; и второе, для са-

[1] Составлено на основании итогового научного отчета в РГНФ по исследовательскому проекту «Лес (гиле)» (сент. 1999). — Прим. составителя.

мого Аристотеля трудность та, что первая материя должна быть не «такая-то», потому что тогда будет мыслима и «другая», т.е. материй окажется две и больше; первая материя стало быть одна. Вместе с тем Аристотель определенен в отказе выносить материю за пределы вещей и отдельно от них. Как нет никакой ослиности иначе как воображаемой вне вот этого осла, так и материя всегда *вот эта.* В свете современных направлений биологического исследования возрастает интерес к общеантичному встраиванию человека в лестницу живых существ как в морфологическом и физиологическом, так и в этическом плане.

Космическое единство живого или шире, чувствующего (Циолковский, Вернадский), делает проблематичным разграничение неживой и живой материи. (Нео)дарвинизм как принцип направленной смены форм живого требует уточнения в свете фактов отрицательного отбора, нестохастического развития (номогенез). В целом Л.С. Берг по сравнению с дарвинизмом проигрывает неучтением важности собирающего, концентрирующего узлового предельного момента, критического и кризисного, в жизни. Берг оставляет роль естественному отбору, но только для сохранения *нормы.* Отклоняющееся от нормы сохраняется у него не тривиально: не так, что сохраняется status quo постоянного естественного разброса вариантов и отклонений в пределах вида, а так, что хотя в каждом поколении снова и снова появляется большой разброс, но с прочисткой, выверкой на жизненность (с дарвиновским отбором) маргиналы сходят со сцены, вид подтягивается к норме. Берг цитирует исследователя поколений мака: «всякая раса есть в гораздо большей степени продукт своих *нормальных членов,* чем этого можно было бы ожидать, исходя из относительной численности ее отдельных представителей». То же в человеческом обществе: разброс девиантов, опустившихся, спившихся в каждом поколении велик, но в каждом следующем дети снова начинают в целом внутри нормы. Если увеличивается число нездоровых детей, то в меньшей мере чем среди взрослых; типично дети нормальнее родителей, наоборот бывает реже. Надо прислушаться к тезису Берга: сам по себе естественный отбор не изменяет нормы, для ее изменения нужен он плюс другие факторы. Настоятельно необходимо прояснение понятий совершенствования, приспособления, годности, выживания. Когда в дарвинизме, или селекционизме, говорят о survival of the fittest, мы имеем здесь плеоназм, если the fittest понимается как то, что всего более способно выжить. Эту неловкость замечают. Здесь один из случаев, когда удачное выражение существует, так сказать, собственным весом.

По сути survival и the fittest не синонимы, в каком-то смысле они противоположности, и не будет абсурдно говорить: чудо жизни в том, что the fittest всё-таки survive. Дарвинизм не сводится к картинке наугад бредущих особей, из которых некие оказываются избранниками. Надо обратить внимание на то, что этот веер, разброс и ступеньки возможностей *даны*, т.е. что *не* the fittest существуют. Причем не обязательно дожидаться конца жизни особей или вида, чтобы сделать по результату вывод, кто есть кто. Уже и теперь, и в поведении, т.е. в каждом движении и в облике живого, перепад между the fittest и другими налицо.

Об успехе исследователь наивно судит как правило по собственному успеху, обычно это сытость, здоровье и плодовитость. Критерии явно могут быть другими. Живое попало в поле возможностей и выбора, где ставка не однозначна, их по крайней мере две, survival и fitness, между которыми зависимость опять же не однозначна. Только стопроцентное отсутствие fitness будет наверное исключать выживание, но наоборот, стопроцентное сохранение диким животным, например, своей дикости уже сотни тысяч лет назад в соседстве с человеком означало вымирание. Когда после радиационной смерти на планете останутся крысы, их выживание тоже будет не в полном смысле слова означать что они the fittest. Хотя до экспликации дело обычно не доходит и всё остается на интуитивном уровне, но ученые биологи удивились бы, заметив, как часто в оценке fitness они полагаются на критерий, который например у Константина Леонтьева был демонстративно направлен против позитивизма. Этот критерий «цветущей сложности» не требует, но и не исключает растянутого во времени наблюдения и прежде всего предполагает вообще не наблюдение, а симпатию, со-чувствие. С другой стороны, можно заметить, что в хозяйстве природы заранее размещены лунки fitness, удачные места, которые втягивают, подтягивают к себе живые формы. Что в нашем мире вообще удачи возможны надо сопоставить с тем наблюдением физиков, что наша часть вселенной «удачна» ввиду четкого расслоения здесь энергии и вещества. К этому *подтягиванию* форм до fitness надо сказать, что в поведении стада, включая человеческую толпу, мы не видим стохастического разброса более и менее удачных форм поведения по диапазону от 0 % до 100 %. Технически, по математической теории вероятности это могло быть так, но живое как бы с самого начала расположено к попаданию в цель. Ввиду всего этого предлагается заменить дарвиновское fitness в смысле приспособленности термином *годность*, имеющим удачную окрестность (сюда *годится* и *по-года*;

в словенском однокоренное слово значит *пора*, *спелость*, *праздник*, *годовщина*, в латышском *попадать, добывать,* в литовском *честь*, *слава*, и в нем. gut, в англ. good, в греческом ἀγαθὸν, *добро*). Годность живого не обязательно приспособленность для чего-то, это может быть его праздник, слава. Вокруг селекционизма, естественного отбора, дарвинизма много споров. При трактовке fitness как годности в них можно не вступать. Ничто не мешает считать, что разброс возможных форм жизни, включая формы поведения, действительно громадный и что годные выявляются post factum, задним числом. Важно только не упускать из виду то, что и ante factum тоже «вкус» к годности сразу или после проб и ошибок определяет или начинает определять поведение живых существ (ср. данные этологии). Он похож на такие вещи как радость, праздник и диктует поведение не содержательно, а чисто формально; ⟨похож⟩ на жест, на блеск, на красоту. Ведет антиципация, что удачный поступок в нашем мире возможен. Не обязательно возражать дарвинизму с его пробами случайностей и представлять припасенные Богом готовые содержательные формы, в которые живые существа, скажем, преформируются. Нет заранее приготовленных форм-проектов. Но в пользу втягивающего, опережающего действия годности говорит отсутствие промежуточных видов в диапазоне между удачными. Дарвин думал, что их просто пока не нашли: «Объяснение этого обстоятельства заключается, как я думаю, в крайней неполноте геологической летописи» («Происхождение видов», гл. 10, начало). Сейчас почти окончательно ясно, что этих промежуточных форм не было. Природу можно сравнить с художником, чьи работы всегда получали место на выставке. «Нигде не обнаруживается уродливых форм, какие обязательно должны были бы попадаться в том случае, если бы господствовала безграничная изменчивость» (Берг). Тем более ожидает интерпретации явление смены и оставления жизнью в ее истории на земле сотен миллионов своих форм.

Осмысление полярности жизни находит в науке отражение в противопоставлении процессов питания и размножения, протеинов и нуклеиновых кислот, симбиоза, инквилинизма, паразитизма, ценобиоза, в гипотезе двух жизней, в «тирании генов». Перспективно рассмотрение клетки как муравейника, колонии низших физиологических единиц в свете того, что вообще все организмы суть колонии и социумы, жизнь в своей фундаментальной тенденции «социогенична». Всё живое тянется к другому живому, ассимилирует его или кооперирует с ним (симбиоз, инквилинизм, паразитизм, ценобиоз). Лидирует не столько борьба за существо-

вание, сколько способность организма приладиться, найти компромисс, послужить интересам единства и других организмов в своего рода «эгоистическом альтруизме».

Мирмекология дает возможность наблюдения коллективных организмов, открывая некоторые перспективы для понимания с одной стороны взаимодействия клеток в организме, с другой сообществ живых существ, вплоть до человеческих, и показывая законосообразность многих процессов, при невнимательном наблюдении получающих поверхностное объяснение. В обществах муравьев наблюдаются возрастные группы, календарь, касты и кастовые законы, целенаправленная организация, обучение уходу за телом, общественное воспитание молодняка, сотрудничество, взаимное ухаживание, разделение труда, воспитание, этика, этикет, табу на пищу, дарение, приветствия, ритуалы ухода за телом, гигиена, табу на инцест, язык, уход за личинками, медицина, ритуалы метаморфоз, брачные путешествия, повиновение главе, воинские касты, хирургия, изготовление орудий, торговля, визиты, метеорологическая служба.

⟨В работе⟩ выявлена важность темы живого автомата в отличие от механического, генетического программирования в отличие от планирующего; прослежены отличительные черты настоящего (истинного) автомата, прежде всего прохождение через ситуацию кризиса, предельного напряжения, неопределенности, амехании (апории). На всех его уровнях наблюдается сложность, которая не исчерпана современными методиками подробного исследования, и тонкость настройки от так называемого единства генотипа до плотности запрессовки генетической программы большого организма в невидимой клетке.

Этология как наука о поведении животных, особенно в эффектно маркированном брачном поведении, открывает перспективы сближения гуманитарных наук с биологией и, реабилитируя античное встраивание человеческого существа в животный мир, позволяет с новой трезвостью рассмотреть историю и цели развития жизни на Земле.

Анализ геологического, биологического, философско-исторического знания об истории и сложившейся ситуации жизни на планете уточняет позитивные перспективы участия человеческой практики и теории в движении жизни. Они располагаются не столько в области глобального планирования, сколько в узнавании человеком и человечеством самих себя как агентов в общей ориентации живого бытия на успех.

ЛЕС (hyle)

(проблема материи, история понятия, живая материя в античной и современной биологии)

1 (2.9.1997)[1*]

Хотя тема в этом осеннем семестре другая, он прямое продолжение весеннего семестра о началах христианства. В «Началах христианства» мы сделали всё что могли, чтобы показать свое, интимное в вере. Всё равно остается висеть скверная угроза, что вера останется условным историческим понятием, конструктом как в науке богословии — а мы заняты *фундаментальной герменевтикой,* или *феноменологией* в смысле Гуссерля и Хайдеггера, или *грамматикой* в смысле Витгенштейна[2*], — и даже из-за отдаленной угрозы этой неприятной перспективы, уйти в мыслительные конструкты и лексические упражнения, не заметить того, в чем мы тонем, во что ушли *вместе* с головой, заняться перебором концепций, мы сделаем шаг назад, большой, до уверенности, что мы остались с первыми вещами и отступать больше некуда, позади Москва.

Это слово, *позади Москва*, если не звучало, то стояло не только в 1941, но и в 1812 году. Тогда Москва была захвачена, но сгорела, или была подожжена: в основном деревянная, она была сделана из самого подручного, интимно близкого материала, тем бо-

---

[1*] Курс «Лес» читался на философском факультете МГУ. Публикация подготовлена по сохранившемуся файлу. Переводы цитат с английского, немецкого, французского и латинского сделал А.В. Михайловский; с итальянского — О.А. Седакова; с французского в лекциях, посвященных Жаку Деррида, — Е. Овчаренко. Цитаты из справочных изданий, в основном из энциклопедии Britannica, оставлены без ссылок. Благодарю всех, кто помог мне готовить текст лекций к публикации: Константина Чаморовского, Анатолия Ахутина, Александра Михайловского, Егора Овчаренко, Вардана Айрапетяна, Владимира Александровича Гуркина, Ольгу Александровну Седакову, Эльфира Сагетдинова. Помеченные звездочкой примечания частично или полностью не авторские. — *О.Е. Лебедева.*

[2*] См.: *В.В. Бибихин.* Витгенштейн: смена аспекта. М.: ИФТИ св. Фомы, 2005.

лее в те годы еще почти сплошных лесов, и в горении этого леса для русского, для москвича было что-то совсем знакомое, почти родное. По Льву Толстому, деревянное селение, оставленное людьми, и не может не сгореть, это для него естественно. — Какое наше отношение к лесу. Оно продолжает быть интимное. Сегодня над Москвой стоит столб дыма от сгорания ежедневно костра из 10 000 тонн нефтепродуктов, за десятилетие будет сожжено в одном этом городе 30 миллионов тонн горючего. Происхождение главного современного горючего органическое, в основном из доисторических *плавающих лесов,* планктонических, т.е. свободно плавающих *водорослей,* которых было много в водных бассейнах от 500 миллионов лет до примерно 30 миллионов лет назад. Мы греемся, согреваем дома, освещаемся от этого нефтяного и угольного костра, от его вспышек в цилиндрах под поршнями движутся наши механизмы, которые ловят рыбу, вспахивают поле, собирают урожай, подвозят хлеб в булочную.

Человечество как в древние времена около лесного костра сейчас сидит тоже около костра, в котором каждый день, ежедневно сжигает, постоянно заботясь подливать и подбрасывать нефть и уголь (попробуйте не поддержать костер), около 5 000 000 тонн — *обязательно ежедневно*, примерно 15 000 000 000 тонн для человечества за десятилетие. Напоминанием о том, что это обязательно нужно, наглядно и убедительно служат тысячи людей, которые ежедневно умирают оттого, что оказались чуть дальше от этого костра. На них человечество, которое в большинстве успело усесться более или менее близко к костру, иногда поневоле оглядывается, но даже если и не оглядывается, остро чувствует это подметающее, подбирающее умирание всех, кто не уместился возле костра, и от этого разумно, предусмотрительно прежде всего заботится о поддержании костра и заготовке горючего.

Говорят о том, что человечество найдет другие источники *энергии.* Но нашим сегодняшним фактом остается всё-таки то, что в огромном большинстве наши нужды покрываются сжиганием как в древности *леса*, только уже не окружающего, потому что окружающий сожжен, а далекого, причем уже далекого не в пространстве, потому что дальний лес тоже вырублен, а *во времени*, в те миллионы лет, когда человечества еще не было и когда оно уже было, но лес был ему еще *близок,* не только в том смысле что он жил в лесу, но и в том что он был сам, человек, *покрыт растительностью,* т.е. был *косматым.* Лес подступал к нему так близко, что составлял саму его кожу, само его тело. Сжигать обязательно лес было не так необходимо или вовсе не обязательно, по-

тому что согревание человека обеспечивал тот лес, шкура, косматость, которая покрывала его тело, была собственно его телом. Единственное ли это отношение к лесу.

Эта интимность леса продолжается, похоже, у так называемых первобытных племен, которые живут в лесу и у которых непринятие рубки леса доходит до того, что даже когда они теряют свою общественную структуру, допустим включаются в жизнь цивилизованного общества, они никогда не становятся рубщиками леса, не работают с бензопилами, на трелевочных тракторах и подобное. Прикосновение к лесу для них как прикосновение к собственному телу, хотя косматых, покрытых шерстью людей наука уже не знает. Косматый снежный человек однако ходит в сознании и в фольклоре современного человечества где-то совсем рядом; он тоже не у костра, поодаль от костра, но *иначе* чем те несчастные, которые хотели бы быть близко к костру, только им не хватило места.

Как современный человек *почти без волос,* так современная земля имеет всё меньше лесов. Пожалуй для поддержания энергии костра, около которого сидит человечество, теперь важнее видимых лесов уже те невидимые, давности полмиллиарда лет, которые сейчас так актуально присутствуют в виде жадно отыскиваемых нефти и угля. Нет ли однако какого-то еще и другого, может быть более близкого, более задевающего присутствия леса в том способе, каким мы существуем. Есть на самом деле, и сразу несколько дверей тут сразу открываются. Пока мы заглядываем в них, выбирая, в какую пойти. Мы как в лабиринте.

О костре горящего леса. В последних, еще не опубликованных работах Андрей Валентинович Лебедев занимался среди прочего этимологией слова «лес» в древнегреческом языке, и он приходит к убеждению, что она указывает в сторону костра, горения, пожара. Как *трава* этимологически это что-то *на потраву,* на пастьбу животных, так *лес* это этимологически сжигаемое, горящее. Так о нефти: *горючее.* Этимология эта еще под вопросом, оставим ее на потом и заглянем наудачу в другой просвет.

Среди других источников энергии помимо нынешнего, уже сожженного, и древнего, который похоже уже наполовину сожжен, леса, реальное значение имеет атомная энергия. Атомная энергия может быть грубо представлена тоже как продукт сжигания, только чего? Говорить об этом трудно, потому что даже очень специальные знания мало помогут из-за нерешенных наукой проблем. Представлять атомную реакцию как горение, пожар, или взрыв, быстрый пожар, или медленное тление, мы можем, во

всяком случае так обычно принято. Только пожар *чего*? При автогенной сварке горят элементы, кислород и водород, они соединяются между собой, вступают в молекулу вещества, воды, перестают существовать сами, но в составе воды остаются неизменными. При термоядерной реакции используются тоже элементы, уран, плутоний, водород, но с самими этими элементами что-то делается, и речь заходит не об изменении вещества, а о переменах в *материи,* допустим — о превращении *материи* в энергию, т.е. не дерева, не нефти, не угля, соединений элементов, а самой *материи.* Можно ли, правильно ли сказать, что в термоядерной реакции горит сама *материя*?

Странным образом исходный смысл слова материя *лес.*

Слово *материя* латинское, его первое значение *первовещество*, у Цицерона материя мира, из которой и в которой существует всё, materia rerum ex qua et in qua sunt omnia. Этот латинский философский термин перевод греческого философского термина ὕλη, первое значение которого *лес.* Очень возможно что официальное, техничное значение материи в латинском, такое же как теперь у нас в русском, стало первым только внутри государственной культуры, а в народной культуре главным было то, которое философским языком было потом потеснено, а именно: материал, и прежде всего *горючий* материал, и прежде всего опять же *древесина,* т.е. *лес.* Рубить лес по-латински materiam caedere. В одном из романских языков первое значение этого слова, оно звучит теперь madeira, — *лес.*

В атомной энергии, в термоядерной реакции поэтому, если не пользоваться иностранными терминами или перевести их на наш язык, горит опять же *лес.*

Совершенно неожиданно наш же философский язык говорит нам, что в нашей новой перспективной энергии, термоядерной, мы сжигаем тоже — лес. Мировое вещество как лес. — Мы тогда остережемся, перед этой странностью, решать, что какое-то значение слова, «участок земли покрытый растительностью», «древесина», первично, а другое, философское значение производное и вторичное. Язык вообще возникает не по способу сложения семантических множителей. Его происхождение глубоко как сон. В слове *лес* он указывает на дерево, на горючее, на мировое вещество. Не будем тогда спешить распределять, какое значение исходное, какое производное. Не было ли философское применение *материи* наоборот не отходом от первоначального леса, а возвращением к нему. Но мы пока еще тут как в лесу, едва войдя в него, мы заблудились.

К лесу подойдем с другой стороны, или вернее он давно в нас присутствует и другой своей стороной, достаточно обратить внимание. Сравнение земли с живым существом давнее. В Европе оно всего подробнее и отчетливее развито у Леонардо да Винчи, в которого мы потом должны будем вчитаться подробнее. Леса земли в этом сравнении соответствуют растительности на теле живого существа. Он говорит об этом не раз, вот например в каком контексте: ... potrem dire, la terra avere anima vegetativa, e che la sua carne sia la terra; li sua ossi sieno li ordini delle sollevazione de'sassi, di che si compongono le montagnie; il suo sangue sono le vene delle acque; il lago del sangue, che sta di torno al core, è il mare oceano: il suo alitare è 'l crescere e 'l decrescere del sangue... e 'caldo dell'anima del mondo è il foco, ch'e infuso per la terra...[3]*.

Растительностью сейчас покрыто не всё человеческое тело — *сейчас* я говорю совершенно условно, потому что лучше остаться вовсе в стороне от гипотезы косматости раннего человека. Даже для теории эволюции эта косматость не обязательна, потому что есть живые существа без волос, например слоны. Для нас феноменологически важно вовсе не установить, был ранний человек косматый или нет, а *заметить* факт: в нашем знании, нашем сознании, мифе, вымысле (как добрый первобытный косматый человек Льюиса) очень стойко, очень близко к нам присутствует снежный человек, или обросший шерстью антропоид, или ребенок, родившийся в шерсти, «цезарь», «цезариат». Мысль, что человек может быть косматый, нас задевает. Это или страшно, как косматый леший, или счастливо, как caesariatus.

Вот что не гипотеза, а факт, это что покрыты волосами явно маркированные части тела, прежде всего голова, т.е. ум. Если человек это прежде всего ум, то космы, космос на голове маркирует как раз то, что для человека как рода всего существеннее. Космы на голове человека это как бы *микрокосмос.* Борода явно маркирована: она есть у мужчин и ее нет у женщин, значит она тоже способом, который стоит под вопросом, указывает на род. С родом, наука говорит — с наличием андрогенов, связан рост волос на груди. Волосы подмышками указывают на слабую остаточную роль запаха в жизни рода.

---

[3] Codex Hammer 34 r. *Перевод: Мы могли бы сказать, что земля обладает вегетативной [или: растительной] душой, и что ее мясо — земля; кости ее — слои каменных возвышений, из которых складываются горы; кровь ее — водные жилы; озеро крови, которое располагается вокруг сердца — море-океан: волнение его — приливы и отливы крови... и жар души мира — огонь, разлитый по земле...

Волосы на той части человеческого тела, которая совсем прямо служит продолжению рода, в фольклоре, мифологии и поэзии именуются рощей, лесом или лугом в лесу. В статье 1994 года[4] Андрей Лебедев разбирает место из трактата Ипполита (до 170 253) о наассенах, внутри его большой работы «Опровержение всех ересей»[5]. Наассены по-еврейски то же что офиты, во II веке их были разные толки, сходившиеся в том, что Иегова создал только материальный мир не больше, временный и обманчивый, и человек остался бы увязать и блуждать в нем вечно, если бы не откровение змеи, ὄφις, о которой в первой книге Пятикнижия Моисея[6*] сказано, что она впервые открыла глаза человеку на бездну духовного, через различение добра и зла, а иначе человек продолжал бы плавать в материальном. Правда, путь змея не показала, для этого пришел Христос, свет для материального мира. Опровергая, Ипполит пересказывает учения офитов о мистических нисхождениях. Они совершаются между прочим путями Афродиты и Персефоны.

Мне кажется, интуитивно — иначе до публикации новых этимологий леса у Лебедева говорить и нельзя, — что лес как пожар указывает в сторону, где важно и нужно думать. — Во второй статье, соглашаясь с атрибуцией фрагмента о священной роще Афродиты Эмпедоклу, я спорил бы с подходом Лебедева, он по-моему ведет в тупик, когда он расслаивает в мысли Эмпедокла физиологические, эмбриологические, антропогенические реалии и философско-поэтическую метафору: Лебедев думает, что научная позитивность требует смотреть трезво и считает, что говоря о лугах и рощах Афродиты, Эмпедокл describes metaphorically the female genitals[7*].

Цепкое или вернее прилипчивое будто бы объективное, научное различение телесных реалий и поэзии на самом деле не просто и не фактично, оно имело вначале само сложную научную мифологию, выделившую то, что можно *якобы* взять в руки, а поэтическое нельзя взять в руки. Иллюзия, что будто бы научное, техническое можно взять в руки, вызвана только дозволенной себе мерой слепоты. Мы не будем позволять себе эту слепоту,

---

[4] Philologus 138, 1994, 1, p. 24—31; научный журнал, который издается с 1846 года.

[5] Ref. V 8. 43, p. 164, 225 231 Marcovich = p. 97, 2 8 Wend-land.

[6*] См. Быт. 3, 1.

[7*] Перевод: метафорически описывает женские гениталии.

⟨...⟩[8*] охват земли и мира наукой и техникой на самом деле ничего не охватил, владение условно, эйфория технического успеха ничем не отличается от радости одного персонажа Льва Толстого, трехлетней девочки, которая зажгла сено в избе и приглашала посмотреть маленького брата, смотри, какую я печку вздула. К поэтическому так называемому, к «мягкой власти мысли и поэзии»[9*] всё вернется.

Луг и священная роща, лес в фольклоре, мифологии и в поэзии и философии вовсе не метафора будто бы прямых и плоских реалий. Мы *сначала* понимаем лес промышленно и эстетически, а потом не находим другого способа понять рощу Афродиты кроме как метафорически и еще может быть как эвфемизм, тактично как бы одевая в одежду красивого слова наготу, которой стыдятся. Искусство умеет показать наготу так, что она и не метафора и не физиология. Умеет ли так же назвать интимное слово. Оно умеет, и делает это словами «роща» и «луг», ἄλσος и λειμῶν, между которыми Лебедев, как и другие авторы на которых он ссылается, есть close association... in sacral contexts[10*]. Для Эмпедокла «роща» не метафора Афродиты, потому что, указывает сам же Лебедев, у него земля чрево, утроба человека; и сам же Лебедев упоминает об энтузиастической афродитолатрии Эмпедокла. Роща, или луг Афродиты отсылают не к «биологическому референтному значению», так что alsos это не metaphor for the reproductive organs in general conceived as a «holy precinct» with a walled temple-uterus inside[11*], а скорее прямо наоборот, биологический референт, насколько он вообще тут входит в поле зрения, отсылает к лесу как первичному, как материи, *матери.* Опять же сам Лебедев говорит о священном Храме Природы в доплатоновской мысли, когда ее сокровенная тайна это образование зародыша, середина тайны жиз-

---

8* В угловых скобках стоят пояснения публикатора или же многоточие в опущенных по формальным соображениям местах; квадратные скобки внутри цитат в основном тексте принадлежат автору, а в сносках — переводчикам.

9* ...Der Dichter (René Char) ... sagte mir, die Entwurzelung des Menschen, die da vor sich geht, ist das Ende, **wenn nicht noch einmal Denken und Dichten zur gewaltlosen Macht gelangen**. (Der Spiegel Interview, 1966. *M. Heidegger*, 1. Abtl. Band 16. Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges 1910—1976). Перевод: ... Поэт (Рене Шар) ... говорил мне, что происходящее сейчас разрушение человеческих корней — просто конец, **если только мышление и поэзия не придут к своей ненасильственной власти**. (Пер. *И. Д. Рожанского*)

10* Перевод: тесная связь... в сакральных контекстах [словоупотребления]

11* Перевод: метафора репродуктивных органов в целом, рассматриваемых как «священная территория», внутри которой, за оградой, находится храм-матка.

ни и тайны природы, эта тайна скрыта от взглядов толпы, но не от умного взгляда философа, идущего путем мистической инициации. Я прочитаю целиком замечательный конец этой статьи, как часто у Лебедева, открывающий гораздо более далекие перспективы, чем примитивный позитивизм, на который я указал.

For our preset purpose it is important to notice that typologically *alsos Aphrodites* represents a variation on the theme of Templum Naturae, a recurrent topos in pre-Platonic thought. Here it probably connotes ἄβατον ἱερόν: the formation of foetus conceived as a mystery of life is hidden from the sight of the *polloi*, but not from the intellectual eye of a philosophical *epoptes*. Thus the mystery initiation motif *prima facie* eliminated from the fragment together with the Gnostic interpretation is eventually restored as authentic, though in essentially different form: it has nothing to do with the mysteries of Persephone and Diesseits-Hades of the Naassenes, but relates to the philosophical initiation. Secret knowledge metaphorical complex well attested in *Peri physeos*. As a philosophical mystagogue Empedocles leads Pausanias to the innermost sanctum of Nature: the embryological treatise to follow upon the prefatory verses on the anatomy of the female genitals and reproductive organs will reveal to Pausanias the secrets of birth no mortal eye has ever seen. And the same metaphor conveys the fundamental idea of the holiness of life inherent in Empedocles' philosophy of cosmic Love[12*]. — Нам тогда тоже будет трудно в нашей новой теме леса не идти с массой polloi, так что лучше мы будем осторожнее.

Возможно первое возражение мы предвидим и на которое важно и полезно ответить вот какое: вторичен или нет научный

[12*] Перевод: Для нашей задачи важно отметить, что типологически *alsos Aphrodites* представляет собой вариацию на тему Templum Naturae [храма природы], этого распространенного топоса в доплатоновской мысли. Вероятно, здесь он ассоциируется с ἄβατον ἱερόν: образование зародыша, эта мистерия жизни, скрыто от глаз *polloi* [многих, толпы], но не от умного взгляда посвященных философов, *epoptes* [эпопты, участники мистерий]. Таким образом, мотив посвящения в таинства, поначалу исключенный из фрагмента вместе с гностической интерпретацией, в конечном счете реконструирован как аутентичный, хотя и в принципиально иной форме. Он никак не связан с таинствами Персефоны и «посюсторонним адом» наассенов, а относится к философской инициации. Метафорический комплекс тайного знания рассматривается в произведении *Peri physeos* [*О природе*]. Как философ-мистагог Эмпедокл вводит Павсания в святая святых Природы. Эмбриологический трактат, следующий за вступительными стихами об анатомии женских гениталий и репродуктивных органов, призван раскрыть перед Павсанием тайну рождения, которую не видел ни один смертный взор. И та же самая метафора выражает фундаментальную идею целостности жизни, характерную для эмпедокловой философии космической любви.

позитивизм, скорее всего конечно правда вторичен и производен, но он зато привычен, а вот для того чтобы увидеть рощу, лес как святое и как тайное, нужен искусственный, подготовленный взгляд. — Но кажется увидение леса иначе, чем хозяйственно и эстетически, не требует подготовки, хотя *заслонено* тем «привычным» и бывает редко. В лесу, говорят, можно заблудиться, или еще: заблудился в трех соснах; и еще: как в темном лесу, т.е. потеряв ориентацию. Похоже, что то объяснение этого, что в лесу плохая видимость и не видны привычные ориентиры, всё-таки уже рационализация того опыта, который в разной форме есть наверное у многих, что лес выводит из метрического пространства, т.е. присутствие деревьев, нахождение среди деревьев как это говорится внушает, или навевает, или усыпляет, лексика тут может быть разная, но она и должна быть такая из-за странности опыта, который именно не дается описанию. То, что говорит лес, — кстати, еще один способ передать этот опыт, выражение «говорящие деревья», — такое, что человек теряется, теряет ориентацию не только географическую.

Забегая вперед, упомяну еще один способ сказать об этом внушающем свойстве леса: говорят, что он действует как наркотик, слабый или сильный, это опять же зависит от особенностей опыта. Эта сила леса может и пугать, упомяну литературный пример, к которому мы еще вернемся: «Тошноту», точнее может быть головокружение как на море, которое начинается у рассказчика «La nausee» Сартра в близости дерева, коры дерева. Этот опыт дерева в этом романе, или у — беру наугад — Василия Белова, где срубание большой сосны вызывает у рубящего священное чувство, и в других случаях, о которых я могу не рассказывать, потому что сходный опыт встречи с лесом был по-своему у каждого, вовсе не искусственно вызван или подстроен, он наоборот неожиданный и удивляет, и его непривычность только от того, что он заслонен привычкой, как я сказал, хозяйственно-эстетического глядения на лес. Надо еще спросить, как, интересно, выработалась эта привычка; но мы не будем этим заниматься, потому что, похоже, самое интересное в этой привычке именно то, что она как бы неуверенная, сама готовая посторониться, уступить место удивляющему опыту леса.

Постоянная черта этого опыта интимность, даже когда он пугает, как у Сартра или в фигуре лешего: страх, который берет в лесу, не такого рода, против которого можно принять технические меры, он слишком свой. Леший оказывается как бы в нас самих, мы в нем боимся самих себя, других, измененных. Когда внуше-

ние леса желанно и его ищут, оно тоже ощущается как близкое *домашнее.*

Этот наш опыт родного леса как будто бы указывает в сторону тайн священной рощи, через которую начинается инициация в мистерии, и здесь пока для нас не обязательно решать какие ⟨толкования лучше⟩, философские или гностические, ясно во всяком случае что любое толкование будет отставать, сбиваться и именно поэтому толкования обязательно потребуются и будут *разные.* И так неуверенно я и должен говорить; *как будто бы* указательные знаки повернуты в одну сторону, но лучше остаться при этой неуверенности: ясно, что у Эмпедокла и вообще у древних лес обжит, осмыслен несравненно лучше чем у нас, и там мысль может иметь прозрения, за которыми мы не поспеем. — Всё это замечание об опыте леса пусть *пока* нам служит только для того чтобы понять, насколько искусственно — вовсе не искусственно — непривычное видение, или слышание леса.

Второе сомнение в нашей теме, уже высказанное некоторыми: почему обособлять именно лес, почему хотя бы не луг, притом что есть работы о связи леса и луга; почему не сделать темой воду, землю, небо, море. Опыт неба, воды не меньше задевает, звездное небо захватывает, да собственно всё задевает человека не меньше чем лес. Ответ первый: бесконечная земля Ксенофана, мировая вода Фалеса могли отстояться в философской мысли как первовещество, материя, но не получилось: отстоялся *лес*, второй уже вопрос, после Аристотеля или раньше, как термин для первовещества. Это получилось случайно, просто потому что лектору Аристотелю, искавшему примера того, из чего сделан, на основе чего осуществился эйдос, под руку подвернулся ближайший пример, деревянный стол. Его концепции нужен был термин, термин подтягивается к концепции, получает из нее содержание. Содержание — придание формы бесформенному или, в данном случае, поскольку лес не бесформенное, тому чья форма не интересна, ляжет в подножие нужной форме, форма *сверху* накладывает свой отпечаток на что хочет, на меон материи, из деревяшки можно выпилить что угодно. — Это привычное, якобы философское общее место, с ним нам теперь придется навсегда распрощаться, знаменитая неопределенность материи окажется принципиальной *неопределимостью.*

Загадка и задача одновременно окажется в том, что избрание леса для обозначения первовещества объясняется между прочим еще и тем, что мы связаны именно с лесом, не с водой и не с небом, не с землей, именно с лесом той уникальной интригой, что

мы вроде бы были, может быть не так геологически давно, косматые и теперь мы не косматые. С нами что-то произошло, связанное с нашей растительностью; и то, что произошло с нами, это самое, обезлесивание, уничтожение лесов, тревожит нас на земле, на планете.

Независимо от того, действительно ли человек это the naked ape[13*] Морриса, был ли он косматый и когда перестал, если перестал быть, феноменологически важно для нас то, что опыт косматости нам одновременно и недоступен и близок, мысленный эксперимент с нашей косматостью нам доступен[14], видя себя косматыми мы видим *себя* косматыми, т.е. в сущности самими собой, кроме, — кроме *сознания:* у косматого человека сознание должно было быть другое, *первобытное,* и опять же первобытное сознание не обязательно грубое и недоразвитое, бросовое, наоборот, оно в нашем ощущении интересное и задевающее нас. Так в антропологии Леви-Стросса, так в «Шуме и ярости» Фолкнера, во всех научных и художественных реконструкциях.

Нам сейчас для чистоты и надежности работы *абсолютно* не нужно вдаваться ни в то, был ли человек косматым, ни в то, что такое первобытное сознание. Нам важно присутствие в человеческом опыте (первобытных так называемых племен), в мысли, как у Жан-Жака Руссо, в художестве, в публицистике (например у Льюиса, легко видящего доброго косматого первочеловека, мудрого сверхчеловека; снежный человек недавнего американского фильма взят у Льюиса) *другого* человека, как бы его близость и допустимость для нас, который более лесной чем мы, через свою косматость, через принципиальный отказ от рубки деревьев (замечено, что даже вырождающиеся, деклассированные племенные люди никогда не будут работать скажем лесорубами или трактористами-трелевщиками), через жизнь в лесу.

[13*] Перевод: голая обезьяна

Десмонд Моррис, психолог и телеведущий, опубликовал в 1967 г. книгу *The Naked Ape*: A Zoologist's Study *of the Human Animal* (рус. пер.: Голая обезьяна. М.: Амфора, 2004).

[14] Соображение, что мы имеем только опыт теперешнего, голого и одетого, человека, и не имеем косматого и неодетого, некорректен. Опыт косматого тела нам странно близок уже хотя бы просто потому, что скажем у всех нас новорожденных граница между лбом и волосами на голове была размытая, плавная, волосяной покров отступил со лба уже после рождения. — Косматость ярко присутствует и в *остром стыде* оттого, что мы голые; и этот стыд настолько обязательная наша и общая черта, что Вл. Соловьев строил на нем, на стыде, этику.

Современный городской и технический человек не подпускает к себе близко лес, отмеряет себе его чары безвредными дозами, посмотреть на пейзаж, прогуляться по парку. Но лес именно потому что он оттеснен въедается в человечество непоправимее и злее. Так сказать, человечество не разобралось с лесом, и начинается разборка. Я не вижу ошибки в том чтобы считать табак, вино и наркотик местью леса, ⟨эту⟩ его, его соков, отравы и дыма, цепкую хватку на человеке. Современный город никак не может уйти от леса, лес тянется за ним в силе вина, табака, коки. В коке, табаке, вине древние религии, древние цивилизации никуда не ушли. В коке человеческое существо перестает искусственно огораживать себя, отдает себя своей стихии, лесу, шаманству, огню. Конечно это уже отчаянное бросание себя в пожар, но оно спровоцировано, как бы накоплено долгим искусственным отгораживанием от леса. От его *материи.*

Еще раз: от всякой реконструкции косматого человека, типа льюисовской, ради трезвости надо воздержаться. Мы имеем дело только с тем, что есть сейчас, составляет нашу феноменологию. Пугаемся мы косматого человека или тянемся к нему, вне этих оценок, *другие мы* присутствуем здесь и сейчас в тоске, или в отвращении, — мы с *другим сознанием,* которое представить, сконструировать, вычислить невозможно, но с которым странным образом очень возможны мысленные эксперименты.

Какая *вера* этого человека? «Примитивная». «Такая, какую у ребенка, у безумца и у поэта описывает Мишель Фуко». Подобных ответов, где мы говорим сразу намного больше чем трезво имеем право сказать и больше чем требуется, может быть сколько угодно. Отвечая на этот вопрос, опять лучше вести себя как хорошие феноменологи и списывать, считывать с того, что есть здесь и сейчас.

Что же получается. Допустим, человек верующий, он посещает храм и исповедует свою веру, и он может наблюдать в себе *другую* веру, я приглашаю посмотреть, увидеть, что все мы живем в двоеверии? Опять же гораздо проще. Так же, как не умея выйти из сознания, в котором мы движемся, мы очень легко чувствуем близким себе другого, лесного человека с первобытным сознанием, которое другое не содержанием, так мы чувствуем возможность веры, которая другая не содержанием. У отцов Церкви Церковь ведется от Авеля. Католический теолог Бернхард Вельте связывал всегда библейского Авеля, думал при мысли о нем о жителях пещер вулканического происхождения на Масличной горе, Ölberg под Кёльном, 10 000 лет назад. Об их поклонении

Богу мы можем знать что-то? Бернхард Вельте ощущал себя в евхаристическом общении с теми пещерными жителями. Как это возможно, если у них была другая вера? Или можно говорить о вере, которая одна у нас с пещерными людьми 10 тысяч лет назад?

Ап. Павел просит понимать жертву Авеля как непоколебимую веру (Евр 11, 4), Иоанн Златоуст в толковании к гл. 4-й кн. Бытия говорит о верном расположении сердца Авеля, в сравнении с безрассудством Каина. У Каина поникло лицо, оттого что его дар был отвергнут. «И сказал Господь Каину: почему ты раздражился? и отчего поникло лице твое? если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит». Речь уже не о жертвоприношении, а шире, о всяком поступке, который у человека может быть добрый и человек поднимает лицо, и тогда Бог ответно на него взглядывает, или движение сердца может пойти косо, и человек мутнеет, смущается, его глаза идут вниз, он сбит в одиночество, проклятие. От человека зависит хотеть себе открытого лица и бояться поникшего лица или подавить в себе этот страх, как Каин подавил в себе страх перед своей рассерженностью, завистью, *отпустил, упустил* заботу о том, что комментаторы называют «внутренним расположением».

Эта забота о том, чтобы остаться с долей, с Богом, не оказаться бездольным, не отпасть от его расположения, или если уже отпал, то тревога за отпадение или раздражение, зависть, эта взвешенность между состоянием поднятого лица и открытого взгляда и другим состоянием, опущенности, — без нее можно представить человека, или ребенка, или косматого. И ребенка, и самого простого человека, их может быть даже в первую очередь, мы знаем стоящими в постоянном выборе, в постоянной заботе о доле и убогости, между Каином, который не нужен, а Авелем, который весело поднимает глаза и встречает взгляд Бога.

Сейчас я введу слово, которого у меня почти не было, *закон* человека или человеческой природы. Закон безусловный, первый, собственно и единственный, потому что в остальном человек неопределим и свободен, для всякого человека, как бы он ни определял свою веру, в любом положении и состоянии и возрасте человека, — это забота о доле, забота в смысле хайдеггеровской Sorge, доля в смысле наделенности, а не обездоленности, богатства, а не убогости, или если убогости, то строгой нищеты лучше всякого богатства.

Прочитать, развернуть этот закон, заботы, εὐλάβεια, хорошей хватки, осторожной боязливости, богобоязненности, мы никак не можем, скорее он действует раньше всякого нашего определения,

до осознания ведет нас, подсказывает поступки. Всё что мы делаем, тó ⟨делаем⟩ повинуясь этому закону. Он действует и в привативной форме неследования ему? Нет, только кажется, что ему можно противиться: его отмены, ослабления не может произойти, но может вмешаться механизм Каина, «пусть будет хуже, тем лучше». Наша свобода не идет здесь дальше возможности присутствовать или не присутствовать там, где мы и без того уже есть. Только через этот уровень универсального закона человеческой природы можно читать религию.

Религия окажется внутри своей культуры и языка и образа жизни всегда восстановлением неписаного закона, инстинкта. Религия поэтому в своей сути тот же закон. Всякий религиозный дискурс, наоборот, будет только вторичным.

Инстинкт благочестия, ежесекундный выбор Авеля и опасность Каина это встроенный закон. Надо вернуть слову *закон* это значение. Разделение на гражданской закон и религиозный, гражданское право и каноническое необходимо для хранения неприступности исходного закона: два параллельных закона, светский и божественный, как дополнительные способы схватить то, что трудно до невозможности сформулировать. Наоборот шариат и в православии паламизм хотят быть прямыми выражениями единственного закона и больше рискуют.

В очередном мыслительном эксперименте не ощущается, чтобы в каком угодно древнем лесном и косматом состоянии человека он мог не формироваться, не создаваться законом, о котором я говорю. Он сохраняет человечество. *Закон как сковывающий ежеминутно.*

Религия, этимология этого слова говорит кажется о внимании, заботе, благочестии, раньше называлась *законом*. Мы теперь восстановим это старое слово, первым значением которого еще недавно, лет триста назад было «вера, вероисповедание».

Почему так формально, не содержательно называем: закон человека, εὐλάβεια, осторожная внимательная хватка? Потому что человек открыт, его природа свобода, и потому что то, с чем человек прежде всего имеет дело в себе и на земле, это неопределимое, лес. Лес уходит своей бездной, неразведанным и неопределимым, в табак (можете вспомнить молитвенный табак индейцев, много крепче нашего).

Закон, о котором мы говорим, надо будет еще сравнить с категорическим императивом Канта.

Повторяю, потому что для человека нет других законов; потому что он перед веществом, в котором он тонет. Материя как

власть леса, мощь его вещества, дым табака, вино Вакха, наркотик, опьянение, экстаз. Лес, материя, из которой всё, похож не на древесину для плотника, а на страсть, род, рощу Афродиты, дым и дух табака, опьянение Вакха, Диониса, отрава коки. Лес тогда и пожар, огонь страсти. Когда Аристотель называл первовещество лесом, он имел перед глазами этот лес. Мы еще посмотрим.

2 (9.9.1997)

Упоминались прошлый раз к теме закона и непрестанной молитвы «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу»[15*]. В аскетической литературе например у афонского старца иеросхимонаха Феодосия Карульского, ум. 2.10.1937, пустынножитель, на Карулии, почти отвесные скалы в южном Афоне, и его ученика и послушника Никодима, который в начале 1980-х был глубоким старцем, эта книга называется просто «Странник». Нам важно, что молитва должна быть постоянной и соединиться с дыханием и сердцебиением. Постоянная молитва считается не делом человека, а благодатью. Кровоточивой женщине никто не мог остановить кровь; блуждание мысли, ее растекание и расточение сама же мысль не может остановить: она блуждает, среди блуждания в ней мелькает желание остановиться не растекаться, но сама эта мысль часть блуждания и растекания. Остановил кровотечение Бог, благодатью. В чем участие человека: обязательно он должен *верить,* что нерасточение мысли есть. О том, что такое вера, тоже нужно будет говорить сегодня. Эта вера означает, что человек должен по-честному сам сделать всё что только в его силах для непрестанной молитвы, чтобы ее благодать могла прийти. В этом есть парадокс: я всеми силами добиваюсь того, чего, я знаю, я не могу добиться, и если я сорвусь и скажу себе, ты можешь отдохнуть, то подарок мне и не состоится.

Опять же, никакой и речи о том, чтобы говорить о ступенях духовной жизни из *опыта,* не может быть. Наоборот, если бы

[15*] Книга «Откровенные рассказы странника духовному отцу своему» написана неизвестным автором. Рассказы были переписаны на Афоне настоятелем Черемисского монастыря Казанской епархии, игуменом Паисием, и им же изданы, иждивением этого монастыря. В 1884 г. в Москве вышло уже четвертое издание. Рассказы были дважды переизданы и за границей, издательством YMCA-Press, в Париже. Возможно, В.Б. пользовался изданием YMCA-Press. Мы указываем страницы по изданию Сретенского монастыря (М., 1998).

дело шло об *опыте* аскетического делания, так называемой художественной молитве продвинутых, она τέχνη τεχνῶν, по очень старому выражению аскетики, то он как раз исключал бы рассказывание о нем, он требовал бы совсем другого сохранения. Мы остаемся на уровне феноменологии и, в витгенштейновском смысле, грамматики: задаемся вовсе не той задачей, как бы нам хорошо было иметь такую-то практику умного делания, и как ее приобрести, а о том как непрестанная, постоянная молитва не случайно задевает всех нас здесь и теперь, и как она есть в том, что мы говорим. Т.е. мы обращаем внимание на то что уже сейчас есть, строго и только это. В какой мере тут есть наша задача, ведь не на всё же надо обращать внимание, это тоже сегодняшняя тема.

То, что нам кажется мы должны, вовсе не всё обязательно мы должны. И наоборот, то, что по типичной ошибке в богословских сочинениях описывается как дело *верующего,* т.е. значит не всякого, ведь не все ходят в церковь, в какой-то мере, может быть даже в очень большой, мы должны будем выяснить в какой, именно дело *всякого,* так что не различая между тем, что общее всем, и тем, что конфессионально, богословы делают двойной вред. Они профессионализируют общечеловеческое, т.е. освобождают человека с улицы от его работы, его дела, его креста, будто это только не ваше а *наше* дело, ходящих в церковь и пишущих богословие (ведь человека можно угнетать не только тем, чтобы накладывать на него невыносимые труды, угнетает и *безработица,* а богословы устраивают именно локаут, объявляют безработными в самой как раз главной работе человека массу всех кто не ходит в церковь); это один вред. А другой вред, это наоборот «связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плеча людям» (Мф 23, 4): и вред не в том, что бремена на плечи, Христос сам иго и бремя, так можно понимать Мф 11, 29, а в том что *связка* носимого бремени сделана у фарисеев не так, или вообще что они неудобно связывают, δεσμεύουσι (δεσμός, связка и оковы): они связывают так, что вгоняют в тюрьму, церковь должна быть местом божественной свободы, а ее делают тюрьмой из-за того что неправильно связывают. Мы должны будем развязать неправильные связки.

Читаем богослова: «Перед началом молитвы ставь себя благоговейно в присутствии Бога, вплоть до сознания Его близости, и возжги в сердце живую веру в то, что Бог тебя видит и готов тебя услышать.

Проведи также перед сознанием, Кто — Бог, и кто — ты сам. Он — Творец, владыка и повелитель всего. Он Тот, в Чьей руке твоя земная и твоя вечная жизнь. Ты Его творение, хотя и создан-

ное по Его образу, но впавшее по причине грехопадения во внутренний мрак и духовное ослепление. Как слепорожденный, ты Его просишь постоянно о прозрении. Так ты стоишь во всё возрастающем страхе Божьем перед Ним, преисполненный боли самопознания». Что здесь неверно?

Всё здесь верно. Здесь нет даже никакого неверного связывания. Только *кому* это сказано. Верующему перед началом молитвы? Почему не мне здесь и сейчас? Разве самопознание не *моя* прямо сейчас задача? Я не на молитве, не в церкви, значит с меня она сейчас снята? Моя задача которую я должен был давно взять на себя с меня снята и взвалена на другого, или на меня *другого,* который не здесь а в другом месте?

В теме непрестанной молитвы есть смешение. Смешивается *внимание ума*, дело и *главная* работа *всякого* человека, собственно делающая человеком, всегдашняя и обязательная задача всех, и *очень* специальная монашеская практика, христианская и нет (тибетский монах), очень трудная и редкая, удающаяся только редчайшим, по наблюдению монаха с большим опытом молитвы, одному из тысячи.

Господа, я возможно должен быть в другом месте. Но задача вспомнить об этом лежит на мне сейчас вот этом, на всяком мне во всяком месте. Кошка выходит на мягкую грядку в саду, делает свои дела в ямку, попеременно двумя передними лапами засыпает ямку рыхлой землей, заходя с разных сторон, потом принюхивается, действительно ли уже не пахнет, еще немного выпускает когти, набрасывает больше земли, снова с разных сторон, чтобы поверхность была ровной и не образовывалась другая ямка, потом спокойно уходит улечься на солнышке. Она сделала так не потому что вспомнила, что так положено, она автомат, в настоящем смысле, в каком Филон Александрийский говорит что человек не в состоянии создать автомат, так называемые современные автоматы прямая противоположность настоящим. Кошке не грозит, поскольку она не вспоминает, и забыть. Что не вспомнил, то и не забудешь. Закон без воспоминания. Не спрашивая, что такое воспоминание и сознание, сделаем очень правдоподобное предположение, что цель закона, как и цель вообще не сознание, вспоминание, а спасение, оправдание. Кошка, когда она всё сделала по своему закону, идет спокойная, уместная, оправданная, в какой-то другой ситуации она будет воровато убегать. — Контрольный вопрос: какое это всё имеет отношение к лесу. Кошка ведь не в лесу. — Но домашние животные это как бы посещение нас лесом, лес в них вдвинут к нам или в нас, подходит к нам вплотную.

Добавим вот что тогда к нашему *закону*, он поставит перед проблемой своего отличения от благодати, на первый взгляд разницы между ними не видно, закон и благодать одно, закон в благодати, как Ольга Александровна Седакова отмечает сложное, переплетающееся отношение между законом и благодатью у киевского митрополита Илариона в середине XI века: благодать законнее закона, как Сара законная жена в отличие от Агари, благодать по Илариону и раньше закона, как Сара была уже женой Аврама до закона, и закон внушен благодатью, как именно Сара, по Павлу образ благодати, посоветовала Авраму иметь ребенка от рабыни Агари. Закон оказывается весь вобран в благодать, продиктован ею и немыслим без нее. «Прежде закон, ти по том благодеть» Иларион говорит в порядке времени, в порядке сути наоборот, благодать была раньше закона и только временила из-за времени, должна была ждать времени и раньше во времени выслала только свою «стень», закон. «Благодеть глагола к Богу: „Аще несть времене снити ми на землю и спасти мир, сниди на гору Синаи и закон положи"». То, чем отброшена тень, закон, всегда раньше высится, иначе неотчего было бы быть тени, закон рано выслан благодатью.

Эту неотделимость закона от благодати мы заимствуем у митрополита Илариона, спасибо Седаковой которая обратила на это внимание[16*]. Но если тень спасения, закон, на нас лежит всегда, если закон в своей сути благодать и он встроен в нас, почему мы его не видим и говорим что природа человека это свобода? Потому что закон слишком близко встроен и потому что он сам действует, автомат, которого мы не замечаем, потому что то, *чем* мы замечаем, вообще предназначено для других целей, применяется не по назначению.

О.А. Седакова, которую нам придется всё чаще упоминать, недавно в опросе, проведенном журналом «Lettres internationales», — этот журнал к 2000 году предполагает провести конкурс на лучшее философское сочинение, наподобие конкурса, с которого начался Руссо[17*]; пока речь идет о теме, на которую конкурсная комиссия будет принимать тезисы, и на просьбу предложить тему О.А. Седакова дала «Что мы забыли о человеке».

16* См.: *Olga Sedakova*. HILARION THE METROPOLITAN OF KIEV. — Reference Guide to the Russian Literature, ed. Niel Cornwell. London — Chicago: Dearborn Publishers, 1998.

17* Речь идет о об эссе «Рассуждение о науках и искусствах», представленном на конкурс Дижонской академии в 1750 г.

Мы что-то явно забыли. Когда Странник «Откровенных рассказов» открывает себя другого, самодвижного, т.е. авто-мат, он удивляется: «Боже мой! как таинственен человек!..» (57)[18*]. Забыть собственно не обязательно плохо. Всё всегда абсолютно помнить это сумасшествие. Как ты красив, как умен, как здоров, как правильно живешь, как много знаешь, всё это правда, но забыть это вовсе не беда. Бывает ли позорная забывчивость? Бывает. Позорно было забыть, что религия это закон, т.е. собственно именно *закон,* и забыть значение этого слова *закон*, которое еще триста лет назад имело первым значением *веру*, *религию*. Если бы сама природа человека с тех пор изменилась, но нет, она никуда не девалась, внимание к спасению и оправданию остается нашим законом, первым, ближайшим и непрестанно действующим в нас, но мы это забыли, и это позорно.

Если я забыл, куда положил ножницы, и ищу, то это неприятно, даже позорно, у меня начинается старческая амнезия, мне стыдно. Но если я забыл, что я должен деньги, то я не ищу деньги даже. Давший мне взаймы ждет, и правильно было бы мне поехать к нему, больше того, я правильный уже и еду к нему, звоню в дверь, с удовлетворением и облегчением сообщаю, что вот, я привез долг. Но я забыл что должен, и там где я правильный, стоящий на пороге кредитора и счастливо улыбающийся, меня нет, я в другом месте. При этом *никто* на свете, ни один из людей не знает, что я не на том месте где надо! Потому что мой кредитор продолжает credere, верить, что всё в порядке, и если я не приезжаю к нему, то может быть добываю, зарабатываю, забочусь вернуть долг.

Может быть, что человек не там, где должен быть, не на своем месте, даже не в том смысле что пока еще не нашел свое место, а в том смысле что и забыл искать? Нужно вспомнить номер телефона, я его забыл. Я применяю мнемоническую технику, допустим по совету Фрейда подключаю свободную ассоциацию. Какую технику применить, когда я забыл, *что* я забыл?

В аскетике есть выражение для этого: техника техник, τέχνη τεχνῶν. Как аскетика, нам правильно напоминают богословы, вовсе не то же что монашество, есть аскетика семьи, добавим, аскетика старое философское дело, так самопознание общее дело. «В начале молитвы проси у Господа Иисуса Христа истинного самопознания твоего бедственного внутреннего состояния, своей духовной скудости и своей полной неспособности из собственных

[18*] Здесь и далее указание на номера страниц в тексте в круглых скобках.

сил пребывать в добре... Путь совершенствования есть путь покаянного самопознания, сознания того, что ты слеп, глух, нем и обнажен»[19].

Это пока еще *общее*. Философия своими техниками делает то же. Мы помним предупреждения Витгенштейна: мы в неисправимой слепоте; если мы что-то видим, именно в той мере и поскольку видим, мы *не* видим; если мы проснулись, именно в той мере и поскольку проснулись, *не* проснулись; мы, по Платону, всегда половинки, символы.

«Сосредоточенность столь же необходима для истинной молитвы, как светильник для света. Упражняйся во внимании, за ним, больше, чем за всем иным, следует молитва». Нет двух сосредоточенностей, двух вниманий; если у вас церковная сосредоточенность и церковное внимание, которые развеются когда вы выйдете из церкви, значит надо просто больше внимания, когда оно перестанет рассеиваться на отграничение себя от какого-то другого внимания.

Читаем пока общее руководство, общие места к постоянной молитве. «Для того, чтобы сосредоточить ум на содержании молитвы, его следует ввести в сердце». Следующее: теплота. «На такую сосредоточенность сердце сейчас же отзовется тонким ощущением, которое явится началом внутреннего тепла». В тепле есть опасность, оно может оказаться чувственным возбуждением.

Усилие сосредоточения сначала трудно, потом оно переходит в самодействие, самодвижение молитвы, она оказывается автоматом, т.е. *противоположностью* так называемой автоматичности без нас, так что мы со стороны наблюдаем автомат, запускаем его: мы наоборот тонем в автомате.

На этом пути много опасностей, «любой порок может овладеть человеком», само описание пугает, «адский чад», «душа, покрытая множеством ран, в непереносимых страданиях опускается в глубины безнадежности». Подумаешь, надо ли было пускаться в темный лес, но это испытание для очищения, кто прошел получает награду.

Это общие места. Теперь «Странник». Страннику открывается странный человек. Мы называли софию и ее автомат *странностью*. В пейзаже странности странность возрастает внутри софии. Нет места, ничего похожего на пейзаж колонизации, когда

[19] *Игумен Валаамского монастыря Харитон*. Умное делание. О молитве Иисусовой. Сердоболь 1936, в переложении Аллы Сергеевны Селаври, «Непрестанная умная молитва», пер. с нем. в кн. «Непрестанно молитесь! О молитве Иисусовой». М., 1992, с. 37.

пространство культуры или духа или творчества расчищается за счет осваивания и обработки идеальным материального. Нет поэтому удручающего опыта гибели — допустим гибели культуры, образованности, — отчаяния. Отчаяние получается на фоне наших планов, мы хотели хорошо, а получилось не как мы хотели, получилось плохо, как всегда. Как всегда бывает явно плохо, а мы хотим хорошо, лучше чем всегда. Но спросим: почему «как всегда» плохо и нас не устраивает? Именно потому что наши планы другие, поскольку по ним не выходит. Нашу душу раздирает разница между тем что есть и тем что должно быть, мы ее совершенно ясно видим, вот она, имеем дело, работаем мы с ней.

В пейзаже Странника, странника ничего похожего на этот разрыв нет. Он не среди «мертвой материи», есть такое выражение, а в *лесу* еще до превращения его в материю. Метрическое пространство отнято, ориентиров нет, и уместно только сочетание страха, внимания и осторожности, εὐλάβεια. Ставка, цель не выполнение плана, которого нет и который не может быть в лесу исполнен, а разница между страшным, чужим заворожением леса и своим, спасительным. Лес имеет в себе запас и того и другого, в нем и опасность и спасение. В темном лесу можно только заблудиться и утонуть, но как, есть выбор: между потеряться и потеряться. Бегство из леса в «мертвую материю», конечно мнимую, такая есть только в отуплении, это не бегство из опасности в спасение, а бегство от выбора между ними в планирование. Вместо εὐλάβεια, техники техник, искусства искусств, просто техника. Вместо того чтобы иметь дело с лесом, из него выбираются, в искусственное пространство.

Начало Странника: «Я по милости Божией человек-христианин, по делам великий грешник, по званию бесприютный странник, самого низкого сословия, скитающийся с места на место. Имение мое следующее: за плечами сумка сухарей, да под пазухой Священная Библия; вот и всё. В двадцать четвертую неделю после Троицына дня пришел я в церковь к обедне помолиться; читали Апостол из послания к Солунянам, начало 273, в котором сказано: непрестанно молитеся. Сие изречение особенно вперилось в ум мой, и начал я думать, как же можно беспрестанно молиться» (11).

Комментатор к этому Первому посланию к фессалоникийцам 5, 17 спешит уточнить: непрестанная *духовная* молитва. Слава Богу, Странника не хватает на такие тонкости. Непрестанно молитесь значит непрестанно молитесь, всё.

Он ходит в основном по лесам, но вовсе не в качестве духовного, который отличен от материального, а в качестве *одного*. «*Опять* пустился я в уединенный путь мой... Иногда суток по трое не входил в селения человеческие [!] и в восторге ощущал, как будто один только я на земле» (79 сл.). Его хотят обрадовать: вот тебе попутчик. «Бог с тобой и с ним, сказал я, разве ты не знаешь, что, по своеобычному моему нраву, я никогда не хожу с товарищами, а привык странствовать всегда один?» (87 сл.). Другие постоянно и сильно присутствуют, но или как смерть, убийство, бездна, глухое запойное пьянство, страсть, ожесточение, или наоборот как милость, когда накормят, полюбят и откроют рай, чтобы плакать от умиления.

Ориентиры метрического, расчетного пространства только спутают этого лесного человека, который живет сердцем и дыханием, не умом, если понимать ум как другое чем сердце. Вся забота настолько о сердце, что заботы об уме не больше чем о хлебе: если его нет, то его нет и значит надо умирать. Если он есть, то это чудо. Когда напавшие на Странника в лесу беглые солдаты решают, да что с этим бестолковым говорить, и оглушают его до потери сознания, у пришедшего в сознание нет и тени ⟨мысли⟩ о потери памяти, о скажем «сотрясении мозга»: он так же не мое, как деньги, тело, одежда. — Тогда тело, одежда, ум начинают послушно и безотказно служить.

Дыхание у Странника как мысль, вдох и выдох как осторожное ощупывание мира. Мы вспоминаем один локус из досократовской философии: космический ум впитывается через дыхание, говорю забегая вперед. Догадываемся, почему в параллели Леонардо земли с живым существом нет ума, сознания, мозга: дыхание земли, подъем и опускание прилива и отлива, это и есть ее чуткость к космосу. К тому, как земля в этом своем дыхании впитывает в себя мир, уже ничего не прибавит сознание, как бы не сузит даже: когда осторожное, робкое ощупывание мира исполняется каждым вздохом и выдохом, вбирается мир с его разумом, софией; не один свой ограниченный ум, а все умы.

Человек растворяется, теряется в мире? Как сказать. Он впитывает мир и впитывается миром, но в той мере, в какой он смиренный именно выстаивает, выносит свою пустоту, такой нищий и впускающий, он становится настолько уникальным, что одним-единственным, выделяется (в этом солипсизме, можем мы сказать после чтения Шопенгауэра, Витгенштейна и Хайдеггера) абсолютно из всего.

Тут если хотите странная противоположность: полное принятие всего и всякого мира, как бы мир себя не повел, послушность ему, да, растворение, но это потому что есть вброшенная в мир сила, состоящая как бы из одного внимания, пристальной зоркости. В интеллектуальном багаже как в сумке только сухари, всегда, ничего больше, тоже только хлеб насущный, христианство не система знаний а тяга, влечение, мы увидим к чему. Этому нулевому уровню, чистому недоумению, как возможна *постоянная* молитва, надо же человеку «и в других делах упражняться для поддерживания своей жизни» (11), крайней беспомощности, отвечает как раз предельность того, чего он хочет, божественности *всего* себя, и сонного тоже: «Надо непрестанно молиться, всегда, на всякое время, на всяком месте, не токмо при всех занятиях, не токмо в бодрствовании, но даже и во сне. Аз сплю, а сердце мое бдит» (16). Это большой запрос, если помнить тон счастья блаженства через край, в котором сказаны эти слова в Песни Песней 5, 2. У этого нищего ожидание такой встречи, в которой исполнится всё.

Страннику это удается. Он начинает с непрестанной Иисусовой молитвы, которую сначала произносит словесно, принудительно: «...беспрестанно говорить сие: Господи Иисусе Христе, помилуй мя! — и понудься всегда произносить оное» (24). Легко подумать, что произнося так по 3000 раз в день, потом по 6000, потом по 12 000 молитв в день, понуждая себя сначала, в конце концов он приобретет привычку так делать и от привычки легкость. «Сперва чувствовал при беспрестанном изрекании молитвы усталость, или как бы одеревенение языка и какую-то связанность в челюстях, впрочем приятные, потом легкую и тонкую боль в нёбе рта, далее ощутил небольшую боль в большом пальце левой руки, которою перебирал четки, и воспламенение всей кисти, которое простиралось и до локтя и производило приятнейшее ощущение. Притом всё сие как бы возбуждало и понуждало к большему творению молитвы. И так ден пять исполнял верно по двенадцать тысяч молитв и вместе с привычкою получил приятность и охоту» (26). Но это пока было как вращение двигателя от стартёра. Суть дела началась, когда двигатель заработал сам. Это не неуместное сравнение. Лучше вспомнить что *двигатель*, *движение* двигателя от другого двигателя и *первый двигатель* это важные философские термины. Как всякое сравнение, оно только ведет пока вдруг не обрывается. Сравнение обрывается там, где открывается для механики невозможное. Невозможен вечный двигатель. Невозможен неподвижный перводвигатель. Невозможен для механики автомат.

Молитва, которая началась у Странника, называется *самодвижной*, самодеятельной. Это было большей неожиданностью, чем если бы он что-то приобрел, допустим навык, вдобавок к тому что имел. Не такое обогащение было его цель, и он ничего не приобрел, а обнаружил себя. Оказалось, что этим самодвижным, т.е. автоматом, он и был всегда.

Еще раз. *Есть* вся разница, *весь* интерес (inter-esse) между тем, что вошло в приятную привычку, механизмом, устоялось как благочестивая практика после первоначального принуждения от навыка, и тем, что получил странник. Его руководитель: «Слава Богу, что открылась в тебе охота и легкость молитвы. Это дело естественное, приходящее от частого упражнения и подвига, подобно как машина, у которой дадут толчок или форс главному колесу, после долго сама собою действует... Какие могут являться ощущения и вне благодати и не в очищенной чувственности и в греховной душе» (27). Всё это механика. Совсем другое, когда «благоволит Господь открыть дар самодействующей духовной молитвы» (там же).

Получение этого дара, самодействующей, или самодвижной молитвы, сопровождали хорошие признаки. «Если случалось с кем встретиться, то все без изъятия представлялись мне так любезны, как бы родные... Уединенный шалаш мой представлялся мне великолепным чертогом» (28). «Все люди стали до меня добрее... как будто все меня стали любить» (29). Пока только знаки. Словно Странник втягивался помимо почти своей воли в какую-то воронку, водоворот и ему самому было чудно. «Сделался я какой-то полоумный, нет у меня ни о чем заботы, ничто меня не занимает, ни на что бы суетливое не глядел, и был бы всё один в уединении; только по привычке одного и хочется, чтобы беспрестанно творить молитву и когда ею занимаюсь, то мне бывает очень весело. *Бог знает, что такое со мною делается*[20*]» (30). *Риск, головокружение оттого, что человек подхвачен силами неизмеримо сильнее его. Счастливое безумие*, но ведь он даже еще и не на пороге, только на дальних подступах. «Конечно, всё это чувственное или, как говорил покойный старец, естественно и искусственно от навыка».

Это счастье от конца блуждания, кровоточивости и расслабленности, планирования человеческого существа, свободного парения, которое иногда даже и принимают за всю данную ему свободу: человек взят под иго, охвачен ежеминутным вниманием к спасению

[20*] Курсив В. Б.

или погибели, и это уже перемена, которую он предпочтет любой доле. Но отсюда еще так невообразимо далеко от того, что будет.

«Слишком два летних месяца я так блаженствовал. Путешествовал более лесами да проселочными дорогами» (33). Но в лесу нечего есть. — Он и голодал. Но в темном лесу могут ограбить. Его и ограбили. «Очснувшись, увидел, что я лежу у леса близ дороги весь раздерганный и сумки моей нет; одни только перерезанные веревки, на коих она была несена» (34). Но он благодарит Бога: так нужно для отрезвления, чтобы еще вернее ничего ничего у человека совсем не осталось. И спросишь: чтобы он взамен приобрел что-то одно драгоценное? Так мы привыкли думать, но похоже что неверно. Правда похоже в том, чтобы уступить, как бы упустить вообще всё. Но хоть что-то держать в руках, чтобы иметь для поддержания жизни? Нет, ничего, и если жизнь продлится, то милостью и собственно чудом.

Опыт Странника нужен чтобы показать: человек *может* так ни за что не цепляться. И похоже что только такому человеку может быть дано безусловное оправдание, которое Странник в своем состоянии получил опять же не частно, он полоумный уже и не умел себя определить и отграничить, а как бы один для всех людей и за них. Может быть, это было еще не полное оправдание, но явно оправдание. «Когда при сем я начинал молиться сердцем, всё окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде: древа [он в лесу, его первое окружение деревья], травы, птицы, земля, воздух, свет, всё как будто говорило мне, что существуют для человека, свидетельствуют любовь Божию к человеку и всё молится, всё воспевает славу Богу [деревья заговорили]. И я понял из сего, что называется в Добротолюбии „ведением словес твари" и увидел способ, по коему можно разговаривать с творениями Божиими» (44 сл.).

Лес становится вокруг всё плотнее. «Зашел в такое глухое место, что дня три не попадалось ни одной деревни. Сухари мои все вышли, и я гораздо приуныл, как бы не умереть с голоду. Как скоро начал молиться сердцем, уныние прошло, весь я возложился на волю Божию, и сделался весел и покоен» (45). В самой глубине леса он и остался жить у полесовщика, который стерег лес, десять лет жил на хлебе и воде и кроме того носил вериги в два пуда, 32 кг, на *голом* теле, т.е. делал больше чем Странник. «Поматерну не бранюсь, вина и пива не пью, и не дерусь ни с кем, баб и девок от роду не знаю» (48).

Но это не путь. «Если не будешь иметь всегда Бога в уме, да непрестанной Иисусовой молитвы в сердце» (50), всё зря. Только это, приникнуть к Христу в родной сладости, теплоте, мире.

Здесь в самой глубине леса Странник наконец доверился себе и стал искать «непрестанной самодействующей молитвы в сердце» (51). Он ее получил, опять при хороших знаках, радость, легкость, свобода и утешение, слезы благодарения (55).

Одно замечание о технических приемах: по сравнению с простотой и естественностью той «самодвижности», к которой придет странник, его приемы, 12-тысячекратное произнесение фразы из пяти слов, особенный способ сидеть во время молитвы, собирание внимания на сердце — мало того что явно не «само-движные», наоборот, как и сказано, заведомо «понудительные» обращения, причем специально с телом и чувством, а то, чего он ищет, не специальное и ограниченное. Переход от механической молитвы к самодвижной отмечен в Страннике кричащим и намеренным парадоксом. Этому перепаду, или парадоксу, можно уже прямо в тексте Странника найти уже совсем кричащее соответствие, причем и не одно. Вот он учит слепого человека, который уже и занят постоянной молитвой, но еще не умеет «*найти умом сердце*» (118) (или у Феодосия Карульского будет «место сердечное»[21]): «*Ведь можешь умом вообразить и представить* [запомните: именно вообразить и представить] себе то, что ты прежде видал, то есть человека, или какую-нибудь вещь, или свой какой-нибудь член... *Так же вообрази свое сердце, наведи свои глаза, как бы смотрел на него сквозь грудь, и как можно живее представь его, а ушами то внимательно слушай, как оно бьется и ударяет раз за разом*... С первым ударом скажи или подумай Господи, со вторым Иисусе... Втягивая в себя воздух, скажи, вообрази [!]: Господи Иисусе Христе, а испуская из себя: помилуй мя!» Это с. 118, а с. 119 продолжение *того же* абзаца: «Но при сем всемерно остерегайся от представлений в уме, и являющихся каких-либо видов. Не принимай вовсе никаких воображений; ибо св. отцы крепко заповедуют при внутренней молитве сохранять безвидие, дабы не попасть в прелесть».

Что, писавший «Странника» не заметил этого лексического абсурда «вообрази, представь — остерегайся представлений, воображений»? Интересно, что если бы и заметил, то всё равно написал бы так, как если не заметил. Оттого что парадокс дается почти тупо в лоб, задачка, между прочим важная или даже решающая, какую он задал, становится только отчетливее или красивее. Кто-то уже решил?

---

[21] «Непрестанно молитесь...», с. 130*.

* И в «Откровенных рассказах...» есть «сердечное место», на с. 54.

Добавлю для легкости решения два случая «воображения». Пока идут эти разговоры, Странник и слепой ведь движутся по сибирским *лесам,* «шли мы лесом» (120). «Вдруг он сказал мне: как жалко! Горит уже церковь, вот упала и колокольня. Я сказал ему: перестань воображать пустое, это тебе искушение, надо все мечты скорее отвергать». Да, тот же святоотеческий запрет, не так ли? призыв к трезвости, против мечтаний? Слепой смиренно послушался, замолчал, продолжал молитву. Пройдя 12 верст, вошли в город и увидели несколько свежесгоревших домов и упавшую колокольню, слепой увидел ее падение как раз во время падения.

Строжайший запрет на представление и воображение служит для того, чтобы *высвободить другое представление и воображение,* восстановить видение *вещее.* Тогда и понудительные приемы служат для освобождения? Высвобождается не меньше как вещий, умный человек из-под грязи и запекшейся корки гнилого.

«Душа человеческая... может видеть и во тьме, и весьма отдаленное, как вблизи происходящее. Только мы не даем силу и ходу сей способности душевной, и подавляем ее или узами одебелевшего нашего тела, или запутанностью наших мыслей и рассеянных помыслов» (121). *Или* здесь с запятой, т.е. узы тела это и есть запутанность наших мыслей, вспомним об узах из Мф. Тело становится дебелым не когда ему дана свобода, само тело умное, а когда неверными связями оно приковано к рассеянным помыслам. Всё дело Странника в собирании себя в ежеминутном, ежесекундном сбережении, этим тело возвращается телу, ум уму. Это важное место маркировано в тексте между прочим, опять нечаянно и незаметно, тем, что язык становится хорошей русской философской классикой; без настоящей работы мысли такого не бывает, слово иначе не дается: «Когда мы сосредоточиваемся в самих себе, отвлекаемся от всего окрестного и утончаемся в уме, тогда душа входит в свое назначение и действует в высшей степени» (там же).

В курсе «Узнай себя», потом в «Витгенштейне»[22*] и еще, только кратко, в других местах мы касались, вернее нас задевала своим крылом тема двойника, для меня такая центральная, что я до сих пор так и не решаюсь развернуть ее на людях. Но вот и здесь, в продолжении абзаца, из которого взята последняя цитата о вхождении души в свое назначение, сейчас эта тема тоже как будто кратко обжигает, и проносится мимо. Продолжается речь о вырвавшейся из тюрьмы душе, «и не молитвенные люди, а или способные к тому, или болезненные, в самой темной комнате видят

[22*] См. книги *В.В. Бибихина*: Узнай себя (СПб.: Наука, 1998); Витгенштейн: смена аспекта.

свет, как он исходит из всех вещей [это то же, что раньше о логосах вещей], различают предметы [!] [невидимые, значит уже в излучении их сути], *ощущают своего двойника*[23*] [!] и проникают в мысли другого» (там же).

Вышедшая из тюрьмы душа в надежном, постоянном празднике. «Я не полагал, есть ли кто счастливее меня на земле, и недоумевал, какое может быть большее и лучшее наслаждение в царствии небесном... Всё влекло к любви и благодарению Бога... Иногда чувствовал такую легкость, как бы не имел тела, и не шел, а как бы отрадно плыл по воздуху; иногда входил весь сам в себя и ясно видел все мои внутренности, удивляясь премудрому составу человеческого тела; иногда чувствовал такую радость, как будто сделан я царем и при всех таковых утешениях желал, когда бы Бог дал поскорее умереть и изливаться в благодарности у подножия Его в мире духов» (122 сл.). На это место обратила бы внимание и О.А. Седакова, которую отталкивает Странник, она слышит в нем «запах смерти» и обеспокоена тем, как он становится чем-то вроде священного писания.

О сути совершившейся со Странником перемены трудно говорить, потому что она опять связана с темой двойника, мало разработанной. «...*Ощущают своего двойника* и проникают в мысли другого...» «Сердечная, самодействующая молитва ничему не мешала и ни от чего не умалялась. Если что работаю, а молитва сама собою в сердце и дело идет скорее: если что внимательно слушаю, или читаю, а молитва всё не перестает, и я в одно и то же время чувствую и то, и другое [два!], *точно как будто я раздвоился, или в одном теле моем две души*[24*]. Боже мой! Как таинственен человек!..» (57) Это открытие двух стало возможно именно из-за их прихода в согласие. А так бы они и не увидели друг друга и не удивились своей разнице. Ведь двойник так же далек и странен, читаем продолжение того же абзаца, не менее далек и странен, чем волк в лесу. Волк в глубине леса набрасывается и убегает, потому что его *коснулась* происшедшая в человеке перемена, он ощутил ее силу. Двойник так же неприступен как волк в лесу.

Прикоснуться к двойнику можно «понудительно», как заставить себя говорить 12 тысяч молитв в день? Опять отчетливый и всё освещающий ответ. Двойник, мой, *не будет* понуждать себя ни к этому ни к чему другому, не больше чем волк в лесу. Постоянная молитва *совсем другое* чем упражнение.

23* Курсив В. Б.

24* То же.

3 (23.9.1997)

Если постоянная молитва это раскапывание того, докапывание до того что уже есть во всех («Ей нечего учиться, она уже есть во всех и во всём», Странник, с. 61) сращенная с дыханием, сердцебиением, едой, движением, то открывается простое понимание веры: это доверие к тому, что уже есть. Закон нашего существа религия в смысле внимания (re-ligio, внимание). Мы сначала относимся (принадлежим и имеем отношение) к Богу. Это значит, что нам не надо смотреть дальше чем в нас самих, в энциклопедии или кого-то спрашивать что такое Бог. Это всё равно что я пошел бы у кого-то разузнавать, кто такой я. Это в нас всегда, хотя чаще в привативном модусе, когда мы дорого и по-разному платим за наше отсутствие там, где всегда находится наша религиозная природа.

Т.е. вера как обличение вещей невидимых. Мы ведь обычно не замечаем даже что дышим, как бьется сердце и как мы едим. Когда потом мы начинаем регулировать дыхание, заботиться о сердцебиении и следовать «диете», подчинять их мысли, то этим подразумевается, подчеркивается: я *начал*, значит раньше ничего такого не делал. Это отчаянная, откровенная неправда, как бы забегающее вперед заявление алиби: нет нет, меня не было раньше там где я был, я якобы только теперь появился там где я есть. На самом деле при рождении я человек закричал от страха дыхания, утешился когда дыхание выровнялось и я заснул, снова закричал в страхе и тревоге когда проголодался и успокоился от пищи, от молока.

Но то было еще не в метрическом пространстве, в лесу, внутри материи (а еще раньше внутри матери), а дыхательная гимнастика и диета начались в метрическом. Недолжное связывание, недолжная метризация того что в лесу, сложное спутывание сковывающее тело и мысль как начались, так и кончатся. Упражнение в по-

стоянной молитве не сковывает дыхание, а расковывает его, но расковывает не в смысле абсурдной нелепой «широты и свободы дыхания», это ведет к гипервентиляции легких и к расстройству их работы в конце концов, а к оставлению тела телу: ведь Бог, с которым беседуют в молитве, это тот самый, который сотворил тело такое какое оно уже есть, мы не знаем какое именно и знаем что оно именно *такое вот,* и *такое вот* какое есть оно подается Богу. Ведь беседа не в том чтобы сообщать ему свои мысли, мысли у него и так есть свои, а в исповеди, в том чтобы искренно подставиться: вот он я, смотри. Человек говорит с Богом всем собой, какой он есть, своим бытием, своим присутствием. Вот так, господа.

Еще раз: для нас важно, что в школе непрестанной молитвы есть отчетливая граница, ступень, когда искание переходит в обретение. Делатели непрестанной молитвы различаются между собой не тем, что скажем старец Василиск Туровский был в неподвижной молитве по 12 часов и совершал допустим по четкам 12 тысяч Иисусовых молитв в день, а старец Зосима Верховский, основатель и духовник женского общежительного монастыря Богоматери Одигитрии под теперешним Наро-Фоминском, больше, и теперь надо сравнить с ними степень продвинутости иеромонаха Боровского Пафнутиева монастыря Арсения Троепольского, умершего в Наре 7 июля 1870 г. Суть в открытии: единственно важна вера: не в человека, а в то, что человек *такой именно,* что в его существо *входит* — не как случай, казус и удача, а как *необходимость* — непрестанная, привязанная к дыханию, сердцебиению и пище, вошедшая в тело молитва, она же внимание.

Допустим, сведения из вторых рук нам казались бы недостоверными, а сами молитвенники прямо о своей молитве говорят неполно, смиренно скупо. Странник, как его читали и знают, — казалось бы литература, да еще и непоправимо анонимная (легенда?), и стало быть вроде бы уводит от действительности. Но это литература *русская,* причем важное событие именно русской литературы, и ее чудом Странник оказывается самым прямым и убедительным фактом, первоисточником непрестанной молитвы. То, что в него как-то вошли, в нем слились кроме того почти все традиции русского умного делания, и сибирская через Зосиму Верховского, и круга святителя Игнатия Брянчанинова через Арсения Троепольского, и «официальная», «синодальная» через последнего и решающего редактора, Феофана Затворника, и косвенно Оптинская, через внимание, пусть недоверчивое, к опыту учителя Зосимы Василиска Туровского, — это только уплотняет Странника, подтверждает то, что и так все чувствуют: *дело* за ним.

Если постоянная молитва была достигнута в лесу, в глуши (Зосима Верховский, придя под Москву из Сибири — и по Сибири в основном ходит странник — нашел пожалуй самое глухое и болотистое место), то надо спросить, а возможна ли она вообще без сырого опыта. Она не умственное дело, возвращает к земле сердца, к первой материи, к бездне начала Книги Бытия; иначе в чем трезвение.

Непрестанная молитва из встречи с самым близким, настоящим Богом приходит, и в молчание же уводит. Строгость божественного внимания воспрещает легкие решения, уводит собственно в *нерешаемое.* Да и в самом деле, не человеку же решить свое отношение к тому, что мощнее его. От человека зависит только не убежать, выстоять, когда подступит ближайшее. Потому что возвращение к правде леса, к сердцу, дыханию это приближение к огню. Как уже в XX веке, в «Молитвенном дневнике» старца Феодосия Карульского на Афоне, запись 3 сентября 1937, за месяц до смерти 2 октября 1937 г.: «...Начала... разгораться теплота от сердца в груди, и до того усилилась, что сердце мое было, как в пламени... стал тревожиться от сей сильной теплоты, которая стала из груди уже ударять в нижнюю часть живота... Хотя с великим напряжением, но молитву с упованием на Бога я в это время искушения не оставлял. Пламень в сердце и во всём теле от этой теплоты постепенно прошел...»[25]. Так рискованно, опасно возвращение к телу.

Духовность можно определить так: это возвращение к телу, только не к концепции тела, которая всегда останется мечтой о теле, недолжной смесью тела с умом, а к телу как нашему неприступному двойнику, который воспрещает заигрывание, всякую коммерцию ума с ним.

Кровоточивая может быть исцелена вдруг, не человеческой силой, а приближением божественного присутствия. Это приближение всегда уже произошло. Пс 15, 8: «Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся». Не движется создатель, он вечно близко; не подвинется и тот, кто его увидел. Разве это вечное отношение касается только церкви, а не всякого? Самим своим весом величина притягивает. Если бы солнце, с бурями и протуберанцами, приблизилось вплотную к нам, было бы страшно, но только отчасти. Приближение Бога страшнее. «Страх Божий, рождающий непрестанную умиленную молитву к Богу и соблюдение евангельских заповедей, вслед за чем приходит при-

[25] Непрестанно молитесь..., с. 143.

мирение с Богом, когда страх преображается в любовь и мучительность молитвы, превратившись в сладость, взращивает цветок просвещения... познание Божиих тайн»[26]. Вера в том, чтобы поверить что всё с человеком обстоит именно так. Вернуться к себе. Откуда? Растерянность и глупость говорит: от свободы под иго. Нет: из пустоты в историю.

Постоянная молитва открывает тогда старое дело человека, через которое только и открывается происходящее. Поверившие, достигнувшие непрестанной молитвы, вернувшиеся к человеку как зерна настоящего, настоящей истории, ими размечена история страны: ушедшие в молчание, начавшие считывать свою судьбу с предстояния вечному, всегдашнему, Серафим Саровский, сибирский Василиск, Странник увереннее, чем писатели внутри литературного процесса, — там идет своя мастерская, но работа там тоже высвечена только вдохновением, — размечают русскую историю. Они такие же звезды для ориентирования, как первые древние мудрецы. «Созерцательные безмолвники суть как столбы, поддерживающие благочестие Церкви [или не только Церкви?] своими непрестанными молитвами: даже в самой древности видно, что многие из благочестивых мирян, даже самые цари и сановники их, отправлялись на посещение пустынников и безмолвников, дабы просить молитв их в подкрепление и спасение» (333).

Что я хочу: прекратить разделение веры и философии и, шире, веры и культуры. Так же как и, конечно, «разных» вер. Разными могут быть только языки. Все, кто противопоставляет свою веру другим как лучшую, остаются язычниками, которые еще не догадались, что их язык не единственный в мире, т.е. воображающими, что мир ограничен их селением, pagus. Хотят этого язычники или не хотят, всё настоящее в их языке питается тем же, из чего растут и другие языки. Отказываться от своего языка не нужно, но не слушать чужого только за то, что он говорит на другом языке, означает, что и своего тоже не слышат, и самих себя тоже не слышат. Потому что у каждого лица, у каждого моего дня свой язык. От лени, от усталости абсурдно костенеют языком, цепляются за него. Только кажется, что противоположное, развязный язык, это противоположность связному. В развязном языке, как и в скованном, остается всё та же привязка к языку, то же язычество.

Порог молчания останавливает кровотечение, разбрызгивание крови — разумеется, если кровоточивая остановить кровотечение

---

[26] *Палама.* Триады I 1, 7. ⟨См.: *Св. Григорий Палама.* Триады в защиту священно-безмолвствующих. Пер. В. Бибихина. СПб., 2004, с. 15⟩.

хочет, а не брызгает вокруг своей кровью, думая, что это и есть «полет мысли» и еще «свободы мысли и слова».

Из-за того, что настоящая философия прошла через порог молчания и внимания, она то же, что постоянная молитва. Внимание — тоже молчание. Из уроков Странника: «Внимание — чтобы всегда держать сердце свое не имеющим никакого помысла, хотя бы он казался добрым» (165 сл.). О внимании Странник говорит как о вере, религии: один из рассказчиков, Профессор, «пять лет... был профессором в Лицее, проходя путь жизни мрачными стезями разврата, увлекаясь суетною философиею по стезям мира[27], а не по Христе, и, может быть, совершенно погиб бы, если бы меня не поддерживало несколько то, что я жил вместе с благочестивою матерью моею и родною сестрою моею, внимательною девицею...» (274). «Внимательная» здесь как благочестивая, и на следующей странице: «сестра расположилась посвятить себя монастырской жизни» (276). Внимание и то же что постоянная молитва (303). Христианская аскетика подхватила философскую школу внимания, сама тоже стала называться *философией*, переняла самопознание, в смысле всегдашнего стояния, не перед зеркалом, а перед Богом.

О единстве аскезы в философии и религии христианство помнит, всё равно, признает ли оно что переняло философскую школу или наоборот что философы всё заимствовали из Библии. Одинаково и враги и друзья философов внутри христианства считают одним и тем же библейское «внемли себе» (Втор 15, 9 в Септуагинте) и дельфийское «узнай себя». Это схождение философии и веры в одинаковом внимании к сожалению забыто. В Страннике об этом напоминается: «Даже самые стихийные мудрецы сознавали пользу безмолвия: философская школа неоплатоников, имевшая многих знаменитых последователей под руководством философа Плотина, глубоко развивала созерцательную, внутреннюю жизнь, достигаемую преимущественно в безмолвии» (332).

Можно разрешить проблему постоянной молитвы, заметив то, на что не всегда обращает внимание ее запоздалая критика («техника», «физиология», «грубость», «омфалопсихия», «обеднение

---

[27] Это одна философия, которая везде суется в глаза, а есть другая: «Для чего тщетную славу я предпочел всему?.. Для чего не любил благоухания божественных молитв и псалмов, не подклонял выю епископам, удалялся мира, святости небесного образа жизни, ангельской философии и немерцающей славы» (*Архимандрит Михаил (Козлов)*. Записки и письма. М., 1996, с. 53) (Подписывает письмо: Грешный странник Макарий Козлов) (или просто «странник Макарий Козлов»).

молитвы»). Постоянная молитва в смысле Давида, 15, 8, «предзрех Господа выну», как старая и обязательная дисциплина (способы ее могут быть разные) *философии,* как монашеской, так и не монашеской аскезы, — охват всего существа человека, его тела, внимания, дыхания, сердцебиения (внимание к сердцебиению и вместе с тем сердцебиение, как и дыхание, в смысле бережного вхождения, осторожного ощупывания в самой материи, в первовеществе, в мировом лесу, причем божественное присутствие в живом лесу не может не ощущаться; само сердцебиение, дыхание становится этим лесом, хотя чистое внимание остается отдельной софией ни на что не похожей — этим впускает всё), — не может не сделать действительной быстрой и чудесной перемены в человеке, прервать кровотечение. Открывается другое дело другого человека, собственно единственно настоящее. Здесь всякая «критика» непрестанной молитвы просто смешна, выдает «критика» за непонимающего, о чем вообще идет речь.

Но именно из-за того, что уже успели сложиться, оформиться другие привычки, чем постоянное внимание, в смысле уже упоминавшегося привыкания к кровотечению (а евангельская женщина, Мф 11, 20, именно не привыкла, хотела вылечиться), из-за к сожалению всеобщего уже распространившегося упущения дисциплины у возвратившегося к себе, внимательного могут возникнуть проблемы. Насколько возвращение к себе во внимании легко и просто («Возьмите иго мое на себя, иго мое благо и бремя мое легко»), настолько проблемы преодоления этим новым духом сложившихся старых привычек могут быть затяжными.

Надо различать. Только кажется соблазнительным расхождение между обещанием легкости постоянной молитвы (буквально лишь несколько дней упражнений) и длительностью монашеского подвига, т.е. всей жизни. Конечно внимание должно прийти легко и быстро или уж оно действительно не придет — ведь его не надо создавать тренировкой, настоящее внимание надо вспомнить, оно такого же рода, как изменяющееся дыхание и сердцебиение перед большим и страшным, как горы, небо, красота, тем более человек с телом, сердцем; тем более род; тем более Сам Богочеловек. Для постоянной молитвы достаточно только *заметить*, где мы и кто мы. Молитва первое, она не нуждается в тренировке, с нее начинают. Редакции вынули из первоначального Странника к сожалению именно этот отчетливый протест против того, что будто бы для обращения к Богу нужна какая-то подготовка: сильное место начала Странника в рукописи: без *молитвы*, наоборот, ничего нельзя начать. «Из всех молитв, изображенных в Библии,

видно, что они приносились для очищения от грехов, а не предварительное очищение от грехов предшествовало молитве» (343 сл.), с цитатой из Библии «Един Бог дает сердце ино, и дух новый дает нам» (Иез 11, 19). Из *любого* положения человеку первым делом, как схватиться за поручни, раньше всего, во что бы то ни стало, надо словно упасть, если отклонился, в непрестанную молитву, внимание. «После всякого падения и греховного уязвления сердца, немедленно следует поставлять его в присутствие Божие для исцеления и очищения» (327).

Об этой прямой, первой, нулевого цикла задаче всякой философии по-настоящему теперь больше помнит монашеская философия. (Поэтому начала русской мысли надо искать в Страннике, а у Владимира Соловьева — в той мере, в какой он сам Странник. В свете Странника и его непрестанной обязательной молитвы большинство рассуждений на философские темы кажется действительно беспризорным.)

Постоянная молитва, философия и вера в каждом, это онтология. Какие трудности эта работа, легкое иго, встретит, какими сложностями обернется, — биография.

Выход в божественное предстояние начало истории настоящей свободы, которую дарит иго, скованность ужасом от слепоты. От страха и вериг вины, стыда, изумления свобода, и еще какая.

Еще раз: кого же выставляет молящийся? себя конечно сначала, говорящего *я*; потом своего ближнего, и кто ближе чем свое дыхание, сердце, странная неведомая но такая близкая вещь тело, — *не мои мысли о теле*, смотри какой я грязный какой чувственный, и не положения тела представь, молитвенное, коленопреклоненное, простертое на земле, истощенное постом, бессонницей, в жесте верующего, крестного знамения, «все такие приспособительные положения тела предписываются... пока не стяжется чистая и не парительная в сердце молитва. Когда же благоволением и благодатью Господа нашего Иисуса Христа достигнешь сего, тогда оставив многие и различные делания, пребудешь паче слова соединенным с единым Господом в чистой и не парительной молитве сердечной, не нуждаясь в тех приспособлениях» (163); подается *именно просто тело,* смотри бьется сердце, движется невидимо кровь, дышат легкие. С мыслями расстанься, оставь их, они тебе не нужны, твои соображения о себе своем теле о мире о Боге. Они не нужны никому. Не нужны, если есть настоящее честное предстояние, даже и чужие мысли, чужие молитвы. «Когда по временам будет приходить тебе самоохотная чистая молитва, ни под каким видом не должен разорять ее своими молитвословными

правилами» (там же). Молитвы тоже приспособления, как вериги для тела, так они для ума, для упражнения его. Но когда начинается настоящая работа тела, допустим строительство храма, вериги надо сложить, руки должны быть свободны для работы. Так для работы сердца оно должно быть свободно одинаково и от помыслов и от молитв. Внимание значит «держать сердце свое не имеющим никакого помысла, хотя бы он казался добрым» (там же).

Чистое предстояние, как раздетость, перед Богом не в одежде. Ах если бы безмолвие означало просто неговорение, невыражение мыслей. Это было бы пустяковой задачей, которой заняты все, скрывают свои мысли все. Нет, надо *мыслью молчать.* «*Хранение ума с призыванием Иисуса Христа, — то чтоб всегда смотреть в глубину сердца и непрестанно безмолвствовать мыслию*, даже, скажу так — и от помыслов, кажущихся десными, стараться быть пусту, и от всяких вообще помыслов, дабы не утаились под ними тати» (170). Они так обязательно спрячутся, вообще нас обокрадут во всяком случае, стоит нам выйти из чистого внимания, — такого, когда и свои мысли тоже удивляют как чужие. Помыслы годятся только на то, чтобы и их тоже представить, подать, подставиться.

Но уход от мыслей, помыслов в чистое внимание — это и старая философская школа (νοῦς). Как могло случиться, что к нашему времени она в виде постоянной молитвы едва осталась только в монастыре? Это то, за что надо благодарить Церковь и что делает Церковь незаменимой. — Теперь, не терпит ли эта дисциплина ущерба из-за отрыва от всего опыта человечества, опыта в других языках веры, обособления, специализации? от философии, от опыта поэзии, музыки? Как, со своей стороны, и светская культура в той мере, в какой она не поняла школу непрестанной молитвы, не прошла ее, расточается. Это как если бы склад и сторож были в разных местах, и склады были страшно богатые и незапертые, и стража неподкупная, компетентная, недремлющая, но безотносительно к складам.

Как отдать склады сторожам, навести сторожей на склады. Ни молитва, ни вера не могут быть полными, если молящийся условился сначала быть таким-то, а потом обратиться к Богу. Этот первый, может быть важнейший тезис Странника был убран редакторами не зря. К сожалению, специализация веры, превращение религии в профессию есть. Экуменизм, развернутый до своей сути, должен будет вспомнить, что церковь существует, — истинная церковь, божественной веры, — не 2000 лет, а со времен Авеля, и, по Бернхарду Вельте, мы в евхаристическом общении с пе-

щерными жителями Масличной горы под Кёльном. «Естественный человек естественно приходит к познанию Бога. Потому-то ни одной нации, ни одного племени дикого не бывало и нет, без какого-либо понятия о Боге... Самый дикий островитянин... падает на колени, изводит непонятный для него, но необходимый вздох... Повсеместно сущность или душу каждой религии составляет тайная молитва» (317 сл.). Вера *одна* во всяком язычестве; религия, благочестивое внимание, одна.

Главная работа человека, внимание. Работаю человека? «Всякий час и всякое мгновение будем всяким хранением блюсти сердце свое от помыслов, потемняющих душевное зеркало, в коем надлежит печатлеться и светописаться одному Иисусу Христу» (176). От всяких помыслов. Т.е. снова и снова падать.

Феноменология: предъявление того что есть. Кому? Опять же тому кто или что является, насколько является. Кроме этого предъявления — ничего не иметь в мысли (182). Гуссерлевская феноменология: чистое внимание как новость. Еще одно его истолкование и приложение. — Кстати о пользе философии: только из этого чистого предстояния может возникнуть — не сила, а пустота и мера удивления, изумления, из которой одной только могут быть обойдены, как от абсолютного исходного начала, любые привычки. «Молись, и не трудись много своею силою побеждать страсти. Молитва разрушит их в тебе... Молитва устроит всё и вразумит тебя» (309). И больше: «Уединенный безмолвник не только не находится в бездейственном и праздном состоянии, но преимущественно действует и даже более, нежели участвующий в общественной жизни. Он неутомимо действует высшею разумною своею натурою: наблюдает, соображает, следит за состоянием и ходом нравственного своего бытия» (329).

Говорится от трезвого сознания, что над лесом, волком, двойником мы не властны. Телом, сердцем, едой, просто завтракая каждый день мы принадлежим лесу, мировому веществу. Предъявляя в непрестанной молитве себя какие мы есть, мы предъявляем себя лесных, наш лес. Как лес мы тварь. Но как предъявляющие, как чистое внимание, как феноменологи мы отдельны от леса, божественны. Мы тогда поэтому *то же* делаем с лесом, что хотел Бог. Конечно, чтобы узнать, что мы тогда делаем с лесом, надо попробовать посмотреть, какие мы тогда, в религии, можем быть.

Почему вниманием размыкается удивление. Потому что конечно ведь просто удивительно, что я, внимательный и наблюдающий, как-то имею отношение к моему ближнему, т.е. телу, которое имен-

но здесь, не в другом месте, стоит и делает то что делает, дышит, думает.

Вместе с моим ближним, телом, я сказал, дан сразу мировой лес, в который оно врастает, и другие тела, с которыми всякое тело связано по существу так же, вбирая, как части одного тела связаны между собой: в связи тел между собой, через родство, породнение, дыхание одним воздухом, просвеченности одними лучами, видимыми и невидимыми, нет ничего по существу, принципиально отличного от связи между скажем головой и рукой. В напоминании апостола Павла, что общество тело, в названии «братья и сестры» нет *ничего* от сравнения. Если это родство покинуто умом, мечтой, то надо тревожиться не о нем, с ним ничего не сделается, оно просто есть, а надо спросить тогда об уме, что же он такое и не сбился ли он, не надо ли в нем что-то исправить.

По этой причине не эгоистично себя спасать. Спасение ближнего, т.е. сначала тела, это через всеобщую связь спасение сразу всех тел, всякое движение из-за связи сдвигает вообще всю материю.

Спасение, т.е. исправление ума, начинается со страха. С ужаса, и в этом еще одно достоинство замечательной записки 9 сентября, которую я слишком бегло тогда прочел, а она заслуживает большего:

«Предзрех Господа пред собою выну
Яко одесную меня есть
Начало премудрости страх Господень.

Постоянное Бого-пред-ставление (не воображение), пред-зрение, о котором говорит пророк Давид, разве не есть достояние именно верующей — не общей — души, мысли? Для верующего это и есть выход из леса. Бог всё время пред тобой. Лес — темный, страшный, безвыходный — *состояние* любой, верующей и неверующей, души (христианка, по Тертуллиану, всякая душа по природе). „Весь я положился на волю Божию и сделался весел, уныние прошло". Богословие учит как выйти из леса, учит по опыту. Нет никакой общечеловеческой модели Бога и веры в него (всякое представление о Боге есть идол). Представление *прелесть,* когда сам себя человек понуждает представлять, воображать сердце, почки, жилы, жир (то, что ему кажется нужным), другое — когда таинственным образом ему открывается то или другое, для чего он сам еще не знает и может быть так до смерти и не узнает».

Спасительный страх больше всего пугает, люди боятся страха. Один персонаж Странника, блуждавший и не решавшийся обратить внимание: «Думается, что как скоро я стану молиться, то тут

же меня Бог исковеркает» (260). Страх, или хайдеггеровский ужас, исковеркает, разрушит, размечет только все привычные ненужные связи тела и ума, отшвырнет тело в тело, повернет ум к чистому уму.

Говорят, что в Евангелии мало молитв. Как будто этому обстоятельству есть объяснение. Может быть, их там строго говоря в привычном смысле нет ни одной. Так и должно быть: всё оно школа внимания, *непрестанной* молитвы. (Уже без нужды почти, вы уже понимаете в чем дело, повторю: *настоящей* постоянной молитвы, или ре-лигии, непрестанного внимания, а конечно не повторения тысячекратного одних и тех же слов, святитель Феофан Затворник называл занимающихся этим презрительно шептуны, мурлычащие молитву, и не привязки слов механически к дыханию, Феофан называл таких сапуны, сопят дыханием молитву, для Феофана это бессмысленные внешние средства.) В Страннике Евангелие и есть прежде всего школа молитвы. «Евангелие и заповедует непрестанно, всегда молиться; как другим делам благочестия назначается свое время, а для молитвы нет праздного времени; без молитвы ничего доброго сделать нельзя, а без Евангелия достодолжной молитве научиться нельзя» (265).

Внимание прерванное вниманием быть перестает. Если молитва не непрестанная, она становится *совсем другой,* ритуалом.

Странник начинал с темного леса, страшного и тяжелого. Он стал своим, пустыня оказалась милой: «Безмолвный лес, как Эдемский Рай, в коем сладостное древо жизни произрастает в молитвенном сердце пустынножителя» (320 сл.). Безмолвный лес — это ближайшее, русское тело Странника. Из-за того что оно осмеливается быть вполне, собственно своим, далекое становится всё своим (схема Лотмана и Успенского *свое-чужое* неверна, рассчитана на условное и случайное понимание своего, неполное; собственно свое, свое собственное включает всё настоящее), русский лес срастается с райским садом в одном дереве жизни, которое тоже и дерево креста.

Тему дерева жизни и дерева креста пока только задеваем, о русском лесе, переходя от Странника, надо сказать точнее.

Горы, я имею в виду высокие, уже безлесные, вдвинуты в высоту, где по разреженности воздуха начинается уже космический холод: солнце сияет ярче чем внизу, но воздух уже почти не имеет массы, и нет среды, по которой от раскаленной скалы передалось бы тепло. Если бы близорукий приблизился к земле в районе безлесных гор, он не отличил бы эту планету от стерильного астероида. Почему ниже появляются воздух и вода, непонятно; еще непонятнее луг и лес. Земля могла бы быть несимметричным комком

скалы, если бы ветер и вода, расширяясь в трещинах при застывании, не позаботились бы о стаскивании вершин гор в равнины; там осевшая от отоков почва сравнялась почти так же, как принесшая ее вода. Можно считать, что скалы и горы набросаны на землю, как бы сброшены сверху, словно методом напыления, и круглость земли создана медленно стеканием ветра и воды. Земля была возможно угловатая, кое-какая, из кусков, напылена за миллиарды лет из астероидов. Как эти кости обросли тканью? Это проблема, но не наша. Наш вопрос такой: не могло ли случиться, что как наш ближний, наше тело, почти никогда не попадает в поле нашего зрения, так и существо, на котором мы существуем. Тело заранее — мы ведь духовные, сознательные, интеллектуальные — рассматривается как средство для целей, например «работай», земля тоже. Стоит так спросить, и ответ напрашивается однозначный.

Вершины гор снежные, ледяные или голые, здесь земля как бы еще на космическом сквозняке, такая она и на обоих полюсах; потом вдруг с четырех километров высоты начинается лес, он идет вниз сверху вместе с ручьями и опустился бы в долины тоже, если бы не люди. На ровном, в разровненных водой местах лес вырублен наполовину или больше или совсем. Леонардо да Винчи прав: горы срыты ветром и водой. Ему кажется, что должно было бы быть не так, с землей что-то случилось, она истекает своей кровью. Вода, уходя, оставляет равнину.

На теперешних равнинах стоят большие города, в них благодаря жилищам, электричеству, водопроводу, канализации создан другой обмен веществ, другое светило, круглосуточное, другая среда обитания, но, как изящно говорится, экологически неравновесная, т.е. не может существовать без нового распахивания почвы вокруг, загрязнения почвы, воды, воздуха. Большой город стоит на равнине как экзема, или аллергия. Лес снят, чтобы распахать равнину, чтобы она кормила город. В обмен город выбрасывает химию, радиацию, газы. Горы, стираясь, сглаживаясь, впускают лес; лес впускает людей, он их исходная среда, но они умножаясь снимают лес и распахивают, почва от этого хозяйствования распадается, люди готовят себе пустыню, как аравийская и североафриканская, происходящая от долгого человеческого хозяйствования: стоит упустить культуру полей, и остается пустыня.

Так распоряжаясь равниной земли, лесом, люди явно что-то недодумали, в размножении больших городов явно ошиблись и сами не имеют об этом двух мнений. Похоже, и в этом отношении тоже ничего важнее темы леса сейчас нет.

Только на газетном листе, на экране цифра 2000 маркированная. На взгляд с воздуха на землю, на расползание больших городов по равнинам эта цифра ровно ничего не означает кроме слабой надежды на то, что люди может быть проснутся хотя бы отчасти и откроют глаза. То, что люди любят, старинные храмы, замки на горах, показывают, что другое обращение с землей было и возможно. Но эстетически любя это, люди только отдыхают «на природе», чтобы потом вернуться к своему глобализму. Охватить «мир», как можно «глобальнее», теперь цель почти всякой деятельности, и такая направленность внимания значит вовсе не то что земля стала привлекать внимание, а наоборот, что она заслонена схемами, экраном так, как никогда раньше. Глобализм — скверная подделка под внимание к земле, как всестороннее изучение «человека» имеет главной целью не заметить того, что стало открытием Странника, решившегося быть внимательным: открытие собственного дыхания, какое оно, сердцебиения, способа есть, и что и как есть, отношения к другим телам.

В глобализме как раз внимание к земле исключено, люди не чувствуют это животное так же, как и то животное, которое они сами есть, пока оно не взбунтовывается, возвращаясь в лес в курении, вине и наркотике; лес давно вытесненный так жестоко мстит за себя прямо в середине большого города.

Даже меньшее перенаселение в древности заставило наслать на людей Троянскую войну, теперешняя расправа земли с большим городом будет совсем жуткой. Возврат к ре-лигии, т.е. к философии (т.е. вовсе не к религиозной философии, скверной поделке) таким образом словно продиктован.

Поезд, самолет, машина служат для охвата, но не материи, а распланированного среза. Турист думает, что оторвался от ограниченности и видит мир, на деле он озабочен опять охватом, т.е. поневоле упрочивает охват промышленности (недаром говорят о туристической промышленности). Критика цивилизации, тематизируя ее, привлекает к ней внимание, т.е. тоже ей служит.

Странным обещанием, причудливым, почти юродивым кажется в этом отношении русское пространство, из-за того что здесь у нас расползание нивелированного города по равнине неудачно, неуверенно, как бы заранее подорвано нервной спешкой, временностью почти всех решений, явным отсутствием надежной долгосрочной стратегии, какая есть скажем в Америке. Завидовать американской стратегии оттого, что она (в охране лесов, *намеренном* ограничении пахоты, в скажем предпочтении покупать нефть чем выкачивать ее у себя) рассчитана на столетия, а у нас имеет корот-

кое дыхание или вернее задыхается, не нужно, потому что в отношении земли не иметь стратегии лучше чем иметь. Единственно верно конечно ни мастерство ни неумелость, а догадка о том, что софия мира не технология, ни даже самая modernized и sophisticated[28*]. В абсурдной неприкаянности нашего «технического» вторжения в лес, совсем уже иллюстративный пример это нелепые подмосковные «коттеджи» людей, на свою беду подбиравших все деньги, которые валялись у них под ногами (как коммунисты на свою беду подобрали власть, которая валялась на улице), можно похоже угадать полусонное чутье, что не человеческий разум всё устроит, отчаянный отказ поэтому от разумного поведения.

[28*] современная и изощренная

4 (30.9.1997)[29]

Определяющей остается всеобщая растерянная ностальгия по лесу, безнадежная мечта всё-таки еще как-то скрыться в нем, допустим спрятав в его глубине элитарный поселок. Это, однако, всё равно что пытаться вернуться в природу, купаясь и загорая на пляже.

Желание загореть или наоборот, уехать из города или наоборот, забота об экологии — лишние знаки того, что теперешняя форма жизни явно маркирована. Уж вы спросите кого-нибудь другого, почему маркирована, с каких пор и главное для каких целей. Кто-нибудь скажет, что вообще все формы жизни человека на земле были маркированы, stressed и under stress[30*]. Очень может быть что да. Тогда и сегодняшняя тоже. Для нас важно здесь только то, что значит голоса вокруг нас будут спровоцированы жестоко заявлять, что или «сегодня стало ясно как никогда», или «продолжает быть ясно» одно и другое, что человек должен делать одно, ошибся в другом, поплатится если не сделает третье, что его ожидает вот что. Стресс трудно выдержать, не начав говорить от страха. Но наше определение существа человека как религии и философии, как постоянного внимания и в ответ на всякую тесноту только снова еще внимания, как раз просит бояться всех схем и быть внимательными ко всем приговорам. Есть то что есть; того, чего нет, нет. — Мы можем даже пожалуй согласиться, что состояние земли больное, не потому что мы поставили такой диагноз, а просто потому что многие так говорят и как будто бы большого вреда в таком говорении нет. Или есть? В любом случае наука по своему определению сделать заключение об этой болезни не сможет, потому что не имеет опыта с болезнями таких космических тел. Разве что Марс прецедент?

---

[29] Окончание Леса-3 от 23.9.1997.

[30*] Игра слов: «выделены ударением», «в условиях стресса».

Сделаем немного странный, но с которым едва ли будут спорить, вывод который нам скоро понадобится. Состояние леса, или мирового леса, материи, или земного леса, места рождения человека, кричащее, но неопределимое. Неожиданно это нас возвращает к старому парадоксу из истории философии: материя у Аристотеля, да в сущности и у Платона тоже, явно есть и явно неуловима; она весомая, потому что занимает место просто на другом полюсе такой важной вещи как эйдоса, но именно поэтому она неопределима.

Ситуация опять же маркируется, кричит тем, что эйдос оказывается сцеплен с материей: такого положения, что эйдос царственно диктует свою форму материи, раз она неуловима и неопределима, как раз нет: эйдос сплетен с материей так, что всякая материя расположена к этому и не к другому, как бы материя уже заряжена эйдосом: эйдос статуи например можно продиктовать скажем меди, но уже с трудом воздуху; статуэтку человеческой фигуры делают скажем из кости, а скульптурный портрет лица из мрамора или глины, но не из воды.

Это сплошное сплетение эйдоса и материи было в сущности уже и в «Тимее» Платона, где привычное для нас уже место материи занимает χώρα: она *тоже* эйдос, только трудный и темный, неуловимый из-за широты, пригодный разместить любые эйдосы. *Хора* всепринимающая природа, в которой нет рождения, возникновения, темная, проблематичная, с которой стало быть надо осторожнее.

Мы получили при этом первом приближении к аристотелевской материи (считается, что понятие материи как это называется «ввел Аристотель», т.е. он услышал его и рискнул им пользоваться, и так удачно, что после него этот рабочий инструмент пригодился всем, до нас, которые так шокированы материализмом, т.е. тем, как люди самого худшего сорта схватились именно за это орудие, или оружие, чтобы топтать и ломать, что гнушаемся брать в руки сами, как естественно мы обошли бы, даже если бы нужно было, топор, в крови, которым рубили головы на колоде, независимо от того, может быть он из хорошей стали, или его отмыли. Мы берем тогда совсем другой топор, и говорим, что топором имеет право пользоваться не только палач.) результат, успокаивающий тем, что он тривиальный. Во всём, с чем мы вслепую наобум имеем дело, есть *свойства*, т.е. есть *свое*, а не только так, что мы всему диктуем свое. Свое, мы об этом думали[31*], — это однако *собственное*, оно добро, так что если присмотреться нет двух сво-

[31*] Имеется в виду курс «Собственность (философия *своего*)», прочитанный на философском факультете МГУ в течение трех семестров (весна—осень 1993 и весна 1994).

их, своего своего и чужого своего, почему я и сказал, что схема свое-чужое Лотмана и Успенского неполна. Наш Леонардо да Винчи, наш потому что мы его упоминали, но когда я это написал, я вспомнил о Флоренском, так вдумывался, вчувствовался, впитывался в вещество, что сливался с ним, уже не он, а ему вещество диктовало. Так настоящий художник, или музыкант: цвет и тон ему *свое*, он сам и есть цвет и тон, настроение. Мастер начинает вчувствоваться в дерево, в глину. А кто не будет, то мы на каждом шагу видим, как у людей дела не клеятся. Слово *халтура* происходит от «поминок», польск. Chaltury: когда похороны, то это уж такое святое дело, накормят всякого, даже и попросят съесть кутью: угощение идет *в мертвое*; работа халтура тоже мертвое, то, о котором Гераклит: мертвое надо выбрасывать скорее чем нечистоты.

Я говорю: скорее надо быть довольным, что мы получили пока в приближениях к лесу общее место: неживой природы нет, сколько чуткости ни будет вложено в осмысление любой «материи», всё будет кстати и еще мало; сюда же надо отнести такие приятные общекультурные общие места, что настоящий физик-теоретик не будет настаивать на границе между своей наукой и гуманитарными.

Но это всё, я сказал, приятные общие места. Они только кажутся первоочередными важными. Все пожелания вдумчивых, гуманных или гуманитарных, художественных, субъект-субъектных отношений к миру останутся разговорами в пользу бедных, потому что ведь всё равно не только судьбу вещей, что с ними человек сделает, а само появление вещей решит внимание. Вы ведь всё равно на лес смотрите со стороны, сказал один понимающий и сочувствующий человек. Мы смотрим со стороны внимания. Всё решит внимание. Внимание бывает разное. Халтурщик тоже внимательный человек: он внимателен к тому, где и как идут мертвые деньги, просто так. Выслеживающее, высматривающее внимание в лесе увидит то что надо, имея ориентиром трехразовое удовлетворительное питание с комфортом и его поддержание и продолжение.

Внимание, которое не инструмент, взятый человеком, а то первое, куда он может и должен падать, не *направлено* на лес, а, сделаем пока такое предположение, догадку, как лес захватывает и выводит из метрического пространства. Совпадение внимания и леса, двух крайностей, полярных противоположностей, о которых мы говорили, что они совершенно отдельны друг от друга, вещь возможная; Николай Кузанский в coincidentia oppositorum[32*] раз-

---

[32*] совпадение противоположностей

вертывает то, что у Аристотеля только что не сказано всеми буквами. Мы подходим к чтению Аристотеля с этой рабочей гипотезой: материя у него так же, как у Платона, окажется эйдосом.

До чтения мы диктуем: у Платона, Аристотеля должно оказаться то, до чего мы своим ходом додумались. Какое своеволие, приписывание древнему далекому автору своего. — Тому, кто так скажет, можно добавить еще такую подачу: не только ожидание от Аристотеля своего, но вообще не интересно его читать, если он не подтверждает наших догадок.

Кто скажет, что это совсем уже отступление от историко-философской и филологической корректности, можно и надо возразить: ничего подобного, наоборот, это и есть единственно правильное чтение. История мысли и вообще история рассыпаются и я оказываюсь новым русским в самом скверном смысле слова, если работа человека *главная* не всегда одна: работа *человека*, в аккузативе, докапывание до собственно себя. И все разговоры об античности становятся пустыми, об осевом времени, о началах нашей цивилизации, если мы не заметили, что то время было другое, как бы атмосфера чище и позволяла видеть дальше, и кроме того тысячелетия действуют как фильтр, — так что в современной нашей смутной, неотфильтрованной мысли мы имеем сейчас как бы только догадки того, что *будет* там, в античности, как в будущем. Подтянуться к будущему, осовремениться мы сможем поэтому только если как можно скорее подтянемся к древним, а для этого надо сразу и навсегда отказаться от «они еще не». Если чего-то нами привычно говоримого мы у них не находим, значит только что мы еще это зачем-то говорим, а они уже нет. Их молчание не отсутствие информации, а только более важное сообщение.

Такое кричащее молчание — в учении Платона о физических телах, они состоят из геометрических фигур, например огонь это тетраэдры. Неужели Платон не знает, что точка, линия, треугольник, поверхность не имеют объемов, чистые идеи, и идеальный тетраэдр найти будет невозможно: уточняя, где именно проходит его идеальное ребро, мы никогда не перестанем уточнять, точно так же как Ахиллес никогда не догонит черепаху. Как ребро, так и весь идеальный тетраэдр будет неуловим. Куда девалась материя, где она? Вот он, философский идеализм, не так ли? Его надо подправить материализмом.

Попробуем подправить. Укажем Платону: ты не понял, не заметил, что в нарисованном тетраэдре есть материя, самый лес деревянной доски, мел, в конце концов энергия проведения линий, материальная. С твоим тетраэдром мы теряемся, а мел на доске

нам понятен, материализм имеет дело с осязаемыми вещами. Но они ускользнут вместе с телом! Доска, черта, класс, «тело» в кавычках понятны и доходчивы как вещи, материя только до внимания. С вниманием, с удивлением, с выходом из метрического пространства они становятся близки и понятны не больше чем для бессознательно пьяного. У нас нет никаких оснований отказывать Платону в том, что удалось нам, переступить порог непрестанного внимания, которое молит, оно ведь *молитва*, мелет, размалывает привычное «восприятие».

Молчание Платона в ответ на наше недоумение, «куда девалась материя», как могут жечь идеальные, ненаходимые тетраэдры, — это одновременно его нежелание, если хотите вызывающее, вести с нами дискурс в иллюзорном пространстве привычки и, во-вторых, сообщение, к которому мы неготовы, к которому не доросли: в лесу не просто неопределимость, снятие образов, умолкание мыслей, удивление и ужас, но там и *геометрия* и даже больше того: ничего кроме геометрии. «Никто не прошедший геометрию да не войдет». В фило-софию вводит геометрия.

Это тем более нам неожиданно, что первое, что мы заметили о лесе и из-за чего выбрали лес темой для двух семестров, это что он навевает, внушает или прямо выталкивает из метрического пространства. Никакой геометрии типа линий и проекций, которые чертят на доске, в лесу конечно нет, негеометричность органического давно замечена, понимая геометрию как цепляние за схемы. — Неужели есть *другая* геометрия, и лес вытолкнул из метрического пространства только для того чтобы подтолкнуть нас наконец понять *гео*метрию? *Гео*метрия как мера Земли? Что это такое? Это будет доевклидовская геометрия, т.е. не давшая Евклиду того, что он просил, или требовал, в своих постулатах, и прежде всего — не давшая Евклиду точки как якобы установимой, находимой. Тогда, идем опять путем нашей эвристики, ожидания того, о чем мы уже догадались, точка в этой ранней геометрии будет парменидовская и зеноновская, недоступная сосредоточенность на точности, вбирающая всё. Точка есть только одна и она совпадает со всем. — То неудобство, что то, что наработано о точке в разных курсах, о *поре* и о Витгенштейне, не напечатано[33*], будет скоро исправлено, поэтому я повторяться не буду, и желающие могут посмотреть

[33*] См.: *В. Бибихин.* Точка (отрывок из курса «Пора»). Точки—Puncta (Ежеквартальный католический журнал, посвященный проблемам религии, культуры и общества) 3—4 (2). М.: ИФТИ св. Фомы, 2002, с. 74—103; см. также: *В. Бибихин.* Витгенштейн: смена аспекта.

о совпадении противоположностей, абсолютного минимума и абсолютного максимума в точке, по моему указателю к двухтомнику Николая Кузанского[34].

Дальше точки нам, которые заняты не проблемами геометрии, и не надо идти. Тем более весь принципиальный вопрос и сводится к тому, что никогда не надо было забывать, что Евклид *попросил* себе точку, мы ему дали и сами забыли об этом, словно точка существует в природе как чашка кофе. Надо было помнить то, о чем помнил Евклид, что его точка, на которой он строит свою геометрию, условность. Слава богу, об этом в XX веке всё-таки вспомнили. Toward the end of the 19th century the keenest thinkers in the field of geometry became increasingly concerned about the lack of true rigour in Euclid's presentation. Undoubtedly, the invention of non-Euclidean geometries did much to spur the search for a correct and complete treatment of classical geometry. The most notable work of the new type was, as has already been remarked, Hilbert's Grundlagen der Geometrie, published in 1899. Hilbert began by stating 21 axioms involving six primitive or undefined terms. [Главный из примитивных, неопределимых терминов *точка*]. He once made a famous comment (not actually published until 1935) to emphasize the importance of keeping the undefined terms totally abstract, that is, devoid of preconceived meaning: «One must be able to say at all times-instead of points, straight lines, and planes—tables, chairs, and beer mugs». Such a viewpoint was not widely accepted until the 20th century and, of course, had never occurred to Euclid or his followers[35*].

Хорошее правило для отрезвления. Возьмем пивную кружку и поставим ее на стол, который протянется до другой пивной кружки. Лучше так говорить, до тех пор, пока мы не знаем что та-

---

[34] *Николай Кузанский.* Сочинения в двух томах. М., 1979—1980.

[35*] Перевод: В конце XIX в. самые глубокие умы в области геометрии стали задаваться вопросом о недостаточной строгости системы Евклида. Несомненно, открытие неевклидовых геометрий значительно подстегнуло поиски правильной и окончательной версии классической геометрии. Самой заметной работой такого рода стали «Основания геометрии» Гильберта, опубликованные в 1899 г. Гильберт постулировал 21 аксиому, включая шесть простых или неопределимых терминов. [...] Ему также принадлежит знаменитое замечание (не публиковавшееся до 1935 г.), где он подчеркивает важность абстрактного отношения к неопределенным терминам и необходимость избегать предустановленных значений: «Следует добиваться того, чтобы с равным успехом можно было говорить вместо точек, прямых и плоскостей о столах, стульях и пивных кружках». Такая точка зрения не имела широкого признания до XX столетия и уж во всяком случае была невозможна ни для Евклида, ни для его последователей.

кое точка. Это нам обеспечено знать с каждым разом всё меньше и меньше. Ведь до сих пор *точка* как и другие понятия геометрии была производная от нашей способности схватывать и держать: не точка видна, которую мы схватываем, а дана наша способность схватить и держать, и то, с чем мы это делаем наиболее широким образом, с наибольшим размахом, мы называем точкой или ее развертыванием.

С геометрическими конструкциями всё красиво и бесспорно, но начала геометрии не просто повисли в воздухе, а кричат о своей условности, держатся только потому что люди условились так считать. В первом определении Евклида, «точка есть то, что не имеет частей», с намеренной парадоксальностью заложена так сказать неприкосновенность точки: я говорю, с намеренной, потому что в античности было разработано и всем известно как общее место, что что не имеет частей, тому так сказать нечем прикоснуться к другому: если сольется с другим, то будет или равно всему другому, или в составе этого другого разорвет, рассечет его, потому что ничто в этом другом не сможет опять же прикоснуться к тому, что не имеет частей.

Легко, трудно или невозможно получить точку, она может быть получена только сосредоточенностью. Нерешенные до сих пор апории Зенона-Парменида показывают, что сосредоточенности одного ума мало. У меня нет времени повторять, отсылая к прошлому, я прошу тех, кто думает об этом впервые, поверить, что без приблизительности, строгим путем в проблеме точки, начале гео-метрии, мы возвращаемся к вниманию. — Весь ряд наблюдений об отношении точки к времени, о точке как настоящем, по Аристотелю и Гегелю, о чем тоже подробно говорилось, остается фоном того, чем мы должны заняться здесь и сейчас. Наша тема — неожиданная геометрия у Платона на месте материи, гео-метрия леса, лес как гео-метрия *без метрического Евклидова пространства*. Один современный историк мысли об этой «эйдетической атомистике» Платона, т.е. на месте ожидаемых материальных атомов чистые эйдосы: «Diese kuhne und in ihrer Weise großzügige Theorie der Materie ohne Prinzip der Materie hat weder im Altertum noch später Nachahmung, ja auch nur Verständnis gefunden»[36*].

36* *Nicolai Hartmann.* Zur Lehre vom Eidos bei Platon und Aristoteles. Berlin 1941, S. 9. Перевод: Эта смелая и по-своему грандиозная теория материи без самого принципа материи не нашла последователей и тем более понимания ни в античности, ни в более позднее время.

Нашло или не нашло понимания, трудно или легко, заняться мы должны, как Платон говорит в «Послезаконии» 992 а: трудные или легкие эти науки, их всё равно надо пройти. «Послезаконие» тут как завещание, завещается закон блаженства. Закон в том смысле как мы говорили, закон человека, его природа; счастье в том смысле, как его узнал читанный нами Странник, когда ему открылась непрестанная молитва, постоянное внимание. Один голос, единогласие, с каким вся история мысли говорит о счастье человека при возвращении его к закону, поражает. Мы читаем конец «Второзакония», и это как счастливые страницы Странника: вернувшись к закону, к религии, к вере, человек по Платону избавится от рассеяния (то, что мы назвали по-евангельски кровотечением): «И в шутку, и всерьез я стану настойчиво утверждать, что такой человек, даже восполнив смертью удел своей жизни, на смертном своем одре не будет, как теперь, иметь множества ощущений, но достигнет единого удела [т.е. получит в долю целость, единство, *монашество*], из множественности станет единством, будет счастлив, мудр, как это может только быть, и счастлив» (992 b)[37*].

К «Послезаконию» нам так или иначе придется вернуться: слишком явственно там сходятся как главные наши темы, закона, религии, постоянного внимания и леса в смысле материи. Но будем держаться не рассеиваясь того, что сейчас нас задело всего больше: материя как число; лес, от веяния которого, мы тут ошибиться не могли, рассыпается метрическое пространство, география, имеет по Платону своим законом чистую геометрию. Мы к этому не готовы, пойти путем намеков и проблесков, например подсказанное нам: колонны храма в исламе, т.е. колонны вселенной, рассматриваются как лес, деревья, и так или иначе подчиняются священному числу 17. Сцепить при желании можно всё со всем, любую идею с любой другой. Мы, наоборот, предпочтем лучше признать неудачу, провал, неспособность, чем спешно свяжем лес с числом или согласимся вместе с большинством историков мысли, что у Платона тут заскок, идеалистическая ограниченность или еще, как натягивает на свою схему Лосев, Платон тут сын своего века, он «жил и творил» в рабовладении, так что у него жестокая холодность рабовладельца спроецирована и на мир идей, бездушность суть этого числа. «Ведь число, лишенное всякой качественности или равнодушное к ней, как раз и есть тот первопринцип, который лишен и

37* В. Б. цитирует по русскому изданию Платона, отчасти используя свой перевод. См.: *Платон.* Сочинения в 3-х тт., т. 3 (2). М., 1972, с. 503.

всякого личностного, и всякого „душевного" содержания. Поэтому весьма характерно, что философия Платона, достигшая своего предельного развития, заканчивалась учением о вечных и божественных идеях как о числах»[38].

Это грустно. Не думаю, что причина этого срыва марксизм. Скорее то, что заметил Николай Гартман: материя как число это такой крутой взлет платоновской мысли, который до сих пор так и остался не понят. Если Лосев дал тут в сущности отписку, ничего не сказал, ⟨то⟩ потому что сказал *в своей сокровенной мысли* только указание на *одну и ту же строжайшую, жесткую дисциплину, одинаковую в строе античного полиса, смевшего и умевшего держать каждого, кто не рискует быть свободным и ответственным, в рабстве, и* ⟨это⟩ *та же, забытая нами дисциплина мысли, во всяком случае уж не уступающая строгости математики.* О дисциплине-то мы догадались, о школе непрестанного внимания. Об этом и у Платона конечно много. Ясно, что без школы, без строгой дисциплины нам не понять и загадки или задачки Платона, материя как число. Дисциплина тут условие необходимое, но достаточное ли. Нам может не хватить зрения.

Кто-нибудь знает, почему лес число?

Лес этимологически, думает Лебедев, это горючее. Мы греемся и освещаемся огнем, пожаром материи. Огонь по Платону это тетраэдр. Не что-то в форме тетраэдра, не тетраэдр, чем-то наполненный, а тетраэдр просто. И не так, что где-то непостижимо проходят процессы, и присутствуют первоэлементы, и неким их срезом, абстрактной функцией выступает, знаком или символом, тетраэдр.

К нашим трудностям, тупику собственно уже даже, прибавляется то, что если Платон понимает начало числа, единицу, как это называется, субстанциально, как простую собранность, как счастливую целость, как блаженное исполнение *всего*, то как он из такой единицы, которая явно единственная, равная максимуму вселенского целого, получит что-нибудь? как из такого строить, ведь для тетраэдра нужны минимум четыре точки разных? Мы влипаем в проблему разницы между субстанциальным так называемым «пифагорейским» и арифметическим числом, это совсем разные вещи; требовалось много осторожности, чтобы об эту разницу не обжечься.

Опять же нас предупреждает, уважаемый Николай Гартман[39]: «Die Theorie des „Timaios" stellt, inhaltlich betrachtet, eine Synthese

---

[38] *Платон.* Сочинения..., т. 3 (2), с. 638.

[39] *Nicolai Hartmann.* Zur Lehre vom Eidos..., S. 10.

von Atomistik und Ideenlehre dar, wie man sie bei der naturlichen Gegensatzstellung dieser beiden Lehrbegriffe eigentlich für unmöglich halten sollte. Eine grundliche Untersuchung des geschichtlichen Themas, das hier vorliegt, fehlt bis heute noch. Die klassische Geschichtsschreibung der Philosophie in den letzten hundert Jahren hat hier eine jener zahlreichen Lücken, die eine Folge ihres mangelnden philosophischen Problemverstandnisses sind»[40*]. Т.е. проблема не в методе и аппарате, а в излишке понимания: исследователю сразу слишком всё ясно, как к сожалению Лосеву ясна рабовладельческая суть идеи, он не видит проблемы там, где Платон видел, и может быть даже еще и доволен тем, как ее решил, а Платон не сумел, не смог разрешить противоречий. Между материализмом и идеализмом.

Из-за того, что «противоречия» между Платоном и Аристотелем в основном сконструированы, даже полезно наоборот читать их как дополняющих друг друга. Блестящее, характерное и признанное аристотелевское непризнание бытия за видами и родами, «животное вообще» существует только в воображении, вид ослов существует может быть в большей мере, но всё равно не вполне, и единственно *есть* только вот этот осел, и тот другой, — т.е. запрет, при разглядывании вот этого осла, с такими ушами и большими глазами, на гипостазирование ослиности, запрет на вынесение ее еще куда-то вовне за этого вот осла. Или пожалуйста, можно вынести осла вообще, считать ослов на один, два, три, но при этом надо помнить, что мы считаем то, чего нет, и берем на себя ответственность за то, что занимаемся тем, оперируем тем, чего *нет*. Вся прикладная математика будет рискованным делом, если забыть, что когда она считает «одна вещь, две вещи», всё равно какие, она *уже* тем самым скользнула в то чего нет.

А когда она считает без прибавления к числу того, чему ведется счет? В числе будет бытие, если мы будем видеть его как *вот это здесь*, т.е. как видим осла, т.е. без вынесения в общий вид или род числа. Здесь помощь от Аристотеля как будто бы обрывается, мы вроде бы (хотя тут может открыться неожиданность) должны теперь вернуться к Платону, чтобы увидеть число с такой же кон-

---

40* Перевод: теория «Тимея» представляет собой в сущности синтез атомистики и учения об идеях, синтез, собственно, невозможный, если иметь в виду естественную противоположность двух этих доктрин. Фундаментальное исследование данной исторической темы до сих пор отсутствует. Классическая история философии последних ста лет демонстрирует на этом месте один из множественных пробелов, которые являются следствием недостаточного философского проникновения в суть проблемы.

кретной вот-этостью, как осла. Можно ли увидеть число, вглядеться в него как в это вот лицо осла?

Можно, и странным образом этот опыт будет ближе к нам, сильнее заденет нас чем встреча с ослом.

Такой опыт невозможен с числом счетным, элементом математических операций, потому что любое число там как элемент числового ряда должно быть отвлеченным и обобщенным, *в качестве элемента ряда* ничем ровно не отличаться от другого числа, иначе ряд рассыплется. Но вот что: к нашему облегчению, нам не надо вводить различение между числом, с которым интимная встреча возможна, и математическим числом, потому что современная математика вполне обходится без понятия числа, имеет дело со структурами и процессами. Т.е. как геометрия отказывается от неопределимого, неопределенного понятия точки и пожалуйста готова говорить вместо «точки» «пивная кружка» по Гилберту Давиду (1862 Кёнигсберг — 1943 Гёттинген), так современный математический словарь не содержит понятия числа. Философия хотела отдать число математике, по крайней мере справочники общие и философские говорят: число «одно из основных понятий математики», но вот математика возвращает его, философии придется к нему вернуться, это еще один случай того, что раннее будет.

Аристотель имеет опыт бытия во встрече с *вот этим*. Платон — во встрече с идеей, или, поздний Платон, с числом. Как *вот это* не исчисляется, иначе перестает быть бытием, так платоновские идеи нельзя перебирать на счет один, два. Это то, что я называю выходом из метрического пространства. Попробуем, теперь, не спеша к чрезмерной уверенности, сказать: выход из пространства счета, учета, конструирования — это возвращение к раннему геометрическому числу. Я это говорю сейчас как задание себе на будущее. Как Платон давно зовет осмыслить число, так он же — и пересмотреть геометрию, я просто принимаю его задание, оставленное стариком в самом конце «Послезакония». «Чтобы подготовить натуры, способные усвоить эти знания, следует предварительно многому их научить и с детского и отроческого возраста приучить к настойчивому труду. Должны поэтому существовать науки. Главная и первая из них — это наука о самих числах, но не о тех, что имеют предметное выражение [в оригинале просто: имеющих тело], но о самом возникновении и силе нечета и чета, какую они дают природе вещей [я это понимаю в смысле сплошной симметрии сущего, она названа *настоящим числом*]. Кто это усвоил, тот может перейти к тому, что носит весьма смеш-

ное имя геометрии»[41*], она дело скорее божественное чем человеческое.

Сами числа, как *сама* геометрия, а не ее смешное понимание — это приглашение и задание нам. Попробуем подойти к этому заданию с довольно легкой сначала и бесспорной стороны. Уверенный счет вещей, одно окно, два окна, или — что в сущности то же самое — чисел, одно число, два числа, возможны потому что общности, обобщения как бы заранее уже готовы, и больше того, ожидают заполнения; можем представить себе вырытую яму, которую хочется засыпать. Кто подготовил, как подготовил ту яму, в которую бросают например натуральный ряд чисел; ряд может быть очень длинный, но яма всегда заведомо больше, как бы опережает его и приглашает в себя. Счет вещей, например звезд на небе, опять же будет иметь проблемы конечно не из-за нехватки места, так сказать, куда считать и складывать, а наоборот, из-за трудности считать.

И вот я хочу обратить ваше внимание вот на что. То, что можно было бы назвать «тягой ямы», или «тягой кучи», которая словно бы сама хочет быть больше, накопиться, если бы у нас не было разборчивости и протеста, сопротивления, нивелировала бы вещи больше. Пример наугад: лет триста назад счет населения как теперь был бы невозможен, слишком явной казалась разница между тягловым мужиком и женщиной, тем более стариком, ребенком, так что счет велся по существу семьями, или дворами. В теперешних переписях все классы населения как бы собраны вместе, выровнены. Чем обеспечена эта в сущности неограниченная тенденция охватывающего обобщения. Явно тем, что в конечном счете всё принадлежит к одному, совокупность всего-всего как бы втягивает в себя, просит перечисления, и с жадностью готова к наполнению, причем заведомо не надо бояться, что некуда будет класть, не в какое вместилище считать. Всё — всего много — принадлежит в конечном счете к одному, к одному миру, к одной вселенной. Мы всегда мало, недостаточно перечислили, относя к вселенной; в нее всегда входит, она вмещает, еще больше; всё можно обобщить в конечном счете тем, что всё входит в одну вселенную.

Эта мощь единства, целого, охватывающая, втягивающая, явно не может быть охвачена перебором. Вселенная такая куча, что сколько в нее ни клади, она вмещает всё равно больше. Заполнять единство количеством — явно неадекватный, ущербный или негативный, сбившийся способ откликнуться на вызов единства.

41* Ср.: *Платон*. Сочинения..., т. 3(2), с. 501.

Мы понимаем откуда берется сила числового ряда, его бесконечный запас: от негативного знания, что перечислением силу единства всё равно не вычерпаешь. Происхождение числа таким образом *негативное*, числовой ряд, бесконечный счет имеют в своей основе скрытую интуицию, что *можно* спокойно и без конца заниматься перечислением, у единства *хватит* силы для его обеспечения: перечислили все составные части и способности человека, но мало, они более дробные, и есть еще неоткрытые, неисследованные. — Аналогичное мы встречали во времени: его бесконечность обеспечена нашим непоправимым опозданием к событию мира; сколько бы ни прибавляли лет себе или человечеству, мы можем делать это уверенно и спокойно, именно из-за интуитивной, несознаваемой уверенности, что у события мира *хватит* запаса для его бесконечно долгого вычерпывания. Унифицированное, или официальное, время надежно обеспечено нашим опозданием, его счет не может никогда — и не должен никогда — кончиться.

Как кроме официального, нивелированного времени есть время-бытие, так кроме негативно обоснованной единицы счета есть единица, или ед*и*ница в опыте целого, но, как опыт бытия, он задевает нас очень близко, ближе, я сказал, чем задевает близкий живой осел: тот задевает скажем живое и вегетативное в нас, а опыт единства, по определению, всё, целое. Опыт единства тот же, что точки как сосредоточенности, внимания, молитвы как предъявления *всего* тому, кто ничто из всего и тем не менее имеет самое близкое и прямое из всего отношение ко всему.

Но мы пока не видим, как *эта* всеохватывающая единица может двигаться, образовать порядок, ряд или счет, а ведь пифагорейцы и Платон говорят о субстанциальных *числах*, а не о субстанциальной *единице*. Этот трудный вопрос на следующий раз.

Просьба о работах, на тему или вообще. Будет объявлен конкурс, по стране; поданные сейчас зачтутся.

5 (7.10.1997)

Загадку, которую поставил Платон, у которого на месте материи чистая геометрическая фигура, я догадываюсь как можно и нужно решить, как вообще мы о многом догадываемся: как Аверинцев говорит, что русские не то что сообразительны, но догадливы. — Но лучше бы я не догадывался. Без догадки, конечно, неясно где искать и главное незачем искать, ведь скорее всего ничего не найдешь. Но с догадкой хуже тем, что начнешь подгонять решение под ответ. — Моя догадка в том, что Платон всем телом отдает себя лесу, т.е. перестает ставить себя отдельно, лес как объект отдельно, а догадывается о сплошной, через воздух, воду, пищу, род, принадлежности всего всему; он перестает ставить себе вопросы, почему всё именно так, вверху небо, внизу земля: пьянеет как пифагорейцы и Парменид от самой такости всего, что всё именно такое какое оно есть; всё что он видит, всё что думает, сливается в опыте последнем, успокаивающем, опыте покоя и мира, что всё что есть, есть так, как оно есть, и всё что было было именно так как оно было, и всё что будет, как бы оно ни стало, будет именно так как будет. Этот опыт одновременно нравственный, принятия всего что есть, мистический, потому что открывает коридор в последнее, окончательное, полное божественное знание, предельное. У Бога в начале Книги бытия, когда Он говорит «Свет стань! Свет стал. Бог увидел свет, что он хорош», и то же обо всём, «стань» не конструирующее, инженерное, свету дается не дефиниция, чтобы возникло то, что отвечает дефиниции, по спецификации, по описанию, а свет уже есть, раз говорят, *Свет стань*. Бог сам захвачен экстазом тождества.

Слияние тут не только не ведет к стиранию всякой отчетливости, а наоборот, создает структуру тождества самому себе, того, того самого, именности, т.е. мы — опять-таки догадываемся — потонув в лесу, оказались в пространстве логики. Но логика, ее

основания те же что математики, или нет? Хороша была догадка, но мы вдруг в середине проблемы. Витгенштейн предупреждал, что с тождеством будет трудно, трудность начинается с ловушки, когда кажется, что в тождестве нет проблемы. Иметь в виду кроме этой еще и проблему отношения тождества к единству, а единства к числу я тоже должен, но вот уж взять и разобраться в этом — догадка перестает помогать.

Или сильно мешает, как в другом намеке, намеке креста. Крест дерево; ну конечно, скажут нам осведомленные люди, он кроме того знаменитое мировое дерево всех мифологий мира. К лесу поэтому он не только имеет отношение, но он вроде лес и есть. Of all discovered relics the most impressive was the True Cross, found in September 335 (or in 326, according to other accounts). Prompted by a dream, Helena, mother of the emperor Constantine, located the place where the Cross lay buried and had the wood unearthed. The power of the Cross, the history of the wood, and the story of its discovery became legendary. In Christian myth this relic of Christ's death dated back to the mortal origins of humanity. Innumerable cures attested to the authenticity of the Cross. Through the symbolism of the Cross early Christian imagery perpetuated, and at the same time transformed, the myths of the World Tree. The sacred drama of Christ's birth, death, and Resurrection participates in the rejuvenating rhythms of the fecund cosmos. Early Christians identified the Cross of Christ as the World Tree, which stood at the centre of cosmic space and stretched from earth to heaven. The Cross was fashioned of wood from the Tree of Good and Evil, which grew in the Garden of Eden. Below the tree lies Adam's buried skull, baptized in Christ's blood. The bloodied Cross-Tree gives forth the oil, wheat, grapes, and herbs used to prepare the materials administered in the sacraments that revitalize a fallen world. The Italian Renaissance painter Piero della Francesca later depicted the myth of the True Cross in his frescoes in Arezzo, Italy. They portray the death of Adam, fallen at the foot of the Tree that provides wood for the crucifix on which Jesus is slain. But the wood of the Cross becomes the instrument of salvation and the holiest matter in Christendom. Fabulous accounts and fantastic historical episodes surround the Cross[42*].

[42*] Перевод: Из всех найденных реликвий самой впечатляющей был Крест, обнаруженный в сентябре 335 (или в 326 г., согласно другим источникам). Елена, мать императора Константина, увидела во сне место под землей, где лежал Крест, и извлекла Древо на свет. Сила Креста, история Древа, и обстоятельства его обнаружения стали легендой. В христианском мифе эта реликвия, связанная со смертью Христа, восходит к началу существования смертного человечества.

Продолжим этот краткий экскурс в мировое дерево, миф первобытных, а мы уже не первобытные, ушли вперед и можем поэтому свысока посмотреть на лес, мировое дерево. Мы замечаем с высоты науки, что мировых деревьев два типа, одно вертикальное, другое горизонтальное. Различение это правда скорее для удобства описания и классификации, горизонтальное и вертикальное в мировом дереве переплетается, сливается. В Библии, в Книге Бытия оба дерева есть: древо познания вертикальное, по нему общение с Богами, и священность этого дерева только затемнена запретом, необязательным для мифологии нравственным оттенком. Офиты, змеепоклонники что сделали, просто сняли с библейского рассказа эту нравственную поверхность, оттенок преступления и восстановили вертикальное дерево в его вечной роли, связывать земной мир с божественным, подниматься до предельного знания, мудрости, знания добра и зла. Горизонтальное — это райское дерево жизни, источник плодовитости. Правда около него тоже запрет, срубать его: тогда прекратится размножение, изобилие. Не так давно по телевизору можно было видеть интервью с одним из немногих сохранившихся первобытных мудрецов: для него жизнь это лес, европейцы, всей повадкой, манерой, одеждой уже не люди леса, для него мертвые и вестники смерти.

В скандинавской, норвежской мифологии Yggdrasill, в старом норвежском говорили не Иггдрасил а mimameidr, гигантский ясень, впитался корнями в три мира, Niflheim нижний мир мрака, Jotunheim мир гигантов и Asgard город асов, богов. Так же и три ключа у корней мирового ясеня, Urdarbrunnr ключ предсказания, Mimisbrunnr мудрости и Hvergelmir страсти, Кипящий Котел, место жительства чудовища, которое странным образом занято тем,

---

Бесчисленные исцеления свидетельствовали о подлинности Крестного Древа. Раннее христианство со своей символикой Креста продолжило и вместе с тем трансформировало миф о Мировом Древе. Сакральная драма рождения, смерти и Воскресения Христа встраивается в ритмически обновляемую жизнь космоса. Ранние христиане отождествляли Крест Христов с Мировым Древом, помещавшимся в центре вселенной и простиравшимся от земли до неба. Крест отождествлялся с древом познания добра и зла, которое росло в Эдемском саду. Под деревом погребен череп Адама, крещенного кровью Христа. Истекшее кровью Крестное Древо с тех пор дает елей, хлеб, вино и травы — вещества, используемые в приготовлении таинств, призванных оживить павший мир. Художник итальянского Возрождения Пьеро делла Франческа изобразил миф о Кресте на своих фресках в Ареццо (Италия). Они представляют смерть Адама, павшего к подножию Древа, а оно прообразует дерево распятия, на котором умер Иисус. Но Крестное Древо становится инструментом спасения и самой почитаемой святыней в христианстве. Его окружает множество удивительных легенд и фантастических исторических эпизодов.

что грызет — Nidhogg подтачивает корни мирового дерева. По основной классификации это будет конечно дерево вертикальное. Как в Библии, норны, которые находятся у Иггдрасила вблизи Urdarbrunnr, связаны с добром и злом; как Сократ, они помогают при родах.

Когда будет конец света, Rognarök, могут погибнуть и боги, как в «Гибели богов» Вагнера, но хотя и пострадавшее, мировое дерево останется, космическое дерево, и родит двух существ, Lif, Жизнь, и Lifthrasir, Жизненную силу, от которых снова пойдет человечество. Дерево прочнее богов — как в офитском прочтении Библии Бог создает собственно только горизонтальное дерево материи, жизни, а вертикальное дерево, которое дает угадать предел божественного, Богом не открыто и открыто быть не может.

Обычно дерево пронизывает, одновременно сцепляет разные ярусы, уровни жизни. В сибирских религиях, на Алтае, дерево устанавливается в отверстии в крыше шатра, оно под крышей в человеческом мире, выше крыши в космическом и божественном, и дым от печи внутри, оплетая дерево, поднимается в верхние ярусы. Сам шаман тогда путем, указанным дымом, поднимается к верхнему миру по мировому дереву. Конечно он при этом рискует вдвойне, как бы умирает для человечества на дереве.

Шаман при этом приникает к дереву, сливается с ним или мы можем сказать распинается — поскольку он страшно рискует и физически и духовно — на нем. Это приникание шамана к дереву наводит на мысли об отношении Распятого к дереву креста. Дерево его поднимает, они становятся одно. Вместо того чтобы стремиться прочь от креста как орудия смерти Христос льнет к нему, соединяется с ним. — Эта тема слияния, даже тождества Христа с крестом есть в необычной деревянной из вяза скульптуре 1939 года Осипа Цадкина, или Задкина во французском произношении — он родился в 1890 в Смоленске и умер в Париже в 1967, все его знают по знаменитой скульптуре «Разрушенный город» 1951 г. в Роттердаме, разорванная человеческая фигура с протянутыми в ужасе руками. «Христос» Задкина из вяза как будто бы в позе судорог, но его руки похожи на голые ветви дерева. Это слияние с крестом было больше на совсем ранних дошедших до нас распятиях. На них Христос и живой и не с опущенными в смертном томлении, а раскрытыми глазами; крест как бы место проявления его божественности, и руки он раскидывает намеренно.

Этому соответствует, с другой стороны, со стороны креста, то, что сейчас скорее забывается и что Флоренский в своих мыслях о божественности креста должен уже реконструировать: дерево

креста имеет божественные черты, оно животворит, т.е. сам крест, это дерево, как божественное тело. Крест был вообще *главной* ведь реликвией христианства, от знания слияния божества с его деревом.

В кресте видят оба дерева, часто говорят о его горизонтали как норме человеческого мира, о вертикали — норме человеческого стояния перед Богом, которое не зависит от горизонтали и поднимает ее уровень, здесь могут быть разные благочестивые и красивые схемы. Из всего этого веера схем, соображений, мифологем, или еще какого-нибудь мистического знания, нам важно, мы цепляемся за одно-единственное: крест неожиданным образом указывает в ту же сторону, что Платон с его тетраэдром на месте первой материальной стихии, огня: крест явно дерево, или мировое дерево, и он же отчетливая геометрия. Дешевое, в общем-то распространенное решение: дерево материал, крест форма; форма привнесена к материи, наложена на нее. Пойти на такую дешевку — и мы сбросили одну проблему, можем перейти к другой. Беда в том, что тогда и любую другую задачку мы сможем так же быстро решить, т.е. мы окажемся в незавидном, несчастном положении историка культуры, историка мысли, для которого проблема только «в охвате и презентации материала».

Ну и что, что если мы упрямо откажемся принять дуализм материи-формы, то прощай вся привычная история философии, история культуры. Бог с ними, останемся с пустыми руками, это лучше чем с целым музеем на руках, в роли музейных смотрителей. Лучше с пустыми руками под открытым небом. — Не будем делать простой глупости, думать, что Платон сначала выбрал в схеме материализм-идеализм один полюс и всё что говорил уже подгонял под него. Деление на материализм-идеализм много *после* и мельче глубины Платона. Его загадка с материей как чистой геометрией — *та же самая* что тайна креста. Крест не схема, элементарный рисунок мирового дерева, его абстракция, а крест *и есть* лес; не его надо объяснять из мирового дерева, а наоборот, что-то понять в мировом дереве, если удастся, то из креста, или вовсе не удастся.

Итак, опять будем топтаться на месте лучше там, где мы споткнулись. Лес первобытный, беспросветный, лес поздний, мегаполисов, табак, вино, наркотик одинаково выводят из метрического пространства, в лесу нельзя ориентироваться. Лес в кресте, в тетраэдре чистая гео-метрия. Мы пробиваемся путем различения числа и числа, онтологического и арифметического. Математика оказывается не знает что такое число и отдает его философии. Тем

лучше, проще для нас. Мы тогда обязаны построить теорию числа. Расхожая теория числа, обобщения из опыта, — мы якобы считаем пальцы, овец, потом отвлекаемся от пальцев и овец и получаем чистое число, — мы это отбрасываем сразу как одну из путающихся под ногами глупостей. Во-первых, чтобы начать считать пальцы или овец, надо уже чтобы с ними была сделана нивелирующая операция, т.е. они уже должны быть вогнаны в пространство счета, абстрактный счет стало быть был *сначала*, раньше чем конкретный. Во-вторых, если счет абстрагирование от конкретного счета, то откуда взялся бесконечный натуральный ряд? Ведь на опыте никто ничего бесконечного не насчитывал, и количество любых вещей в мире скорее всего ограничено, *так что в опыте никакого основания для бесконечного ряда чисел нет*, он взялся из другого источника, мы прошлый раз начали его разбирать.

Мы говорили о приглашающей, втягивающей силе целого: оно хочет быть названо, перечислено, при том что заведомо перечислением не может быть исчерпано. На каждом шагу эта недостаточность перечисления для целого ощущается. Например: в коллективе столько-то членов; тут же добавляется: он коллектив конечно больше чем механическая сумма, прибавляется новое качество. Оно прибавляется оттого что количество переходит в качество? Это плохой закон диалектического материализма, от плохого зрения: новое качество получается не от количественного прибавления, а оттого что рассматриваемое множество незаметно, нечаянно подтягивается к единству; целое начинает в нем светить больше.

Точнее сказать, зрение переключается, происходит смена аспектов: с одного единства на другое. Охватывающая, втягивающая мощь единства однако не может быть охвачена перебором составных частей. Вселенная это такая куча, что сколько в нее ни клади составных частей, она вмещает всё равно больше. Так же по существу со всяким единством. В семье просвечивает род. *Здесь* надо искать причину «неисчерпаемости природы». Клетка не может быть сконструирована из элементов, потому что она единство. Почему она единство, другой вопрос; на него так же трудно ответить, как невозможно создать единство, целое: оно должно быть найдено, угадано. Само себя высветить. Найти элементарные частицы, нейтрино или кварки, невозможно из-за «естественного» метода физики: она потому естествознание, что просто не умеет, не должна, не училась иметь дело иначе как с чем-то целым; целое, единство — всякое — по определению не может быть механически сложено из частей. Так странно устроено *всякое* целое в

природе. Вопрос о неуловимости целого в природе и другой вопрос о целом в технике, например в отношении колеса очень прекрасно можно перечислить и сказать, из скольких каких частей оно состоит, я сейчас просто не могу поднять. До другого раза.

Пока будем держаться нашей ниточки, почему, как лес оказался геометрией. — Заполнить единство количеством и хочется, и колется, ведь на единство как-то надо откликнуться, оно вызывает — но едва ли не самый целомудренный путь, спасения мысли, это оставить единство в покое.

Мы его и оставим в покое, но всё равно, возимся ли мы с ним или оставляем в покое как мир, так и так оно остается неприступным, но мы понимаем происхождение числового ряда и его силу, его бесконечный запас: от негативного не обязательно осознанного, а может быть интуитивного знания, что перечислением силу единства всё равно не вычерпаешь. Поэтому спокойно, перечислению конца не будет.

Происхождение числа таким образом негативное. Числовой ряд с бесконечным счетом имеют в своей основе скрытую интуицию, что *можно* спокойно без конца заниматься перечислением, у единства *хватит* силы для обеспечения любого перечисления. Перечислили все составные части и способности клетки, но мало, есть более дробные и есть открытые, неисследованные. — Аналогичное мы встречали в счете механического времени. Его бесконечность обеспечена непоправимостью нашего опоздания к событию мира. Сколько бы ни прибавлять лет себе или человечеству, мы можем делать это уверенно, именно из-за тайного знания неведомого происхождения, что у события мира хватит запаса для его бесконечно долгого вычерпывания. Равномерное движение унифицированного или официального времени надежно обеспечено, опять же негативно, нашим опозданием (тем что земля, мир уже были, когда мы пришли), его счет не может никогда кончиться.

Как кроме официального, нивелированного времени негативного происхождения есть позитивное время-бытие, так кроме негативно обоснованной единицы счета есть единство целого. Пользуясь выражением Витгенштейна, всякая единица счета это проба, или мера целого, неприступного: мы к нему подходим и так и так, именуя его числом нашим пробным. Чем больше мы оперируем этими мерами, пробами единства, тем больше опыт единства отодвигается в непривычное, чем мы обычно не заняты, с чем не умеем иметь дело. Платон уже должен *вспоминать*, что опыт числа нас касается ближе и полнее, чем скажем опыт встречи с ослом. Тот задевает скажем живое, вегетативное в нас, и не всегда; а

опыт единства задевает нас всегда и в целом. Опыт единства одновременно и редчайший и всё определяющий, как точки мы ставим после всякой фразы, везде можем поставить и где угодно, а обеспечение точки, опыт сосредоточенности, мы из-за полной отвычки оперировать с ним даже и не замечаем. Молитва как предъявление всего тому, что ничто из всего, бывает нашим делом крайне редко, мы заняты обычно другим; но на самом деле мы показываемся всегда, позируем всегда, только запутались в том, кто мы, позирующие, и перед кем позируем. Для ребенка например лицо того, кому он всё сообщает и перед кем позирует, до эмансипации от семьи сливается с лицом родителя, просто потому что родитель навязал себя, свою тематизацию постоянно, а Бог себя не навязывает.

Итак, число это мера единства как целого. Не наоборот, не единство мера числа, мерное число от единства отличается другим пространством, негативным; тень ориентируется на дерево, а не дерево на тень. Но, увидев это, мы всё равно пока не видим, как эта всеохватывающая единица может двигаться, образовывать порядок, ряд или счет. Мы пока видим только *одну* единицу, а ведь пифагорейцы и Платон говорят о субстанциальных *числах*, не только о субстанциальной единице. Я понимаю одно целое. *Два* целых, поскольку два, целым быть вместе и по отдельности сразу перестанут, разве не так?

Субстанциальные числа трудный вопрос, у меня совсем нет уверенности, что удастся его решить; может не хватить внимания, оно рассеется на другое. Подвертывается сказать, что нет вовсе никаких таких чисел. Главное, нет и догадки о том, как он решается. Поэтому я буду пока ходить вокруг да около. Негативная догадка всё же есть, вот какая. Аристотель явственно и отчетливо говорит о числе как материи, ἀριθμὸν ... ὕλην τοῖς οὔσι (986a 16—17), но — в контексте критики пифагорейцев и Платона![43*] Число и эйдос для него как бы одно, см. перемежающееся применение этих терминов в Мет. А 6 и др. Так по крайней мере считается. Считается, что прислушавшись, как мы сделали, к мысли Платона, что лес число, мы получаем в критики Аристотеля.

Эта проблема вот уж действительно от которой нам не отвертеться сейчас. Потому что сказать «мы в данном случае встаем на точку зрения Платона и против Аристотеля», вот уж это было бы

43* См.: *Аристотель*. Сочинения в 4-х тт., т. 1. М., 1975, с. 76. В цитатах из этого и других изданий Аристотеля в квадратных скобках — уточнения переводчиков.

противно, пускаться в переборы мнений. Или мы с аристотелевской критикой Платона должны согласиться, или не согласиться. Возразить Аристотелю мы опять-таки не можем по типу «Аристотель ошибся в том, что...не учел того...не понимал этого». Смертельной тоской нам свяжет язык, «опровергать» так мыслителя, который жил две тысячи триста лет назад. Единственный достойный, красивый выход из положения перед аристотелевской критикой пифагорейства — или честно выбросить раз навсегда из головы всё, что наговорено о числе внутри леса, о лесе как числе, или — *у самого Аристотеля увидеть именно это, лес как число, лес как крест, чистую геометрию.*

И как будто бы сразу за нашу смелость мы получаем какое-то вознаграждение, хотя тема материи у Аристотеля относится к самым трудным. Трудности двух родов: Аристотель не обязывает себя, если он предложил какой-то тезис, всегда помнить об этом и не предлагать другого, его истина в движении; и второе, для самого Аристотеля трудность та, что первая материя должна быть не «такая-то», потому что тогда будет мыслима и «другая», т.е. материй окажутся две и больше; первая материя тогда стало быть одна; откуда же берется различие веществ. От разной структуры этой первой материи? Но сказать, что в ней уже готовы для дальнейшего формирования какие-то ранние структуры, значит опять уже иметь дело со... структурами, а мы хотели иметь дело с чистой материей. Разная материя у Аристотеля действительно есть, но разница создается глубиной нашего вглядывания в нее: ближайшая материя для болезни например человек, но сам человек это эйдос, и материя отдаляется.

В чем Аристотель будет, как это понятно и как мы можем предвидеть, определенен, это в отказе выносить материю куда-то за пределы вещей и отдельно от них. Как нет никакой ослиности иначе как воображаемой вне вот этого осла, так и материя будет или *вот эта* или она будет мыслительным конструктом. Мы понимаем тогда, почему Аристотель будет определенно и резко возражать, как в начале кн. 2-й (B) «Возникновения и уничтожения»: «Ошибаются те, кто помимо названных нами [четырех элементов] признают одну-единственную материю, телесную и отдельно существующую» (329 a)[44*]. Главное аристотелевское возражение тут же против нее: такая материя продублирует уже известные стихии, она будет или легкая как воздух, как огонь или тяжелая как земля и так далее, может быть еще более простая чем стихии,

[44*] См. там же, т. 3. М., 1981, с. 417 сл.

но во всяком случае не другого рода чем они. Почему? Разве Аристотель не может себе представить неощутимую материю? Мы как будто бы очень даже можем — скажем радиация неощутимая. Ультрафиолетовые и инфракрасные лучи неощутимые. Квантовые скачки неощутимые. Почему для Аристотеля тело, а любая материя первая будет тело, «не может существовать без воспринимаемых чувствами противоположностей» (329 а). Потому что чуткость была тоньше. Радиация из-за ее последствий для тела считалась бы безусловно ощутимой: граница ощущения проходила дальше. То же — ультрафиолет: «другой» свет, или «другой», «верхний» огонь, эфирный, ощущался, так сказать, сменой настроения раньше, чем замечали, что он вызвал загар. И мы неправильно думаем, что квантовая механика как мыслительный (это другое чем математический) аппарат не разрабатывалась античной мыслью в теме автомата и самопроизвольности: мыслительная постройка такой сложности *была*, скажем в учении о душе. Когда Аристотель говорит «восприятие чувствами», он включает интуицию, настроение, во всяком случае больше чем только сейчасное воздействие на органы чувств. Если душа есть неким образом всё, то всё по-разному и по-своему ее коснется. Наше современное опасение, что где-то втихую и втемную кем-то инопланетянами правительством мафией международным заговором делается что-то, что мы не слышим, не знаем, не чувствуем, на что не можем повлиять, или в глубинах вещества происходят процессы нам недоступные, Аристотель назвал бы наведенным, суеверием. Всё меня по-своему задевает, на всё я по-своему и эффективно отвечаю, «влияю», лишь бы я не закрывал глаз, не заглушал себя шумом. Возражение Аристотеля против геометрической материи Платона именно то, что материя будет тогда отдельно от задевающего меня так же, как абстрактные величины меня не задевают. Но, мы говорили, тождество, единство как раз задевают *всего* меня больше чем близкий встречный осел? Опять мы возвращаемся к проблеме так называемых субстанциальных чисел. Вот оказывается в чем дело. Числа для Аристотеля отдельные, как геометрические фигуры. Поэтому он без объяснения отвергает снова и снова: «невозможно, чтобы плоскости были „кормилицей" и первой материей», против платоновских тетраэдров (329 а). Бытие — это полное бытие, т.е. вещей. Тогда вещи надо понимать как-то иначе! Так они и понимаются: они не отслаиваются от эйдосов. Тогда там надо искать то, что мы угадываем у Аристотеля, всё-таки бытийные числа, числа как бытие? Наверное.

Пока, если Аристотель называет что-то «существующим», то так сказать автоматически придаст ему полноту бытия, не будет искать существующее среди мыслительных абстракций. «Мы утверждаем, что [действительно] существует некая материя воспринимаемых чувствами тел, но она не существует отдельно от них и ей всегда сопутствуют противоположности; из этой материи происходят так называемые элементы» (329 a).

С большим заходом, с хорошим размахом Аристотель подходит к материи в начале «Физики», и много говорят самые примеры, которые он дает там для материи, или субстрата, подлежащего, hypokeimenon, то, что *лежит под*. Это примеры — оба образования, сначала возникновение образованного человека из необразованного, потом образование образа, статуи из меди. Мы говорим: из необразованного стал образованный. Необразованный был субстратом, подлежащим в образованном? Нет, потому что необразованного не стало, а под-лежащее потому так и называется, что оно остается лежать-под. С другой стороны, мы не говорим: из человека стал образованный. Так сказать — это как бы иметь в голове: сам по себе человек сначала всегда необразованный. Мы этого как раз не знаем. Он может быть еще-не-образованный, но не обязательно природа человека быть невежей. Другой пример: из меди возникает статуя. Образ из бесформенного? Вот тут надо различать. *Как человек вовсе не обязательно прежде чем стать образованным был невежей, так и медь вовсе не обязательно до придания ей образа скульптором безóбразная.* Это нам по небрежности кажется. Безóбразность не больше природное состояние меди чем скульптура, как медь не обязательно всегда бывает скульптурой, точно так же она не обязательно безóбразна. Безóбразие не субстрат статуи. Ее субстрат медь.

Заметьте: человек не в каком угодно, не в безразличном отношении к образованному; не бессмысленно сказать, что человек хочет, тяготеет к тому чтобы быть образованным. Материя не хаос. Не бессмысленно, например скульптору, сказать, что медь хочет быть статуей. Третий пример субстрата у Аристотеля проясняет эту ситуацию. 190 b: всегда ведь лежит в основе что-нибудь, из чего (происходит) возникающее, например растения и животные из семени. В этом третьем примере субстрата уже совсем ясно, что «подлежащее» имеет в себе запас движения. Человек тянется к образованности, как семя к развитию в живое существо; для того чтобы понять, что медь тянется к образу, мы должны вспомнить, что греков вовсе не занимал микромир: их мир был для них и микроскопом и телескопом. Медь тянется к образу —

в эту мысль Аристотеля теперь надо возвращаться, проникать через современные физические теории самоорганизации, спрашивая, правда, как физики не умеют: что такое *само-*.

Прочитаю, для повтора и затверживания сказанного, длинную цитату, там же 190 b, именно ничего нового не говорящую: «Из сказанного, таким образом, ясно, что всё возникающее всегда бывает составным: есть нечто — возникающее и есть то, что им становится, и это последнее двоякого рода: или субстрат, или противолежащее. Я имею в виду следующее: противолежит — необразованное, лежит в основе — человек...», повтор: материей для образованного, не ошибитесь, был не хаос невежества, а человек; хаос невежества это противолежащее образованности, заложенное так сказать вовсе не в самом человеке, а парадоксально сказать в образованности: пока не поставлено цели образования, не было и невежества; «...бесформенность, безобразность, беспорядок есть противолежащее, а медь, камень, золото — субстрат»[45*]. А мы обычно думали что сама материя хаос. Ее преодолевает эйдос. Вовсе нет. До эйдоса материя не хаос. Как только на сцене появляется эйдос, появляется и бесформенность, безобразность, беспорядок.

Теперь, если как семя хочет развернуться, так всякий субстрат уже хранит в себе это движение? — Так именно оно и есть, мы читали из первой книги «Физики», а во второй материя и движение так и будут поставлены рядом: 200 a 31[46*], материя и ее движения, лес и его история. Если лес как семя, то он имеет свою историю развертывания.

[45*] См. там же, с. 76.

[46*] См. там же, с. 101.

6 (14.10.1997)

Подлежащее и противолежащее, ὑποκείμενον и ἀντικείμενον, нам предлагается различать эти две вещи. — А на кой черт нам их различать. Такой вопрос, и чем грубее и резче он поставлен тем лучше. Зачем мы вообще что-то делаем. А Бог его знает, мы всегда что-то делаем. Что-то. *Что* ты делаешь. — Я учусь, делаю это *что*, учусь. Раз я его делаю, значит этого *что*, что я делаю, еще нет. Я это *что* мое стало быть делаю из ничего? Нет, не из ничего, Бог творит из ничего. А я из чего делаю это мое *что*? Из какого-то другого что. Я борюсь, я побеждаю свою неученость, преодолеваю ее, становлюсь ученым. Ученье свет, неученье тьма; per aspera ad astra[47*]; что мы, вся Россия преодолевает свою отсталость и учится.

Господа, останавливает нас не когда-то, а сейчас в нашей горячке Аристотель, но ведь если бы вы, никто, никакая Россия, не учились, не имели в голове этой идеи, то не было бы и вашей необразованности. Вы поголовно одержимы идеей учения, потому вам и приходится преодолевать тьму невежества; вы и вечно будете ее преодолевать; раз она была до учения, то учением будет только потеснена, никуда не денется и так навсегда и останется. Вы спутали две вещи, противо-положное и под-лежащее. Противо-положное учению вы сами положили учением, до учения невежества не было, и после учения его не будет. *Настоящее* подлежащее, которое было до учения и остается во всё время учения и останется после него, это человеческая материя, человеческий лес. Он под-лежащее и невежества и культуры, т.е. *одинаково* основание того и другого. Лес как-то сразу, сам собой умеет быть и не своим, говорят: страшным, темным, глухим, и своим; хорошим или плохим. Русское слово «здоровый» этимологически зна-

---

[47*] Перевод: через тернии к звездам

чит «из хорошего дерева, хорошего леса». Увидеть так сказать «человеческий материал».

До чтения важного конца кн. II Физики, гл. 7—9, еще раз, по описанию Аристотелем своего метода в самом начале Физики, убедимся, что он никогда не будет, в отличие скажем от Евклида, у нас *просить* что-то сделать, он всегда сначала обратит внимание на то, что мы *уже и так делаем*, и заметит чего мы пока еще не замечали, но что заметить-то и надо было прежде всего. Это более исходная феноменология чем у Гуссерля. Чистая феноменология Хайдеггера это возвращение от Гуссерля к Аристотелю, причем отчетливое и намеренное. Я помню, как Чанышев[48*] удивленно посмотрел на меня, когда я назвал Хайдеггера самым верным интерпретатором Аристотеля. Лучше бы он удивился вот чему: один из самых ранних курсов Хайдеггера, зимний семестр 1921/1922, называется «Phanomenologische Interpretationen zu Aristoteles»[49]. *Никакого* привычного изложения Аристотеля там нет. Появляется еще в первичном виде, скажем когда на месте Dasein стоит Leben, но тут же через знак равенства пишется Leben = Sein, весь пейзаж «Бытия и времени», жизнь и мир, забота, событие, наклонность, «легкое» предлагается как термин Аристотеля, но тут же оказывается в структуре заботы как упущение самости, вроде бы аристотелевское «движение» в контексте от-даления, снятия дали, потом «крушение», которое станет падением, — и раз мне самому при первом бездумном перелистывании показалось, что молодой приват-доцент увлекся, с объявленной темы соскользнул в свое, то наверное и многим это покажется, а не у всех уже будет найдется время всмотреться и разглядеть: да это же *единственный настоящий* Аристотель и есть[50*].

То, что Аристотелем было введено понятие леса, связано с возвращением Аристотеля к феноменологии (я не оговорился). Где бы мы ни остановились, чтобы обратить внимание, *о-казывается* так много всего, что до конструкций дело не доходит; среди такого богатства зачем еще вводить какие-то приватные поделки, они смешны, ненужны, — *так много* всего еще слабо сказано: лучше сказать, *не вычерпать никогда* сколько всего, потому что за что бы мы ни взялись, под этим, в «под-лежащем» окажется «то, из чего».

48* Арсений Николаевич Чанышев (1926—2005) — профессор, доктор философских наук, с 1955 г. преподаватель философского факультета МГУ (кафедра истории зарубежной философии).

49 GA 61, 1985.

50* См.: *В. Бибихин.* Ранний Хайдеггер. М.: ИФТИ св. Фомы, 2009, лекция I.12.

В ὕλη собран обычный, первый опыт всякого *образования*: мы образуем, строим, рисуем, воспитываем (образовываем), тем же занята, как наша «техника» в широком смысле, и природа. Из чего? Оглядываемся, ища материал. Для педагога материал ученик, но ведь учитель не всякого ученика с равной охотой берет. С каждым по-разному. Материя названа у Платона *вместилище*, приемница, мать. Всё ли она безразлично вмещает. Наверное всё-таки нет. Но пред-находимая данность, под-лежащее, наш лес диктует, как себя вести? всё говорит что нет, и опыт, и интуиция, и авторитеты.

Поэтому оказываемся с негативным приобретением на руках — тоже результат как все другие. Запрещено *справа* думать, что идея, эйдос, замысел, форма ждут от нас только настойчивости, чтобы мы их «осуществили»: ничего не выйдет, если мы не обратим внимание на материю, первобытный лес. Т.е. неверно, что, как недавно я слышал в выступлении одного доброго итальянца, «дух возобладает над материей». Никогда дух не возобладает над под-лежащим; оно как лежало-под, так всегда и будет; самое большее, что дух возобладает над своей противоположностью, бездуховностью. Но материя, неопределимая, это бездуховность ничуть не меньше чем духовность. И запрещено *слева* думать, что под-лежащее надо подождать, как оно заговорит в нас. Так, я цитировал дневник одного пившего человека[51*], «нет ясности», констатировал он и уходил в лес глубже, «всё нет ясности», и снова пил, пока уже не имел сил констатировать что-нибудь. Запреты справа и слева, ни туда ни сюда. Это значит что всё в порядке, мы в а-пории, безвыходности, значит спокойно там, где и надо быть.

Между прочим просто другое лицо *той же самой* ситуации — отсутствие точек отсчета, абсциссы и ординаты, в письме Аристотеля. К сожалению ⟨...⟩ историки философии заняты в основном и ненужным и вредным делом предложения этих точек отсчета: мнимых, конечно, потому что за опору принимаются расхожие, якобы понятные понятия. Сцена Аристотеля меняется с каждой сменой аспекта, вида; а смена аспектов, или докс, как мы знаем от Витгенштейна, или Платона, никогда не перестает, это настоящий, т.е. спонтанный автомат, как статуи Дедала.

Я надеюсь, что те, кто смотрел к сегодняшнему разу «Физику», не так уж сразу стали читать с II 7, а не пропустили начало, где методические замечания. Соль первого, «научное познание

51* См.: *В. Бибихин*. Чтение философии. СПб.: Наука, 2009, с. 142.

приходит от познания причин, поэтому в физике обратимся к ним»[52*], в решительном жесте, как захлопывании двери: хватит, надоело: физики только путают всё, представляя свое знание как первое, исходное; по-настоящему с безосновным, с бездной, с тайной они дела не имеют, срываются на причинные цепи; настоящая первая философия это всё-таки мета-физика, а для отрезвления физиков, даже если в их сочинения и вплетены какие-то метафизические прозрения, объявить их науку и рассматривать их науку как причинно-следственную, как механику. Захлопнуть перед физиками дверь в метафизику. Начало «Физики»: сами виноваты; получайте то, на что всё время скатывались, не чистое вглядывание, чистую феноменологию, как в метафизике, а учение о причинах, началах и элементах.

Дальше в той же первой главке первой книги Аристотель так же сердито продолжает, развертывает ту же мысль; а что вы хотели, начинать что ли с божественного знания? Никто не может начать ниоткуда иначе как от своего знания; для чего нам и нужны науки и методы, чтобы от своего теперешнего знания, ближайшего сейчас для нас, пробиваться к тому, как оно и есть «по природе».

Этим трезвым рассуждением, что у нас есть то что есть и ничего другого в руках нет, отменяются довольно глупые воспарения, на что мы должны опереться, на доксу или на истинное знание, или позитивно или негативно отношение Парменида к доксе: разумеется позитивно; истинное знание оно может быть и хорошо, но никакого выбора для нас нет, потому что ничего кроме меняющейся доксы у нас в распоряжении нет; хороша она или плоха, отталкиваться нам кроме как от нее не от чего, а истинное знание нам только и дано как докса об истинном знании, как один его аспект.

Дальше у Аристотеля то, что я говорил прошлый раз от себя, не ссылаясь на него: наше зрение устроено так, что мы сначала схватываем *целые*, единства. Хорошо это или плохо, вопрос ненужный: так обстоит дело, и рассуждать нечего. Кому удастся увидеть, услышать *не* целое, не единое, то скажите мне. Мы можем уверенно говорить, что это черта человеческого глаза, потому что с самого раннего возраста человеческие дети иначе вроде бы и не могут смотреть как выуживая, извлекая в мире большие целые: одним словом обозначается например летание и всё летающее от комара до самолета; словом «два-четыре» всё счетное,

---

52* См.: *Аристотель*. Сочинения..., т. 3, с. 61.

цифры, повторяющиеся предметы как ступеньки лестницы, деньги и *любые официальные документы и справки*, в которых дети тоже угадывают счет и учет.

В этом детском видении есть завораживающее, гениальность. Если удастся его сохранить, то возникнет архетипическое зрение, как у Гёте и у Данте.

Что около пяти лет, возраста, по Фрейду, древнего человечества, с человеком что-то происходит, крупная ломка, это мы угадывали, и сейчас наталкиваемся на еще одно ясное подтверждение. Детское целое зрение, красивое, захватывающее, не меняясь вдруг портится, надламывается. Совсем маленький ребенок «сначала», πρῶτον, неважно долго ли, главное что *сначала* так, называет всех мужчин *папа*, всех женщин *мама*, «впоследствии же различает из них каждого», опять же неважно когда, важно что раннее целое распадается и должно распасться.

Этот пример Аристотеля[53*] крутой, настоящая аттическая соль, когда стелют мягко и словно наивно, а уснуть нельзя, невыносимо жестко. Ведь в самом деле называть всех *папами* скандал, даже самый скверный, на нем стоит самая злая русская матерная брань. О том, что такое на самом деле греческая философия, можно прочитать в уже упоминавшемся курсе Хайдеггера, или догадаться по тому, что этот же злой и скверный скандал стоял в самой середине всей греческой гносеологии. Знание различалось на законнорожденное, когда отец известен, и незаконнорожденное, когда отец неведом, неизвестно откуда знание пришло. От конца первой главки «Физики» мы снова отброшены к его началу: к вопросу о *виновнике*, причине.

Позорно не знать, кто из мужчин твой отец. Но это знание настолько интимное, что со стопроцентной достоверностью даже современная биология такой факт установить не может. Решает, до сих пор как и во времена Аристотеля, интимное знание. Семейное сходство, по Витгенштейну, формализации не поддается. Вот оно, чувствуется, но в чем оно? Как первое внимание, так и последнее понимание остается за чувством, для точности можете добавить с Аристотелем — умным. В нем последняя конкретность, т.е. по Аристотелю бытие.

Что же выходит. И правильно, и неизбежно схватывать сперва и вообще всегда целое. Как-то вдруг схватывание целого сбивается на «в общем и целом», τὸ ὅλον на τὸ καθόλον, благородный взгляд с высоты птичьего полета — на позорное или самое позор-

---

53* См. там же.

ное что может быть, на свалку, συγκεχυμένα (184 a 22)[54*], когда все отцы смешались. С этой свалкой мы прежде всего всегда и имеем дело, на свалке живем, Земля по Аристотелю космическая свалка, куда вниз падает всё и смешивается. С этого начинаем, и обязаны «от общего перейти к каждому-подробному-конкретному», т.е. говоря проще всё-таки постарайтесь среди мужчин найти своего отца, достоверного, допустим безусловно веря матери.

Пока, улавливая у Аристотеля эту жесткую крутую строгость, мы похоже еще не сбились с пути, хотя цели еще не видно, наша цель вы помните как это называется в истории философии «примирить Аристотеля с Платоном» в нашей теме тоже, т.е. найти у Аристотеля согласие с материей-числом. Пока Аристотель, проведя различие между хаосом-бесформенностью и материей, что «свалка» не в материи а в нашем восприятии, настроив на искание конкретно-подробно-каждого, ведет нас в ту сторону, где мы ищем.

В том же ожидаемом нами направлении о материи, т.е. субстрате. Кто прочитал начало «Физики», помнит, что после перебора мнений как самое надежное и древнее, это как бы одно и то же, Аристотель оставляет триаду, три: «И похоже древнее и это учение, что единое и избыток и убыль суть начала сущего» (189 b 11—13)[55*]. Избыток и убыль неравновесные состояния и зависящие друг от друга, они же и возникают из единства и возвращаются к единству. Здесь даже, для слишком смелого толкования этого места, субстрат, материя, оказывается единством, которое выходит из равновесия, но чтобы снова вернуться к нему. Мне для этого смелости пока не хватает, кроме того, даже если я решу, что я понял это место окончательно, я не буду знать, что с этим пониманием делать. Мне, как и Аристотелю, пока ясно, что для всего возникающего, в технике или в природе, есть «из чего», и «то, из чего», и «то, что стало», разные вещи, но не противоположные.

Со ставшим просто или проще: оно определенное, на него можно показать: вот статуя, вот кровать, вот образованный человек. Статуя из меди, «медь», сказать так, — оставляет в неопределенности, какая медь, кусок меди, сплавленные несколько кусков? Дерево по сравнению с кроватью менее определенно. Человек просто, в отличие от образованного, отточенного, Сократа, — что такое? Аристотель предупредил: материя *не* бесформенный

54* Там же.
55* Там же, с. 74.

хаос. Она тогда на полпути между неопределенным и определенным, полуопределенное? Материя какое-то не-до?

Не видно у Аристотеля опять принижения материи до какого-то недоразумения. Она и единство и бытие, только *не так*, как нечто вот-это, τὸ τόδε τι, т.е. нечто, о чем можно сказать, «вот что это такое». Уверенно нам рекомендуют стало быть видеть в материи единство, только как-то «иначе», но как? Аристотель может этого и сам не знать, или не думать об этом. Имеем ли мы право думать, что материя это полноправное бытие, которое только не такое, какое-то другое бытие чем «вот это»? Так и сказано в конце I кн. «Физики» (192a 6): ἐγγὺς καὶ οὐσίαν πῶς, материя (добавим подобно средневековым комментаторам, *лес*) близко к бытию и неким образом бытие[56*].

Вьется, в руки не дается. Материя единство, но — по-своему; бытие, но — «неким образом». Она под-лежащая или под-длящаяся, остающаяся-самой-собой-под возникновением сопричина форме возникающего (другая причина эйдос), ὑπομένουσα συναιτία. Аристотелю тоже ведь хочется понять лес, но что он делает, он просто дает другое название леса, *мать*. Как в латинском лес это materia, так Аристотель словно вспоминает, воспроизводит, воссоздает на своем языке то, что в нем, в отличие от латинского, не прорисовалось. Еще раз Аристотель подчеркивает: женское начало смешивают со злом по недоразумению, когда не замечают разницы между подлежащим и противолежащим. Вредит эйдосу, скажем так — культуре эйдоса, формы не материя вовсе, а безобразие. Безобразие к форме не стремится, а материя, женское стремится как жена к мужу.

Только не спешите радоваться, понять материю как женщину-мать, которая стремится к материнству, а эйдос как мужское начало. Только сравнение наметилось, и далеко оно не поведет, Аристотель его оборвет. Эйдос энтелехия и энергия, т.е. полнота, а полнота ни в чем не нуждается, в ней нет стремления к женскому. Получаем странное мужское. И материя женщина-мать, но только «по случайному совпадению», т.е. лишь в аспекте своей необходимости для появления формы. Т.е. или сравнение недалеко идет, или мы не знаем что такое материнское и женское. Скорее второе. Не случайно нам думать, что лес это мать.

Будем хоть с пустыми руками топтаться на месте. Обратим внимание на то, с чего собственно начали: что главная неопределенность леса в том, что он может быть страшным. Так и совре-

---

56* Ср. там же, с. 80.

менные формы леса, наркомания. Эйдос в отличие от этого у Аристотеля точно так же как у Платона добро, полнота блага, осуществление, бытийное совершенство. С материей поэтому что-то будет делаться, и поэтому в том своем качестве, что она двойственная, «неопределенная двойственность», она и не вечная, может быть вся выжжена, просвечена эйдосом, к которому сама стремится. Но ведь в другом отношении она останется подлежащим *всегда*, и под эйдосом тоже, тогда стало быть она как эйдос не гибнет и не возникает, ἄφθαρτος καὶ ἀγένητος (192a 23)[57*]. Т.е. равна эйдосу. Эйдос никогда без материи не будет, только для эйдоса возможна материя умопостигаемая, лес как бы чистый, который показал, что беспорядок не его свойство. Лес как рай. Или как ренессансный лес Боккаччо. Или как парк. Или земля как сад. — Но что призвание леса быть раем и садом, это мы вроде бы знали. Задание наше в другом: через вечность лес приблизился к идее, но разве отсюда видно что лес число? Или мы нечаянно ответ уже нашли, только не заметили?

Когда Аристотель говорит о порыве, тяготении и о том, к чему стремятся, ἐφετόν, он не будет спрашивать, это стремление к добру или злу: иначе как к добру стремиться невозможно, всякое стремление по определению — к θεῖον, к ἀγαθόν. В стремлении зла нет. Но *именно* тем, что стремление есть, и тем, что оно к добру, а стремления могло не быть, этим «могло не быть» создается ἀντικείμενον. Противолежащее, сказано чисто технично. Но не будет лишним, если мы вспомним об этимологии слова Сатана: Противоречащий. Как тень, за всяким да — нет.

Тогда «противолежащее» тоже претендует на материю? Материя то место, где если не причина, то место разделения добра-зла, не в том смысле что материя зло, а в том смысле, что не было бы леса, не было бы и зла? Если материя это женщина, то идет драка за женщину? Почему тогда красивые умозрения вечной женственности об этой драке ничего не говорят? Это еще один случай, когда я вынужден и то малое, что схватил, выпустить из рук. Я ничего не знаю.

Опять будем топтаться, и опять утешимся хоть тем недорогим удовольствием, что отодвинем в сторону одно смешение, частую путаницу материи и природы. Конечно здесь надо просто спокойно согласиться с Аристотелем. Только кажется что природа и материя одно, от спешки и невнимательности. Из свежего дерева сделали кровать, бросили ее в саду, она осела в рыхлую почву, по-

---

57* Ср. там же.

шел дождь, дерево кровати в земле проросло, из проросшей кровати выросла не другая кровать а дерево. Дерево явно природа, стало быть материал кровати и природа одно?

Нет. Ведь проросла не материя кровати, дерево проросло именно когда оно *забыло* что оно материя кровати. Выросла не возможность дерева, использованная как материя столяром, а сама форма дерева. Природа не дала бы или вернее никогда не даст сделать из дерева кровать. Природа сама по себе, материя подстраивается к тому, для чего она.

Но ведь и наш лес тоже отличается от природы. Мы его как бы раньше видим чем природу. Он шумный, темный, неопределенный. Неопределенность, неким образом бытие, неопределенное бытие — одно из определений материи и у Аристотеля тоже. Как аристотелевская ὕλη, так наш лес всегда еще не оформился.

Ὕλη у Аристотеля бытие безусловно (οὐσία, в переводах *сущность*), но еще надо присмотреться какое. Природа у него бытие чуть ли не образцовое, без всяких оговорок, не надо и присматриваться, и Аристотель начинает сердиться на слепых, которые не видят, что природа, т.е. движущееся само от себя, автомат, *есть*, т.е. что она полноценное бытие. Одним и тем же словом Аристотель говорит, что природа движется сама от себя и через себя (*движется* у него гораздо больше значит чем у нас, *изменяется*, *растет*, вообще имеет свою историю, если бы слово «развитие» не было у нас подмочено, аристотелевское κίνησις надо было бы так переводить) — и тем же словом, или выражением, что природа движется сама от себя, сама по себе, что она познаётся, узнаётся, γνώριμον сама от себя и сама по себе (193а 5—6)[58*]. Т.е. имейте глаза, и она себя сама покажет и сама о себе даст знать и расскажет. И признак тупости, слепоты не видеть этой явственности, что вокруг перед нашими глазами и в нас самих всё почти самодвижное, автомат, и пускаться тут в рассуждения. Это всё равно что слепые будут рассуждать о цвете. Это насчет ясности природы. Но темы автомата мы сейчас не касаемся. Всегда только надо помнить, что автомат имеется в виду настоящий, спонтанный. Нельзя считать, что продолжение рода заведено например на бесконечное повторение одной и той же формы. Природный род умеет скорее меняться; похоже, он умеет убирать себя целиком, уступая место другим, т.е. встраиваясь в автомат мира, т.е. он способен вроде бы к новому.

58* Ср. там же, с. 83.

Мы охотимся за лесом, это у нас единственная тема, а у Аристотеля она только одна из многих. Но у нас то оправдание, что кроме леса мы пока ничего и не видим. Нет речи о том, чтобы найти в лесе опору, как материалисты, или противопоставить лес разуму. Нет и увлечения подвертывающимися разными догадками, как о русском лесе, о женственности или материнстве в русской душе, и тому подобная эстетика. Единственная догадка, которую мы проверяем, это что неопределимость леса как-то совпадает со строгостью, математической, геометрической или логической. Повторим свою задачу, уточняя. Мы хотели понять Платона, у которого материя число. У Аристотеля мы нашли буквально эту формулу, выписывали ее на доске, но в критическом и ироническом смысле. Выбирать между «точками зрения» мы не захотели. Возражение Аристотеля мы должны были принять — но догадка заставила нас искать, нет ли при лексическом расхождении снова тайного единомыслия Платона и Аристотеля.

Тогда мы стало быть всё-таки нашли что искали, когда прочитали у Аристотеля о стремлении материи, матери к божественному (у Лосева, если кто по теме заглянул в его аристотелевский том, там много о материи, характерная опечатка: пребывающее, под-лежащее рядом с формой, эйдосом, сопричина возникающего, «наподобие материи»[59], смысла не получается, на самом деле там «наподобие матери», т.е. эйдос как отец, материя как мать). Лес стремится к благу, божественному. Значит *в своем стремлении* аристотелевская материя и есть то же что платоновская, божественная идея. Это и надо было доказать.

Другое дело, что задач от этого решения только прибавляется (но ведь и у Платона материя тоже темна). Надо будет переосмыслить Прекрасную Даму, Вечную женственность еще и вот как: мы вроде бы всегда думали что она только влечет, захватывает нас, но Аристотель говорит о ее влечении к мужскому; неужели в конце второй части Гётевского «Фауста» слова Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan[60*] надо понимать в том смысле, что вечно-женственное захватывает и нас в свое стремление. И еще проблема: женское и материнское — это одно? или разное?

Нечаянно и легко примирив Платона и Аристотеля, всё же дочитаем, как намечали, II книгу «Физики».

Постоянно обращая внимание, что автомат природы управляется целевой причиной, а не подталкивается к своему следующе-

[59] *А.Ф. Лосев.* История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975, с. 59.

[60*] Перевод: Вечно-Женственное влечет нас ввысь

му состоянию факторами сложившейся ситуации, Аристотель приводит тот сильный аргумент, что и современные критики вульгарного дарвинизма: если вы говорите, что случай дает разброс вариантов, из которых выживают наиболее приспособленные, то покажите, где этот разброс, скажем, между двумя близкими видами. Виды вот они, а промежуточных форм, оказавшихся неудачными, не находят в окаменелостях и не наблюдают теперь. И еще довод, сейчас тоже употребляющийся, только не часто: техника подражает природе во многом, а ведь она ставит цели; не значит ли сама возможность подражать природе, что и природа тянется к целям (199 а 15—16)[61*]. И опять же: техника может промахнуться именно потому, что диктуется так сказать не прошлым и будущим, т.е. тем чего нет, стало быть делает скачок через небытие и незнание, разрыв цепи. Но и в природе видим промахи, ведь скажем уроды это явно скорее промахи, чем опыты природы в ее поисках новых более приспособленных форм. И еще: если кого-то смущает, что в природе не идет никакого обсуждения целей, то ведь, если присмотреться, техника тоже не обсуждает, ее стремление к цели идет скорее путем интуиции, угадывания, размаха маятника между тупиком, безысходностью и «озарением», т.е. безотчетным прорывом.

Говорится о природе, но относится ко всякому порыву к цели, к целевой причине, в том числе и у материи. 200 а 6—10[62*]: пила возникла не потому, что железо под действием каких-то процессов заострилось в зубья, а потому что надо пилить, и если быть пиле, то быть и острым прочным зубьям, т.е. стальным. Так же зубы не потому, что создались химические условия для их образования, а потому что надо было иметь чем откусывать.

Но ведь *сначала* должна была быть материя, чтобы из нее образовались зубы? Разве не так? А вот это еще как сказать. Вовсе не абсурдно говорить, что железо создано целью, пилой, а не пила создана из железа. Пила и всё похожее вызвано необходимостью резать, поставленная цель потребовала железа, *а так железа пожалуй и не было бы вовсе*. Пила как цель, *пилить*, нашла себе, высветила, потребовала, извлекла из небытия железо. Дом нужен, и он, эта цель, *иметь дом*, как бы находит себе, высвечивает, впервые извлекает, обнаруживая, материю, материал (200 а 24)[63*], от себя мы уже можем сказать, *мать* себе, как муж ищет себе жену и *создает* ее, потому что если бы не было такой вещи как муж, не

61* Ср.: *Аристотель*. Сочинения..., т. 3, с. 98.
62* Там же, с. 100.
63* Там же, с. 101.

было бы и жены и женщины как матери. Мать, материя создана тем кто поставил цель.

Вся материя вообще высвечена, выделена, да прямо создана целью. Не было бы цели, не было бы «для чего», не было бы и «из чего».

Правда конечно что и наоборот: не будь *вообще*, в принципе нигде и никогда никакой материи как готового-стремящегося, не достигалась бы и цель.

«Цель причина материи», формулирует Аристотель. Материя возникает от притяжения цели. Всякое возникновение тянется к бытию.

Спасибо Аристотелю, мы замечаем, что и для нас наша материя, лес, возникла тоже в свете цели, цель освоиться в мире.

Если материя давно, она же вечная, тянется к законченности лица, то как может сейчас, в наше время, быть какое-то еще-не? Ведь времени было много, материя должна была бы уже вся целиком переплавиться в эйдос, лес стать садом, раем.

Виноваты не недоделки, а более строгая и жесткая вещь, то противо-полагание, о котором говорилось. Оно не в материи, оно и не в эйдосе, а в том что всякое становление образа сразу же противополагает себя безобразию и тем самым выводит безобразие на сцену! За добрым, божественным, полнотой бытия, светлым, определенным — противоположное. Хоть лучше и не возникай. В безопасности только то, что остается отдельным. Противоположное возникает гораздо раньше чем попытка осуществить что-то практически — о чем ни подумаешь, противодвижение, возражение сразу же возникает. Хоть не шевелись. По русской поговорке, не делай добра, не будет зла.

Или мы снова чего-то не заметили? Разве за всё время, и уже давно, совершенство не успело осуществиться в природе? Разве природа не охватывает всё, разве материя, скажем лес, не была живым лесом, пока из нее не сделали проблематичные лесоматериалы? Похоже что-то совершенное и окончательное подтянуться к эйдосу всё-таки успело. Вся природа это и есть успешное подтягивание к эйдосу, природе удалось, поэтому она красивая.

Что тогда не осуществилось, не достигло, что еще-не? Возьмем пример или даже не пример, а саму суть дела. Врач и архитектор. Мы говорим: два специалиста, профессионала. Какая между ними разница? Не о том речь, что один строит здоровье, другой дом, разные предметы. Разница гораздо более важная?

Та, что если врач перестанет работать, больной всё равно может быть выздоровеет, а архитектор если перестанет работать,

дом сам вот уж точно ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не построится. Врач — *при* поправке здоровья, архитектор — *при* строительстве дома тоже, только уже ⟨не может⟩ сказать, как врач, «ну всё, теперь дело само пойдет на поправку» — «ну, теперь дом достроится сам...». И когда врач работает, здоровье приходит не от него, а от природы само, врач ему только помогает, а архитектор не *помогает* дому строиться. Материя и там и тут, з-доровье у врача, «хороший лес», хороший лес у архитектора. Но в природе движение, изменение само по себе идет из себя, *автоматом* (1034 а 10)[64*], своим порывом, спонтанно, *и внутри материи изнутри самой материи тоже*, а в технике — извне, от *иного* начала.

Если бы архитектурное искусство было встроено, вклинено в камень, дерево, известь так же, как природа в теле, и оба одинаково, как они сейчас и делают, стремились бы к совершенному образу, то как уставшее заболевшее тело выздоравливало бы, так рассыпанные камни, разбросанные деревья, цемент, песок сами собирались бы, вырастали в дома. Проблемы бы не было, потому что материя и форма всегда есть.

В природе становление отдано автомату, настоящему, т.е. который никогда не устанет, не сломается, он сам себя ремонтирует. Автомат как-то встроен в природу, софия мира это и есть автомат. А техника? Она «начало в ином». Откуда другое, вторжение другого? почему не всё свое? как происходит выход из себя? Откуда взялось другое? Платон не мог ответить, поэтому он просто ввел его в «Пармениде» как одно из первоначал, они есть, о них не спрашивают.

Тема материи как матери у Аристотеля возвращает к «Тимею», 49 а, и т. д.

Повторяю предложение уже сейчас подавать мне работы на конкурс на лучший философский текст в стране конца тысячелетия.

В следующий раз, после еще некоторых замечаний о материи у Аристотеля, переход к «Тимею».

64* Там же, т. 1., с. 202.

7 (21.10.1997)

Давайте-ка немножко вернемся к Физике II 8. «Еще, если в чем есть цель, ради нее делается (πράττεται) первоначальное и последующее. Стало быть как делается, так ему и свойственно по природе, и как свойственно по природе, так каждое и делается, если нет помех»[65*]. Контрольный вопрос: почему это человеческая практика будет следовать природе и делать именно как свойственно каждой вещи, чем обеспечена эта прилаженность действия к природе?

Присутствием цели, ее диктовкой. Помните с прошлого раза: цель такая сильная вещь, что она причина материи. Подтягиванием к цели всё определяется настолько, что бледнеет разница между природой и техникой: по подстраиванию, подлаживанию к цели природа и техника ведут себя совершенно одинаково. «Скажем, если бы дом был из вещей, возникающих по природе, он возникал бы так же, как теперь через технику; и если бы природное возникало не только от природы, но и от техники, оно так же возникало бы, как ему и свойственно по природе. В обоих случаях одно ради другого. И вообще техника одно довершает, что природа не в силах исполнить, а другое делает подражательно. Если уж то, что по технике, ради чего-то, ясно что и то, что по природе; в самом деле, одинаковое взаимное соотношение в техническом и в природном у последнего к предыдущему»[66*].

В свете этой диктовки цели Аристотелю очень легко представить самостроящийся дом или корабль. Если действительно дом нужен, то он уж подведет под себя фундамент, подтянет материалы, построится как бы сам. *Отсюда* получается определение техники: техника это то что *умеет* словно природа, досказывая за

65* 199 а. Ср.: *Аристотель*. Сочинения..., т. 3, с. 98.

66* Ср. там же, с. 98 сл.

природу или подражая природе, привлечь материю, материал, довести его до ума. Кто задумывал что-то не от головы, теоретически, а когда действительно надо, скажем построить дом, тот знает странное присутствие этого дома уже с самого начала, когда в каком-то смысле «видишь» дом, и от последней готовности в обратном порядке продумываются части и действительно извлекается материал, бетон, доски, инструменты, главное время, и когда верно угадана и увидена цель, обнаруживается странная ситуация, что дом уже как бы не может не построиться, он уже готов до того как быть готовым, действительно подтягивается к цели. Строит сам себя.

Так или не так? или что-то упущено?

Действительно что-то упущено, как будто бы одна вещь. Масса ведь архитектурных проектов остается на бумаге. В ренессансной итальянской архитектуре был целый жанр или стиль, дворцы или даже целые города в проекте, они доводились до чертежей, рассматривались и выставлялись на обозрение в этом виде. Почти все инженерные проекты Леонардо остались на бумаге, и паровая машина и велосипед даже.

В природе тоже не все проекты или даже только крохотная часть проектов доходят до «энтелехии». Энтелехия это последняя мыслимая полнота, совершенство, завершенность. В слово ἐντελέχεια входит τέλος, и наоборот телос уже указывает на энтелехию. Смотрите тогда что получается. Выходит мы зря стали проводить разницу между осуществленным и неосуществленным проектом, это различение не нужно. Цель это уже и есть последняя, полная завершенность, к которой ничего не надо прибавлять. Цель не может не осуществиться.

Но в природе, как в технике, много зародышей, из которых большинство погибает. До цели, мы говорим, доходят самые приспособленные, которые активнее, борются за жизнь. Так архитектор должен бороться за осуществление своих архитектурных проектов, победить на конкурсе, доказать свое превосходство, оттеснить соперников. Так дикие рогатые животные в природе должны в битве самцов драться за женщину. В этой же линии мысли, или наблюдения, разве неверной, я чуть было не сказал, что цель действительно осуществит себя и подтянет до себя материю, если будет *решимость*.

Это всё так, но мы отчетливо видим и завороженность, амеханию и в природе и в технике как раз вокруг осуществления, энтелехии. Если кто наблюдал, как ведет себя увлеченный пес: он вроде бы настойчив, сосредоточен, настолько что забывает о еде, пе-

рестает слушаться хозяина, когда тянется в увлечении к собаке в течке, но где его агрессивность, где лай, клыки: его можно гнать, толкать, бить, он словно ничего не замечает и страшно опасно для своей жизни подставляется. Или коты, которые доходят до истощения в брачный свой период; на их близком примере видно, что драки самцов за самку имеют причиной не агрессивность, а завороженность, ту же амеханию. И точно как в природе, так и в технике, та же «практика», как сказано у Аристотеля. Поведение архитектора можно описать как борьбу за первое место на конкурсе, но — в случае конечно настоящего архитектора, который действительно имеет шанс получить место на конкурсе, — это поведение и завороженность идеей, замыслом, работой, околдованность, полная несвобода: забывает о еде, о сне, не то что о социальных и административных шагах, которые надо предпринять для участия в конкурсе.

Телос, энтелехия, полнота осуществления в природе и технике окружены ореолом амехании. Первый двигатель *неподвижный*.

Так должно быть. Посмотрим в самом деле с другого конца. Допустим, то, что осуществляется в природе, *не* должно было проходить через фильтр завороженной, застывшей неподвижности, абсолютной амехании, если бы из рода в род, из поколения в поколение, в природе и в технике, изобретательские поколения машин, *осуществляющееся* не должно было словно окунаться в полный покой. Природа и техника устали бы. Они не устают, потому что в узловые моменты своей истории отпускают, упускают себя в пустоту, распускаются в заколдованной свободе.

Кроме поставленной цели, я чуть не сказал, нужна *решимость*, потом обратил внимание на это странное отпускание, распускание вокруг полноты достижения, и обратил внимание на происхождение слова «решимость»: оно от распускания, растворения, *решить* значит распустить, развязать.

Наш *лес* такой, завораживающий, распускающий. Платоновская материя, *хора*, впускает в этом же смысле.

В этом смысле, сближая техне и природу, Аристотель говорит что техне не рассуждает (сюда относится и хайдеггеровское: наукотехника не думает). В амехании, отпущенности, дом самостроящийся *всегда*. В завороженном покое «творчества» техне и природа одинаковы, одно и то же.

Завороженный покой — фильтр, пройдя через который, входят в автомат, настоящий, который не устает, но не в том смысле, что он может ремонтировать сам себя, это могут и ненастоящие

программные, механические автоматы, а в том, что он *воссоздает каждый раз не сам себя а воссоздает само воссоздание, больше чем сам себя. Может* получиться, что автомат природный, спонтанный воссоздаст сам себя, но он может и пойти в новое, потому что состояние отпущенности, разрешенности богатое, в нем каждый раз разрешается в принципе всё. В а-механическом истоке можно как бы всё. Материя чистая возможность. Впускающая *хора* Платона.

Мечту о допуске в царство настоящего автомата имели например теоретики автоматического письма времен первой мировой войны и сразу после. Фрейд по крайней мере по его же собственным словам разрешил себе автоматическое письмо, погружаясь в полусон, в последней части «Толкования сновидений», а крайние мнения таковы, что он вообще при помощи кокаина поддерживал себя на грани автомата.

В русской деревне, в ее стиле Адам Мицкевич например видел просто продолжение леса, словно бы лес почти что сам просился и напросился сложиться в дома такого стиля.

А вот что-то странное: кучи стволов,
Свезли их сюда, топором обтесали,
Сложили, как стены, приладили кров,
И стали в них жить, и домами назвали.

Всё это словно без людей, потому что описывается весь этот поселок, до дыма над трубами, и только потом: «Но вот, наконец, повстречались мне люди»[67]. В этом смысле говорят об «органичности» русской деревенской деревянной архитектуры. В сравнении с ней почти все другие архитектуры на восточноевропейской равнине кажутся насилием, которого лес, материя не хочет.

Искусство (техне) тогда часть автомата, или возможная, или необходимая, т.е. что софия мира требует в своем автомате человеческого искусства. Тогда, мы об этом говорили в курсе «Витгенштейн», человеческие искания, шатания, так называемые «муки творчества», неизвестность, безысходность, потерянность, отчаяние это как раз и есть знаки самой внутренней, интимной принадлежности, как бы допущенности человека в софию мира (а представления, что деятельность может быть плавной, «как часы», появилось когда чего-то еще не заметили, но заметят). Риск связан с тем, что автомат как раз в узловых, «решительных» моментах зависает в а-механии, не-возможности.

[67] Из цикла о России, «Дзяды» часть III.

Так, перебираясь через этот порог, искусство (техника) как природа тоже пробиваются, с трудом, под риском зависнуть навсегда в неподвижности, к правде, богатству, уместности. Похоже, что сама природа не знает каким другим путем идти, чем через фильтр, о котором я сказал. Что природа действует «уверенно», «надежно», в сравнении с техникой, откуда это?

Из-за незнания только того, что мы сейчас знаем, из-за насилия, неотпускания себя в «решимость», из-за дурного понимания «решимости», до прямо наоборотного? Когда лес, мировое дерево повертывается крестом, на кресте надо быть неподвижным, и мы срываемся в активизм от страха? Как Плотин говорит, что от психастении, слабости души, срываются в деятельность? Как у Мандельштама: «Есть блуд труда, и он у нас в крови».

Лес приглашал в себя, заколдовывал, выводил из метрического пространства. Приглашал включиться в то, что само, стать автоматом. Вырожденные или запоздалые формы леса, табак, вино, кока, манят в автоматизм. Истонченная, хитрая попытка автомата — особая полусонная практика автоматического творчества. Другая втянутость лесом, сибирским, у Странника, к которому сегодня придется кратко вернуться по одному поводу. Тяга Гёте к вечной женственности, завороженность ею имеют сторону возвращения к амехании, о которой я говорил.

У Фрейда мало обращают внимание на связь секса и амехании, а это важная у него сторона. Фрейд полуспал, когда дописывал книгу о сне. Сон это у него дорога в бессознательное. Там, где работает бессознательное, оказывается царство вытесненного именно секса не случайно, неприступность секса и бессознательного одна и та же, они одно и то же в том смысле, что это фильтр, стена завороженности: секс как узел, ключевой момент, «решающий» (отпускающий, распускающий, когда род рискованно бросает себя на полный автомат) шаг (стало быть заведомо *не* сознательный) — это и есть «бессознательное» по преимуществу.

Другое лицо (аспект) того о чем говорим — это уже упоминавшийся двойник. Но ведь я предупреждал не заигрывать с ним, двойник абсолютно неприступен. Мы в двойнике своем словно оставили, забыли себя других, но вся наша задача в том чтобы вспомнить о том, что мы *забыли*, вспомнить о своем беспамятстве, не пытаясь вспомнить, *что* мы забыли. Что мы забыли о человеке — это что он смертный, не Бог. Усилия вроде овладения бессознательным, опять же автоматического письма — это как попытки из той половинки, которая мы, восстановить реконструировать другую половинку. Сюда же относятся опыты клонирования

в биологической инженерии, получить из смертного существа бессмертное. Это возможно так же, и то существо будет превосходить человека так же, как автомат программный, механический не имеет провалов в амеханию, которые входят в самую суть автомата настоящего. Всё пути избежания риска, безопасные...

Иногда, например во сне, мы замечаем неприступные, странные движения двойника. Во сне он так же независимо ходит от нас, как нос маиора Ковалева в петербургской повести «Нос» Гоголя. Нос маиора Ковалева, разъезжая по городу, как-то слишком вызывающе, подчеркнуто независим от Ковалева, слишком остенсивно «сам по себе». Так и образы сна как-то подозрительно подчеркнуто странные, посторонние и независимые от нас, нарочито. Независимые неуправляемые действия кого-то вроде меня, снящиеся мне в моем сне, *нарочно* чужие, потому что они *сплошь* я пожалуй даже и более настоящий чем я наяву, только я с оборотной стороны луны. Двойник имеет другое название *близнец*.

Как сон, так и кока Фрейду вход в одну и ту же странность (сторонность). Фрейд совершенно прав, напомнив, что день, якобы сплошной гладкий, если судить по часам, по расписанию, распорядку, газете, экрану, на самом деле перфорирован, с провалами и так сказать насильно указывает на ночь. Фрейд с другой стороны может быть неосторожен, давая надеяться на рационализацию отношений с «бессознательным» — или может быть на самом деле его рационализм означает только отрезвление, как раз воспоминание о смертности.

Выход из метрического, мерного пространства в свободное незаметный, человек словно проваливается как Фалес в погреб, нечаянно, и сразу становится ненаблюдаемым, на этом основана невидимость и невидимки, и невидимка становится заметен: самое бросающееся в глаза это невидимка, вот уж кому не удастся остаться скромно незаметным. В фильме Пазолини «Теорема» благополучная семья вся выпадает из мерного пространства беспричинно, нечаянно завороженная посещением, в контексте других работ Пазолини, Pier Paolo Pasolini, who had worked as a scriptwriter for Fellini, achieved international recognition for Il vangelo secondo Matteo (The Gospel According to St. Matthew, 1964), a brilliant semidocumentary reconstruction of the life of Christ with Marxist overtones. Pasolini went on to direct a series of astonishing, often outrageous films that set forth a Marxist interpretation of history and myth-Edipo re (Oedipus Rex, 1967), Teorema (Theorem, 1968), Porcile (Pigsty, 1969), Medea (1969), Salo (1975) — before his murder in

1975[68*], — посещением божественным, таинственного странного молодого человека. Их счастливое заворожение, они застывают в нем и выпадают из размеренного пространства; события, которые начинают с ними происходить, отмечены в этом, мерном пространстве только вызывающей заметностью — они словно сгорают сразу в пространстве, в котором раньше благополучно существовали. Они становятся автоматами, но другой природы, чем люди их цивилизации, сгорают как залетевшие в атмосферу метеориты. — То, что фильм Пазолини правда, что он не вычислением, а опытом знал эту завороженность, и это выпадение, и нерешаемость теоремы человеческими средствами, показывает его смерть, он был убит кажется на пляже в Остии под Римом.

Крест, на котором в неподвижности оказывается всякий замененный лесом, кажется всё-таки напоминает о строгости, о геометрии, в которую должно превратиться сознание, — сосредоточенность, собранность в точке. Математика среди страсти, захваченности, заворожения. В этом урок Платона и Аристотеля? Мы еще должны будем это разобрать.

Христос как новый спасенный и спасающий Адам возвращает и райский сад, он теперь имеет, я имею в виду райский сад, вид креста. Райский сад нового завета крест, другого уже давно нет и никогда не будет.

Результат, который мы получили прошлый раз: Аристотель видит в материи в потенции эйдос, в лесе сад. Как Платон не видит препятствий для плавного вхождения, безостаточного, материи в число, в гармонию. Данте остается платоником и аристотеликом, когда говорит о назначении человечества, превращении земли в клумбу, сад. Аристотеликом томистом. Но ведь Фома Аквинский вроде бы конечно видит тайну креста, понимает, какую форму имеет сейчас ветхозаветный рай. Сад или крест? Интуитивно здесь не чувствуется абсурда, как Седакова видит что райский сад, божественный ранит и он суровый, дикий, в «Диком шиповнике».

Но что между садом и крестом. Райская легкость после божественного посещения в «Теореме» Пазолини заражает их, до не-

---

68* Перевод: Пьер Паоло Пазолини работал сценаристом у Феллини, получил международное признание за *Il vangelo secondo Matteo* (Евангелие по Матфею, 1964), блестящую, отчасти основанную на документах, реконструкцию жизни Христа с марксистскими обертонами. Позднее Пазолини создал ряд удивительных, скандальных фильмов, также построенных вокруг марксистского прочтения истории и мифа — Edipo re (Царь Эдип, 1967), Teorema (Теорема, 1968), Porcile (Свинарник, 1969), Medea (1969), Salò (1975) — [снят] перед его убийством в 1975 г.

возможности возвратиться в размеренное пространство. Амехания в одном случае просто в виде неподвижности, застылости отсутствия, в другом случае тоже недвижность, но заворожение не отсутствия, а наоборот интенсивного присутствия, которое получает сверхъестественную силу. Но в обоих случаях невозможность жить, неприспособленность для простого продолжения существования. Так же и с тем персонажем, дамой, которая сохраняет способность двигаться, но как во сне, автоматически подбирая в свою машину молодых людей по дороге и отдаваясь им бездумно, где только можно, до опять же плавного выхода из жизни. И наверное самая страшная ломка у самого сильного персонажа, волевого и разумного, владельца завода. Его ломка настигает просто в середине деловой поездки, на вокзале посреди толпы он раздевается догола и раздевается в другом смысле, отдает свой большой завод рабочим и уходит в пустыню, и фильм кончается его, голого и босого среди гор шлака, страшным звериным криком, непохоже что ⟨криком⟩ раскаяния в сделанном, а ⟨скорее⟩ ужаса брошености: амехания *сплошная*, она и невозможность пальцем шевельнуть в своей новой божественной распятости и невозможность жить на неожиданном кресте.

Езда на велосипеде конечно разная из-за качества велосипеда, дороги, разная тем кто едет, но как *нечто* (событие) она совершенно одинаковый феномен, которого хватает на многих, на сколько угодно: сбалансированное падание вбок (а при ходьбе падают вперед), тихая быстрота, скольжение — опыт безличный и как бы внеситуативный. Кто имеет дело с велосипедом, поймут друг друга, как-то понимают поверх всего, через любую разницу страны, времени. То же реалия, событие ломки, действительно геометрически строгое как теорема: рядом с амеханией ломка. Ахутин показал это на античной драме: амехания, или в терминологии Аристотеля катарсис, очищение, совпадает с трагическим поворотом событий[69*]. Соседство чистоты и ломки такое же отчетливое событие как велосипед. В совсем другой стране и среде, в сибирском лесу русский знает чем кончится встреча с Богом: завороженной захваченностью и ломкой. Странник, говорит один из персонажей рассказа 5: «Стал нападать на меня страх и ужас, и как только вспомню ту муку, которая мне грезилась, то и начинается тоска и истома и так мучительно, что не знаю куда деваться...От сей грусти я не мог ни пить, ни есть, ни спать и как тень ша-

[69*] См.: *А.В. Ахутин.* Открытие сознания (Древнегреческая трагедия и философия). Последнее издание статьи — в книге: Поворотные времена. СПб., 2005.

тался... — Любезный брат! Ты бы во время то страха и тоски молился Богу... — Да никак нельзя... думается, что как скоро стану я молиться, то тут же меня Бог исковеркает»[70*]. Т.е. боится хуже чем страха и ужаса, когда ⟨не мог⟩ ни пить, ни есть, ни спать и как тень шатался — всё это человеческие еще страдания, но ломка (кажется, здесь можно было бы говорить и о наркотической ломке, но для этого нужны специальные медицинские знания) настоящая придет когда эти человеческие метания, еще как-то переносимые, как голод можно перенести, сменятся чем-то по существу другим и начнется как мертвый штиль на море.

Крест: геометрия, дерево райского леса (вы помните, это просто одно и то же дерево), скованность неподвижности, амехании и смерть.

И нельзя сказать что райский сад превращается в крест только в Евангелии. У Платона лес уже чистая геометрия; и у него захваченность связана с ломкой (глаза ломит когда человек оторвавшись от экрана начинает смотреть на чистый свет) и со смертью: настоящая жизнь увидевшего свет становится невидима людям экрана, они его не понимают и убивают. Как был убит Сократ, скованный своим демоном, как на кресте, когда можно было проще простого бежать или произнести не обвинительную, а оправдательную речь.

Жесткость этих условий, чистая красивая смертельная геометрия создает стиль Аристотеля. Он уже за порогом этого знания; после принятия молчания — и школа вести себя по ту сторону невозможности шевельнуться.

Превращение леса. Лес будет превращаться. Теперь прошу внимания, мы читаем Аристотеля.

Эйдос это прежде всего, и не будет беды думать что исключительно и всегда, это вещь, любая вещь, доставшая до полноты завершенности. Поэтому другое название эйдоса «преобладание, изобилие, богатство», а название его противоположности στέρησις от στερέω «лишать», например имущества. Имущество полнота богатство — слова для бытия. Разница между эйдосом и лишением как между да и нет, добром и злом, и она касается человека: человек может позаботиться о том, чтобы по крайней мере заметить если не обеспечить разницу между совершенством, добротностью, полнотой и промахом, провалом. А велика ли разница? Ее просто не видно. *Об этой разнице идет всё дело у Аристотеля.* Его метафизика подчиняется этике, высшей науке.

70* Откровенные рассказы странника..., с. 259 сл.

Полнота совершенства дана богу, не человеку. Рядом с эйдосом для человека всегда лишение как тень. Я вижу — значит я не вижу, потому что весь диапазон возможного видения смертному не открыт. Я добрый — значит я не добрый, и так далее. Видение и доброта здесь только тематизируются, проблематизируются. Чем отличаются удача и неудача например художника? Не чем-то что можно назвать и перечислить, например потому что Фидий работал в золоте и слоновой кости, а Поликлет в бронзе. *Никак* не фиксируешь в чем совершенство, невольно сбиваешься на подсчитывание и перечисление, а *не надо*: интер-есует, т.е. делает *всю* разницу для классического грека, только *совершенство*; об этом вся речь, об остальном уж кто-то как-то позаботится. А что вы думали? Если бы не было этой сумасшедшей, единственной заботы об *аристон*, не было бы никакой «классической античности» и нечего было бы нам заниматься историей.

Эта *нефиксируемая* разница между совершенством и чуть-чуть недотягивающим что значит? Господа, что разницы между материей и эйдосом нет или что во всяком случае мы так запросто ее не заметим. Не удастся уловить последний штрих, который делает работу законченным произведением. До последнего штриха, до фронтона и крыши, дом всё не готов, потом вдруг готов, или еще не совсем готов, но всё же готов. Или никогда не готов? Дом эйдос, до последнего штриха он был материей, последний штрих неуловим, эйдос, законченный дом, минус этот последний момент придающий совершенство, неотличимо, неопознаваемо равен материи. «Завершение постройки дома мы не называем качественным изменением (ведь было бы нелепо [назвать] верхний карниз стены и черепицу качественным изменением или [говорить, что] увенчиваемый карнизом и покрываемый черепицей дом качественно изменяется, а не завершается)» (Физ. VII 3)[71*].

Эйдос не содержание, а сама полнота. Один и тот же мир — мой пример — рассыпается на бессвязное множество вещей и тот же мир художник музыкант слышит как гармонию. Пример бедный, мой, жалкий. У Аристотеля лучше.

Он говорит о теле. Тело материя души. Душа что прибавляет к телу, живому, чтобы стал человек? Она явно прибавляет что-то может быть самое важное, но проследить на теле это не удается, для наблюдения и фиксации разницу между эйдосом и материей здесь уловить нельзя.

[71*] *Аристотель*. Сочинения..., т. 3, с. 212.

Женщина материя. Этим роль мужчины неожиданно и резко *принижается*: рожая женщина от себя дает всего человека, роль мужчины как последнего штриха, придать последнюю определенность. Человек рожает из человека, в человеке-материи, матери весь человек уже есть. Женщина дает *всего* человека, который в своей полноте он же сам, но — завершенный. Это нехорошая чушь, когда воображают, будто у Аристотеля женщина только питательная среда, а «образ» дает мужчина.

Темы тела и женщины подробнее. Начало второй книги «О душе». Тело это сущность, живое тело имеет начало питания, роста и увядания в самом себе. Это живое самодвижущее тело — *материя*, пока еще «субстрат». Чтобы стать душой, тело должно стать эйдосом. Что, оно бесформенное, а должно приобрести форму? Ничего подобного. В его форме ничего не изменится, то же уже сформированное живое тело и останется, только чуткое, полное внимания. Уточняется какого: не дневного, вдумчивого слежения за миром и собой, а того чуткого внимания, которое бывает и во сне и у пьяного, ⟨хотя и⟩ бессознательного, а всё равно ⟨внимания⟩ полноты человека, когда душа есть неким образом всё в мире. И у сонного и у пьяного душа откликается на весь мир. Это эйдос тела. Тело, повторяю, как было живое так и остается, к нему не прирастают шестые руки и ноги. Эта чуткость знание в том смысле, что и сонный я тоже знаю таблицу умножения, «вот спит человек, который знает таблицу умножения», всё правильно. Он проснется и будет ее преподавать и осмысливать, начнется то высшее, предельно доступное для человека видение, *теория*, но пока не началась, масса знания в спящем человеке *первое* по отношению к тому, во что знание развернется, в теорию, теория будет второе. Осуществленность, чуткая полнота знающей души *энтелехия*, совершенный эйдос тела, для которого тело собственно и предназначено. А может быть тело предназначено не для феории? Нет, в феории полнота счастья. Но душа еще не полнота счастья, она при *первом* знании, сама по себе она поэтому пока еще только *первая энтелехия* живого тела. Еще раз: как такую душу отличить от тела, материи? Пример Аристотеля: как топор просто от бытия топором. В бытии-топором пребывает что, какой-то другой, золотой топор другой формы? Как раз нет, именно тот самый топор, но он нашел себя в полноте своей рабочей топорности, а топор, у которого нет топорного бытия? Он был бы топором только по омонимии, случилось иметь ему такое же имя, а *что* он и есть ли он вообще — надо разобраться, пока его *бытие*, что он *есть* не видно. Мало этого примера, вот другой: глаз это материя зрения

(412 b 20)[72*]. Вот глаз, он живой, он смотрит. Но он не *видит*. Он смотрит и не видит. От видящего глаза он как-то по материи отличается? Нет точно то же самое. Но он остается материей в смысле пока еще только возможностью видеть, в энтелехию возможность не перешла; пока не перешла, глаз не лучше мраморного или нарисованного. — Но мраморный никогда не сможет видеть? Кто знает. Зато заведомо *почти все* живые глаза смотрят и не видят. Материя, что, в них злая? Да она ведь точно такая же как у видящего, материя их гла́за. Глаз остается материалом для зрения, которое может и быть и не быть, пока перевешивает, затемняет всё *лишение*, στέσησις зрения. Почему вместо полноты видения, зрения тут лишенность его? Почему зрение не сбылось, сорвалось? Потому что оно не получилось. Могло бы быть видение, вот вся материя для него есть, но оно не состоялось. Чтобы состоялось, надо добавить что? Наверное знания, да, ведь сказал же Аристотель только что, что душа первая энтелехия тела подобна знанию? тогда нау́чите человека душе? Если кому неясно из Психологии, прочтите в Физике VII 3: знание «не есть ни возникновение, ни качественное изменение, так как мы говорим, что мыслительная способность познаёт и мыслит путем успокоения и остановки...», эпистема и есть для Платона и Аристотеля остановка, «...в покое же нет возникновения и вообще нет никакого изменения... Когда кто из опьянения, сна или помешательства переходит в противоположное, то мы не говорим, что он снова сделался знающим (хотя он перед этим и не был в состоянии пользоваться знанием). Так же — и когда он с самого начала приобрел эту способность: только когда душа становится спокойной после природного беспокойства, возникает нечто разумное и знающее»[73*].

Может быть, чтобы разница между материей и эйдосом была у Аристотеля вот эта, так сказать минимальная, она же поэтому и максимальная? Не то что может, а всё другое было бы просто скучно, и ему и нам. Разница между тем, что *лежит*, пока еще, и движется. Движется — значит имеет историю.

Это тело. Женщина дает тело, т.е. сама одна дает всего человека. Разница между материей, матерью вовсе не та, что между сырьем и обработкой. В матери весь человек уже готов. Заметим важное по ходу дела, это очень пригодится: что материя это мать, у Аристотеля в «Физике» мы читали; теперь другой термин, τὸ θῆλυ, женское. Его синонимы: «мужское относится к женскому

72* Там же, т. 1, с. 395.

73* Ср. там же, т. 3, с. 214.

как эйдос к материи» (988 a 5)[74*]; «женское это χώρα и ὑποδοχή», оба платоновских термина для материи.

Женщина дает тело. А мужчина придает ему форму? Вовсе нет, теперь мы знаем о теле: оно всё полное живое тело и есть, *женщина* дает всего человека. От мужчины эйдос, начало движения, от женского материя и тело — это значит что от мужчины тело становится душой, в смысле чуткого восприятия, во сне и наяву, всего мира, и тело становится историческим. «Мужское завершает — придает завершенность — возникновение, вдыхает чуткую душу ἐπιτελεῖ τὴν γένεσιν, ἐμποιεῖ τὴν αισθητικην ψυχην», («О рождении живых существ» 741 b 5[75*]). Так же, как видение придает завершенность живому смотрящему глазу. *А тело есть уже и без мужчины.*

Незнакомая генетика, непривычная. Но нет никакого впечатления, что она прошлая. Хотя бы потому что она еще не осмыслена. Она касается тайны рождения и говорит, что последнюю полноту возникшего — не доделывание физиологии, она вся готова и дана женщиной — дает мужчина, но то, что он дает, того же рода как разница между совершенством и несовершенством, отличить так же трудно как — Умберто Эко говорит что невозможно — шедевр от искусной подделки. Мужчина дает новому существу что-то такого же рода как его увлеченность, обожание.

Я призываю кого-нибудь проверить, я не в состоянии это проверить, но похоже что в некоторых случаях, описывая возникновение существ через гниение, Аристотель как будто бы говорит о партеногенезе. Впрочем, это не принципиально. В сторону партеногенеза и его проблематики напрямую указывает то, что я только что назвал, «приводящая-в-исполнение» роль мужчины, до которого всё уже готово. Jacques Loeb (1859—1924), прусского происхождения американский биолог, довел свои опыты до партеногенеза лягушек, которые у него нормально росли до половой зрелости. Эти и другие биологические сведения показывают, что роль мужского в рождении по меньшей мере странная, у некоторых беспозвоночных вообще никакая. Есть виды, где партеногенез норма, без мужских особей обходятся до какого-то изменения, похоже что неблагоприятного, экологических условий: тогда в порядке всё того же опять партеногенеза начинают рождаться самцы. Похоже у пчел: оплодотворенная царица кладет сплошь ли-

[74*] Там же, с. 80.

[75*] См. русское издание: *Аристотель.* О возникновении животных. Пер. В.П. Карпова. М.; Л. 1940. Ср.: ...Самец всегда завершает порождение, так как он внедряет чувствующую душу... (с. 112).

чинки пчел *самок*, когда к концу сезона в ней кончается запас спермы, в ней кончается двуполое рождение и начинается партеногенез, и тогда она уже кладет только трутней.

Я говорю, роль мужского начала странная, по меньшей мере. Без него уже всё сделано. Современная биология говорит: мужское семя, попадая в центр яйцеклетки, увеличивает разницу между родителем и потомством, *может* повлиять на пол и стимулирует развитие яйца. «Стимулирует развитие яйца» — этот термин современной биологии уже просто совпадает с аристотелевским «приводит в исполнение». Причем в опытах с партеногенезом спровоцировать развитие яйца до полного организма можно и семенем самца и другими химическими способами.

Из-за того что роль мужского какая-то не техническая, мужское придает какое-то совершенство, какую-то полноту не физиологическую новому рождению, и это, то, что знал Аристотель, чувствуем мы, опыты генной инженерии с клонированием кажутся, и так они и есть, *безнравственные*. Это всё равно что сказать, что мужское начало вводит — прямо по Аристотелю — в новое порождение что-то наподобие *нравственности*. Если бы роль мужского была чисто технической и генная инженерия нашла другие способы выполнять эту чисто техническую функцию, она нашла ⟨бы⟩ на самом деле только способы сломить защитные механизмы женского тела, которое *запрещало почему-то само себе рожать без мужского*, или нашла другие способы стимуляции этой способности, которая у женского всегда уже была. Гадость клонирования овец, а потом может быть и людей в том, что наукотехника научилась обходиться *без того, что и так, химико-биологически, не нужно, а нужно как-то по-другому, чтобы, скажу словами Аристотеля, «внедрить чуткую душу»*, а иначе — будет тело и жизнь, живое тело, но без какого-то неуловимого последнего штриха, неопределимого, нужного для — *полноты*, для эйдоса.

Для чего этот штрих, для чего шедевры, если их всё равно не отличишь от подделок?

Для чего? Пример. Слово у Аристотеля материя, тело смысла. В словаре слова вроде бы полноценные. Но они умрут через год, через месяц, как только кончится осмысленная речь с этими словами. Материя не просто имеет смысл: материя *есть* только как возможность совершенства, достойной полноты; эйдос создает материю. Мать есть пока есть разумные сыновья; когда человек не получается из тела, матери уже нет, есть самка. История создает материю.

История поэтому у Аристотеля внедрена в *виде* (эйдосе) мужского семени в женщину, в мать, в материю и «приводит в исполнение», добавляя к материи цель как полноту. — Теперь мы по-другому будем думать о мифе, который начинается с порождения. И христианское рождение Богом Бога тоже — через материю, мать, которая *уже была* всей полнотой человечества, — через любовь.

В человеческой природе — одной — Богоматери всё человечество, человеческое уже было. Совершенно независимо от того, возможен или нет человеческий партеногенез, — в свете его распространенности вообще в живом мире скорее возможен, — правда «безмужнего зачатия», всякая, и человеческая, и биологическая, в том что мужское *странное*, стороннее[76]. Оно издалека и похоже на посещение, на *гостя*, который издалека и с которым, из-за этой далекости, начинается *история*.

---

[76] Массовая неспособность, среди благополучия и образованности, у женщин например в Германии, во всяком случае самый известный факт. Причина бесплодия, было установлено, не мужчины. Мужчины в порядке, но они-то как раз родить не могут. Женщина тут в *другом* положении ⟨...⟩

8 (28.10.1997)

Партеногенез возможен только у беспозвоночных. Если мы верно читали Аристотеля, и *мужское* это начало исторического, эйдетического, логического, то не надо бояться за хрупкость этого, аристотелевского и платоновского, идеализма: он вставлен, введен в человеческое существование с такой же основательной прочностью, с какой для продолжения рода в человеческом роде нужно обязательно и мужское тоже, одного женского недостаточно.

С другой стороны прочность этого союза, материи и смысла, обеспечена тем, что материя сама от себя стремится к логосу, к эйдосу (пока можем брать их вместе, до их различения). Говорить об этом нужно, потому что понимать материю как пассивное противостояние активному эйдосу — типичная ошибка. После всего что я тут говорил и цитировал слушавший мне возражает: «Нет, всё-таки у Аристотеля эйдос и материя очень противопоставлены». Я повторю: они не противопоставлены вовсе, материя *под*лежащее, а не *противо*лежащее. Материя это эйдос в потенции не в том смысле, что из нее можно изготовить эйдос, а в том смысле, что она хочет стать эйдосом и тянется к смыслу, сама от себя. Из последних работ тысячестраничная фактически энциклопедия, филолого-философская, по аристотелевской материи: Heinz Happ. Hyle. Studien zum aristotelischen Materie-Begriff[77]. Он говорит после подробного обследования, как главный вывод, о Vollkommenheitsstreben der Hyle. «Man fragt sich, warum diese stets bekannten Einzelzüge der aristotelischen Hyle nicht schon langst das klischeehafte Bild von der „passiven" Hyle korrigiert haben, ja wie es uberhaupt zu diesem Bild kommen konnte... Die Hyle des Aristoteles ist eine Metamorphose des „vorsokratischen" Materie-Prinzips, den aristoteli-

[77] Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1971. — XXVI, 954 p.

schen Problemstellungen anverwandelt und in neue Zusammenhänge hineinverwoben, aber voll ungebrochener Kraft»[78]*. Стратон, Евдем, Стоя (Sambursky S., Physics of the Stoics, London 1959), Александр Афродизийский, Авиценна и особенно Аверроэс «hatten... mit ihrer sehr dynamischen Interpretation der aristotelischen Materie durchaus nicht unrecht»[79]*.

Мне кажется — только кажется, потому что определенно тут говорить трудно, — что «мы», т.е. современные, которые читаем Аристотеля, скорее обеспокоены тем что материи может быть *много*, т.е. *слишком* много в смысле *непомерно* много, и мы вообще хотели бы ее умерить, или как-то образумить, об-р*а*зумить, например осмыслить. И *естественно*, раз есть такой замысел, есть в нас же и ему противодействие, опасение, что мы слишком распорядились, перестарались в организации, должны поэтому дать волю веществу, миру. В отношении к нему мы качаемся на этом маятнике, то в такте энергичной организации, когда мы решительно определяем, «это так, это пусть будет так», то в такте либеральном, «а может быть всё же не так, надо присмотреться, прислушаться».

Надо, или даже *скорей скорей*, или *во что бы то ни стало* задают наш тон и в наступательном и в выжидательном такте. У Аристотеля задает тон другое, «всегда уже́». Вся материя мира в его видении заранее уже охвачена миром в смысле спокойной полноты. Цитированный Хайнц Хапп обращает внимание на «О небе» I 9, доказательство, что мир один, что он в своей полноте вмещает всю материю какая вообще есть. «Взятый в целом космос состоит из всей свойственной ему материи, ибо его материю мы определили как естественное и чувственное тело. А потому множества Небосводов нет ныне, не было и не может возникнуть [в будущем], но это Небо одно, единственно и в полноте своей совершенно»[80]*. Доказательства в главе даются, они сцеплены со всей мыслью Аристотеля, и главное в сообщении Аристотеля именно этот тон, как музыкальный.

---

[78] *Heinz Happ*. Hyle..., S. 775 f. *Перевод: ...о стремлении hyle к совершенству: «Спрашивается, почему эти отдельные и хорошо известные признаки аристотелевской hyle до сих пор не скорректировали клише „пассивной" hyle — да и вообще, как мог возникнуть такой образ?!... Hyle Аристотеля — это метаморфоза „досократического" принципа материи, соответствующая аристотелевской постановке проблемы и включенная в новый контекст, но полная нерушимой силы».

[79] Там же, S. 777. *Перевод: были вовсе не так уж не правы в своей динамической интерпретации аристотелевской материи.

[80]* *Аристотель*. Сочинения..., т. 3, с. 292 (пер. А.В. Лебедева).

Мы не имеем права спорить о том, верный это или неверный, критический или некритичный тон, потому что в обоих, наступательном и выжидательном, тактах нашего отношения к миру *та же самая полнота*, только под *должно*, без понимания того, что всякое настоящее философское *должно быть* уже всегда *есть*. От *есть* мы отпали в *должно быть*, как ученик Аристотеля Александр Македонский полнотой мира жил как своей главной мыслью, но перестал видеть полноту мира как то, что уже есть, и вообразил ее под *должно*, достижимое, как только эллинская армия, перейдя Ганг, пройдет небольшое оставшееся расстояние до берега океана и значит до последнего края всего круга земель.

Материя это и материя в смысле предмета, объекта, и (до перевертывания понятий объекта-субъекта в Новое время) материя это субъект, под-лежащее, которое подлежит — определению. Это *то*, *о чем* будет высказывание, категория, о-чем-суждение. Материальная причина — это «то, из чего», в том числе в смысле «*из чего* у вас спор». Не *из-за чего*, это будет уже другая причина, формальная; не *из-за кого*, кто первый начал, опять другая, движущая; не *ради чего*, целевая, — а именно «*из чего*».

Античная, или вообще всякая сильная мысль настолько не любит косвенных, подстроенных ходов, настолько не любит отстать от прямой данности, что ее вовсе не шокирует то, что шокировало редактора аристотелевского тома Лосева в цитате: из чего, из материи, исправил он; нет, из матери. Не будет беды, будет отрезвляющим и просветляющим сказать: все из матери, буквально родились. Когда так скажешь, так посмотришь, то становится видна неполная уместность вопроса «что такое материя». Что такое мать. Мать это такое, что она нас родила. Посмотрим на себя, какие мы: мать это то, что было до нас такое, что могли появиться на свет мы. Антропный так называемый принцип сюда входит как само собой разумеющийся частный случай: если мать, из которой мы, естественно такая, что можем быть мы какие мы есть, то и мать матери, и первая мать, или материя, из чего мы, конечно такая, что из нее мы.

Дефиниция, определение материи, матери тут получает смысл разумеется не любознательного доискивания, что это за интересный объект такой, вне нас, наша мать, а совсем другой: знать, как нам *быть*, если мы такие, какие есть, из матери. Как вести тогда себя. Дефиниция служит вовсе не познавательному интересу, представьте себе познавательный интерес сына к матери, а включена в главный вопрос всякой мысли, такой для нее постоянный, что он и не высказан: как *быть*?

Мы из матери. Но разве мы из-за матери и в целях матери? Инициатива принадлежала, цель была поставлена отцом, отец *определил*, хорошо или плохо, что мать родит. Отец определение матери, логос имеет отцовскую природу; занимаясь определением материи, матери, мы делаем дело отца. Отец говорится познал мать, не в порядке научного познавательного любопытства, а в смысле определения как мы говорим, *надо определиться*. Решает мужчина, он «берет» женщину в жены, он ее «отпускает», уходит от нее. Когда уходит женщина, то решает, определяет она. Возможен не патриархат, а матриархат, определение и решение женщины. Мы не знаем, сейчас по крайней мере, этого строя, допустим он был давно. Больше того, для нас здесь и сейчас неважно, был он или не был. Важно, что разговор о нем, о его прошлом наличии и возможности, показывает: заметное, *видное*, эйдетическое (эйдос — вид) положение мужчины маркировано, отмечено. Тема матриархата и тема феминизма только *подчеркивает лишний раз* особенное, маркированное положение мужчины. Чем громче голоса феминизма, тем более заметным, броским, выпирающим становится положение не женщины, а мужчины.

Мужская определяющая и решающая роль логоса в классической философии называется сейчас фалло-лого-центризмом или фаллогоцентризмом, т.е. фаллосом, пенисом, и логосом в центре. Этот термин в свою очередь в середине самой оживленной драки в теперешней мысли. Драка всегда по существу идет за женщину.

Термин фалло-лого-центризм звучит своей прямой правдой: именно так оно и есть, логос как мужское, определяющее именно с такой, мужской и крутой прочностью введен у Аристотеля в тело, в «материю», в женское. Причем Аристотель, из того что мы малое о нем знаем, непохоже что нечаянно и незаметно, вводит его не от наивной подростковой неспособности говорить ни о чем кроме своего пениса, а с ясной волей, намеренно, в отчетливом свете дня. И больше того: он говорит о *долге* определения. Да, мужское должно взять инициативу, встать в центральное положение. Похоже, что вполне сознательно фалло-лого-центризм Аристотель *проводит*.

Тогда Жак Деррида оказывается вдвойне прав? Правда, его тезис звучит в точном виде вот как, цитирую по его хорошему изложению у Geoffrey Bennington[81]*: l'apport de Derrida à l'histoire de

[81]* *Bennington G., Derrida J.* Jacques Derrida. Paris, Seuil, 1991. Далее ссылки на страницы в тексте в круглых скобках. Перевод цитат и комментарии в квадратных скобках — Е. Овчаренко. [Книга состоит из двух текстов: Benning-

la philosophie, ce qui en ferait un «contemporain», interdit *d'une part* que la philosophie relegue la difference sexuelle au statut d'objet de science regionale sous pretexte d'une neutralite transcendentale qui en fait aura toujours voile un privilege du masculin (d'ou «phallogocentrisme»), et *d'autre part* qu' on essaie tout simplement de debouter ce masculin transcendental pour le remplacer par un feminin[82*] (192). У Аристотеля мужское и женское не отодвигаются в побочное, они как эйдос и материя-мать стоят прямо на виду, но это не нарушает позиции Деррида, всё равно большинство метафизиков поступает именно так, иначе скажем Владимир Соловьев не подавал бы свою тематизацию мужского-женского как новизну.

Но сейчас мы оставим этот официальный язык философии и будем слушать Деррида как он говорит для себя, в подвале, в тонированных сплошных дополнениях, внизу полос излагающей книги о нем, в совершенно интимных автобиографических заметках, которые когда-то, 20 лет назад, он не хотел никогда, никому ни в коем случае показывать. — Будем только действительно *слушать* Деррида, иначе какой смысл к нему приближаться; он-то *слышит* слово, и из-за этого невнимательный читатель смешно падает в лужу буквально на каждом шагу. Предлагаю для перевода важную фразу: Dès qu'il est saisi par l'écriture, le concept est cuit[83*]. Cuire: «варить»; но и «обжигать», как обжигают кирпичи; и «готовить», доводить до готовности. Cuit: «готовый, сваренный»; но и: «обожженный», как face cuite. Дело готово, «дело в шляпе»: говорится тем же словом, c'est du tout cuit. Но и: «влипнуть, пропасть, погибнуть, попасться», être cuit. Разница, не правда ли, между «доведен до завершенности, готовности» — «дело в шляпе» — «пропал». Что имеется в виду у Деррида, как должен вести себя переводчик? То, что для переводчика разница между терминами, différence, то для Деррида, он вводит новое слово во французский язык, differance, «разнесение»: слово, всякое сказанное,

ton, G. Derridabase и Derrida, J. Circonfession, они расположены один над другим, текст Деррида внизу, на сером фоне — ср. ниже в тексте «Леса»].

82* Перевод: вклад Деррида в историю философии, то, что делало бы его «современным», *с одной стороны*, запрещает философии редуцировать сексуальное различие до статуса объекта регионального знания под предлогом трансцендентальной нейтральности, за которой на самом деле всегда скрывается привилегия мужского (отсюда «фаллогоцентризм»), и, *с другой стороны*, не позволяет просто-напросто отказаться от этого трансцендентального мужского для замены его женским.

83* Перевод: Как только оно схвачено письмом, понятию крышка. [*Bennington G.*, *Derrida J.* Jacques Derrida... Обложка].

всегда идет вразнос, плавится на глазах, обгорает, *и с этим ничего не поделаешь*, не справишься, не зафиксируешь: мы думаем схватить в слове нечто, имеем дело с движением. Письменность тогда налагает арест (одно из значений saisir), или — жарит, обжигает понятие. Это хорошо или плохо? Или очень плохо, или необходимо, как чтобы сделать посуду надо обжечь глину, и в этом смысле хорошо?

Мужское, фаллогоцентризм, «идет в разнос» сразу, едва появившись на сцене, как «патриархат» сразу напоминает о более раннем «матриархате». Словами «женщина» и «мать» у Деррида обозначено не противоположное мужскому — господа, и это точно так же как у Аристотеля, здесь из тех случаев, когда всякая мысль, если она мысль, одна, — а скорее вся сложная ситуация, в которой оппозиция или оппозиции, разные, могут возникнуть. Как это может быть. Сейчас скажу как, но сперва два замечания. Первое: у Деррида нет наивного забывания, говоря «женщина», о матери, и говоря «мать», о женщине; он тут в библейской традиции, которая *Евой*, слово значит примерно «мать всего живого», называет жену, женщину Адама. Деррида не забывает о матери, говоря о женском. Он заставляет задуматься об их различии. Второе примечание. На с. 192 книги Беннингтона—Деррида именам (surnoms) «femme mère»[84*] верхней светлой части полосы приблизительно соответствуют на нижней темной, интимной собственное имя «Sultana Esther Georgette Safar Derrida», полное имя матери Жака Деррида, и весь подвал книги — записи дней и месяцев долгой болезни и смерти ее в клинике в Ницце. Пишет о ней тот, кто из нее. Мать значит сначала вот эта, близкая, из которой всё.

«Мать» у Деррида имя для «уже», déjà, и для «текст». Текст то, с чем идет вся работа в деконструкции, «материя» мысли Деррида. Деконструкция не любопытствование и не искание дефиниции, это прежде всего раскрытие того «разнесения», о котором уже говорилось. Тогда не «мать» разъясняет, что такое «текст», «ткань», а такое именование ставит вопрос на том, что же такое женское и материнское. Эта «мать», ставящая вопросы материя, — раньше оппозиции добра-зла, оппозиции мужского-женского, раньше правды-лжи — важно подчеркнуть и запомнить, *раньше*, т.е. не нечто сомнительное и скользкое, то ли правда то ли ложь, а задание смотреть, вдумываться и увидеть то, к чему хорошо-плохо неприложимо.

84* [Surnom букв. прозвище, этимологически еще одно, дополнительное имя; femme mère женщина-мать, но фр. femme одновременно женщина и жена].

Эта безотносительность материнского-женского, не негативная, к добру-злу опять просто в точности соответствует до-оппозиционности аристотелевского субстрата. Причем сам Деррида и не замечает этого соответствия и в принципе не может его никогда заметить, потому что как только он берет *тексты* Аристотеля и Платона, чаще Платона, вчитывается в них, он заранее уже видит в них то, что принято, оппозицию мужского женскому, т.е. фаллоцентризм, и речи письму, т.е. логоцентризм. К сожалению, принадлежность к деконструируемой метафизике классических авторов в основной, громкой линии французской мысли предполагается заранее, пойти против критической, революционной позы значит остаться с меньшинством читателей, Деррида явно с большинством.

Но еще не хватало нам улавливать Деррида там, где он некорректно читает своих авторов. Ницше и до некорректного чтения не доходил, вообще их не читал иначе как в изложениях в справочниках. *Не в этом дело*. Если бы читатели, которые читают меня поверху, по светлой верхней половине книжной полосы, угадали, из чего состоит моя жизнь: из постоянной молитвы и слез (... car à la manière de sA je n'aime que les larmes, je n'aime et ne parle qu'à travers elles...)[85*] и желания умереть, не от усталости, а наоборот от невыносимости ускользания полноты, от невозможности ее повторить, дублировать. То, что мы в сентябре назвали, опознали как обязательное, первое, непременное условие всякой мысли, молитва как предъявление себя Богу, à Dieu, le seul que je prenne à témoin, sans savoir encore ce que veulent dire ces mots sublimes, et cette grammaire française, et *à*, et *Dieu*, et *prendre*, prendre Dieu, et non seulement je prie, comme je n'ai jamais cessé de le faire dans ma vie, et le prie, mais je le prends ici et le prends a temon, je me donne ce qu'il me donne c'est-à-dire le *c'est-à-dire* de prendre le temps de prendre Dieu à témoin[86*] (56 сл.). Пусть Бог будет свидетель всему,

---

85* Перевод: ибо, подобно сА я люблю только слезы, я люблю и говорю только сквозь слезы»... [sA, cA — так Деррида сокращает «святой Августин»; в другом тексте, «Glas», он сокращает SA «savoir absolu», гегелевское абсолютное знание, о чем сразу напоминает в Circonfession, p. 54; sA звучит так же, как и французское ça, перевод фрейдовского «оно»; кроме того, поскольку текст Беннингтона должен, по идее, объяснять всего Деррида, что подробно обсуждает текст на сером фоне, savoir absolu относится и к нему].

86* Перевод: Богу, которого я одного беру в свидетели, еще не зная, что означают эти возвышенные слова, и эта [французская] грамматика, и *в*, и *Бог*, и *брать*, брать Бога, и не только я молюсь, чего я никогда в жизни не переставал делать, и молюсь ему, но я беру его и беру его в свидетели, я даю себе то, что он мне дает, иными словами, саму возможность сказать «иными словами», что я даю себе время для того, чтобы взять Бога в свидетели.

что в себе понятно и что в себе непонятно. От невозможности дублировать момент — постоянная мысль о том, чтобы *положить конец своей жизни*, не в смысле конструирования самоубийства, а в смысле поставить всю жизнь и смерть как ставку, как цену, которую недорого отдать за роскошь, счастье длящегося момента. — От этого Деррида с детства, когда взрослые забавлялись тем, как легко, ни с того ни с сего, этого ребенка можно заставить плакать, любит тех, кто легко плакал, Руссо, Ницше, св. Августина (114).

Из-за невозможности дублировать, сфотографировать «сейчас», я мертвый уже сейчас — вот начало слез: оплакиваю себя, продолжаю просто плач матери над больным и может быть умирающим в болезни, как умерли уже два других сына, два брата — продолжение слез матери как продолжение жизни из нее.

Предъявление себя Богу — вовсе не описание себя перед ним, словно Он и без того не знает; вовсе не правдивость, истинность, искренность сообщения, а прямо сразу прошение вот этого дара, don, который был и есть во всём что есть, — или, что то же, прошение *прощения*, pardon, просьба чтобы всё было *оставлено* как всё есть, вместе с прошением прощения за невозможность повторить, удержать подаренное. Всё случающееся, автобиография, тогда становится теологией (84). Рядом с невыносимостью ускользающего, с постоянной мечтой о смерти, с плачем и постоянной молитвой меня, если поскрести, n'interessent au fond de l'escarre ni l'écriture ni la littérature, ni l'art, ni la philosophie, ni la science, ni la religion, ni la politique, seulement la mémoire et le coeur, non pas même l'histoire de la présence du présent[87*] (85).

Прошение прощения, т.е. того что я не могу, а Бог может, именно подтверждающего повторения дара *всего*, само уверено только в одном этом: в подтверждении, в отождествлении того, что есть, что оно то, что есть, так, как оно есть, вовсе не значит что сколько-нибудь известно, что такое я, Бог, дар, прощение. Что такое может быть тогда свое тело? И это неизвестно, и похоже останется неизвестно даже с большими биологическими знаниями. — Но не всё в темноте темного неопределимого леса: среди тьмы, слез, неизвестности прорезывается факт несомненный, кричащий, всегда стоящий перед глазами, пусть тоже необъясни-

[87*] Перевод: не интересуют в глубине корочки затянувшейся раны ни письмо, ни литература, ни искусство, ни философия, ни наука, ни религия, ни политика, только память и сердце, даже не история присутствия присутствующего [или: настоящности настоящего].

мый, но зато предельно, абсолютно определенный: он в том, что на седьмой день рождения этого загадочного существа, меня, по документам Жака Деррида, по тайному имени Илии Деррида, на седьмой день руки дяди, тоже Илии, прочно держали его тело на коленях, разводя ему колени, и лицо с такими неизвестно от какой древности идущими правами, mohel, произвел над этим маленьким младенческим телом операцию, каменным ножом, обрезания.

Зачем, почему. Эти вопросы уведут в историю религий, в мифологию, и они совсем ни к чему рядом с несомненным, наблюдаемым сейчас фактом: над этим телом собравшимися людьми, и над определенной частью этого тела, служащей продолжению рода, над пенисом, фаллосом, была сделана та операция, отрезано кольцо крайней плоти. Острая маркированность, как бы многослойная, этого события была подчеркнута тем, что намеренно и подчеркнуто *не было* исполнено при обряде, но само неисполнение указывало на исполнение в других случаях, в другие времена: мать иногда в прошлом должна была съедать отрезанное кольцо крайней плоти; и второе, еще: вплоть до отмены в 1843 году, да и то только в Париже, этой практики как негигиеничной, мохель должен был отсосать кровь с омываемого вином пениса после обрезания, обряд mezizah, — т.е. одновременно священное людоедство (отсюда легенда об обрядовом поедании младенца у евреев) и тут же обрядовое, религиозное освящение фелляции, минета.

И эти темы давно всплывали в разных книгах Деррида. Их могли считать случайными, но не он сам, записавший в дневнике 20.12.1976: Circoncision, je n'ai jamais parlé que de ça, considérez le discours sur la limite, les marges, marques, marches [поля, меты, отметины, пограничные марки], etc., la clôture, l'anneau (alliance et don), le sacrifice, l'écriture du corps, le *pharmakos* exclu ou retranché, la coupure/couture de *Glas*, le coup et le recoudre, d'ou l'hypothèse selon laquelle c'est de ça, la circoncision, que, sans le savoir, en n'en parlant jamais ou en parlant au passage, comme d'un exemple, je parlais ou me laissais parler toujours, à moins que; autre hypothèse, la circoncision elle-même ne soit qu'un exemple de ça dont je parlais, oui mais j'ai été, je suis et je serais toujours, moi et non un autre, circoncis, et il y a là une région qui n'est plus d'exemple, c'est elle qui m'intéresse et me dit non pas comment je suis un cas mais où je ne suis plus un cas, quand le mot d'abord, qu moins, CIRCONCIS, à travers tant et tant de relais, multipliés par ma „culture", le latin, la philosophie, etc,., tel qu'il s'est imprimé dans ma langue à son tour circoncise, n'a pas pu ne pas

travailler, tirer en arrière, de tous les côtés, aimer, oui, un mot, *milah*[88*] (70 сл.).

Milah — слово; корень тот же, что в mohel.

И то, что алжирские евреи, чувствуя смягчающее влияние католической французской культуры, говорили вместо обрезание «крещение» и вместо Bar Mitzwa la communion, приобщение, это только вгоняло внутрь и значит загоняло еще глубже самообвинение в тайном ритуальном убийстве, заставляло секретно признаваться в нем и значит прочнее связывало в бездне смеси стыда, утаивания, необходимости оправдываться.

И к своей литературе, к тому что он пишет Деррида привязан тем же тайным, прямо его и только его касающимся порывом — развязать этот завязанный обрезанием узел, но этот узел развязать уже нельзя, и тогда текст, его материал, материя, уже мало читать, его надо съесть, сосать как крайнюю плоть, ее отрезанное кольцо — ведь слово по-еврейски это и есть отрезанное, обрезанное, milah (77).

В этот узел завязано и отношение к отцу, чье кольцо после его смерти Деррида *не сумел сохранить*, потерял, и в то же время стал мечтать о книге об «обрезании», об этом теневом, закулисном мире шрамов, язв, отрезания, каннибализма, порождения через текущую кровь, через сосание, через съедание, не один раз. Та же связь плотью, телом, как прямое продолжение боли обрезания, странное жжение в животе, как бы иррадиация диффузной зоны вокруг полового органа, словно угроза кастрации, каждый раз при виде и переживании чужой боли, всё равно, близкого человека или совсем незнакомого, с которым нет никакой идентификации

88* Перевод: Обрезание — я всегда говорил только об этом, считайте дискурс о границе, полях, метах, ступенях [или пограничных марках] и т. д., закрытии, кольце (союзе [или завете] и даре), жертвоприношении, письме тела, исключенном или устраненном фармакосе, разрыв/шов Glas, удар и сшивание заново, откуда гипотеза, согласно которой об этом [ça, перевод фрейдовского «оно» и омофон к SA, sA], об обрезании, о котором, не зная этого, никогда не говоря о нем или говоря о нем мимоходом, как о примере, я говорил или давал себе говорить всегда, если только не само обрезание, другая гипотеза, не является лишь примером того, о чем я говорил, да, но я был, я есть и всегда буду, я, а не другой, обрезанным, и здесь есть регион, который больше не пример, тот регион, который меня интересует и мне говорит не только о том, каким образом я представляю собой частный случай, но и где я больше не частный случай, когда прежде всего слово, по меньшей мере, ОБРЕЗАННЫЙ, через столько посредников, умноженных моей «культурой», латинским, философией и т.д., такое, как оно отпечаталось в моем в свою очередь обрезанном языке, не могло не работать, тянуть назад, со всех сторон, любить, да, одно слово, milah.

(66); сочувствие брюхом ко всякой боли, sympathie algique autour de mon sexe[89*] (104), первый раз ясно в раннем детстве — от вида крови из пораненного самокатом куннуса двоюродной сестры, Симоны, 7 или 8 лет (104).

Если взрыть, вскрыть этот узел, одной кровной связью сцепляющий поколения, самое свое интимное и тайное, обрезание и отрезанное, слово, — заглянуть в это подземелье, откроется словно новый неведомый язык, тайный Илия, покровитель обрезания, проглянет через всем видимого Жака, стены будут сломлены. Это и рискованно и трудно. Надо решиться стать le seul philosophe à ma connaissance qui, accueilli — plus ou moins — dans l'institution académique, auteur d'écrits plus ou moins légitimes sur Platon, Augustin, Descartes, Rousseau, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Benjamin, Austin, aura osé décrire son pénis, comme promis, de façon concise et détaillée, et comme on n'aura jamais osé, sous la Renaissance, peindre le pénis circoncis du Christ, sous le prétexte incroyable qu'on n'avait pas de modèle[90*] (110). *Так* привязано должно быть к брюху слово, одновременно самой интимной, самой священной и самой тесной связью. Что не переходит прямо в обрезание — то скучная, ненужная просто литература (115 сл.).

Но порыв познать себя вдруг *уводит* от себя, к странному близнецу или двойнику, который именно поскольку точно во всём я, именно поэтому весь отделен, отсечен от меня, отслаивается. — Когда Деррида это записывает, словно напоминая ему о неприступности близнеца, проснувшийся Жан, ребенок, говорит Маргарите, жене, 17 июля 198(?), что «ему приснилось что у него есть двойник», и «он грамматический» (132). От неприступности той глубины, на какой в него врезалось обрезание, Деррида делает отчаянные, совсем уже рискованные движения, подставляется выставляя самое секретное и интимное и стыдное, он хочет *написать* le mélange su cette cène incroyable du vin et du sang, le donner à voir comme je le vois sur mon sexe chaque fois que du sang se mêle au sperme ou à salive de la fellation, décrire mon sexe à travers des millé-

---

89* Перевод: альгическая [от *альгос* греч. «боль», болевая] симпатия вокруг моего члена.

90* Перевод: Единственный философ, насколько я знаю, принятый — более или менее — академической институцией, автор более или менее легитимных текстов о Платоне, Августине, Декарте, Руссо, Канте, Гегеле, Гуссерле, Хайдеггере, Беньямине, Остине, осмелился описать свой пенис, как и обещано, точно и подробно, точно так же, как во времена Возрождения художники не осмелились написать обрезанный пенис Христа под тем невероятным предлогом, что не было натурщика.

naires du judaïsme, le décrire (microscopie, photographie, stéréophototypie) jusqu'à crever le papier, faire baver, mouiller les lèvres, en haut et en bas, de tous les lecteurs, étendus à leur tour sur les coussins, à même les genoux du «parrain» Elie[91*] (145). Само-минето-обрезание, мохель над самим собой (149) — и это как обряд или высший акт *своей* уникальной и единственной личной религии, которая сложилась в непрестанной молитве всей жизни, у меня, считающегося справедливо атеистом, omniprésence[92*] своего Бога, на *этом* своем единственном языке, обрезания, где слово отрезаемое (146).

Господа, это фаллоцентризм, уже совершенно откровенный, эксплицитный, выраженный. Критику фаллоцентризма выбирать поэтому нужно вовсе не между фаллоцентризмом и нет, а между наивным скрытым и спрятанным — и выведением его на самую середину. Не спрашивается, откуда он: он есть, как есть мать, отец, из которых я. Если кто забыл это, то не еврей, которому на похоронах отца раввин как повторение обрезания, и подтверждение его связи с авторитетом отца, на похоронах отрывает сыну пуговицу ритуально от рубашки (157). Что в этом сгущении всего вокруг места рода, пола не автобиографическая частная особенность Деррида, он с вызовом говорит: всё это моя исповедь, да, но еще больше это я исповедую других, пробую их на их тяжелые тайны, которых я невольный наследник.

Что произойдет, когда сверхцель будет достигнута, кончится обрезанное письмо, начнется необрезанное, уже без помощи постоянно как бы присутствующего отца, — разве все эти реалии куда-то уйдут и в центр выступит другое? Может быть, но какое другое? Что, станет ясно, что такое обрезание, что оно значит? или изменится тело, уйдет знак обрезания? (181) Что вообще происходит, почему на тело набросились, именно на эту часть, и отрезали от нее крайнюю плоть? Почему ⟨она⟩ так смертельно маркирована? Это явно кастрация, обозначенная самым решительным образом, — или это как прививка, знак безусловной и решитель-

---

91* Перевод: смесь этой невероятной тайной вечери [cène, тайная вечеря по-французски звучит так же, как и scène, сцена], вина и крови, ее видимое представление, которое я вижу на своем члене каждый раз, когда кровь смешивается со спермой или слюной орального секса, описать мой член через тысячелетия иудаизма, его описать (микроскопия, фотография, стереофототипия) до разрыва бумаги, заставить течь слюну, сделать влажными губы, верхние и нижние, у всех читателей, растянувшихся в свою очередь на подушках, прямо на коленях «крестного отца» Илии.

92* Перевод: присутствие [Бога] везде, букв. «всеприсутствие»

ной отмены кастрации? В любом случае это действие кричащим образом указывающее в сторону секса, продолжения рода — но как именно, для чего?

Человек видит на себе обрезание, на *себе*, может его прошли и другие, оно коснулось не только его, но оно как смерть принадлежит ему не как одному из многих. Я умираю, моя смерть не еще одна и не в ряду, смерть не распределяется как работа между многими. Так же обрезание всегда именно мое, касается меня не статистически, а интимнее некуда. Говорить о нем — единственное, что по-настоящему интересно, но *кому* сообщить и главное *что* сообщить, кроме вот этого, что я сильно, интимно задет в самом стыдном и чувствительном.

Фаллоцентризм, фаллос в центре внимания, и сплетен с женщиной и с матерью в воображении фантастического обрезания, где операция, преувеличенная, с выпадением наружу всех внутренностей, с громадной болью, совпадает одновременно с фелляцией и оргазмом, так что семя смешивается с кровью, невыносимая боль с невыносимым восторгом (202 сл.).

В этом, взвинченном до предела, фаллоцентризме становится совершенно ясно его отличие от аристотелевского, тоже до предела отчетливого. Двойная операция над фаллосом, совершаемая женщиной, вдвойне делает его темой, вопросом, кричащей неопределенностью, неизвестностью. Для Аристотеля фаллос не тема, а роль: взятие на себя водительства, исторической инициативы. Разумеется с риском ошибиться. Это решительное водительство, его риск Деррида на себя не берет.

Критика фаллоцентризма здесь поэтому вовсе не отказ от фаллоцентризма, фаллос наоборот попадает в центр внимания как никогда, и именно как материя для деконструкции. Обрезание *не* понимается как прививка от кастрации, понимается как сама кастрация; своих собственных детей Деррида *не* дает на обрезание. Он «последний еврей», на нем иудаизм кончается. Отречение от своего обрезания — это отказ от уверенного, императивного жеста «так надо», непонимание, почему «так надо» и вообще что бы то ни было «абсолютно надо». Всякий разум, всякая цель понимаются как *конструкция*, которую надо разобрать.

Ничего не говоря о постмодерне вообще, о деконструктивизме вообще, Жака Деррида надо искать в этом *лесу*, вне метрического пространства, и куда он настойчиво напоминает нам *вернуться*, не веря, отказываясь верить в геометрию леса или в его крест. Сейчас когда мы очень близки к разгадке или догадке, которые могут не состояться, очень важно удержаться от нервных решений, типа его отказа от мужской роли: отказ от императивного же-

ста еще не значит отказ от мужской роли; решение о прекращении традиции обрезания, при том что считается, что еврей, отказавшийся от обрезания, обречен на вечную геенну, остаться евреем и вместить Бога св. Августина, выбрать навсегда, с безусловной опять же решимостью жизнь молитвы и слез — это опять одноразовый, крупный поступок. *Не* именовать своего Бога, хранить его как тайну, куда никто не допущен, — тоже окончательный, важный жест. Заметьте, во всём этом есть мужество и определенность, в которых мы узнаем дисциплину философии.

Мы говорили о том, что всякое настоящее искание, которое не устает, проходит через такт амехании, полной безвестности, растерянности. Отношение Деррида к слову, к тексту — слово у него в «разнесении», распадается на буквы, переплавляется в сходные слова, написания, эти переходы ведут его мысль — поддерживается тактом зависания слова. Он вдруг видит слово, одним весенним утром 1990 года, это было слово «каскад» (каскад бед, расстройств, с этого началось) — вдруг словно впервые. Это бывает часто. И каждый раз тогда он бессмысленно, непонимающе и отсутствующе видит слово с тем же самым отсутствием малейшего отклика, как его мать в последний год жизни, никого не узнающая, ничего не понимающая, не узнающая сына и не отвечающая на его приветствия. И каждый раз это зависание слова оказывалось — так случалось — началом новой любви, открытием новой земли; и каждый раз, когда это зависание случалось, оно было как началом каскада, любви ко *всем* словам. Что произойдет и то и другое, слово вдруг выпадет из лексической сетки, станет неприступным — и потом откроется в свежей заманчивой прелести, человек сам устроить или хотя бы надеяться на это не может, то и другое *выпадает*, как всегда неожиданность.

Как в слове, так во всём. Мы цитировали о том, как всё, литература, политика, философия перестают существовать, ничто не важно и не интересно; как то слово, так вообще всё зависает в покинутости, обмане, всё раздражает и приводит в отчаяние, нетерпение. Нельзя сказать ничего; что ни скажешь, упадет глухой глупостью, никому не нужной, на землю, — и как раз этот и только этот момент бессилия вдруг, опять же сам собой перерастает в совсем свежую захваченность интересом ко всему на свете, ко всем вещам, языку, литературе, философии, и тогда как в невнятной речи от счастья человек пишет: je n'ai rencontre personne, je n'ai eu dans l'histoire de l'humanité idée de personne, attendez, attendez, personne qui ait été plus heureux que moi, et chanceux, euphorique, c'est vrai *a priori*, n'est-ce pas, ivre de jouissance ininterrompue, *haec om-*

nia uidemus et bona sunt ualde, *quoniam tu ea uides in nobis* XIII 34, 49[93]* (248).

Это впускание других глаз, Бога, допущение того, чтобы Бог видел через нас то, что Он увидел в самом начале свежего творения, обеспечено отпусканием, пустотой зависания, опять же *решимостью* на такт оставленности, на то чтобы быть constamment [sic] triste, privé, destitué, déçu, impatient, jaloux, désespéré, négatif et névrosé[94]* (248 сл.).

Брошеность, пустота, амехания не случаи, а первая и главная реальность. *Неясно*, почему мать бросила в мир, почему не оставила при себе, выгнала в жестокую школу, не удержала дома. Но зато и она же оставила хранительную наследственность, спасительную, car ses capacités de silence et d'amnésie sont ce que je partage le mieux au monde, rien à dire, voilà ce qu'ils ne supportent pas, que je ne dise rien, jamais rien qui tienne ou qui vaille, aucune thèse qu'on puisse réfuter, ni vrai ni faux, pas même, pas vus pas pris, ce n'est pas une stratégie mais la violence du vide par où Dieu se terre à mort en moi[95]* (252). В круговой обороне, никогда не сдастся. *Отсюда*, из этого железобетонного неприступного молчания всё, до Деррида не достучаться и не докричаться как до его матери в предсмертном забытьи — которая и раньше никогда не прочла ни одной его строки, не заглядывала ни в одну его книгу. La puissance inoubliable de mes discours tient à ce qu'ils broient tout jusqu'à la cendre muette dont on ne retient alors que le nom, à peine le mien, tout cela tournant autour de rien, d'un Rien où Dieu se rappelle à moi, c'est ma seule mémoire[96]* (252 сл.).

93* Перевод: не встречал никого, в истории человечества я не могу себе представить никого, подождите, подождите, никого, кто был бы счастливее меня, удачливее, эвфоричнее, это истинно *a priori,* не так ли, пьянее от непрерывного наслаждения, *haec omnia uidemus et* bona sunt ualde, *quoniam tu ea uides in nobis* XIII 34, 49 [всё это мы видели и *всё это очень хорошо*, потому что ты это видишь в нас].

94* Перевод: постоянно печальным, обделенным, отставленным от дел, разочарованным, нетерпеливым, ревнивым, отчаявшимся, отрицательно настроенным и невротичным

95* Перевод: потому что ее способность к молчанию и амнезии — это то, что я разделяю лучше всех в мире, ничего не сказать, вот чего они не выносят, что я не говорю ничего, никогда ничего состоятельного или ценного, не высказываю никакого тезиса, который можно было бы опровергнуть, ни истины ни лжи, даже не, не пойман не вор, и это не стратегия, но насилие пустоты, через которое Бог скрывается во мне насмерть.

96* Перевод: Незабываемая мощь моих дискурсов связана с тем, что они перемалывают всё вплоть до немого пепла, от которого остается только имя, едва ли мое, и всё это вращается вокруг ничто, Ничто, где Бог мне напоминает о себе, это моя единственная память.

Одна из хитростей глухого молчания: с невозмутимой холодностью говорить о трагическом, взяв его в кавычки и ведя словно его грамматический разбор.

Кто собственно я, что от меня хотят. Я маленький еврей, который ничего не понимал, когда пришел на свет. Он ничего не понимал и в 12 лет, когда его, круглого отличника, исключили из лицея в Алжире. За что. Ему не место в европейской французской школе, он принадлежит Африке, его язык пусть будет еврейский или арабский. — В 1981 его арестовывают в Праге, сажают в тюрьму, за торговлю наркотиками? Между тем исключением и этой тюрьмой, или шире между рождением, бросанием в холод и неизвестность, и смертью, — на что опереться, что не ускользает? Где я, между необходимостью и случайностью, что во мне необходимого, что случайного? Но это ведь *я* не знаю что к чему, кругом всё полно этого знания, от уверенности французской администрации Алжира, что еврей должен знать свое место, до уверенности властей Чехословакии, что нельзя позволить свободно французу вести недозволенный семинар в Праге. Как уверенность руки, которая поднялась с ножом отрезать часть тела младенца. Кругом всё полно Логосом, резонами, смыслами и всё приглашает вникнуть в них, додуматься, согласиться. Почти уже соглашается. Сам готов вникнуть, подумать, признать.

9 (4.11.1997)

Кругом всё полно Логосом, резонами, смыслами и всё приглашает вникнуть в них, додуматься, согласиться, заставляя не согласиться, хотя бы так подключить, сделать то и это, например собраться вместе и произвести над телом семидневного младенца операцию обрезания, это обязательно нужно. Деррида не знает как возразить и почти уже соглашается с диктовкой и с обвинением. Сам готов вникнуть, подумать, признать. Слишком вкруговую обложили человека империи смыслов, он начинает, слабый человек, винить себя во всём, вплоть до принятия от случайного слушателя обвинения в том, что мало помог во время Второй мировой войны страдающему еврейству. Может быть действительно как-то виноват в преследованиях евреев. Хотя бы скажем тем, что оказался евреем.

Деррида стоит посреди мира как пророк явно с миссией. Не зря же случилось так что он пишет, печатается, выступает. Миссию задано исполнить именно, явно лично, кого еще другого он попросит, имей вместо меня эту известность, возьми вместо меня эти сотенные аудитории, дарю тебе моих слушателей. К другому не пойдут, обязан. Но какую миссию. Хорошо бы это знать, а никто не сказал. Задание вручено, но текст задания понятен получившему не лучше чем любому другому. Задание dont la lettre indéchiffrable ne parvient qu'à lui qui n'y comprend pas plus qu'un autre[97*].

В чем его вина? Куда гонят молчаливого маленького еврея, запуганного отличника французского лицея в Алжире, которого исключат, торговца наркотиками, раздавленного грузом вины, своих мыслимых и немыслимых преступлений, нервного, замер-

---

97* Перевод: не поддающиеся расшифровке письмена которого достигают только его, и он понимает их не лучше кого-то другого

шего в страхе как зверек. L'infant [инфант, немовля] innocent qui se trouve par accident chargé d'une culpabilité dont il ignore tout, ходячий труп, il court il vole si jeune et léger futile subtil agile délivrant au monde le discours même de ce simulacre imprenable immangeable[98*] (282 сл.).

Только кажется, что пишущий и говорящий *знает* или по крайней мере знает больше чем другие. Говоря, что нет ориентиров, Деррида может повторить: это не моя, это *ваша* исповедь, разница между нами только та, что я уже исповедуюсь, а вы еще нет. Если снять, соскрести пленку наложенных смыслов, продиктованных неведомо откуда неведомо когда как обрезание, как квота на евреев в высшей школе, как система строжайших запретов — кем, как обоснованных? — на торговлю наркотиками, *если разобрать надстройку диктующих смыслов, то что мы называли расписанием, а этой разборкой и занята деконструкция, обнаружится лесное безделовое состояние всякого человека*, живого существа без ориентиров среди леса. Отчетливый мир расписания, экрана только блазнь, соблазн, Деррида тысячу раз прав в своей деконструкции и всегда окажется прав. *На деле*, по-настоящему есть растерянное, потерянное, *брошеное*, по Хайдеггеру, живое существо среди темного леса.

...Le voici qui plie sous le fardeau, il l'assume sans l'assumer, nerveux, inquiet, traqué, cadavérisé comme la bête qui fait la morte et se confond avec le feuillage, la littérature en somme, pour échapper aux assassins ou à leur meute, cadavre qui se porte lui-même[99*].

Пусть никому не кажется странным это свертывание всего громадного дискурса культуры, всего цивилизованного мира экрана и расписания, постоянно всё расписывающего, всё экранирующего, уже шага не ступающего без карты, когда *все* мыслимые шаги уже расписаны и прочерчены, не хватает только привязки для главных терминов и величин системы, они зависают над бездной, — если это зависание заметить и дать империи деланных

98* Перевод: Невинный инфант, который по воле случая стал носителем вины, о которой он ничего не знает, ходячий труп, он бежит, он летит такой юный и легкий хрупкий пустоватый ловкий сообщающий миру сам дискурс об этом неприступном, несъедобном симулякре.

99* Перевод: ...Вот он, сгибающийся под ярмом, которое он принимает, не принимая, нервный, беспокойный, преследуемый, превращенный в труп, как зверь который прикидывается мертвым [bête, зверь, по-фр. женского рода, это важно для Деррида, см. курс последних лет La bête et le souverain, «Зверь и суверен»] и прячется в листве, в общем, как литература, чтобы убежать от убийц или от их своры, труп, который выносит себя сам.

смыслов провалиться куда ей и надо, в иллюзию, в мечту, в пустоту, то что остается? растерянный зверек, прячущийся в листве, в кроне деревьев от охотников.

Есть мужество в том чтобы не засыпать в машинном расписанном движении цивилизации, *разобрать* наложенные схемы смыслов — во всех смыслах разобрать, подробно прочесть и увидеть, что за ними. За ними всегда странный простор, впускающая пустота, как обрезание, обращение с органом, служащим продолжению рода: закон уходит далеко, в *незапамятные* времена, идет издалека мимо и поверх всех рационализаций, более или менее смешных, как гигиенические и подобные резоны; как корни дерева уходят в почву, и эти официальные резоны похожи на струганое обработанное дерево, но чтобы дерево обтесать и обточить, надо сначала чтобы оно было, выросло из корней на почве. Тогда можно его брать и делать из него что хочешь, но, напоминает Аристотель, если эту рационалистическую поделку забыть и ее снова засосет почва, то вырастет не новая такая поделка, а снова опять сырое дерево.

Деконструкция, разбор — это как закапывание поделок в землю, возвращение туда, откуда они пришли, и показ, безошибочно верный: имеет от себя жизнь не сама она, а — лес. Только лес живет как-то сам, умеет так. Пусть кто-то ослеплен графикой расписания, расчета, распределяет, направляет, в начале и в конце расчетной и расчетливой деятельности лес. Среди бела дня в самой середине интенсивного дискурса Деррида замечает и признается: он лишь зверек, прячущийся, мимикрирующий в листве, литература его *лес.*

Мы слышали то что слышали. Теперь мы должны решить, сдался ли Аристотель от паники, нервного срыва, слепоты миру логоса, фаллоцентрической империи рациональности. И ответ почти сразу же готов. Деррида сам помогает его дать, служит лучшим введением к классической мысли — как Хайдеггер ее самый верный комментарий и продолжение. Аристотелевская, как классическая, как всякая настоящая мысль в том неизвестном, немерном пространстве, которое Деррида обозначил нам своей решимостью вырваться из расписания, прервать традицию обрезания и уйти вместе со своим потаенным Богом в глухое окопное молчание. Надо отвязаться от чтения философии в сетке готовых схем, *принять* подготовительную школу Жака Деррида и увидеть античную мысль *в ее лесу.*

Деррида принял решение и привел его в исполнение. На нем в его роде должна *остановиться* тысячелетняя, через сотни поколе-

ний, череда обрезаний. Отныне операция на мужском органе, служащем продолжению рода, *не* будет проводиться в его семье, он *последний* еврей.

Обратный смысл этого поступка тот, что снимается расписание человеческой биографии, открывается нерасписанная немерная неизвестность. Человек *возвращается к зверьку*, прячущемуся в лесу от охотников, от всей банды.

Из дошедших работ Аристотеля самая крупная «История животных», собственно «Сведения[100] о живых существах». — Интерес собирания сведений о живых существах какой? То, что мы сами в самой середине живых существ, встроены или спрятаны в этом лесу, как зверек Деррида. Человек *по существу* раньше всех живых существ. Человек настолько глубоко и глухо внедрен в земное живое, что тому видению Аристотеля в «Физике», что если бы в составе природы было искусство строительства, то стволы, камни, глина сами собирались бы, сволакивались в здания и здания вырастали бы спонтанно, есть вот какое соответствие в «Истории животных»: животные подражают человеку, ласточки строят гнезда по подобию человеческих домов, птицы вдвоем вскармливают птенцов. Т.е. человек еще надежнее, прочнее врос в мировой лес со своим искусством чем некоторые животные со своим «инстинктом». Человеческое *уютнее* расположилось среди вещества, гармоничнее. Человек живое существо как все другие, но сверх того *политическое*, и ложное понимание этого места из «Истории животных» в смысле «общественное животное»: индивидуальность, отдельность для Аристотеля так же присуща человеку как общественность, общественность имеют и пчелы. «Политическое» значит у Аристотеля: нравственное, и это значит что надо заново понять, что такое нравственное. *Во всяком случае нравственное не значит расписанное предписаниями* (типа обрезания). Нравственное значит у Аристотеля *поступающее*, способное к решению и выбору, поступку (Большая этика I 1187 b[101*])

Еще раз. «Общественное животное» очень *скверно*, злостно и вот уж действительно неправильный перевод, вот действительно *вредительский*. Революционеры, строившие новое общество, не случайно боролись с вредителями, отыскивали и обезвреживали их. В человеческом обществе вредительству быть просто и необ-

---

[100] Собственно даже корень слова в *история* тот же что в *сведения*, первоначально история то, что теперь называют *разведданные*, собирание информации о ситуации в мире; история поэтому сначала современная, потом древняя, в той мере в какой она прямо участвует в современности.

[101*] См.: *Аристотель*. Сочинения..., т. 4. М., 1984, с. 309 сл.

ходимо, вредительством отравлена почти всякая совместная жизнь, в коммунальной квартире или в верховном совете. Почему вредительство так внедрено в человеческое общество. Потому что для этого ничего не надо делать. Оно само. Почему, когда к общественному строительству пришли революционеры, новые, свежие и чуткие люди, они увидели вокруг, везде, почти в самих себе вредительство и готовы были казнить сами себя за вредительство. Потому что человек ζῷον πολιτικόν, не в смысле собравшееся в улей или в муравейник, хотя это человек тоже *умеет* и строит сейчас термитные государства. Но он умеет жить и монахом. Есть разница между тем что человек просто всего лишь *умеет*, т.е. может делать и не делать, строить общество или не строить общество, общество как термитное государство или не термитное государство, железный корабль или не железный корабль, как он решит и как получится или не получится. Это акцидентально в человеке, техника строительства может в нем быть или нет, он субстанциально *способен* к научению и стало быть акцидентально научен чему-то, всему или ненаучен вовсе ничему. Субстанциально, но уже не в смысле только еще способности, из которой может что-то получиться или нет, а в смысле того *что всегда уже есть*, человеку быть политическим, т.е. этическим живым существом, т.е. по своей природе, всегда, раньше всего, превыше всего быть хорошим или плохим, правильным или неправильным, видеть всё в свете того что должно и не должно быть, одобрять или не одобрять, принимать и радоваться или не принимать и отталкивать. Раньше чем проснется что-либо в человеке он может кричать протестуя, уже первый крик родившегося младенца однозначно, безошибочно опознается как неудовольствие и вызывает в ответ тоже нравственное движение помощи или растерянности, т.е. задетости в самом существе. Добро-зло вставлены в человека глубже чем жизнь: человек не умрет за то, чтобы обязательно жить в обществе а не одному, но умирает за то, чтобы было так как надо и не было так как не надо, умирает явно, скажем на войне против врага, и неявно, убивая себя быстро или чаще медленно за то, что по собственному суду над собой признал себя недолжным, недостойным по Аристотелю.

Человек политическое, т.е. ***этическое*** животное, т.е. для которого всё прежде всего поставлено на *лучше* и на *цель*. Логос, разум уже стоит на этом *лучше-хуже* и без них, без цели не имел бы смысла. Компьютер, которому нет задач. С соотношениями определений человека «политическое животное» «имеющее логос» дело обстоит так же наоборот, как с местами этики и метафизики в

системе философии: обычная ошибка не признавать, что этика выше; правящее.

Природа человека, этика, выбор хорошего, доброго, добра, т.е. имущества, т.е. бытия против плохого, небытия, скудости, ущерба, внедрена в тело человека, принадлежит ему как когти принадлежат кошке, так же невозможно или еще намного труднее отодрать. Забота об устройстве или об обустройстве общества понятна, потому что человек может устроиться и может не устроиться, у него есть *способность* школы; но человека никогда не нужно учить, что такое хорошо и что такое плохо, человек каким-то образом знает это всегда сам с самого начала; не надо бояться, что человек полюбит сладкое больше чем хорошее, он и сладкое может полюбить только когда и в какой мере отождествит его с хорошим. Когда учат, что такое хорошо и что такое плохо, на самом деле учат видению, глазам, что надо *считать* хорошим. Это возможно только потому, что места для размещения хорошего и плохого всегда уже есть.

Об этом, о том что история (т.е. телеология, достижение совершенства, полноты, бытия, добра) встроена в человека так же надежно, основательно, как различение мужского-женского, мы уже говорили. *Завершение* дело человека, последний штрих, телос. Брошеный, не зная ничего, прячущийся в листве зверек, Деррида знает и единственно что он уверенно знает, что он *последний* еврей, что на нем *кончается* обрезание. J'aurai toujours été eschatologique; si on peut dire, à l'extrême, je suis le dernier des eschatologistes, j'ai à ce jour avant tout vécu, joui, pleuré, prié, souffert comme à là derniére seconde, dans l'imminence de la fin[102*] (74). Как во всех своих исповедях, он и здесь признаётся раньше других в том, в чем еще опоздали признаться и лишь косо признались все. Завершить, хорошо или плохо, призвание, назначение человека, он это дело выполняет и можете быть спокойны выполнит. Сейчас или может быть всегда из-за непонимания себя самая распространенная и побеждающая форма эсхатологии — правило *чем хуже тем лучше*, злостное и злорадное доведение *зла* до предела, в расчете что тогда наступит добро наконец. «Когда страдания народных низов достигнут предела, произойдет переворот и восторжествует справедливость». Не очень важно, так было всегда или нет; я думаю, что так было всегда, и трезвое напоминание об этом Парменида,

[102*] Перевод: Я всегда был эсхатологичным; если можно сказать, до предела, я последний из эсхатологов, я вплоть до сего дня прежде всего жил, наслаждался, плакал, молился, страдал как в последнюю секунду, в непосредственной близости конца.

«небытия нет», предупреждает, что заигрывая с тем что «хуже», т.е. с убылью бытия, человек заигрывает с тем, чего нет, не в смысле с пустотой и с небытием, небытия нет и заигрывать с ним нельзя, а в смысле самого этого заигрывания нет: только кажется, что принимая решение «чем хуже тем лучше» человек идет каким-то путем, он просто исчезает, перестает быть.

Человек внутри бытия среднее создание, он выше других живых существ потому что имеет в основном всё то что они и сверх того он завершение, энтелехия, целевая причина, не в том смысле опять же что он самое лучшее и высшее, «Никомахова этика» 1141 а: «человека много божественнее по природе другие вещи, взять хотя бы наиболее зримое, из чего состоит небо, космос»[103*], а в том смысле что не в нем который якобы венец, а *через него* венец, он присутствующая забота о полноте и совершенстве, а так — Аристотель подчеркивает — в некоторых отношениях многие животные лучше его, сильнее, зорче.

Человек прячется в листве леса как все другие, но он по своему определению, по своей главной сути эсхатолог, автор последнего штриха. А так — в нем ничего такого, что не было бы у других.

Вспоминаете знакомое, две уже названные черты? Обе, непривнесение от себя ничего содержательного, потому что и так в материи, в матери уже всё есть, и привнесение последнего штриха, последней полноты телоса, эсхатологии — обе черты *мужского*. Аристотель отождествляет исподволь человеческое и мужское? здесь его логофаллоцентризм? грубо говоря, женщина, мать не человек? Так или не так?

Да, выходит что так. Неодинаковость мужского и женского. Женское только в возможности человек, политическое животное. — Только можно ли в этом видеть принижение женщины? Как принижение женщины это толкует теперешняя схема матриархата-патриархата, заранее имеющая места для выше-ниже, главный-подчиненный. Это опять, сколько раз ни повторишь всё равно будет кстати, *противопоставление*, а у Аристотеля завершающая полнота эйдоса или мужского противостоит вовсе не женскому, материи, а ущербу и недостатку. Оно противоположно совершенству, женское наоборот увлечено совершенством и в себе уже имеет всю «материю» для него, мужское только «приводит к полноте».

Женское, так сказать, «дает возможность» мужскому. Мужское, так сказать, подтверждает, утверждает его так, как оно, жен-

---

[103*] См.: *Аристотель*. Сочинения..., т. 4., с. 179.

ское, уже и есть. Женское, так сказать, приглашает полноту, потому что от себя уже тянется к ней. Мужское историческое и политическое, потому что оно решает, разрешает, утверждает, исполняет то, чего вся материя ждет и так.

Только мужчина человек в том определенном Аристотелем смысле человека, что он как взрослый человек отличен от младенца. *Не человеческая морфология вовсе сближает человека со всем лесом, а именно главное для человека, определяющее его вхождение в безусловно всё с заботой о полноте совершенства.* Человек такой, что у него надо спрашивать, что такое по сути и назначению всё: человек призван не *знать* прежде всего, и прежде всего *обеспечить* это, а потом уже для этого знать. Всё предъявлено для утверждения.

Родство с животными поэтому у человека поверх и ближе морфологического биологического сходства получается через прямое сочувствие его природы, т.е. политики, т.е. этики, тому совершенству, которое уже есть в природе, только дожидается человека чтобы быть признанным, утвержденным, примерно как с проектом надо идти к директору за утверждением. — Утверждающее участие человека тем более сильно и прямо, что и без него биолого-морфологическое участие человека в природе сплошное, всестороннее, само собой разумеющееся. Ни о каком природном, «расистском» отличии мужского, собственно человеческого, т.е. выбирающего и решающего, от женского нет и речи: мужское тут просто то же, что и женское, плюс рискованное предприятие начала (или конца) истории.

Важно, что кроме исторической инициативы, взятия на себя решения, т.е. экспертизы, как бы довершения полноты совершенства, которая есть и так и достигается природой не хуже чем искусством (собственно божественная роль, посмотреть и сказать что хорошо), смелости *одобрить* (почему роль начальства сводится по существу к одобрению и запрещению, творческая инициатива идет «снизу»), на человеке и на мужчине как человеке по преимуществу нет функции (но и эта одна зато исключительна). Поэтому голова кружится, как Аристотель легко бросает человека внутрь моря, леса живых существ, до неотличимости, до невидимости человека отдельно от прочих, от тех примерно пятисот родов и видов, на которые он смотрит. Но ведь и Аристотель сам человек и сам он как живое существо там, в этой сплошной массе, так же как Деррида зверек в листве. Кто же пишет, говорит?

Ἔτι δ' ἥμερα καὶ ἄγρια, καὶ τὰ μὲν ἀεί, οἷον ὄνος καὶ ὀρεὺς ἀεί ἥμερα, τὰ δ' ἄγρια, ὥσπερ πάρδαλις καὶ ἡμεροῦσθαι δύναται

ταχύ, οἷον ἐλέφας. Ἔτι ἄλλον τρόπον πάντα γὰρ ὅσα ἥμερα ἐστι γένη, οἷον ἵπποι, βόες, ὗες, ἄνθρωποι, πρόβατα, αἶγες, κύνες (488a 26)[104*].

В этом важном месте давние разночтения, которые соответствуют старому спору, который продолжается до сих пор. Сначала «домашний», ἥμερος, это слово значит «ручной, садовый, выращиваемый», и его конкретное несущее, опорное значение — «поддающийся селекции», т.е. выводимый, из чего можно создать и поддерживать породу. Как сорта пшеницы или породы домашних собак. Мул именно такой, мул не рождается без селекции; но ослы бывают дикие, Аристотель должен это знать. В других списках на месте осла человек: сразу будто бы соглашаешься, что человек это домашнее, прирученное животное. Но тут же Аристотель предлагает другое различение: не так, что бывают стабильно домашние ручные животные, а вообще такого явления нет в природе, все ручные бывают и дикими, как дикие лошади, дикие собаки, дикие козы. Тогда может быть разница только в степени, и нет абсолютно диких? Возможно, Аристотель об этом не говорит, хотя создается впечатление, что полюс дикости прочно занят например пардами, а полюс домашности всё-таки никем определенно, т. е. животные в основном всё-таки, до начала работы селекции, дикие.

Теперь, человек. Что человек дикий, принадлежит к диким животным, кажется странно, и в некоторых списках из числа то ручных то диких человек убран и включен в список всегда ручных, дескать ясно же и Аристотель не мог думать иначе. В пользу того, что мог и думал, аргумент современной биологии: если бы человек был ручным, не диким, то мог бы осуществиться один из проектов евгеники, биоинженерии, например создание послушной христианской массы в «Легенде о великом инквизиторе» Достоевского, но мы этого не видим. Чарлз Гэлтон Дарвин, биолог, внук Чарлза Дарвина и по женской линии внук основателя евгеники Чарлза Гэлтона (Galton F., a cousin of Darwin), обращает внимание на то, что все настоящие виды действительно домашних животных распадаются на породы, каждая с селекционно желательным признаком, и поддаются совершенствованию по этому

104* Перевод: Далее, есть животные домашние и дикие; одни бывают такими всегда, как человек и мул всегда бывают домашними, пард и волк всегда дикими, другие быстро могут одомашниваться, как слон. Или иначе: все роды, которые являются ручными, бывают и дикими, например, лошади, быки, свиньи, овцы, козы, собаки. См.: *Аристотель*. История животных. Пер. В.П. Карпова. М., 1996, с. 75 (15).

признаку, а у человека есть зачатки пород, например музыкальные семьи, но они не оформляются в отдельную породу музыкантов. Допустим даже, что в каких-то нечеловеческих условиях человеководство оказалось бы возможным; но человеководы оставались бы дикими[105].

Возможно, люди как собаки существуют дикие и ручные. Видя человека в глубине биологии, Аристотель остается под вопросом, кто он сам, говорящий, *он это знает не больше чем Деррида*, но свою миссию он знает лучше, определил ее, и себя наоборот определит из миссии: эксперта, оценщика, судьи.

Когда Аристотель вглядывается в глаза человека, коршуна, козы, лошади (История животных I 9—10)[106], то человеческие вполне тонут в этом ряду живых глаз, в человеческих нет ровно ничего, что бы ставило их совсем отдельно. И вполне встраиваются в общий ряд, рядом с качествами зоркости большей или меньшей, нравственные свойства: одни глаза часто мигают, другие уставлены неподвижно, третьи посредине между ними; последние показывают наилучший нрав, а из остальных: неподвижные бесстыдство, а мигающие — непостоянство (I 10). О ком говорится, о козе или о человеке или о коршуне? О них о всех, потому что с человека, самого удобного для наблюдения, Аристотель не видит никаких причин не переносить признаки нравственных свойств на немигающего коршуна или на мигающую лошадь.

Исключительное свойство человека, его дело, его дело это совершенство, связано с исключительностью его положения, вертикального, не всегда конечно, но когда он вырастает из младенчества. Вертикальное положение ориентировано опять же у одного только человека наверх. Τὸ αὐτῶν ὁ δ' ἄνθτρωπος μόνος, ὥσπερ εἴρηται, πρὸς τὸ τοῦ ὅλον τελειωθεὶς ἔχει τοῦτο τὸ μόριον (494 a 32—494 b 1)[107*].

Как наши компасы показывают всегда на полюс, так и главным и единственным и достаточным компасом Аристотеля был верх, направление к звездам, показывавшим чудесную размеренность и постоянство движения, и в сторону легкости и огня, т.е. духа. Не другим, а тем же компасом была норма честности, научной корректности. — Прямостояние принадлежит поэтому к существу человека как эксперта? Нет, потому что «политическим», различающим добро и зло животным человек бывает всегда, и в

---

105 *Ch.G. Darwin.* The Next Million Years. London, 1952.

106 *Аристотель.* История животных..., с. 83 сл.

107* См. там же, с. 90 (62).

раннем младенчестве, когда человек четырехногое животное (II 1)[108].

При строгой феноменологии античная мысль мало интересуется возможной мохнатостью давнего человека. Другое дело — отметить, что только у человека во-первых не все волосы появляются сразу, а некоторые только через десять-пятнадцать лет после рождения, с повзрослением и с половым созреванием, у бесплодных «поздно возникающие волосы» не появляются; а во-вторых, тоже только человек и *теряет* волосы, и опять же это связано с полом, потому что теряют в основном мужчины.

Маленькое замечание о способе видеть, так сказать, о глазах. Наш опыт, быть в толпе, или в плотной толпе даже, в большом городе уже частый опыт, имел в античности аналог, но не человеческой тесной толпы, а толпы *живого*, птиц, их кстати всего больше из 500 живых существ, упоминаемых по имени Аристотелем, потом рыб, антилоп, волков, слонов, тигров, коров, овец, собак (из истории известна целая армия составленная в основном из собак), верблюдов (которые кстати тоже применялись на войне, тогда им на ноги надевали специальную обувь) — а это только обозреваемый круг, как бы высвеченный, вокруг него фон неведомых, неименованных животных, до которых трудно добраться, они или далеко или глубоко, как например о морских: «В море существуют и некоторые особенные животные, которых благодаря их редкости не удается поместить в какой-либо род. Опытные рыбаки рассказывают, что видали в море животных, похожих на палочки, черных, округлых и равномерной толщины, других — похожих на щиты, красного цвета с густо сидящими плавниками, и еще других, похожих по виду и величине на мужской половой орган, только вместо яичек с двумя плавниками» (IV 7, конец[109]).

Конечно животных тогда больше двух тысяч лет назад было гораздо больше, мы удивились бы сколько, но очень неправильно думать, ленивая обреченность наша воображать, что тогдашние условия жизни были совсем другие, природные, лесные и давали людям классической эпохи их классический размах, а нам в городской тесноте уже дескать всё это недоступно, и так мы оправдываем нищету своей мысли. Мы *тоже* в тесной толпе живых существ, только не изволим замечать эту толпу, животное обстояние, пытаемся ее оттеснить, вернее вообразить что мы ее оттесняем. Это миллиарды живых существ внутри нас самих, так называ-

---

[108] Там же, с. 106.
[109] Там же, с. 178.

емая микрофлора или микрофауна желудка и кишечника, на этот счет наука не имеет одного мнения, относить ли грибки, бактерии, вирусы к флоре или фауне, грибки на теле, штаммы возбудителей гриппа, СПИДа, других болезней, потом микроспория, опять же грибки на разных частях тела, микроорганизмы в пище, в пораженных грибком стенах домов, в отбросах, в грязи, на домашних животных и так далее.

Тут наше открытие, микроскоп, над нами сыграл скверную шутку: из-за того что невооруженным зрением мы всей этой массы живого не видим, мы до сих пор не поверили, что мы живем тесно внутри этой толпы, гораздо теснее чем внутри городской толпы. Нам больше кажется, что дезинфекцией, санитарией, гигиеной нам удается или удастся оттеснить от себя эту толпу, «они же такие маленькие, с ними легко справиться наверное». Но во-первых их гораздо больше чем нас, а во-вторых даже после всех открытий мы высветили только часть этого тесно охватившего нас царства.

Из-за того что или вместе с тем что античность не согласилась пойти путем микроскопа, и известна причина почему не согласилась, потому что для античности дробление величины на отрезки не имело остановки, понятия математического предела просто не существовало, т.е. человек взявшись делить и дробить величину *заведомо бесследно проваливался внутрь этого процесса так что было всё равно где остановиться*, то микроскоп и не был нужен, потому что то что видно глазами это и есть уже микроскоп, на любой другой ступени углубления под ногами, так сказать, останется ровно такая же бездна для углубления, если от бесконечности отнять конечную величину мы получим снова бесконечность, о которой абсурдно говорить, что эта вторая бесконечность уже «меньше» чем та первая.

Зрение тесной толпы живого вокруг и человека просто встроенного в эту толпу шло не от количества животных внутри мало еще нарушенной «экологии», а от так сказать встроенного в это зрение микроскопа и от отказа создавать микроскоп и телескоп: знали, что мы видим своими глазами именно только то, что видим глазами, в небе остается много неведомого живого и земля, края которой неизвестны, сплошная жизнь, но *вместо того чтобы догадываться и выяснять что дальше, лучше вглядываться в то что видно. То что видно* становилось тогда полноправным представителем, показом всего что не видно и *поэтому* оказывалось бесконечно богатым. Впечатление несметного богатства животного мира в античности идет от этого устройства зрения, от готов-

ности вместо того чтобы углубляться в микроскопическое и телескопическое, собственно в дурную бесконечность дробления и пространства, видеть настоящее, от способности угадать микро- и макроперспективу уже здесь.

Частный случай этого зрения: слоны и мельчайшие лишь бы видимые мухи для Аристотеля *совершенно равноценные величины*, разницу масштабов он не замечает, она для него просто не существует, он делает из мухи слона, каждое животное становится одинаково как бы во весь экран. *От этого человек, которого видят внутри этого множества полномерных живых существ, оказывается в тесной толпе.* Открытие микроскопа уже ничего этому зрению не прибавит, наоборот отнимет у него, из-за рассеянности внимания, как ни странно именно глубину видения.

И еще, особенность непривычная этого зрения. Из-за встроенности человека в животный мир поведение человека берется как такой же наблюдаемый факт, как скажем результаты анатомирования животного. Для проверки слуха у водных существ будут сначала рассмотрены рыбы и дельфины на выявление органа слуха, ушей, а потом — поведение рыбаков, как они ведут себя при ловле рыбы. Не то в первую очередь что рыбаки говорят, а то что они главное делают. Доверяют тому, что человек приладился надежно к животному миру, а так как человек ближе и наблюдать его легче, то его повадки расскажут о животных не хуже чем обследование самих животных. «А иной раз, когда [рыбаки] хотят их согнать в одно место, делают то же, что при охоте на дельфинов, т.е. производят шум камнями, чтобы испугавшись они собрались в одно место и таким образом их можно было захватить сетями. И прежде чем их окружить, как сказано, запрещают шуметь; когда же окружат, приказывают кричать и шуметь, так как, слыша звуки и шум, они от страха попадают в сети» (IV 8)[110].

Человеческий род общается с другими животными родами, словно играет с ними, подлавливая их на слабостях и пристрастиях, как мог бы фокусник например подлавливать зрителей на их наивных ожиданиях и слабостях. «Ловится... речной угорь: ставят посуду из-под соленья, вставив в горло так называемую вершу. И вообще все более охотно идут на запахи жареного. Прикрепив кусочки мяса сепий, приманивают ими благодаря их запаху: [рыбы] приманиваются тогда лучше. Говорят также, что жареных осьминогов помещают в верши исключительно ради запаха жареного» (там

[110] Там же, с. 180.

же[111]). Хитрость одного животного рода, человека, заигрывает со слабостями другого, рыб.

Но ведь человек так отличается от животных? — Но так ли уж? У человека речь? Но как сказать. У маленьких речи нет, в безъязыком четвероногом детстве человек больше погружен в мир животных, так что и прямостояние и разговор это для человека вторичные, акцидентальные приобретения. Определение человека «животное, обладающее логосом» относится поэтому не к произнесению слов (язык, φωνή, есть у всех — λόγος, речь рассуждение), иначе пришлось бы младенца, *ин-фанта*, а заодно с ним молчаливого называть не человеком, а к логосу в основном первом значении взятия, собирания, принятия: младенец первым криком не принял мира, начав дышать и сосать успокоился и принял, и так далее, всю жизнь первым безусловно простейшим и «досознательным» движением человек движется в этом основном ритме, принятия-непринятия, чего конкретно он если сумеет потом уточнит, но сначала принятие или непринятие по-крупному просто всего мира в целом. Оценка всего мира на хорошо-плохо, надо-не надо. Слезы на лице и покой, мир, а потом улыбка на лице — это у человека до речи и прямохождения и без речи и прямохождения, показывают его существо, оно *логическое* и *политическое*. Этого принятия-непринятия всего мира в целом и оценки на хорошее-плохое, да-нет у животных по крайней мере не видно, у человека оно на первом виду. А так, в остальном — он вполне как все.

Без этой в общем-то жутковатой или совсем уж страшной логики, подносящей топор прямо к существованию всего мира в целом со всеми его животными и со всем его богатством, без его повертывания и опрокидывания буквально в каждом «предложении» (помните мы согласились оставить без перевода слово Satz, сплеча полагание-узаконение всего на свете) речь прекрасно есть у всех животных более или менее. «Род птиц обладает голосом, и своего рода языком, преимущественно же те, у которых язык умеренной ширины или у которых он тонок. У некоторых и самцы и самки издают одинаковые звуки, у некоторых — различные. Малые птицы многозвучнее и болтливее больших. И такой становится каждая птица преимущественно во время спаривания. Далее, одни птицы кричат во время боя, например перепел, другие — перед боем, вызывая на него, как куропатка, или когда победят, как петухи» (IV 9, 107[112]).

---

[111] Там же, с. 181.
[112] Там же, с. 185.

Когда Аристотель говорит, что у животных есть своего рода язык, но нет речи, он имеет в виду под речью именно логос, логику, которая вся стоит на отождествлении — вот этой жуткой вещи, о которой я сказал, одобряющем принятии чего угодно, всего, когда в нем опознано человеком «то самое», «то». Животные на это не идут, не рискуют.

И получается парадоксальная ситуация, действительно вот уж против всех наших привычек и ожиданий, только парадоксально не то, что говорит Аристотель в «Истории животных» IV 9, 109 и в других местах, а то, что мы это очевидное не замечали: все от природы проговариваются, кто-то один — кто? — от природы плачет или молчит? А лепет? Языком в смысле знаковой системы обладают все живые существа кроме человека, человек язык только приобретает, а если бы его не учили, то не приобретал бы. Человек *инфант*, немовлятко не язычник, Тертуллиан прав, душа от рождения христианка, язычником человек становится только уже внутри школы культуры. Но *логосом*, принятием-непринятием мира человек по существу и бывает, причем всегда, до речи и языка.

Это то, что отмечает Деррида: молчание человеку свойственнее, ближе речи. В молчание он погружен как в самое интимное, окопался там вместе со своим тайным родным Богом. Молчать — это то, чего никто не умеет кроме человека, животное способно только притихнуть.

10 (11.11.1997)

Легко критиковать, трудно сказать что-нибудь позитивное. Но в трудном положении на худой конец можно и критиковать, чтобы не стоять на месте; может быть просто от движения, всё равно какого, откроется новая перспектива.

Приятно распроститься с очередной неточностью, которая въедается с детства просто оттого, что чистого вообще вокруг нас мало, на земле естественное состояние всего свалка, чтобы выбраться в чистое, надо подняться по крайней мере выше луны. Там всё лучше. Но вы помните что душа в психологии Аристотеля есть неким образом вещи, и не некоторые. С крайностями дело обстоит как с деревом. Оно растет одновременно вверх и вниз. Та же точная строгость, которая наверху, казалось бы совсем далеко, есть и внизу, совсем близко и внутри, «в нутре», когда разбираешь и разбираешься. Вверху дерево через фотосинтез в хлорофилле листвы, говорим мы, впитывает солнце; без этих терминов современной науки, Аристотель говорит, мы посмотрим, о солнце в биологии. — Кстати, то что называется *врачом*, а Аристотель был из Асклепиадов, потомков Асклепия, было одновременно биологией, можно сказать, что по опыту и образованию Аристотель был биологом. Отсюда отчасти и слово ὕλη, лес ему свое, близкое. — Как дерево на краях срывается, как бы всё без остатка вслушивается, вчувствуется в мир и вплетается в него, где кончается дерево уже не дерево, но как говорится его среда, и оно живет на кромке себя и среды обменом с ней. Так же и душа живет срываясь на кромке себя с себя, мы должны быть готовы к тому что всё здесь будет словно таять, расходиться в неуловимом: только что всё было осязаемо, имело опору и вдруг нет, отлетает.

Так обстоит дело с так называемыми «органами речи», которые небрежный и невнимательный человек наивно поверит что существуют, раз о них говорят, но о них говорят тоже небрежно и невнимательно: писатели, которые чуть больше задумываются о

языке, замечают факт, что отдельных органов речи, как есть орган зрения и орган слуха, нет, т.е. речь не входит в человеческий организм. Вот тут становится интересно. Значит витгенштейновское «язык есть часть человеческого организма» и аристотелевское «человек есть живое существо, обладающее логосом» определяют не человека и человеческий организм или по крайней мере не сначала это, а в первую очередь язык и логос. Человека будет определять скорее дефиниция «политическое животное». Какое на самом деле место занимает политика у Аристотеля, можно прочитать в начале аристотелевских «Этик»[113*]. Начало «Большой этики»: «Собираясь говорить о вопросах этики, мы должны прежде всего выяснить, частью чего является этическое. Всего короче будет сказать, что этическое, по-видимому, — составная часть политики»[114*].

А в начале «Никомаховой этики»: «Словно стрелки́ видя мишень перед собою, разве не вернее достигнем мы должного? А если так, надо попытаться хотя бы в общих чертах представить себе, что это такое и к какой из наук, или какому из умений, имеет отношение. Надо, видимо, признать, что оно [высшее благо] относится к ведению важнейшей [науки], которая главным образом управляет. А такой представляется наука о полисе, или политика. В самом деле, она устанавливает, какие науки нужны в государстве и какие науки и в каком объеме должен изучать каждый. Мы видим, что наиболее почитаемые умения, как-то: умения в военачалии, хозяйствовании и красноречии — подчинены этой науке»[115*].

Можно было бы определить политику как науку о том что надо и что не надо. Это, надо не надо, человек *и есть*, во всяком случае раньше того как он говорит. С говорением парадоксальная ситуация, языком в смысле знаковой системы обладают все живые существа кроме человека, человек язык только *приобретает*, а если бы его не учили, то и не приобретал бы. Все живые существа в природе неудержимо проговариваются, нелепо предположить, что какой-то петух в пять часов утра летом сам по особенностям своего нрава решил бы молчать, его молчание будет сообщением опять, что что-то неладно. Человек первый умеет молчать, держит в тайне, т.е. выпадает из цепи разглашения, сплошной проговоренности всего, озвучения биологии, выпадает тем, что у него нет вначале языка, он *инфант*. Слова Тертуллиана, душа от рождения христианка, имеют еще и ту сторону смысла, что младенцы, инфанты, по определению не язычники, язычниками ста-

113* См.: *Аристотель*. Сочинения..., т. 4.

114* Там же, с. 296.

115* Ср. там же, с. 55.

новятся уже в школе культуры, и тогда становится нужно христианство, как напоминание о ранней религии. — И почему христианство трудно, и оно всегда задача: потому что примерно так же как у Тютчева «мысль изреченная есть ложь», всякая религия *оязычивается*, она *сначала* язычество (совершенно всё равно, называет себя христианством, или другими именами), всякое церковное образование, всякий институт церкви национальный окажется сначала сам собой языческим, и уже отсюда будет проделывать или не проделывать свой путь к христианству. Это по поводу раннего человека как *инфанта*, и того простого пейзажа, в котором живет его душа, между ужасом и спасением, принятием и непринятием целого мира.

У Деррида мы читали о молчании, что оно свойственнее, ближе речи. Он потонул в молчании как в самом интимном, окопался там со своим тайным Богом. Молчать никто не умеет, животное способно только притихнуть, т.е. на время опасности прекратить сплошное озвучивание своей жизнедеятельности.

Надо научиться широте, отдавать животным то, что по простой невнимательности мы считали только своей заслугой. Членораздельная речь. ИЖ IV 9, 110: «И звуки голоса и речь (διάλεκτος) различны смотря по местности. Голос отличается больше всего высотой или низкостью, по виду же различия внутри одних и тех же родов никакого нет; а в отношении членораздельности, которую можно, пожалуй, назвать речью, он отличается в зависимости от местности»[116]. Самое интересное тут то, что Аристотель не добавляет даже: и у людей и у зверей. На этом уровне, пока дело идет о членораздельной речи, различие между людьми и зверьми вообще еще не появлялось, поэтому и разделять их нечего. Различие пожалуй есть, но какое: речью, «диалектом», обладают птицы и люди, другие звери нет. Неразвита речь у людей: в младенчестве неразработанность языка мешает ей. Ни к чему похожему на исключительность и преимущество человека, ни собственно даже к тому, что у нас получилось единственно специально человеческим, политическое, нельзя прикрепиться *лексически*; если цепляться за слово, то политическими окажутся и другие. Πολιτικὰ δ' ἐσιτὶν ὧν ἕν τι καὶ κοινὸν γίνεται πάντων τὸ ἔργον ὅπερ οὐ πάντα ποιεῖ τὰ ἀγελαῖα. Ἔστι δὲ τοιοῦτον ἄνθροπος, μέλιττα, σφήξ, μύρμηξ, γέρανος (488a 10)[117*].

[116] *Аристотель*. История животных..., с. 186.

[117*] Перевод: Общественны те животные, у которых все выполняют какое-нибудь единое и общее [для всех] дело, что происходит не у всех стадных. Такими являются человек, пчела, оса, муравей, журавль. (См. там же, с. 74 сл.).

Точно так же политику в отношении воспитания детей Аристотель находит у животных (почему мы говорим о животных: по обычному пониманию и по научному определению лес включает и флору и фауну): Τῶν τε γὰρ φυτῶν ἔργον οὐδὲν ἄλλο φαίνεται πλὴν οἷον αὐτὸ ποιῆσαι πάλιν ἕτερον, ὅσα γίνεται διὰ σπέρματος ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ζῴων ἐνίων παρὰ τὴν γένεσιν οὐδὲν ἔστιν ἄλλο λαβεῖν ἔργον. Διόπερ αἱ μὲν τοιαῦται πράξεις κοιναὶ πάντων εἰσί προσούσης δ' αἰσθήσεως ἤδη, περί τε τὴν ὀχείαν διὰ τὴν ἡδονὴν διαφέρουσιν αὐτῶν οἱ βίοι, καὶ περὶ τοὺς τόκους καὶ τὰς ἐκτροφὰς τῶς τέκνων. Τὰ μὲν οὖν ἁπλῶς, ὥσπερ φυτά, κατὰ τὰς ὥπας ἀποτελεῖ τὴν οἰκείαν γένεσιν τὰ δὲ καὶ περὶ τὰς τροφὰς ἐκπονεῖται τῶν τέκνων, ὅταν δ' ἀποτελέσῃ, χωρίζονται καὶ κοινωνίαν οὐδεμίαν ἔτι ποιοῦνται τὰ δὲ συνετώτερα καὶ κοινωνοῦντα μνήμης ἐπι πλέον καὶ πολιτικώτερον χρῶνται τοῖς ἀπογόνοις ⟨588 b 24—30⟩[118*].

Так что если вы ко мне требовательно подступите назвать, в свете этого потопа, в котором человек тонет среди животных, в чем же specificum человека, если даже и не в политике, то я отвечу, и вместе с Жаком Деррида: чем больше стирается эта особенность, становится неуловимой и неопределимой, чем невразумительнее миссия и неисполнимее, тем упрямее будет воля и решимость. Как я говорил, человек никогда не ближе к себе и софии, чем в надрыве, расколе, страдании: это самое естественное и странно сказать гармоничное его состояние; необходимо и достаточно решимости в нерешительности. Молчанов прав: сначала различение, а потом уже — чего именно[119*]. О Хайдеггере при национал-социализме говорили, что он очень решился, но только не знает на что (вариант можно сказать о Деррида: он полон сознания своей миссии, только не знает какая она). Так и должно казаться со стороны. Здесь и разница между нацизмом и Хайдеггером. Разумеется, он подобрал и впитал всю энергию решимости, какою революционное движение в Германии тоже ведь было движимо, иначе откуда взять силу; топос здесь точно такой же, как в бого-

---

118* Перевод: Ибо у растений, по-видимому, нет иного [жизненного] дела, кроме как производить другое, подобное самому себе, что происходит через семя; равным образом и у некоторых животных нельзя усмотреть иного дела, кроме порождения; поэтому такие действия общи всем. Когда же присоединяется ощущение, жизнь их [начинает] различаться как вследствие наслаждения, [получаемого] от соития, так и вследствие родов и выкармливания детей. (См. там же, с. 302).

119* См.: *В.И. Молчанов.* Различение и опыт: феноменология неагрессивного сознания. М., 2004.

словии бесы, считается, причастны добру в той мере в какой у них есть бытие, воля, энергия. Но тогда как партия вообразила, от нервного срыва, что она уже избавлена от страдания и может заставлять страдать других, потому что уже увидела путь, и может распорядиться, Хайдеггер спас Германию и партию тем, что при неменьшей решимости ничего не решал.

Так и нам придется метаться, не понимая, что же остается от человека, когда он весь тонет в лесу. Но пусть весь тонет. Беда будет не если мы так ничего не поймем, а если мы слишком быстро поймем, поспешим определить.

Я повторяю: цель не «Аристотеля изучить», его «концепцию материи», матери или леса, а научиться у него видеть, что мы без него бы не увидели, что из леса мы не вышли. Отдельное человеческое тело, которое защитилось от бактерий санитарией, от ультрафиолетовых лучей мазью, от болезней океанским загаром, от радиации счетчиком радиации, от СПИДа презервативом, существует это существо только на рекламных плакатах. — Конечно теперь аристотелевская биология, после почти уничтожения животного мира, должна иметь другой состав, общество — правда менее приятное, мы наказаны за микроскоп, — в котором оказывается человеческое тело, уже не дельфины, олени, львы, которые заходят запросто в города и могут куснуть или наоборот обойтись милостиво, а микробы, бактерии, вирусы, неведомые «возбудители» (какое слово), чем может быть нам и придется заняться, но *по существу* слитность всего живого окажется та же, которую заметил Аристотель, поэтому пока — просто читаем «Историю животных».

И мы остановились на том, что в своем четвероногом детстве человек, пока он *инфант*, ближе к живому, и *одновременно*, именно пока еще чистый от того, что кажется специально человеческим, от языка (для Аристотеля, всегда выглядывающего «вот это», термин для языка «диалект»), от прямостояния, от общественности, он в более чистом виде человек. Он как говорится «неразумное дитя», немовля, немовлятко, но с этой стороны компьютер помогает определить его статус, показывая, что разум в смысле расчета, даже очень тонкого и сложного, это не обязательно человек. А что умеет человек до разума. Сразу умеет и в разумном состоянии наоборот в меньше мере имеет — способность плакать и смеяться, т.е. сразу всё, целый мир, отвергать и целый мир принимать.

Называют компьютер счетно-решающим устройством, и потом добавляют, что решает всё-таки человек. В том смысле «решает», какой обычно имеется при этом в виду, т.е. на основании

данных останавливается на одном из предложенных вариантов, человек всё-таки реже, чем он сам еще надеется. Но надо заметить, что решение в этом смысле, как выбор и фиксация, сводится к суждению человека о компьютере, принятие решения о том, верно компьютер решает или неверно. Это в общем маловажно и второстепенно. Человек решает еще и важнее и по-крупному, сидеть ему вообще за компьютером или поступить как Шварценеггер в каком-то из «Терминаторов», повалить на пол и со вкусом и размахом разбить эту штуку. По-крупному решает и уже решил в пользу компьютера ребенок, который его принял; ребенок пока еще непонятно почему и непонятно как, загадочно и таинственно подружившись с компьютером, всё-таки принял его в нашей цивилизации. — Сюда относится еще тема, которую я только чуть назову, встраивания человека в компьютер, теперь это уже широкая литературная тема. Отслоить, прочертить границу, в каком отделе головного мозга на какой ступени с каких мыслительных операций начинается то, что компьютер уже не умеет, это долгое и скучное и бесполезное занятие, потому что сегодня не умеет или у нас на столе не умеет, а в засекреченных наработках Билла Гейтса уже умеет. Компьютер умеет вообще всё, кроме плакать и смеяться. Компьютеру доступно всё кроме политики, которая в своей сути и основе или принятие или отклонение всего мира.

Может быть компьютеру невозможно видеть сны, но кажется возможно, и термин sleeping mode не совсем метафора. Но кстати в как говорят «царстве сна» одинаково свои и люди и звери. Аристотель и напомнит, что «и сны видят не только люди, но и лошади, собаки, быки, а кроме них овцы, козы и весь род живородящих четвероногих. Это доказывается тем, что собаки лают [во время сна]» (IV 10[120]). У человека сны появляются около четырех или пяти лет — и независимо от того, верно это или неверно у Аристотеля, если широко понять сновидения, но это безусловно верно как еще одно указание на решающий, самый важный и в сущности единственный переломный возраст у человека, этот переход от «дошкольного» к «школьному». До пяти лет снов *нет*, хотя они конечно есть, в том важном, или просто определяющем смысле, что заметьте: до пяти вообще сама *разница* между сном и не сном не прочерчена, забытым для нас образом человек говорит, смотрит и делает «без сознания».

Маленькое методическое замечание. «Но собаки, а не люди только, тоже смеются и плачут». Или я что-то неясно сказал и

[120] *Аристотель*. История животных..., с. 186.

надо повторить: мы *всерьез* имеем в руках только то что имеем. Мы имеем мало. Всё что казалось именованиями и определениями только тематизации, выставление проблем. Язык так устроен: мы говорим грязью, держимся не за лексику и термины, а за то что вопреки словам через слова проблескивает: опереться на это. Мы просто не имеем в руках этого различия между людьми и собаками, ничего об этом различии не говорили, ничего вроде априорно данного и нами принятого распределения по этим классам не имеем. Если по ошибке по оплошности въезжаем наивно в чужие гаражи, то скорее надо оттуда выбраться, пока нам не наговорили грубых слов. «Человек плачет» не значит, что мы знаем что такое *человек* и что такое *плачет*, а представьте себе утопающего, который цепляется как может за спасательный круг, который у него кроме того вывертывается из рук и готов сдуться и вообще едва сам плывет. Более надежен чем слезы и более знаком другой феномен, настроение сплошного, глухого непринятия всего вообще мира, полное погружение мира в серое безразличие. И противоположное настроение. Мы имеем дело всегда прежде всего и главным образом с этими и подобными настроениями. Что это настроения человека, а не собаки, мы имеем право говорить только в том смысле, что мы вроде бы люди а не собаки, хотя нас уже называли и «нелюдьми» и «собаками» и заявлять, что именно безусловно правы мы, а не так называвшие, у нас особенного права нет.

Неудобное положение, почти как играть в крокет ежами вместо шаров и живыми птицами фламинго вместо молотков. Но иначе нет феноменологии, а есть конструктивизм, где текст или обрастает дефинициями и дефинициями как снежный ком, или становится на второй фразе непролазной грязью. Никакой обстоятельности не справиться с этим геометрическим накоплением объясняемого. Нет, мы ничего не знаем и ничего не определяем, а только пытаемся как можем уловить проблески прояснения. Но так же и Аристотель.

Надо поэтому помимо лексики смотреть на то, что он говорит. Не ловить его на слове, что дети до четырех лет не видят сны — потом он сам скажет что видят, — а понять к чему он пробивается: всегда к чему-то одному и главному, что и нас тоже больше всего задевает, эта прочная *забытость* младенческого сплошного мира в нас.

Точно так же не нужно ловить его например на том, что на самом деле партеногенеза у позвоночных нет. ИЖ V 5: «Куропатки, если они стоят в подветренной стороне от самцов, зачинают, не-

редко также и от их голоса, если они находятся в состоянии возбуждения, а также, когда они пролетают сверху, от выдыханий самца; и самка и самец разевают рты и высовывают язык в период спаривания»[121]. Комментатор тут иронизирует, а лучше бы вместе с современной ⟨биологией⟩ задумался: в чем дело, почему природа пошла этим путем, пар и спаривания, собственно рискованным, *потому что пары может не оказаться*, когда ведь открыт и экспериментально проверен путь клонирования, т.е. в природе возможен путь зачатия без пары и спаривания. Тогда обнаружится неожиданное, что брачные игры и ритуальные бои вовсе не эпифеномен, красивое сопровождение простой и плоской биологической якобы реалии соединения двух зародышей, а поскольку организм вполне мог и может возникнуть и из одной клетки, то выходит *сами эти игры и ритуалы спаривания вся суть дела и есть*, и пение птиц весной не эстетика вокруг биологии, *для того чтобы* было потомство, а странно сказать, потомство, которое могло бы и без этого, привлечено, притянуто как предлог для того чтобы было то пение птиц весной. Лес тянется к бытию. Женское к мужскому. Опять *надежное* врастание мужского в женское. И не «сентименты» необязательное сопровождение «полового акта», а наоборот, *необязательным* оказывается природе «половой акт» — природа могла бы пробиться и напрямую в партеногенезе и клонировании, или просто размножении клетки, как в раковой опухоли, — появляется как повод для поляризации мужского и женского; обеспечить продолжение рода природа могла и так, но она охотится за чем-то вроде надрыва, раскола, *дистанции*, отдельности. *НЕ* противоположности, а сложности. Куропатки допустим «на самом деле» не зачинают от возбужденного голоса и жаркого дыхания самца, не зачинают от одного только ритуального пролетания самки над самцом, но зато верно то, и Аристотель прав, что природа играет по-крупному, спаривание оказалось природе, софии нужно для того чтобы была эта предельная, собственно смертельная игра, а не наоборот. Если говорить по Пушкину и Леонтьеву, то не «сложное цветение» для жизни, а наоборот, жизнь как предлог, повод для «сложного цветения». Природе как бы *не интересно было* получать овцу клонированием, она устроила игру смиренной овечки и упрямого барана. Ученому почему-то пока интересно. Тема для историков науки. Раньше не было интересно, потом не будет интересно, почему сейчас увлечены бесполым размножением? Загадка.

---

[121] Там же, с. 198.

Аристотель дает потонуть себе, человеку, в массе живого. Животное в целом как совершенный, красивый, слаженный, мощный автомат, если скажем смотреть на отчетливое разнообразие спаривания в пятой книге «Истории животных». Для чего всё? Для счастья этой мощи, т.е. жизнь для бытия, не бытие для жизни.

И тогда наконец мы можем догадаться, в чем дело с этой знаменитой, во всех учебниках свысока упоминаемой «ошибкой» Аристотеля относительно зарождения животных из плесени. Моя позапрошлоразовая догадка оказалась верной: действительно он видит *в одном ряду* партеногенез и рождение из плесени, точнее из разлагающегося. Это и есть его ответ, догадка о том, почему природа выбрала не путь партеногенеза и клонирования для размножения, а спаривания, хотя он труднее и рискованнее. Зачатие без спаривания.

К партеногенезу-клонированию, не проводя между прочим различия между ними, Аристотель переходит в гл. 15 кн. V после того как доходит до слонов в описании спаривания. «Самка слона начинает спариваться самое раннее в десять лет, самое позднее в пятнадцать, самец — пяти лет от роду или шести. Время спаривания — весна. Снова сходится после спаривания на третий год; к самке, которую оплодотворил, более не прикасается. Носит два года, рождает одного, так как он животное однородящее. Плод величиной с двух- или трехмесячного теленка»[122].

«Так обстоит дело относительно спаривания тех животных, у которых [имеет место] спаривание». Напомнить: от погоды и экологии как бы зависит, пойдет особь путем партеногенеза или спаривания. «[Теперь] надлежит сказать о возникновении животных, которые [в пределах одного рода могут размножаться] и спариваясь и не спариваясь, и, прежде всего, о черепокожих» — ракушках, улитках, моллюсках в раковинах. «Только они размножаются без спаривания, можно сказать, в целом, как род». Дальше нужно слушать особенно внимательно. «Багрянки...» — порфиры, черепокожие, из которых добывалась собственно основная красная краска древности, цари «одетые в порфиру» это значит в одежду окрашенную так называемым «цветком» этих моллюсков, «...собравшись весной в одно место, производят так называемые соты: это нечто подобное медовым сотам, только не такое гладкое, а как бы сколоченное из множества оболочек белого гороха. Ни одно из этих образований не имеет открытого прохода, и не из них возникают багрянки, а и они и прочие черепокожие зарождаются из ила

[122] Там же, с. 209.

и вместе с тем из гнили» (V 15)[123]. Комментатор: «Описав икру моллюсков, Аристотель тут же закрывает себе путь к правильному пониманию ее природы»[124]. В самом деле, надо же было: вот уже и увидел и описал эту икру, но отводит, да еще и подчеркивает, «Ни одно из этих образований... не из них возникают багрянки». Но почему, не естественно ли чтобы они всё-таки возникали из чего-то, что вышло из их же собственного тела, почему искать их «самозарождение» в иле?

Не совсем в чистом иле. Рядом с илом, слизью, гнилью должны присутствовать существа этого рода и как-то провоцировать этим своим присутствием самозарождение себе подобных из ила. «Таким образом, и черепокожие, производящие соты, возникают так же, как и прочие черепокожие, однако преимущественно тогда, когда раньше имеются существа того же рода. Именно, они выделяют, начиная производить соты, клейкую слизь, из которой образуется нечто напоминающее шелуху. Всё это расплывается, в землю попадает ихор», как бы густая кровь, «и на этом месте возникают маленькие багрянки»[125].

Всё названо, и икрометание тоже описано, и всё равно подчеркнуто: не отсюда рождение. Я не в состоянии прочитать, не могу это объяснить, но тут явно сообщение нам. Ясно только, что это *не* ошибка, а мысль, которую я не могу разобрать. Она имеет отношение к возникновению всего живого. Феноменологически Аристотель не имеет права отнести какие-то события к ненаблюдаемому прошлому, тогда о них просто не имеет смысла говорить. Такой, трезвый методологический смысл, приводит к тому, что Аристотель не имеет исторической перспективы: всё, и зарождение жизни на земле, происходит прямо сейчас, как бы *должно уметь наблюдаться прямо сейчас* или тогда уж никогда.

Среди современных гипотез возникновения живого есть влияние из космоса. У Аристотеля как запретно размазывание данности на исторической перспективе, так и исчезание в далеком. На что опереться, идет из края, последнего предела. Словами *солнце* и *ветер* называются вообще все влияния какие могут приходить издалека из области звезд, вовсе не потому что у Аристотеля не хватает воображения и приборов чтобы те влияния представить или зафиксировать, а потому что *всё равно никакими приборами не зафиксируешь всё*, мы видим как «элементарные частицы» все-

---

[123] Там же.
[124] Там же, с. 470.
[125] Там же, с. 209.

гда делятся несмотря на всю мощь приборов на уже зафиксированные и еще не зафиксированные. Всё что есть должно или ощущаться — эстезис, или мыслиться — ноэсис, по наведению — мимесис, имеется в виду настоящий, досознательный. Говорить о запротоколированных частицах с риском, что вся картина изменится после открытия новых, — это не для философии. Данность это *вся* данность или ее нет вовсе; в *этом* солнце и в *этом* ветре собрано всё, что может быть от далекого влияния. Тогда надо говорить, что у Аристотеля солнце и ветер *символы*? Нет, если символы надо понимать как знаки или осколки чего-то другого: Аристотель видя солнце ощущает *всё* солнце мира, как материя этого мира для него *вся* материя какая может быть, вне мира никакой материи больше просто нет.

Здесь справедливо верное замечание историков античной религии. Имена богов это не части вселенной, а ее аспекты, Бог конкретен тем, что он *всё*, целый мир, взятый в таком тоне, или если хотите настроении.

11 (18.11.1997)

Так же — в своего рода философской религии, философии-религии, через дефис, ветер у Аристотеля как божество, т.е. *весь* космос в модусе ветра. Это простое зрение — да, простое, до различения философии и религии — пригодится нам позднее для курса, продолжение которого этот: начало религии[126*].

При переходе к невидимому Аристотель тоже соответственно не растекается в гипотезах, а находит опору в мире как полноте, которая вбирает в себя всю вообще существующую материю. Из-за того что в античной мысли нет исторической перспективы и нет пространственной, всё сейчас и здесь, что было, не ушло, а сбылось и стало быть даже упрочилось для продолжения, и что далеко, в эфире, близко этой самой своей далекостью, прямо постоянно касается нас своим обжигающим отсутствием. Конкретная, надежная невидимость без обмана.

Может быть, первое зарождение жизни из ила нужно Аристотелю для того чтобы показать жизнь как выход из хаоса, свалки, к началу самодвижения? что вся жизнь есть неким образом плесень, гниение и одновременно прорыв из него из-за нестабильности этого гниения? Тогда появление в жизни парности, спаривания — это как прорыв жизни в бытие. Стремление материи к эйдосу, к совершенству и к истории.

Загадкой остается описание животных, появляющихся и живущих в огне (V 19, 106)[127].

Снова аристотелевская связь партеногенеза и зарождения из ила: трутни, приводит он без возражений такое мнение, зарожда-

---

[126*] Курс «Правда (онтологическое обоснование этики)», прочитанный в течение трех семестров (осень 1998, весна—осень 1999) на философском факультете МГУ, был объявлен как продолжение курсов «Начала христианства» и «Лес». В настоящее время не опубликован.

[127] *Аристотель.* История животных..., с. 221.

ются вообще без матки, а поколение пчел не нарождается. Между рождением рабочих пчел и трутней действительно проходит различие, первые появляются через спаривание, вторые в партеногенезе, по Аристотелю — в самозарождении. *Граница* проведена там точно, и такая же отчетливость — как знает современная биология, только именования разграниченных разные.

Насколько живое впиталось в целый космос, в движение звезд, показывает у Аристотеля опять же полития пчел: «Воск они делают из цветов, пыльцу приносят от слез деревьев, мед же падает из воздуха, преимущественно во время восхода звезд и когда бывает видна радуга; вообще же до восхождения Плеяд меду не бывает» (V 22, 116)[128]. У многих сейчас хватит уверенности сказать, что пыльца это не слезы, мед не падает из воздуха и не связан с движением звезд. Вместо этих сведений приведут другие, полученные современной наукой. Пчелы и им подобные насекомые, будет сказано, возникли одновременно с некоторыми родами растений и цветов, в хозяйстве которых (это — кстати о родстве флоры и фауны леса) пчелы необходимы для опыления, переноса пыльцы. Вот известный пример этой необходимости: Чарльз Дарвин в одном из своих путешествий в экваториальные регионы предсказал, что там существуют насекомые, только их не нашли, чей хоботок имеет длину 25 сантиметров, потому что описал орхидеи, в цветке которых именно такой узкий проход в место, откуда должна быть взята пыльца для опыления. Действительно, такое насекомое было потом обнаружено. То, что его *не* наблюдали опускающим свой хоботок в цветок этой орхидеи, показывает только, что наука еще чего-то тут не знает. Она ставит пока точку. Античные, с их вкусом, ставили кроме точки еще заставку, иллюстрацию, обычно картинку звездного неба. Так радуга и созвездие Плеяд, участвующие в сборе меда, в ИЖ V 21, 116.

Пчеловоды естественно заботятся о медосборе, они и покупатели склонны забывать, что роль пчел (именно как необходимой части автомата размножения растений) как переносчиков пыльцы как-то неизмеримо важнее, в том числе и экономически, чем стоимость меда. Т.е. неизмеримо экономически ценнее та пыльца, которую пчелы *не* принесут в улей, растеряют по дороге. Мед здесь способ заманить человека в разведение ульев, причем человек не знает, что тут словно за плату, в общем приличную, работает обеспечивая главную работу пчел. Мы наемники, нанятые этого процесса. — Но и пчелы собственно заманены, наняты на работу опы-

[128] Там же, с. 223.

ления. Хитрость, с какой растения принимают пчел, поражает исследователей. Некоторые орхидеи устраивают в своем цветке систему эксплуатации пчелы, состоящую из особого состава еще не пыльцы, а вещества, которое, отяжеляя лапки пчелы, заставляет ее резко взлететь, из экрана, о который пчела, быстро взлетая, обязательно ударится, из чашечки со специальной влагой, куда пчела, ударившись об экран, обязательно упадет, из отвесных стенок этой чашечки, куда пчела с мокрыми лапками не сможет взобраться, и из туннеля, ведущего наружу от поверхности влаги, единственного выхода, внутренние стенки которого покрыты пыльцой, так что мокрая пчела, пробираясь по этому узкому коридору, обязательно налепит пыльцу себе на тело. Другие виды орхидеи имитируют запах *пчелиной матки* (какого-то из сотен видов пчел; есть виды пчел, приспособленные для собирания меда только с очень определенных цветов). Этот запах и устройство части цветка, форма которого похожа на тело самки, провоцируют самца на поведение спаривания, не доводя только до выделения семени, но и этих прилаживающихся движений пчелы-самца достаточно, чтобы полететь дальше нагруженным пыльцой. — Эта сложная политика вовлечения приманкой и пищей пчел в жизнь растения, а пчелами — вовлечения человека в свое разведение, только частичка сплошного сцепления в природе, только одна из экосистем, и при том что размножение возможно по типу раковых клеток, т.е. с образованием сплошной живой массы, в этой политике природы можно видеть определенную стратегию: увеличение, хотя это и увеличение риска, мест границы, пунктов решения и выбора, увеличение полярности, менее точно сказать — сложности.

Мы освобождаемся благодаря Аристотелю от тяжелого дневного кошмара, будто есть реалия, необходимость родить, и вокруг нее как радуга, как свечение идеализация, идеалы. Нам еще придется в этой связи вспомнить, что идея имеет биологическое значение вида и рода. Мы привыкнем видеть, наоборот, что род существует у природы как вид (перспектива) и *в видах* идеи, т.е. добра (богатства), истины (т.е. надежного бытия, которое повторяет само себя) и красоты (т.е. захватывающего, влекущего).

Аристотелевская биология продолжает работать, и даже больше того, как раз после «разоблачения» его неточностей он начинает работать вполне. Всё-таки использовать философскую работу двухтысячелетней давности, чтобы узнать что-то о животных, всё равно что использовать ее допустим для изучения древнегреческого языка. Чем смотреть в Аристотеля, подите посмотрите сами

на животных. После Линнея, Дарвина, когда проснулась снова настоящая биологическая наука, она конечно сама может всё пронаблюдать и не нуждается в том, что у Аристотеля как раз не главное. Еще удивительно, что так долго, две тысячи лет, у всего мира не хватало размаха даже для полевых исследований, который был у античной биологии. Сейчас конечно уникальный подъем научного, небывалый в истории человечества, и будет странно, если не начнется скоро изменение ментальности, всего строя ума человечества. Но для наших маленьких целей удобство то, что мы теперь свободны читать Аристотеля именно как науку, философию, а не дневник полевых исследований. И тогда мы замечаем ее, пожалуй, постоянную мысль: природа не боится усилия и как будто ищет его, поведение перелетных птиц, которые могли бы найти себе места ближе чем за тысячу километров, или дикого зверя, который мог бы быть одомашнен и получить обеспеченное существование, и человека, который усложняет себе жизнь, потому что ценит что-то больше жизни. Дикие люди, упрямо не поддающиеся одомашнению, мы будем на них смотреть иначе.

Равновесие природы, так называемое, тогда нарушено быть не может: всякие эксцессы, доводя до предельного напряжения усилие, работают в том же направлении что и природа. Доброму вору всё в пору: воровство, хитрость, хищение софии. Сюда же — гегелевская хитрость мирового духа.

В сущности нарушено в природе ничего быть не может, кроме соотношения дикой и одомашненной природы. Скорее всего, «домашний» имеет всё-таки смысл: не подчиненный человеку и живущий близко к домам человека или прямо в домах. Аристотель кстати говорит о более диких и более домашних осах, вовсе не потому что одних люди разводят а других нет: дикие больше по форме, длиннее и чернее, воинственнее других и укус их болезненнее. Домашние, или «более домашние» — по какому признаку? что не так больно кусаются? не только. Не по тому что у человека. Тогда — по принципу порядка? Ручной, домашний, смиренный — в том смысле, что *у них* дом, а не они при нашем доме. Трудно сказать, но как будто бы и без всякого человека или может быть подражая со стороны человеку сообщества муравьев или пчел втягиваются в дисциплину, как в политии. Эта одомашненность может быть сорвана, нарушена. Вот собственно мелкий случай, таких можно привести больше, одичания из жизни пчел, и вот уж точно под влиянием человека: в 1957 г. в Бразилии при выведении эффективной породы пчел неудачный гибрид, пчелы-убийцы, собственно те же африканские пчелы, только еще более активные и

трудно успокаивающиеся, вырвался на волю и стал распространяться с быстротой увеличения радиуса круга распространения примерно 300 километров в год, уже в 1980 г. достиг Мексики, и считают уже несколько сот убитых ими людей. Пчелы как бы сошли с ума. Что-то было сорвано в их физиологии конечно, но и в нравственности ведь тоже. Они одичали.

Нервность пчел, хрупкость рабочего равновесия их государства, которая может быть сорвана коллективной болезнью, была интересным образом известна и античной биологии. Кстати, когда Хайдеггер говорит, что пчелиный народ никогда не выйдет из границ возможного, то это значит, как в аристотелевской биологии, не что пчелиный народ никогда не выйдет из своего закона, а что он хочет дисциплины, поддерживает порядок. Молодые, которые еще не втянулись в эту дисциплину, как раз к эксцессам готовы. Есть молодые неопытные пчелы, которые строят грубые соты. Ульи могут болеть, «пчел охватывает как бы леность» (IX 40, 196[129]). И это химия (система связи и управления) и физиология, биологическое нарушение, но рядом с болезнью, из-за болезни или параллельно болезни, это и недолжное настроение, и пчелы не принимают, когда изгоняют больных, и заразительность их болезни и настроение. И похоже что пчеловоды знают эту серьезность пчел. Кто наблюдал собак, это доступнее, заметил, что кроме понятных сытости-несытости, тепла-замерзания, тревожного отношения к резким движениям, к бегу, возне, они различают настроение или строй души.

Это мы делаем свои наблюдения. Теперь Аристотель. «Малые пчелы лучшие работницы, чем большие, как сказано; крылья у них оборваны, окраска черная, выжженная солнцем; другие же — вылощенные и блестящие, как праздные женщины» (IX 40, 200)[130]. «*Как* праздные женщины» как будто еще не нравственное суждение, но у Аристотеля постоянно идут оба эти ряда объяснения, объективный и нравственный. Не то что он верит, что пожелав быть хорошими, неленивыми, пчелы сумеют изменить свою природу или хотя бы излечиться от лени. Эту больную *физиологическую* сторону, непоправимую сторону, конечно ⟨Аристотель помнит⟩. Но ведь и в человеческом мире, если отделаться от нетрезвого невнимательного воображения, будто человек нравственно свободен и у него есть вольный выбор, нравственные поступки окажутся физиологически и химически обусловленными,

---

[129] Там же, с. 383.
[130] Там же.

в цепи причины-следствия, и всё равно будет иметь смысл говорить о том что они нравственные. Лучше этому отрезвлению учиться тогда на наблюдении живых существ, что Аристотель и делает: то, что они автоматы, не только не мешает нравственности, но серьезный разговор о нравственности только и начинается, когда так называемый свободный поступок невозможен. Полития: порядок, правление закона. Демократия etc: уже правление людей. Так у Витгенштейна чистое этическое отношение к миру открывается вместе с прозрением, что ничего изменить в мире, никак влиять, воздействовать на мир невозможно, человек как без рук и без ног, в бессильной неподвижности: только тогда начинается этика, т.е. принятие всего этого положения вещей, вместе с моей абсолютной неспособностью как-то вмешаться, или непринятие. — Никакой мифологии и сказки в нравственности животных, а только знание что они полные автоматы и, так сказать, по-своему без рук без ног, скованы. Пчелы работают внутри скованной экосистемы, напряжение порядка, несвобода.

«Работы у них, как было сказано, разделены: одни работают с воском, другие с медом, третьи с пыльцой, и одни строят соты, другие приносят воду в ячейки и смешивают ее с медом, иные отправляются на сбор пыльцы. Утром пчелы молчат до тех пор, пока одна не разбудит их, прожужжав два или три раза, тогда они все вместе летят на работу и, вернувшись, сначала снова шумят, затем постепенно меньше и меньше, пока одна пчела, облетая, не зажужжит, как бы давая знак ко сну, затем они сразу замолкают» (202)[131]. Полития как дисциплина.

Этот спартанский порядок, тонкий, может быть нарушен. Болезнью конечно, физиологией, химией — «лень» пчел явно болезнь, — но рядом с болезнью и неясно, что первое и что второе, что причина и что следствие, надрыв того, что по небрежности, по привычке мы назвали бы ослаблением или прекращением воли к жизни. Как-то сразу рушится всё, *не хочется* становится продолжать поддерживать сложнейший порядок, опадает дисциплина; нравственная усталость, упадок морали допустим не произошли бы без химических изменений в улье, упадок морали мог бы вызвать плохие химические изменения. Mens sana in corpore sano[132*] — где надо ставить акцент? Одно так и другое — обсуждается. Похоже, дело не в том, чтобы его поставить на теле или на духе, а в том, чтобы не переставать видеть тут проблему — а всё

---

[131] Там же, с. 384.

[132*] Перевод: В здоровом теле здоровый дух

вокруг полно спешным решением, и самое частое как будто бы «воздействовать»: бодростью духа влиять на здоровье тела, тренировкой тела поддерживать бодрость духа. Т.е. обычное решение заигрывать с отношением тела к духу, вмешиваться в него, фатально и губительно. Правильное решение похоже, наоборот, никогда ни при каких обстоятельствах не смазывать тело и дух, держать их как они есть отдельно.

«Крепкий улей узнается по сильному шуму и движению входящих и выходящих пчел, ибо тогда они выхаживают молодь», способность продолжения рода — главное ее поддержать, и тут признак здоровья. «Голодают они главным образом, когда начинают работать после зимы. Они бывают ленивее, если, вырезая мед, оставить им больше; надо оставлять им сот соответственно их количеству. С меньшей охотой работают также, если будет оставлено мало. Пчелы бывают ленивее также, когда улей велик, ибо в этом случае им не так хочется трудиться» (IX 40, 203)[133].

Таким образом, они работают, тянут лямку, это трудно и они могут сорваться с режима. Работают и дикие пчелы и осы, но не так как пасечные, в чьем трудолюбии сказывается уже приобщение к человеческому обществу, в котором в основном с дисциплиной дело поставлено хорошо. Поскольку пчелы возникли одновременно с растениями, которым они нужны для опыления, входят в одну сплошную экосистему, то может быть и люди, разводящие пчел, входят в эту же систему? Возможно; доисторические люди во всяком случае были больше включены в жизнь природы. И именно не в том старом и ошибочном смысле, что для поддержания своей родовой жизни им надо было иметь больше контактов с природой, а в другом, теперь открывающемся: что они входили в замысел или в стремление леса к эйдосу как полноте, под полнотой понимая совершенство. Предположим, «венец творения» в отношении человека тогда надо понимать не в смысле того, что после проб и ошибок природа достигла совершенной формы, а в другом: через человека сейчас идет главная работа, он больше других отвечает за полноту, просто целое. Не надо спрашивать за полноту чего: скажем — *вида*, т.е. эйдоса, или идеи, идеи как идеи полноты, бытия как сияния полноты. Об этом хорошо у Мераба Мамардашвили в «Лекциях по античной философии»[134]: «Бытие не может не являться. Как считали греки, бытием является нечто, что стоит в открытости. Не случайно первой бы-

---

[133] *Аристотель*. История животных..., с. 384.
[134] М.: Аграф, 1997, с. 50.

тийной мыслью для них была мысль о героях в их деяниях и в свете славы, в которой они продолжают пребывать целиком. Ореол славы, как бы выхватывающий человека из темноты и держащий его полностью в этом свете. Подобно нимбу, символу святости в христианстве и буддизме. Это старая тема — славы как чего-то полностью исчерпывающего и обозначающего жизнь — весь ее смысл... Понимая таким образом бытийную идею, греки говорили: это настоящий мужчина, в нем есть что-то от философа... Исполнение славы жизни полностью. Греки полагали, что это — философия».

«Исполнение славы жизни полностью». Это и есть эйдос: видимое. Пчелы напряжением своей работы, и тогда их рабочее гудение как звук этой натянутой струны, вытягивают как могут ту же полноту — не полных сотов, хотя и это тоже, не хорошего опыления, хотя и это тоже; при каких-то плохих условиях и меда окажется немного, и опылять будет особенно нечего, и тогда знаком полноты, странно сказать, останется их «добротность», то что Карпов хорошо переводит «крепкий улей» (IX 40, 203). Физиология, эстетика, этика, три в одном, в онтологии.

Об осах Аристотель не будет говорить в терминах лени, борьбы с ленью, желания трудиться. В этом не будет осуждения: они отличаются в другом, например земляные осы «лакомки и летят поодиночке на кушанья, рыбу и тому подобные яства» (43, 222)[135].

Задевающе близко к постоянным и главным темам человеческой нравственности подходят крупные и близкие к человеку животные. «Верблюды не покрывают своих матерей, и, если даже принуждаются к этому, не хотят. Случилось как-то, что, за отсутствием производителя, верблюжатник, закрывши мать, подпустил к ней ее сына; когда же во время случки покрывало упало, тот прекратил случку, а немного спустя, укусив верблюжатника, убил его. Рассказывают также, что у скифского царя была породистая лошадь, от которой все лошади родились хорошими. Желая, чтобы самый лучший из них жеребец произвел потомство от матери, его подвели для случки, а он не хотел; после того, как она была закутана, не зная ее, он покрыл ее. Когда же по окончании случки голова кобылы была открыта, жеребец, увидя ее, убежал и бросился в пропасть» (IX 47, 237—238)[136]. Если бы инцест не был острой человеческой темой, этих наблюдений не сделали бы; на животных спроецировано человеческое? Нет, семейные отношения

---

[135] *Аристотель*. История животных..., с. 388.
[136] Там же, с. 391.

есть у животных, материнская забота у собаки со щенками не спроецирована на нее, мы ее наблюдаем не в порядке обмана зрения, она там есть, и вспышки гордости, и покой, и перестройка всех привычек вокруг потомства, и постепенное каждый день угасание этой увлеченности материнством, по мере возрастания щенков.

Рассказы о дельфинах обычные: они кроткие, способны к приручению, у них «любовное вожделение к мальчикам», забота о маленьких дельфинах. Но вот сходство с человеком, которое Аристотель не комментирует: дельфин уходит в глубину за рыбой, «когда путь наверх для них становится длинным, они задерживают дыхание, как бы сделав расчет, и, собравши силы, несутся как стрела, стремясь с такой скоростью пройти длину, какая необходима для дыхания. И тогда, если встретится судно, перескакивают мачты. То же самое делают и ныряльщики, когда спускаются в глубину; и они, собравши силы, несутся вверх» (48, 241—242)[137]. Этот рассказ стоит у Аристотеля на месте современного дискурса об интеллекте дельфинов. Только вместо сравнения и оценки сам человеческий ум, ныряльщика, увиден в дельфине, когда дельфину это нужно. И в этом смысле последнее сообщение о дельфинах: «Неясен вопрос, почему они попадают на землю: рассказывают, что они делают это иногда, когда придется, без всякой причины» (242). Т.е. самоубийство дельфинов свободное, по решению, как беспричинные самоубийства людей от полноты жизни и от счастья.

Связь души и тела и запретна, и бесполезна во всех попытках контролировать тело умом или дух физическим усилием, ничего кроме недоразумения, путаницы и грязи от вещей вроде самогипноза или телесных приемов *обычно* не получится, но взаимная неуправляемость, непересечение души и тела как бы расчищает пространство для их взаимной настройки через *полноту*. Когда они оставлены самим себе, то чем меньше между ними коммерции, чем больше они становятся в себе монадами без окон, тем больше отклика, или вызова, полнота, собранная в себе и в своем, одного, тела, вызывает, провоцирует полноту в другом. — Это не значит что тело действует на дух или наоборот. Это значит, что полнота, если она приблизилась, как бы ни приблизилась, заражает, заразительна. Только в пункте полноты они одно, в той мере, в какой полнота доступна и телу и душе.

«Как всем животным приходится совершать известные действия, соответственно их душевным состояниям, так и наоборот, их

[137] Там же, с. 392.

нравы меняются соответственно действиям, а иногда и некоторые части, как это случается у птиц. Куры, которые победили своих самцов, поют, подражая петухам, пытаются покрывать кур, у них поднимаются гребень и хвост, так что не легко узнать, что это самки; у некоторых появляются даже небольшое шпоры» (IX 49, 243)[138]. Самое вдохновенное сочинение Аристотеля, История животных.

Гинекологическая последняя 9-я книга под вопросом, большинство за ее принадлежность Аристотелю. Она могла быть его учебной работой по первому, медицинскому образованию, которое естественно было получить способному молодому человеку из рода Асклепия. Если помнить о медицинском профессионализме Аристотеля, становится понятно введение им термина вместо платоновского χώρα, вместилище, кормилица: ὕλη из важных медицинских терминов, диета, кормление, выделения.

В аристотелевской гинекологии женщина настолько отождествлена с делом рода и рождения и с частями тела, которые этому служат, что этим долгом, призванием диктуется даже, какие мысли должна иметь женщина при близости. «Если женщина привносит что-либо к семени и возникновению, то ясно, что от обоих должно приходить в одно и то же время. Если один скоро исполнит свое дело, а другая с трудом (в большинстве случаев женщина медленнее), то это составляет препятствие; поэтому и супруги порождают друг с другом, не порождая, когда случайно встречаются с другими, одинаково сильно стремящимися к совокуплению. Если она была возбуждена, подготовлена и имеет подходящие мысли (!), а он был перед этим огорчен и холоден, то по необходимости они тогда достигнут соответствия друг с другом» (X 5, 18)[139].

Какое подчинение женщины, мы скажем, в сущности только одному ее делу, пусть самому главному; а где же духовные интересы женщины, нет ли здесь нехорошего machismo. Такое замечание много говорит о нас и почти ничего об Аристотеле, потому что кто так его подозревает, успел уже упустить, что сухое, влажное, теплое, холодное, в аристотелевской медицине главные одинаково и внешние, при пальпации, и внутренние, в самоощущении, критерии здоровья, способности к деторождению, оценки правильного или неправильного хода сближения и беременности, это первые стихии и природы (космоса) и одновременно нравст-

---

138 Там же.

139 Там же, с. 406 сл.

венного мира, мы только разучились слышать и понимать этот язык. Родящие органы не *принадлежности*, части тела женщины, а она вся, в настроении, помыслах женщина вся становится *в полноте* родящим органом, но это не ограничивает ее, а наоборот, через тепло-холод, влажность-сухость, полноту вхождения в эти стихии женщина вырастает до космического события, до божества. И мужчина тоже — в другом смысле.

Уже мы поняли, что идеальное, эйдетическое, историческое, мужское придает материи, матери, женскому только неуловимое нечто, что Ахутин называет, применительно к аристотелевскому эйдосу, «последний штрих»: так художник завершает картину непонятно как, неуловимым движением. Странно сказать, в материи (как в материи картины, так и в материи биологической) есть *всё*, но без полноты. Полнота тогда не *всё*, или она *всё* в другом смысле, как мы говорим *всё* в противоположных смыслах: Всё, больше нет; Всё, хватит, достаточно.

Вот место, где Аристотель говорит о том, что женское начало дает всё и не всё (ИЖ X 6, 24—25): «Если нет самца, курица падает сама по себе, зачинает и родит ветреные яйца, как бы желая в то же время испустить, и испуская, наподобие того как мужчина сходится с женщиной. Делают это и прочие животные, как было однажды с поющими акридами, когда одна женщина попыталась выкормить их, взявши еще в раннем возрасте, а они сами собой сделались беременными. Из этого ясно, что самка всё приносит в семя, если даже это было констатировано [только] у одного рода; ведь ветреное животное ничем не отличается, разве только не порождает другое животное, но это бывает и когда оно произошло от обоих родителей; поэтому не все рожденные от самца оказываются способными порождать, но некоторые бывают бесплодными, когда ненадлежащим образом составлены из обоих»[140].

Ветреное животное, которому «ветер занес», без спаривания, тоже животное — и не совсем животное, не совсем то. Как всегда, Аристотель строго держится феноменов и называет три наблюдаемых случая. Первый — неоплодотворенное яйцо курицы на вид и состав ничем не отличается, но его бесполезно высиживать: из него нет птенца. Это наблюдается только «у одного вида», но Аристотель делает правомерный вывод: мужское и женское по-видимому надо думать не в одном только роде живых существ участвуют не как равные вкладчики в создании потомства, а всегда женское приносит *всё*, но так, что не *всё*, не получается полноты.

[140] Там же, с. 409.

Какая полнота. Какие ее черты. У неоплодотворенного яйца первая и самая сильная — неспособность порождать. Ту же маркированную, самую броскую черту Аристотель видит у мула, потомства осла и лошади, и гинна, потомства коня и ослицы, которые обычно (но не всегда) уже не могут иметь потомства, и думает, что хотя здесь спаривание произошло, но рожденное «ненадлежащим образом составлено из обоих». Некорректно было бы переводить это на язык современной генетики и говорить скажем, что имеется в виду что-то вроде трисомии или других отклонений от числа 46 хромосом. Сопоставление с современной биологией однако возможно, и оно должно по-моему начаться с того, что Аристотель называет и не животным и не неодушевленным: Οὕτω γὰρ ἐχούσαις, ἐὰν μὴ μεμιγμένον ἐστὶ τὸ ἀπ' ἀμφοῖν, ἀλλ' ὥσπερ τὸ ὑπηνέμιον ἐνδέζαιτο ἀπὸ θατέρου, τότε γίνεται ἡ καλουμένη μύλη, οὔτε ζῷον, διὰ τὸ μὴ παρ' ἀμφοῖν, οὔτ' ἄψυχον, διὰ τὸ ἔμψυχον [τὸ] ληφθὲν εἶναι, ὥσπερ τὰ ὑπηνέμια. В переводе Карпова: «При таком состоянии матки, если она воспримет не смешанное от обоих семя, а как бы ветреное, от одного, тогда возникает так называемый занос; не животное, так как не происходит от обоих и не неодушевленное, так как получено...», может быть зачато, от самого себя, теперь скажут в партеногенезе, «...было в одушевленном [виде], как ветреные яйца»[141]. Важно только не успокаиваться на критике Аристотеля, который думает, что занос это неоплодотворенное яйцо, а подумать о статусе *неживого одушевленного*, т.е. значит о понимании живого как настоящего, самодвижного и умеющего продолжиться через рождение автомата. Он предлагает эту категорию не живого существа одушевленного, т.е. жизнь которая не вошла в форму, эйдос.

[141] Там же, с. 411.

12 (25.11.1997)

Последнюю тему прошлого раза, промежуточное состояние существ, которые можно было бы назвать *биологической массой*, содержащих всю какую надо материю, но не получивших *движения*, т.е. не могущих войти в историю, приобщиться к полноте: в которых всё — и не всё, надо отложить на середину этой пары, потому что о ней больше в другом важном биологическом трактате Аристотеля, «О рождении животных». А сейчас дочитать «Историю животных».

Я дважды сказал слово «история». В первом случае я назвал историю в нашем смысле, как движение, развитие, и не всё равно какое, а в котором есть *интерес*, inter-est, не всё равно, есть большая разница или даже вся разница, которая нас задевает, куда пойдет и какое движение. Это κίνησις. Когда у Зенона читаем, что движения нет, то как, мы говорили, теплота в античной биологии значит и страсть (чуть опережаю сегодняшнее чтение), так *движение* значит и история и это главное слово для истории. Ἱστορία это просто собирание сведений, разведданных, этимология слова та же, что наше *ведать*. Но поскольку сведения собираются не всякие и не обо всём, а вокруг *интереса*, что захватывает и что важно, о том и говорят, то ἱστορία это и наша история.

Тогда ἱστορία должна иметь темой κίνησις? Κίνησις это тот плюс, который привносит мужское к материи, к матери, и без которого лес был бы всё — и не всё, лес был бы полон и всё было бы им полно — и не было бы только полноты. Тема мужского-женского действительно важная в биологии Аристотеля или может быть главная.

«Историю животных» оставляю читать вам, она и сама хороша, и издана знающим всё Борисом Анатольевичем Старостиным. Берем оттуда только такое рассмотрение *вместе* сторон поведения животных вокруг рода и продолжения рода, что любое мое

именование того, что берется *вместе*, собьет с толку, потому что слишком мы привыкли делить на разные сферы и науки то, что Аристотель вовсе не разделяет. Прочитаю места, а вы сразу догадаетесь, что мы в отличие от Аристотеля как-то усвоили, может быть в последние 100 лет, после позитивизма, разделение, как бы на базис и надстройку, и привыкли к нему. ИЖ VI 17, 99: «Наибольшее время носят те, которых называют маринами», перечисляются разные виды рыб. «Сарг беременеет около месяца Посейдона...» — не знаю куда смотрел Старостин, надо *посидеон*, шестой месяц, вторая половина нашего декабря и первая половина января, «...носит же тридцать дней, также и так называемый хелон из кефалей, и миксон носят в ту же пору и такое же время, как сарг. Страдают во время беременности все, потому в это время чаще всего выбрасываются на берег; в беспокойстве они устремляются к земле, и вообще всё это время пребывают в постоянном движении, пока не разродятся; в особенности из всех рыб этим отличается кефаль. Выметав икру, успокаиваются»[142]. Πονοῦσι δὲ τῇ κυήσει πάντες, διὸ μάλιστα τὴν ὥραν ταύτην ἐκπίπτουσιν φέρονται γὰρ οἰστρῶντες πρὸς τὴν γῆν. Καὶ ὅλως ἐν κινήσει περὶ τὸν χρόνον τοῦτον διατελοῦσιν ὄντες, ἕως ἂν ἐκτέκωσιν καὶ μάλιστα ὁ κεστρεὺς τοῦτο ποιεῖ τῶν ἰχθύων ὅταν δ᾽ ἐκτέκωσιν, ἡσυχάζουσιν. То что переведено *страдают* — πονοῦσι от πόνος πένομαι, три главных значения «работа», «мучение», ⟨«роды»⟩; обычная связь, лат. labor «труд» этимологически связано с labo «скольжу, шатаюсь, погибаю», к этой же этимологии *лабильный*, т.е. труд не просто трудность, а такая что я шатаюсь под тяжестью; в румынском *мунча* «работа», этимология та же что *мучение*, *пытка*; в английском значение предельного усилия возвращается в labor «родовые муки, роды»; в аристотелевском πονοῦσι *трудятся-страдают-рожают* то же. В русской медицинской терминологии *родовая деятельность*, и здесь конечно двусмысленное отношение в России ко всякой *деятельности*.

Заметьте: не удается у Аристотеля расслоить «физиологию» и «психологию». И мы догадываемся что в этом нашем расслоении, дошедшем в термине *родовая деятельность* уже до абсурда, между «делом», физиологией, и «настроением», «субъективным ощущением», есть какой-то скверный порок. Надо скорее вернуться к той простоте.

Движение, κίνησις, в котором *рыбы вообще в это время пребывают*, тоже включает и то, что они мечутся, и что возбуждены,

---

[142] *Аристотель.* История животных..., с. 258.

и указывает, это важнее всего, в сторону того движения, которое придается материи мужским началом, т.е. истории. В то же время всё это Аристотель записывает в свою *историю*, т.е. ему *важно* сообщить об этом сведения. Мы по ходу чтения будем всё больше понимать, для чего важно. Окажется что не для «познавательного» интереса, а что через это знание и только через него человек входит в то же движение, к полноте, а то не войдет. Это мы увидим.

О поведении вокруг продолжения рода мы говорили, называли его амеханией, невозможностью привести в движение произвольно механизмы. Тогда недостаточно подчеркивали отдание существа в амехании автомату, который начинает решать обо всем, и о самой его жизни.

Когда от рыб, птиц и рептилий в ИЖ VI 18 переходит к спариванию, беременности и «другим вещам того же рода» млекопитающих и человека, то и первым и самым общим свойством называется «впадание», пропадание, упадание, причем «величайшее», касающееся порыва и наслаждения[143]. 571 b: выражения осторожные, Аристотель касается странного и чудесного, волшебного. «Лошади кусают лошадей, сбрасывают и преследуют всадников. И самцы диких свиней наиболее яростны в период спаривания, хотя в это время и наиболее слабы», безвластны как автоматы. «Они устраивают в это время удивительные битвы между собой, одевая себя панцирем и делая свою кожу возможно толще путем предварительной подготовки: они трутся о деревья, неоднократно мажутся грязью и высушивают себя. Они сражаются друг с другом, убегая из стада, настолько ожесточенно, что нередко оба погибают»[144]*.

У человека это проявляется в наибольшей мере, Аристотель имеет в виду возможно тотальные войны. Из остальных животных в этом отношении всего ближе к человеку лошади. «Кобылы безумствуют от страстного желания, поэтому название этого единственного животного употребляют как ругательство, применяемое к женщинам необузданным в любовных делах. Говорят, будто в это время они беременеют от ветра...» — или, может быть, тут имеется в виду, как куропатки, от жаркого дыхания самцов, «...поэтому на Крите никогда не отделяют от самок производителей; когда же с ними это случится, они бегут от других лошадей. Это такое состояние, которое у свиней называется „капридзейн". Кобылы бегут не на восток и не на запад, а на север или юг», заметь-

[143] Там же, с. 260.

[144] Там же. *В русском издании нет пагинации.

те эту привязку к космосу, к звездам, о компасе и магнитном поле не говорили. «Когда нападает такое состояние, они никому не позволяют приблизиться, пока не остановятся от усталости...», διὰ τὸν πόνον 572a 19, то же слово у Аристотеля что labour; в метаниях, в движении и в безумии вокруг спаривания уже угадывается, предвосхищается труд родов; о той же связи у Аристотеля во фразе, там же 571 b 10—12, Τὰ μὲν οὖν θήλεα χαλεπώτατα — тяжелы, рус. пер. «сердиты», ὅταν ἐκτέκωσι πρῶτον, οἱ δ' ἄππενες περὶ τὴν ὀχείαν, «...или не придут к морю; тогда они выбрасывают из себя нечто, и это нечто называют так же, как выделяемое при родах, — гиппоманес. Это то же, что каприя, и знахарки усиленно их разыскивают» (572a 10—22)[145].

Гиппоманес, лошадиное безумие. Здесь еще одно в жесткой связи брачного порыва и родов, потому что так же называется нарост на лбу новорожденного жеребенка, и он такой же магический, его так же разыскивают *фармацевты*, люди, чья специальность φάρμακον[146]*, в котором *тоже* не различалась сила действия на тело и сила вызывать любовное безумие. Перевод «приворотное зелье» «знахарки», но никогда эта цель не была отдельно от скажем «теплоты» или «холода», «сухости» и «влаги», а это уводило страшно далеко. «Когда лошадь родит, она тут же съедает хорион и откусывает то, что прирастает ко лбу жеребят и называется *гиппоманес*; по величине оно меньше небольшой винной ягоды, по виду плоское, округлое, черное. Если кто-нибудь возьмет это раньше и кобыла обнюхает его, она от запаха выходит из себя и бесится» (мания); «поэтому и знахарки ищут его и собирают» (577a 7—13)[147].

Лошадиное безумие имеет материю, от запаха которой лошади безумеют. Здесь не магическое соединение психического и физического, а совсем другое: до нашего различения дело не дошло, безумие, метание, ска́чка кобыл на север или на юг но не на восток или запад, их безумие — то же движение, что спаривание, рост зародыша, появление молока, *одна сплошная реальность*, темный лес.

У свиней сходное телесное безумие, тоже жуткое и иногда самоубийственное, оно тоже имеет тело, καπρία, послеродовые выделения, другие чем хорион, детское место, 572 a 21, 573 b 2[148].

---

[145] Там же, с. 261.

[146] *Перевод: зелье, лекарство, отрава

[147] Там же, с. 271.

[148] Там же, с. 263 (121), 264 (127).

Слово происходит от κάπρος дикий кабан, и это другое чем позднее греческое заимствование от лат. κάπρα коза. Расходиться как дикий кабан перед спариванием — καπρᾶν καπρίζειν, и я не думаю что без этого значения обошлось при образовании итальянского capriccio, каприз. Кажется эвфемистическим толкованием происхождение *каприза* из легкого скакания козочки. Что здесь может быть и более глубокий слой, еще от тех времен когда Италия называлась Великой Грецией, то, что вроде как поздние греки переняли от латинян κάπρα, так ведь оказывается еще раньше того латино-италийцы переняли от греков это слово, давно, изменив значение «кабана» на «козла». Тогда, вместе с тем заимствованием, не могло не перейти и καπρᾶν καπρίζειν; вообще стирание старой остроты и силы в языке обычное дело. Кроме того, даже если обошлось без этого древнего безумия, capriccio для городского только жителя связано с обычной походкой коз, для сельского — и с ее поведением при спаривании, а оно тоже «капризное». Αἰγῶν δ' ἡγεμόνα οὐ καθιστᾶσιν οἱ νομεῖς διὰ τὸ μὴ μόνιμον εἶναι τὴν φύσιν αὐτῶν, ἀλλ' ὀξεῖαν καὶ εὐκίνητον (574a 11—13)[149]*. Соответствий этому кругу наблюдений я искал бы в русском «кобениться», «кобёл», «кобыла» и «кобь», ворожба, но в этимологическом словаре вместо помощи я читаю: «кобел», мера сыпучих тел; «кобениться», связано со «скоба», т.е. как бы зацепиться за скобу. Там, где страшно важно, страшно и важно, античная мысль не боялась вглядываться и вдумываться, в нашей мысли пустой провал, мы «стесняемся». — Я обещал показать, для чего, не для научного любопытства, нужна наука, которой с античности пока еще так и *нет*. Потому что то, что, я сказал, за последние 200 лет только и началось и античность опередило, это только специализированное наблюдение, но не философия природы. В философии природы провал как начался после античности, так он и зияет до сих пор пустотой. Народная наука, как может, занята тем, что должна, и не имея доступа к библиотекам и типографиям, пользуется средством каким может, языком. Академическая наука чванится и занимается своим, теорией то ли познания, то ли сознания. В этом смысле Хайдеггер только первое объявление о том, какой будет философия природы в своем новом продолжении, впервые после античности.

---

[149] Там же, с. 265 (133). * Перевод: У коз пастухи не делают вожаков, потому что природа их не постоянна, она быстрая и легко подвижная.

Читайте кн. VI ИЖ сами, я перескакиваю к VII о человеческом «первом возникновении внутри женщины», о взрослении детей, ранних привычках, и то, что теперь иногда считают новым, в курсах и советах полового воспитания, в секспособиях, в науке тоже, у Аристотеля просто уже есть. Случайный пример: сейчас, высмеивая примитивные заскоки теории эволюции, вспоминают о подтасовке, когда человеческий зародыш на разных ступенях рисовали так, чтобы получалось, в онтогенезе, сжатое повторение развития животного мира от бактерии к беспозвоночным, к рыбам, к земноводным, к млекопитающим. На самом деле человеческий зародыш с самого начала человеческий. У Аристотеля: «На сороковой день... зародыш величиной с большого муравья, видны члены, как все прочие, так и половой, и глаза, как у всех прочих животных, очень большие» (VII 3, 24)[150].

Но и эту книгу 7-ю тоже пропускаю, кроме еще одного примера того, что вещи привычно (теперь я уже уверенно говорю: по дурной привычке) разделяемые нами на «объективные признаки беременности» и «субъективные признаки беременности», у Аристотеля спокойно идут в одном ряду, и они не «признаки» а сама беременность и есть. «Некоторые женщины больше страдают (πονοῦσι) вначале, другие позднее, когда зачаток уже становится больше; наконец, у многих и часто появляется затрудненное мочеиспускание. Обыкновенно, беременные мальчиком легче избавляются от этого и всё время сохраняют хороший вид; беременные девочкой наоборот. Они имеют более плохой вид и тяжелее переносят беременность, у многих на ногах делаются отеки и опухоли; у некоторых однако бывает и обратное», т.е. им легче в беременности и варикозное воспаление вен проходит. «Обычно у беременных возникают разнообразные желания, и они быстро сменяются, это называют *кисса* (Εἰώθασι δὲ ταῖς κυούσαις ἐπιθυμίαι γίνεσθαι παντοδαπαὶ καὶ μεταβάλλειν ὀξέως, ὃ καλοῦσί τινες κισσᾶν). У беременных девочкой желания более остры, а когда им предоставляют возможность, они меньше могут пользоваться [тем, что хотели]. У немногих во время беременности состояние тела улучшается. Больше всего испытывают тошноту, когда у ребенка начинают расти волосы» (584 a 9—22)[151].

В «Дневнике писателя» Достоевский вступается за беременную женщину в судебном деле о краже, объясняя как раз это, что в таком состоянии женское существо себе не принадлежит и это не

---

[150] Там же, с. 288.

[151] Там же, с. 289 (28—29).

то что сдаться трудностям и скатиться в порок: после родов всё само вернется, к нравственной порче странные желания не имеют отношения. Ему приходится это объяснять; если бы медицина имела термин для странностей беременных, как греки; если бы не было абсурдного требования, чтобы всегда, в любом лесу человек поддерживал — что? а ведь неизвестно что, *норму* и *форму*, которую требует «общество» от всякого, никто не изучал. Пришел Сталин и показал, что всякий человек начинает течь под нажимом, *это* норма. Эпоху Сталина отвели как нетипичную, неправильную, чтобы можно было продолжать верить в норму. Наркомания показывает, что несколько грамм химии снимают норму и форму; борьба с наркоманией ведется в основном для поддержания мифа, что личность в *нормальном* состоянии должна уметь поддерживать некий уровень спокойствия. Человек на экране и в рекламе удивительно выдержанный. Прихоти беременных всем известны, но медицинская наука называет их «субъективными ощущениями».

Аристотель этого выдержанного человека — который относится к своему телу как к животному, которого надо покорить разуму — шокирует тем, что ничего ему не оставляет. И даже странным образом прямостояние, в 587b 27—30 человек отнесен к четвероногим — возможно потому, что говорится о грудных детях и перед глазами стоит, как они ползают на четвереньках: «Молоко имеется до нового зачатия, после чего оно прекращается и угасает, равно у людей и у прочих живородящих четвероногих»[152]. Τὸ δὲ γάλα ἔχουσιν ἕως ἂν πάλιν συλλάβωσιν τότε δὲ παύεται καὶ σβέννυται ὁμοίως ἐπ' ἀνθρώπων καὶ τῶν ἄλλων ζῳοτόκων καὶ τετραπόδων.

Когда человек так вставлен в животный мир, возвращен вернее, тогда важнее и значительнее, чем когда он один и отделен от животных (придумает как именно отличен), становятся его *реальные* особенности. Одна загадочная: «Прочие животные единообразно совершают роды, ибо всем определен один срок для родов; только у человека, единственного из животных, этих [сроков] несколько: он родит и на седьмом, и на восьмом, и на девятом месяце» (VII 4, 31)[153].

Теперь возвращаемся к теме роли мужского, если *ветреные* или *жировые* яйца у разных птиц, не только домашних, не отличаются от оплодотворенных, они явно живая материя, но без движе-

---

[152] Там же, с. 298.
[153] Там же, с. 290.

ния, без истории. Аристотель уверенно опровергает мнение, что курица продолжает нестись и без петуха потому что в ней сохраняются остатки прежнего оплодотворения. Аристотель прав. Вещество яйца само растет в курице, курица так устроена, прекращение носкости было бы ненормальностью и болезнью.

То, как Аристотель понимает участие мужского, мы уже видели на примере: для куропатки, в которой уже есть яйцо, всё готово для возникновения потомства, достаточно перелететь над самцом и поймать его горячее дыхание. Дыхание это вроде бы мало, но без него живое останется неживым.

Полнее чем в ИЖ об этом в РЖ[154*], вопрос, почему, если женщина дает всю материю, она сама не рожает, 741 а и дальше[155*]. Но будем, как всегда, раз уж так у нас сложилось, читать или хотя бы перелистывать всё-таки всё подряд от первой страницы.

715 а 9—11 новость, хотя и узнаваемая, мы об этом должны были догадываться: ἡ ὕλη τοῖς ζῷοις τὰ μέρη παντὶ μὲν τῷ ὅλῳ τὰ ἀνομοιομερῆ, τοῖς δ' ἀνομοιομερέσι τὰ ὁμοιομερῆ, τούτοις δὲ τὰ καλούμενα στοιχεῖα τῶν σωμάτων...[156*]

Как понять что материя животных части тела. Животное — целое. Оно не могло бы быть целым, не было бы смысла говорить о целом, если бы не было таким состоящим из частей, части обеспечивают возможность целого, и целое хватается за части как за свою возможность. Частей столько и они такие, чтобы было возможным целое.

Целое устроило, как бы заказало себе свои части? Как-то так славно устроилось, что одно подошло к другому, частей оказалось ровно столько и таких удобных, чтобы сложиться в целое. Когда они складывались, кто-то сказал «всё!». Полнота.

154* РЖ — Рождение животных. См.: *Аристотель.* О возникновении животных. Пер. В. Карпова. М.; Л.: АН СССР, 1940.

155* ...Если самка имеет ту же самую душу, и материей зачатка является выделение самки, почему же она нуждается в содействии самца и не порождает сама из себя? Причина — в том, что животное отличается от растения наличием ощущения. Невозможно наличие лица, руки или какой-нибудь другой части без присутствия чувствительной души или в действительности, или в потенции, притом — или в определенном виде, или просто: ведь тогда будет труп или часть трупа. Если таким образом, самец производит душу, там, где самец отличается от самки, для самки невозможно порождать животное самой из себя, ибо сказанное и значит быть самцом» (741а 8—16). (Пер. В. Карпова, с. 111; далее указывается только номер страницы).

156* Перевод: ...Материя у животных, это — их части (в целом животном — части неоднородные, в его разнородных частях — части однородные и в последних — так называемые элементы тел) (с. 51).

Для этого части с самого начала должны были настроиться на целое. Материя тянется к полноте, к эйдосу. Тянется настолько, что сама, глядя заранее на целое, от себя дала все части, которые нужны, чтобы целое было. Т.е. целое уже и есть. Но его нет. Оно есть. Его нет. Это интересно, *весь* интерес здесь. Есть и нет, бытие и небытие в одном и том же.

Или по-другому: эйдос форма. Но не форма. Структура и форма уже есть до эйдоса. Вся, вполне. Но не полная без полноты.

В 716 а 6—17 мужское дает движение и рождение так же, как небо, солнце или, осторожно оговаривает Аристотель, если есть какие другие подобные вещи, т.е. имеет в виду всё небесное влияние; а земля собственно дает всё: то, что идет от солнца, невидимо, невесомо, и не прибавляет заметным образом материи земному[157*].

Не будем спешить говорить, между чем и чем дистанция, это может оказаться трудно, для этого придется разобрать и осмыслить разницу между привычным миром человека, тончайшей пленкой воздуха, земли и воды, ⟨и⟩ между недомашними пространствами, глубины земли и космоса, — но чисто формально мы имеем право думать о *полярности* того пространства, в котором мы движемся, оно, опять же не будет рискованно говорить почему, как-то очень контрастно, умеет вместить большую *разницу*.

Совершенно ясно, опять же на совершенно еще формальном, не содержательном, простом и не обязывающем уровне рассуждения, что есть какая-то, если хотите, привилегия в том, наша, что прямо через наш мир и через нас самих проходят отчетливые границы, физики говорят — наша часть вселенной удобно устроена, что здесь материя и энергия отчетливо разделены, не везде так, они могут быть слитные, без перегородок. — И ученым, и невооруженным глазом можно видеть, что вовсе не обязательно должно быть как у нас, углы могли бы быть и могут быть срезаны, границы размыты или их число сокращено, в разговорах об энтропии и подобном самое весомое это — стойкое, повторяющееся ощущение, что мы при чем-то присутствуем, то ли в особом месте, то ли в особом пространстве, во всяком случае в истории, и не человека

157* ...Началами возникновения можно признать в первую очередь женское и мужское: мужское — как заключающее в себе начало движения и возникновения, женское — как материальное начало ⟨...⟩ Самцом мы называем животное, порождающее в другом, самкой — порождающее в самом себе; поэтому и во вселенной природу земли считают обыкновенно женской и матерью; небо же, солнце и другие предметы подобного рода именуют родителями и отцами (с. 53).

вовсе только, а природы: вздор говорить, что природа безразлична и в ней нет истории.

Удобство нашего мира, замеченное физиками, у Аристотеля имеет название *блага и цели*. Вот красивый пример, 717а 12 слл.[158*]. Почему у высших млекопитающих мужские половые железы вынесены как бы вовне тела, почти отдельно от тела. Природа поступает или по необходимости, или «ради лучшего». Не обязательно здесь вставать в позу превосходства и поучать Аристотеля, что природа и не поступает, и не ставит целей, а действует строго по причинным зависимостям. Он на своем языке, который мы еще даже не знаем, хуже ли нашего, называет то, что и для нас проблема или главная проблема: почему отчетливая сложность, почему не энтропия. Необходимости чтобы парные половые железы самцов млекопитающих были вне основного тела нет, у рыб или змей они внутри тела. Природа опять пошла обходным путем увеличения сложности, у рыб молоки выходят при осеменении напрямую, кратчайшим путем, у млекопитающих выход кружной, замедленный, не способом мгновенной схватки; он более «уравновешенный» и в этом больше «разумности», т.е. я так понимаю — места для подключения, вступления в действие разума. Вместо мгновенного выплескивания семени у рыб — бóльшая отданность соображению, смыслу; и одна из использованных возможностей, которые дает тут природа, — вмешательство оперативное, холощение домашних животных; какую-то другую Аристотель имеет возможно в виду, говоря не раз, что такое расположение половых желез увеличивает время совокупления.

Характеристика «природа делает для блага» не догматическая, а *эвристическая*, она напоминает, велит, что везде, где природная необходимость не сразу видна (а иногда она именно сразу ясно видна), сложность, обходность путей, с повышением степеней риска, *освобождают* от поисков, вообще-то не обязательных, и тут тоже какой-то скрытой необходимости, и заставляют искать, догадываться и осуществлять то, что ***природа сама возможно не знает.*** Это как с инстинктом художника, поэта, который вовсе не всегда знает, почему он делает именно вот это и именно вот так. *Мало*

158* Что касается различия семенных органов животных, то при желании исследовать причины этого различия необходимо прежде всего понять, ради чего они образовались. Поскольку всё производится природой или по необходимости, или ради лучшего, то и эта часть будет существовать в силу обеих указанных причин... Яички не являются необходимыми для порождения ⟨...⟩ Остается таким образом признать, что они существуют ради чего-то лучшего (с. 55).

одного только доверия художника, или всякого вообще человека, к своей интуиции. Природа следует инстинкту и явно доверяет ему, животные полагаются на инстинкт больше чем люди. Но чего не хватает природе — поддержать свою интуицию, именно как лучшее, выбором и решением, тем простым принятием, о котором позапрошлый раз говорили. Природе не хватает политики и политических решений.

ἀλλὰ μὴν τό γε θῆλυ ᾗ θῆλυ παθητικόν, τὸ δ' ἄρρεν ᾗ ἄρρεν ποιητικὸν καὶ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ὥστε ἂν ληφθῇ τὰ ἄκρα ἑκατέρων, ᾗ τὸ μὲν ποιητικὸν καὶ κινοῦν τὸ δὲ παθητικὸν καὶ κινούμενον, οὐκ ἔστιν ἐκ τούτων τὸ γιγνόμενον ἕν, ἀλλ' ἢ οὕτως ὡς ἐκ τοῦ τέκτονος καὶ ξύλου ἡ κλίνη ἢ ὡς ἐκ τοῦ κηροῦ καὶ τοῦ εἴδους ἡ σφαῖρα. δῆλον ἄρα ὅτι οὔτ' ἀνάγκη ἀπιέναι τι ἀπὸ τοῦ ἄρρενος, οὔτ' εἴ τι ἀπέρχεται διὰ τοῦτο ἐκ τούτου ὡς ἐνυπάρχοντος τὸ γεννώμενόν ἐστιν ἀλλ' ὡς ἐκ κινήσαντος καὶ τοῦ εἴδους, ὡς καὶ ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς ὁ ὑγιασθείς (729b 12—21)[159*].

Это здесь определеннее. Именно из такого рода мест при беглом чтении получалось, что эйдос это сама структура организма. Но мы не забудем, что такое материя живого существа: это его части тела, все. Воск назван только для сравнения, которое далеко не идет. Женское начало не в смысле воска куска, а в смысле воска уже в форме шара, он уже шар — и еще не шар, не хватает чего-то. Интуитивно — уже шар, практически — нет. Скажем пока: не хватает знающего, что это шар. — Между прочим, именно тут одна из проблем теории эволюции. О каких-то ископаемых доисторических людях известно что они, допустим по объему мозга (это кстати очень сомнительный параметр), уже *могли* быть людьми, т.е. *материально* были уже всё. Но это еще не всё. Надо посмотреть что они делали. Если они делали орудия, то уже да, люди, если не делали, то всё-таки еще нет.

Μέγιστον δὲ σημεῖον τὸ συμβαῖνον περὶ τοὺς ὄρνιθας καὶ τὸ τῶν ἰχθύων γένος τῶν ᾠοτόκων τοῦ μήτε ἀπὸ πάντων ἰέναι τὸ

159* Перевод: Но теперь самка, поскольку она является женским началом, есть страдательное; самец, поскольку он мужское начало — действующее и «то, откуда исходит начало движения», так что если брать в том и другом эти крайности, то, поскольку одно есть действующее и движущее, другое — страдательное и движимое, из них может возникнуть единое только таким образом, как из плотника и дерева — ложе, или как из воска и формы — шар. Ясно, следовательно, что нет необходимости, чтобы от самца отходило нечто, или, если это нечто отходит, чтобы вследствие этого возникающее существо образовалось из него путем вхождения в его состав, а не путем сообщения движения и формы, как ставший здоровым от применения врачебного искусства (с. 84).

σπέρμα τῶν μορίων, μήτε προΐεσθαι τὸ ἄρρεν τοιοῦτόν τι μόριον ὃ ἔσται ἐνυπάρχον τῷ γεννηθέντι ἀλλὰ μόνον τῇ δυνάμει τῇ ἐν τῇ γονῇ ζῳοποιεῖν (730a 2)[160*], животворит только той силой, которая в акте порождения, или, можно еще понять, в семени, ничего «материально» от себя не вкладывая.

Как раз новейшая биология движется вокруг этой темы, собственно главной, и вовсе не потому что эта наука «фаллоцентрична».

[160*] Перевод: Но то, что происходит у птиц и яйцеродящих рыб, является главным доказательством как того, что семя не отходит от всех частей тела, так и того, что самец не извергает какой-нибудь такой части, которая будет входить в состав порожденного, но творит живое существо только силой, свойственной семенной влаге (с. 85).

13 (2.12.1997)

А.В. Ахутин в «Понятие „природа" в античности и в Новое время»[161] касается того, что наша тема — тяга *самого* леса, т.е. в его самом своем, к полноте, к эйдосу, т.е. к числу, и к кресту, — на более близком внятном языке Нового времени. Подступ к Аристотелю загромождён схемой эйдоса как структуры. Подступ к этой теме в Новое время априори можно сказать будет тоже загромождён, и действительно, встает термин «пантеистическая натурфилософия» или «пантеизм», с коннотацией тупиковой, не магистральной линии, и еще хуже коннотация чего-то вялого, о чем не интересно думать. Ахутин пишет: «Герметизм, как кажется, погружается в природу, он занимается ее разгадыванием и преследует практические цели. В действительности своими шифрами, тайными связями и тесным вплетением в эту сеть человека он поистине скрывает, утаивает природу и исключает возможность отстраненно-познавательного отношения к ней» (34). Можно только согласиться. Ахутин отмечает несколько характерных черт. Космос воспроизводит своим одушевленным единством единство умного мира. Это, в терминах Джордано Бруно, «откровение самой природы, язык которой есть собственный язык богов» (там же). Природа — единая формирующая сила. Природа в этом контексте Ахутина близка к материи, материя формирующая сила — это против схематического понимания Аристотеля за то «активное» понимание материи у него, о котором мы читали у Хейнца Хаппа. Ахутин и отмечает это «за–против»: «пользуясь аристотелевским языком и полемизируя с перипатетиками, Бруно высказывает мысль, которая будет впоследствии важна для нового понимания природы. Если, как утверждает Аристотель, природные

---

[161] М.: Наука, 1988, с. 33 слл. Ссылки на страницы в тексте в круглых скобках.

формы внутренне присущи материи, т.е. не приходят к ней извне, а как бы вызываются изнутри ею же самой, следует изменить понятие о материальном бытии природы, считать его скорее всебытием, чем небытием, ибо, как говорит Бруно, „мне кажется, что если она (природа. — А. А.) извлекает их все (формы. — А. А.) из своего лона, то следует говорить, что она их имеет все". Материя природы определяется как свернутая всевозможность форм, развертываемых в явную природу. „Следовательно, — заключает Бруно, — она (материя. — А. А.), развертывающая то, что содержит в себе свернутым, должна быть названа божественной вещью и наилучшей родительницей, породительницей и матерью естественных вещей, а также всей природы в субстанции" (Дж. Бруно. Диалоги. М., 1949, с. 266 сл.)» (там же). Это хороший аристотелизм, у Джордано Бруно и в изложении Ахутина, мы тоже сами до него дошли, но нас-то занимает дальше тема, которая скрытой проблемой присутствует в этой приведенной Ахутиным цитате, и Ахутин ее не подхватывает, она остается висеть. Смотрите: материя, «развертывающая то, что содержит в себе свернутым», все формы в смысле структуры, образования. Она могла бы и вечно держать и бог знает что держит свернутым, почему начала развертывать. Аристотель: ее коснулось дыхание эйдоса, тяги полноты, вовсе не формы-структуры. Почему формы-структуры были свернуты, потом начали развертываться; почему началась история. Почему мать материя не могла родить одна. У Ахутина этот аристотелевский вопрос из «Рождения животных» зависает, у Джордано Бруно нет, но Бруно мы пока не читаем, читаем в цитировании Ахутина, это разница.

Вторая черта «герметизма», «пантеизма», «натурфилософии» (это то же что *философия природы* или другое, плохая или хорошая вещь?): «Человек — реальный микрокосм, не просто аналогия мира, а существо, актуально связанное со всем в мире — духовным и материальным — и потенциально всемогущее. От знаменитого определения человека у Пико делла Мирандолы в его „Речи о достоинстве человека" [162]* до Бёме и Вивеса тема челове-

[162] The themes of the dignity and excellence of man were prominent in Italian humanist thought and can be found clearly expressed in Giovanni Pico della Mirandola's influential De hominis dignitate oratio (Oration on the Dignity of Man), written in 1486. In this work Pico expresses a view of man that breaks radically with Greek and Christian tradition: what distinguishes man from the rest of creation is that he has been created without form and with the ability to make of himself what he will. Being without form or nature he is not constrained, fated, or determined to any particular destiny. Thus, he must choose what he will become. (In the words of the

ка доминирует в этой традиции. Человек ни с чем „натурально" не связан и одновременно магически вплетен в ткань космоса, он „квинтэссенция праха", как скажет Гамлет, и „квинтэссенция четырех стихий космоса", как определит его Парацельс, он Ничто и потенциально Всё» (35).

Об этом ничтожестве человека мы тоже догадались, но мы уперлись в проблему, которая в этих цитациях опять же содержится — и опять не поднята, зависла. *О каком человеке идет речь, о мужчине или о женщине. Описывается человек так, что подходит под определение мужского, эйдоса.* Вся проблема, проблема проблем, в том, что на шутовском журналистском языке теневым образом обозначено как «фаллогоцентризм». Человек ничто и у Деррида, но опять же мужчина, отмеченный обрезанием, из своего молчания, ничего-незнания, слабости, страха, из постоянных безысходных мыслей — надрывных — о своем половом члене всё-таки собирающий после конца истории, среди безвременья и полного упадка духа, наскребающий из своей беспомощной нищеты сил для того чтобы историю всё-таки снова в ход пустить, хотя бы в форме деконструктивизма или постмодерна. Ничто и потенциально всё. Между этим «существом» и материей образуется поле напряжения.

Ахутин почти касается этой нашей заботы, когда говорит: «Герметизм переносит в саму природу действующее, активное начало». Имеется в виду материя, природа как материя. Если герметизм переносит в саму природу действующее начало, значит оно было вне природы или оно было в природе, но как-то не было в природе. Оно было и его не было. В природе в материи было ров-

---

20th-century existentialists, man is distinguished by the fact that for him existence precedes essence.) In this way man's distinctive characteristic becomes his freedom; he is free to make himself in the image of God or in the image of beasts. *Перевод: Темы достоинства и превосходства человека занимали центральное положение в мысли итальянских гуманистов. Ясное выражение этой идеи находим во влиятельном произведении Джованни Пико делла Мирандолы De hominis dignitate oratio (Речь о достоинстве человека), написанном в 1486 г. В этом труде Пико демонстрирует взгляд на человека, радикально отличный от греческой и христианской традиции: от всего прочего творения человека отличает то, что он был создан бесформенным и способным сделать из себя всё то, что он захочет. Будучи изначально лишен формы или природы, он ничем не ограничен, не предопределен или детерминирован. Таким образом, он должен выбрать то, чем хочет стать. (В терминологии экзистенциалистов XX в., человек определен тем фактом, что в нем существование предшествует сущности.) Определяющей характеристикой человека становится его свобода; он свободен творить себя по образу Божию или по образу зверя.

ным счетом всё и это было еще не всё. Было всего полно, полно всего без исключения, и только дело не дошло до полноты. Или даже дошло, но как-то не дошло. Дошло или не дошло? Дошло и не дошло. «Герметизм переносит», перенес — значит природе стало хорошо, всё в ней, полнота в ней? А нет, оказывается ей еще надо зачем-то мучиться, и прежде всего в точке человека. «Пронизанная симпатиями и антипатиями, влияниями и стремлениями, природа в каждой части оказывается действующей или испытывающей. Это порождает неискоренимое и неустанное беспокойство, поскольку быть — значит качествовать: стремиться, сопротивляться, пробиваться. Быть — значит качествовать, т.е., по слову Бёме, мучиться (Qualität — sich quälen — die Qual)». То же самое: если материя в себе мучится, ее с равным успехом могла мучить и не материя. Ахутин: «постоянное превращение телесного в духовное... втягивает человека в непрерывное действие и переживание» (35 сл.). Какого человека — Ничто или Всё? Человек есть переживающее ничто? Вопрос снова зависает, одно бесспорное остается: крест.

Теперь про крест говорит Бёме: в природе гармония, согласие, но быть значит sich quälen. Аристотелевский πόνος. «Зачем мучиться», так спрашивать значит мечтать вернуться в лес, а его уже нет, он превратился в крест. Для нас или не для нас превратился — не существенно; мы ведь всё равно не можем вжиться обратно в тех, для кого не превратился: нам ясно что превратился, они просто этого еще не знают.

Πόνος, labour нужны потому что вещи еще не родились или они родились, но еще не совсем и им надо родиться. Или они родились и второй раз, но им еще не хватает сигнатуры, утверждающей подписи духа, который скажет: *всё*. В природу человек включен через работу, крест.

Кто такой Якоб Бёме. Из крестьян, владелец сапожной мастерской, он не дожил до 50 лет, половина из них приходится на XVI век, вторая половина на первую четверть XVII. Был женат и имел 6 человек детей. К сожалению, он говорит на очень редком языке, как если бы мы стали изучать философию на урду. В нем хороша смелость внимания к силам, в которых он сразу тонет, не выкраивая себе искусственной независимости. Человек внутри сил. Начало главы 1-й «Авроры, или утренней зари»: «Если кто хочет говорить о Боге, о том, что есть Бог, то должен прилежно размыслить о силах в природе, и обо всём творении, о небе и земле, равно о звездах и стихиях, и о тварях, которые произошли из них, также и о святых ангелах, о диаволах и лю-

дях...»[163]. Бёме не в схеме, а в цвете и вкусе, и еще: он видит, на какой тонкой пленке живого расположился человек, когда почти сразу рядом с ним бесконечные пространства морозные или знойные. Стихии он называет «качествами», быть для него значит качествовать, качествовать мучиться. «Качество есть подвижность, течение или побуждение всякой вещи, каков, например, зной, который жжет, поедает и приводит в движение всё, что в него попадает, и что не одного с ним свойства. И он же в свой черед освещает и согревает всё, что холодно, влажно и темно, и делает мягкое твердым. Но он содержит в себе еще два вида, а именно свет и ярость... Свет, или сердце зноя, сам по себе есть приятное, радостное зрелище, сила жизни, освещение и зрение вещи, находящейся вдали, и часть или источник небесного царства радости. Ибо он делает в сем мире всё живым и подвижным; всякая плоть, равно как и деревья, листва и трава растет в сем мире силою света, и в нем имеет свою жизнь, как в добре. Но зной содержит в себе в свой черед и ярость, так что жжет, поедает и истребляет; эта ярость течет, движется и воздвигается в свете... Зной господствует во всём, в деревьях, зелени и траве, и делает воду подвижной, чтобы через текучесть воды произрастала из земли зелень и трава: потому зовется он качеством (Qualität), что во всём течет (quillet) и всё воздвигает»[164]. Когда у «досократиков» читаем о бытийных началах, тепле холоде, то текст уже словно стерся, через Бёме тут понимаем впервые, что такое то античное тепло. А вот что такое холод: «Также... качество, подобно зною: он качествует во всех тварях, возникших из природы и во всём, что в ней движется, в людях, зверях, птицах, рыбах, гадах, листве и траве; и он противоположен зною, и качествует в нем, как если бы они были едино; но он возбраняет яростности зноя, и утишает зной. Но и он содержит в себе также два вида... он смягчает зной, и делает всё приятным, и во всех тварях бывает качеством жизни; ибо ни одна тварь не может существовать вне холода, так что холод есть текучая, возбуждающая подвижность во всех вещах. Другой вид ярость: когда холод берет силу, он всё подавляет и всё повреждает подобно зною; никакая жизнь не может устоять в нем, если он не будет возбранен зноем. Ярость холода — гибель всякой жизни и дом смерти, как и ярость зноя»[165].

---

[163] *Якоб Беме.* Аврора или утренняя заря в восхождении. М., 1990 (Репринтное изд. 1914 г.), с. 25.

[164] Там же, с. 25 сл.

[165] Там же, с. 26 сл.

Если бы, отдав себя так «качествам», цвету, Бёме терпеливо выждал. Он похоже слишком спешит навести порядок в своем лесу, и бросает на это Бога и ангельские силы (Deus ex machina). Мы не узнаем от него, как сам лес выходит к геометрии. Но и «Аврора» рекомендуется.

Среди первых Ахутин, в названной книге, цитирует Вернадского Владимира Ивановича (1863—1945), чье имя ассоциируется с ноосферой, т.е. с полным подключением человеческого ума к тому, что раньше было отдано природе. Ноосфера (from Greek noos, «mind»), in theoretical biology, that part of the world of life that is strongly affected by man's conceptual thought; regarded by some as coextensive with the anthroposphere. The noosphere, as proposed by scientific theorists Pierre Teilhard de Chardin, Vladimir Ivanovich Vernadsky, and Edouard Le Roy, is the level of the intellect, as opposed to the geosphere, or nonliving world, and the biosphere, or living world[166*].

Понятая как прогрессивная задача, т.е. как *необходимость* уже теперь якобы на этом историческом этапе вмешательства «концептуальной человеческой мысли» в по крайней мере часть мира жизни, ноосфера идет прямо против всего, что мы тут говорили об отношении ума к телу, лесу и против той готовности отдать себя как лесное существо лесу, которую мы нашли у Аристотеля. В ноосфере продолжается, от страха или растерянности, та же чесотка принятия мер, вмешательства схем в природу, которая всегда создавала свалку, путаницу. Ноосфера естественно может быть только там где есть нус, нус есть только там где он допустил себя до полноты чистого понимания, т.е. вполне отпустил в лес всё, что лесу принадлежит. В этом смысле ноосфера была на земле тогда и только тогда, когда существовала чистая мысль, как мысль Аристотеля, которая участвует в природе вполне, потому что впервые отпускает природу быть самой собой. Ноосфера как наоборот намеренная, явственная установка на какую-то роль *нуса*, ума в природе это окончательное расставание и с природой (материей) и с человечеством; ведь ясно, что при всех своих честных усилиях взять на себя хозяйство природы человек сначала всё-таки сбросит с себя тот странный, трудный способ участия в приро-

---

166* Перевод: (от греч. *noos*, «ум»), в теоретической биологии означает часть мира жизни, которая сформирована под действием концептуального мышления человека; некоторые считают, что ноосфера сосуществует с антропосферой. У таких ученых, как Пьер Тейяр де Шарден, Владимир Иванович Вернадский и Эдуард Ле Руа, — это уровень интеллекта, противоположный геосфере, или неживому миру, и биосфере, или живому миру.

де, каким бывает настоящее искусство и настоящая мысль; она в «теории ноосферы» будет заменена конструированием.

Другой русский космист Циолковский. (b. Sept. 5 [Sept. 17, New Style], 1857, Izhevskoye, Russia — d. Sept. 19, 1935, Kaluga, Russia, U.S.S.R.), Russian research scientist in aeronautics and astronautics who pioneered rocket and space research and the development and use of wind tunnels for aerodynamic studies. He was also among the first to work out the theoretical problems of rocket travel in space.

Tsiolkovsky was from a family of modest means. His father, Eduard Ignatyevich Tsiolkovsky, a provincial forestry official, was a Polish noble by birth; his mother, Mariya Ivanovna Yumasheva, was Russian and Tatar. The boy lost his hearing at age nine as a result of scarlet fever; four years later his mother died. These two events had an important bearing on his early life in that, being obliged to study at home, he became withdrawn and lonely, yet self-reliant. Books became his friends. He developed an interest in mathematics and physics and, while still a teenager, began to speculate on space travel[167]*. Прочитаем из его статьи предположительно 1918 года о мировой материи[168]. К сожалению не ведая что творит на одной странице может с возвышенной трезвенной печалью расставаться с древней мифологией, она иллюзия, детская наивность, — и тут же предлагает другую, удобную для унификации и конструирования, мифологию: «начнем со свойств материи или вещества... Точная наука пока ничего не видит, кроме единого вещества, из которого состоят все животные, растения и неорганизованные тела. Если и есть существа мало ощутимые нашими несовершенными чувствами, или

---

[167] *Перевод: (род. 5 сент. [17 сент. по новому стилю] 1857 г., с. Ижевское, Россия — ум. 19 сент. 1935 г., Калуга, Россия, СССР), русский ученый, пионер аэронавтики и астронавтики, заложил основы ракетостроения, космических исследований, разработал методику эксперимента в аэродинамической трубе. Одним из первых он разрабатывал теоретические проблемы применения ракет для межпланетных путешествий.

Циолковский происходил из семьи со скромным достатком. Его отец, Эдуард Игнатьевич Циолковский, был провинциальным лесничим, в его роду были польские дворяне; мать, Мария Ивановна Юмашева, имела русские и татарские корни. Мальчик потерял слух в 9 лет после перенесенной скарлатины; через четыре года умерла его мать. Два этих события имели серьезные последствия для подростка, который был вынужден учиться дома, не общался со сверстниками, рос одиноким и самостоятельным. Его друзьями стали книги. Он интересовался математикой и физикой и уже в юном возрасте начал размышлять о полете в космос.

[168] *Константин Эдуардович Циолковский.* Живая Вселенная. Вопросы философии, 1992, № 6, с. 135—158. Ссылки на страницы в тексте в круглых скобках.

так называемые духи, то ничто не мешает нам допустить, что они составлены из той же материи, как и известные нам животные, только из более легкой и, может быть, неизвестной. Эта материя послужила и основанием для создания вещества, из которого составлены ощутимые нами вещи. Мы думаем, что всё, что ни есть в космосе, имеет одно начало — первобытное вещество, из которого всё и сооружено. Этот простейший философский взгляд, носящий названия материального монизма или единства, привлекает своей простотой и всё больше и больше подтверждается наукой, т. е. умнейшими и трудолюбивейшими людьми прошедшего и настоящего времени» (138). Всё здесь туманно, от «первобытного вещества» до якобы победы «материального монизма» среди лучших ученых, говорится о фактах не наблюдаемых, манящая простота — это удобство конструирования, не философии; обязательным делом философии было бы задуматься над тем, как в сознании сложилась картина однородного «первобытного вещества», какие корни она имеет.

С расчищенной строительной площадки за что ни взяться, всё легко. «Начнем хоть с астрономии. Сначала появляются газообразные туманности. Они существовали и ранее, но были некоторое время невидимы даже в сильнейшие телескопы» (139). Грамматика этих предложений такая: ни нам ни вам пока вроде бы не повредит, если мы будем воображать сволакивание звезд из газообразных туманностей. *Совершенно неважно, действительно ли космические тела сволакивались из первобытной туманности; если действительно было так, рассуждение Циолковского не перестает быть конструктом*, ничего не изменилось бы, если бы он и ошибся. Имеет смысл чистая феноменология. Сволакивание клочьев тумана в шары как *космогонический* процесс не наблюдается нами сейчас одинаково, было оно или не было в действительности, и в обоих случаях одинаково остается конструктом. Он не опытный факт.

«Всеми путями мы приходим к одному выводу: Вселенная состоит из чего-то однообразного. Это однообразное, комбинируясь, дает всё, что мы видим. Единство основания космоса побуждает нас отрицать всякую другую вещь, не составленную из общего основания» (там же). Логика тут наоборот: поскольку нам неудобно иметь вещи, составленные не на общих основаниях, мы вводим единство космоса.

Это единое вещество космоса называется *материей*. Она однородна. «Сейчас вся известная материя, кроме эфира, принимается состоящей из протонов и электронов, т.е. из положительного

и отрицательного электричества. Можно также сказать, что она состоит из атомов водорода» (там же).

Сейчас состоит так, это около 1918 г., с открытиями науки материя будет устроена иначе, но важно что однородно. Циолковский открыто объявит, почему так должно быть: потому что без сплошной пропитанности всего космоса одним одинаковым свойством, *чувствительностью*, космос или по крайней мере его части оказались бы заперты, закованы, и это было бы не просто не интересно, а бессмысленно, не нужно. «...Всё чувствительно. Барометр чувствителен к давлению воздуха, термометр — к температуре, гигроскоп — к влажности; всякий мертвый прибор, всякая машина чувствительна. Даже всякий минерал чувствителен, так как отзывается, хотя и малозаметно, на влияние температуры, влажности, давления, электричества, света, окружающего вещества и т.д. Всякий камень проникается газами, жидкостями, химически изменяется, выделяет свою материю и поглощает внешнюю и т.д. Животные — как и машины, только более чувствительны, т.е. сильнее, заметнее очевиднее, сложнее отвечают на внешнее воздействие сил и веществ. Вот и вся разница — она количественная, и потому, в сущности, ее нет [!]. Мы можем только сказать, с этой точки зрения, что все тела Вселенной чувствительны, вернее — раздражительны, отзывчивы в большей или меньшей степени. Тут же под чувствительностью мы подразумеваем человеческое или животное чувство радости, боли, страдания, спокойствия, именно то, что ценнее всего для всякого существа, то, что придает цену и смысл жизни, цену космоса» (140).

Т.е. как у Бёме цвет, тон, вкус. Окраска. Настроение. Настроение как основной тон бытия, у Хайдеггера.

«Если бы космос или его части не радовались, то что было бы в нем толку. Тогда он всё равно как бы не существовал. Кому он тогда нужен... Я бы охотно слово „чувствительность" заменил другим выражением. Но чем его заменишь! Разве словом „самочувствие", но это почти те же звуки» (там же).

Невольно подумаешь, что в России начала века словно открылись ворота для откровений. «Части космоса», которые радуются, — это мы. В жизни без радости вовсе, без счастья не было бы смысла. Если бы радость и счастье, полнота, довольство были частным делом человека и не участием его в космосе, все культурные разговоры имели бы не больше смысла, чем если бы их вели между собой тараканы, убегая от диалога.

«Итак, все тела Вселенной раздражительны — живые и мертвые, только в разной степени. Мертвые — меньше, живые —

больше. Но и то, пожалуй, сказать нельзя. Есть термометры и барометры в тысячу раз более отзывчивые, чем даже человек. Значит, мы можем только сказать: *все предметы Вселенной отзывчивы* или раздражительны...способны к ощущению радости или страдания или к способности самочувствия» (там же).

Тогда мне не обязательно надо заботиться, тревожиться о моей малости, ограниченности. Ее расширяет простая вера в то, что всё самое мое в моем существе, что мне всего интимнее, так же и в других. «Собственно, каждый из нас может верить только в свое личное ощущение. В ощущении других людей мы можем сомневаться: может быть, это говорящие, но не чувствующие автоматы. Однако мы верим в чувства людей. Они могут выражать, даже определять их более или менее точно речью. Животные высшие выражают свои чувства криком или движениями. Мы им тоже верим. Низшие животные не имеют голоса и о своих страданиях сообщают движением. В ощущении бактерий уже начинают сомневаться. Но всё непрерывно и потому не может исчезнуть без остатка. Как нет границы между растениями и животными, между мертвой материей и живой, так нет границы и между чувствами организованной материи и неорганизованной» (141).

Тут не сказано, потому что слишком ясно: те «электроны», из которых всё, тоже чувствительны. Тогда так называемая проблема зарождения жизни решается очень просто: какая-то чувствительность повертывается так, что становится жизнью, развернутой таким особым образом чувствительностью. «...Мертвая материя может оживать. Вернее, что ее зачаточная чувствительность может возрастать до степени чувствительности животных, человека и еще более высокоорганизованных существ» (там же). Не сказано как у Бёме — ангелов.

Не упомянут Аристотель и его биология, но сказано знакомое: материя вообще сама оживает, самозарождение, «каждое зерно материи периодически оживает», но есть совсем прямой и скорый путь жизни: «Есть быстрый способ обращения мертвой материи в живую. Это импульс или толчок в виде организованной же материи. Попросту — размножение» (там же).

Материя вся чувствует, но словно во сне; жизнь — это когда материя просыпается. Материя может проснуться так сказать всем космосом, но это даже не надо, потому что пусть продолжается сон, он только готовит пробуждение, ведь всё равно весь космос схвачен одной сплошной чувствительностью, она бывает и во сне.

Мы здесь на земле, где вообще жизнь пока еще только начинается и она звериная, мало что видим и знаем, жизнь может развернуться как пожар где угодно, и ее чертами будут радость и несчастье. Если вселенная связана чувствительностью, то бесконечность ее тела, на нашем Эфирном острове и на бесчисленных других, не теснит и не смущает. Бесконечность во времени тоже — как и вечная повторяемость всего. Так человека не может смущать то, что он вдыхает и выдыхает много раз или сердце действует повторяясь. «Земля и Солнце возникают снова множество раз, как феникс из пепла, а вместе с ними и жизнь планет... Но и Млечные Пути, возникая много раз и снова умирая, в конце концов также сливаются в одно, как бы умирают. Но они опять воскресают, образуя множество раз Эфирный остров. Далее умолкает разум» (147).

В каком смысле. Можно думать что во всех. Происходящее так сказать мудрее разума и заботы о том, сохранится или не сохранится жизнь на планете, разум в конце концов бросает себя в историю космоса.

Циолковский однако одновременно и знает, что «далее умолкает разум», и одновременно неожиданно для себя, прямо в ходе развития своей мысли, получает на руки задачу, которую его разум всё равно должен решить, и вы догадываетесь какую. Вроде бы сплошной чувствительной материальностью космоса обеспечено его оживание по частям и всего в целом, вроде бы не о чем беспокоиться, всё доведено до готовности, до полноты — и нет. Недоделки как будто бы только на земле. «Почти все звериные задатки еще крепки и приносят свои ужасные плоды в форме самоистребления и всякого рода бедствий. Только разум людей воссиял односторонне, дал познание природы, но не дал сил одолевать звериные инстинкты. Тот же разум выяснит их, одолеет и устранит тогда все человеческие несчастия. Кроме того, не забудем, что не всё человечество выдвинулось и умом, а только миллионная часть его, несколько тысяч особей. Ничтожный процент человечества глубоко воспринял это движение. Около 30 процентов восприняло его малосознательно, а огромное большинство людей находится еще в первобытном состоянии полного невежества» (148). Не сказано, но мы-то должны довести до ума: как вся вселенная пронизана одним самочувствием, чувствительностью, так и этим надрывом, земным несовершенством. Вот уже и жизнь — но вдруг она «звериная», звериная почему-то дурная и подлежащая *прогрессу*. Всё есть — и не всё; вот уже даже и жизнь — но такая, что чуть ли даже не лучше бы ее не было. Всё

сделано в бесчисленных мирах — и всё надо начинать делать причем прямо с нуля.

Надо идти в школу. «Распространятся знания. Каждый получит столько сведений, сколько может вместить его ум. Знание полезного и вредного для человека станет очевидным. Выработаются и усвоятся социалистические идеалы. Уяснится наиболее естественный и короткий путь к ним. В несколько сотен лет они постепенно осуществятся. Человечество сольется в одно целое и будет управляться единым избранным разумом» (149). Мы понимаем, что это политический совет революционным вождям, вести себя разумно. Но политика понимается жалко, как управление. Политику как раннее принятие всего или непринятие Циолковский вроде бы почти и назвал, но сразу проскочил, снова фатально, почти болезненно увлекшись конструкцией: ах с этим веществом можно так много сделать; словно забыв, что оно и так *чувствительно*.

14 (9.12.1997)

«И человек совершенно не зависел от климата: он создавался по желанию и надобности» (150). Иначе сказать, человек перестал быть диким, выведены были породы людей. «Океанов и морей не было. Обнажилось их дно и громадные залежи в нем руд, дорогих камней, минерального угля и т.д.» (там же). Но это не для человека: живая Вселенная начинает действовать и готовит Землю для будущего устройства себя — в сущности так же, как растения использовали пчел для своего опыления, а пчелы людей для своего разведения. «Прекратились не только муки человека, но и муки животных, которых не стало» (151). Это не жестоко: тут похоже единственный способ — уничтожение — спасти животных от мучения их, беззащитных. «Мир... животных и муки их прекратились. Даже морские животные исчезли, когда прекратился доступ света к водам и тем более, когда испарились самые океаны» (там же).

Эта чудовищная перемена жизни на земле — вся жизнь ушла в оранжереи, нужные газы добывались как минералы — получилась от смещения ее середины от земли. «Таким образом, в короткое время заселилось множество солнечных систем. Несовершенную жизнь в них ликвидировали и заменили своей совершенной. Это был своего рода суд. Но суд не страшный, а милостивый и выгодный для несовершенных: после их безболезненного естественного умирания без потомства они оживали для лучшей жизни» (152 сл.).

Евгеника касалась, в смысле пород, конечно и человека тоже. «Если минералы преобразовались в человека, то как же человеку не избавиться от своих недостатков и не достигнуть высшей формы? Уже теперь, среди человечества, мы видим необыкновенных по своим свойствам членов: одни никогда не болеют, другие доживают чуть не до двухсот лет, третьи гениально делают великие

изобретения, открывают истины, обладают необыкновенной памятью, отличаются высокой нравственностью, красотою, умом, красноречием, разными талантами. Стоит только поставить таких людей в условия благоприятного размножения, и они заполнят Землю» (153).

Циолковский заглядывает на *миллиарды* лет вперед. Изменилось всё — но значит может и дальше изменяться. Тогда все теперешние формы только переходные? Всё только *пока*, сменится другим, всё что мы видим теперь, увидим совершенно другое, совсем другие солнца, и увидим другими глазами или вовсе не глазами даже, а новыми чувствами — что тогда останется? Меняющая, создающая новые породы людей, отправляющая их в другие галактики на стотысячелетия вперед воля. Разумеется такая воля не при особи, не при коллективе *но и не при роде*, потому что род будет меняться. Он при *сплошной чувствительности материи* и служит повышению чувствительности — т.е. самой себя? Другое название чувствительности у Циолковского *само*чувствие — он пробивается к *самому*, т.е. к чему и мы с разных сторон подходим думая об автомате.

Кто же тогда будет развертывать эту деятельность на миллиарды календарных лет во времени и на тысячи световых лет в пространстве, если всё теперешнее человечество со всей своей даже если бы она собрана волей песчинка. *Само*. Раз материя сама смогла развернуть жизнь, она *сама* ее и разумно устроит. *Самость* самочувствия однако прибавляет к развертыванию материи, содержательно — ровным счетом ничего, и всё-таки очень много: утверждая в тожестве, в *то-самости*, в *именности*. Придавая, сказать модным словом, *идентичность*. Идентичность утверждает как раз именно то что есть, зачем, то что есть уже есть, — кто дает санкцию то-самости? Ответы мы слышали: эйдос, идея, мужское, начало движения т.е. истории. Высшая идея, идея идей, идея блага истолковывается как идея годности. — Она именно та же платоновская идея дает о себе знать в дарвинизме и в генетике, в генетике как устойчивость рода, в дарвинизме как survival of the fittest. Fit важнее и шире чем «приспособленный», не обязательно предполагает окружающую среду в которую вписывается, значит в более исходном смысле «годный, подобающий, готовый, здоровый».

В эту дарвиновско-платоновскую идею годности рода, как бы угаданности им того что надо, он годный потому что угодил, не только во что, в окружающую среду, но как-то просто так угадал, угодил, из-за этой трансцендентности угадывания (т.е. оно хоро-

шо вписывается в цепную связь явлений, но и вместе с тем освежает, обновляет годность как бы заново, опять от начала), его стало быть превосходности, легко и по-моему обязательно вплетается линия святости, и мне кажется со святостью тут надо будет не раз иметь дело, она во всяком случае коридор, в который просматриваются концы нашей темы, вы помните какие и какой.

Можно слышать: по благословению, «конференция по благословению патриарха»; освящение, «квартира была освящена». Благословение к содержанию конференции ничего не прибавило, освящение квартиры другое чем ввоз в нее мебели, квартире ничего не прибавляет. Упоминалось о подписи директора под проектом: содержательно он не прибавил, подпись под проектом еще не приказ и к осуществлению не ведет. — Или именно потому, что содержательно не прибавляет, впускает то что важнее содержания. В германо-славянских языках, например в скандинавских именах Олег и Ольга, святость связана со здоровьем, сюда *целый* и *исцеление*. Этимологии ничего не доказывают, но *нигде* больше никто не даст таких подсказок и намеков как в языке. В *святости* В.Н. Топоров находит подобное, как бы на другой почве ту же структуру: знакомая нам теперь святость давно, раньше христианства на Руси, выросла из смысла возрастания-набухания физической массы, материи, и вместе внутренней плодоносящей силы, духовной энергии и связанной с нею и о ней оповещающей внешней формы ее — световой и цветовой. «Появление цвета как такового, его дифференциация на отдельные цвета, выстраивание их в ряд по принципу интенсификации, возникновение свечения, сияния, которое на высшей своей стадии захватывает не только глаз, но и душу и сердце человека». «Для праслав. *svęt-, видимо, можно реконструировать то же значение, о котором уже говорилось ранее, „увеличиться", „набухать". Судя по соответствующим контекстам и аналогиям типологического характера, в данном случае речь шла о том благодатном возрастании-процветании некой животворной субстанции, которое вело к созреванию плода как завершению всего предыдущего развития и прорыву к новому, более высокому состоянию, к вечному рождению, к максимальному плодородию, прибытку. Эта „святость" (*svęt-) как образ предельного изобилия [!] скорее всего и была тем субстратом, на котором сформировалось понятие „духовной" святости, некоего „сверхчеловеческого" благодатного состояния, когда происходит творчество „в духе". В известной степени это подтверждается (хотя бы в виде намека) и теми сочетаниями *svęt- с именами существительными, которые, будучи с достаточной уверенностью отнесены к

числу праславянских, уже обнаруживают в себе нечто большее, чем только физическое (материальное [!]) возрастание».

Поймем это буквально. В материальном возрастании уже оно и есть — возрастание, материальное. Топоров говорит: к этому как свет, как цвет, как освящение, как *санкция* (от sanctus святой) прибавляется — что? То что Топоров называет «расширением, набуханием» уже было. Прибавляется собственно содержательное *ничто*, *не*материальная святость? Или она настолько ничто, что ее нельзя назвать нематериальной? То, о чем говорит Топоров, похоже на радость, которая вроде бы нематериальна, но имеет себе телесное событие, экстаз вовсе не интеллектуальный, а ликование как раз того, что Бахтин назвал бы «телесным низом», то что еще называют «бешеной» и «безумной» радостью, при том что в корне слова «радость» тишина, покой, мир — взрыв телесной роскоши не мешает покою. Тогда это материально или нематериально? Это та *полнота*, о которой у нас получалось, что в ней и через нее два ряда не сливающихся и которые не надо смешивать, тела и духа, как параллельные, сходятся в *полноте*.

«Следует сразу же и решительно подчеркнуть, что идея материального роста в этих случаях никак не умаляется, но вместе с ней в значение сочетания проникает остранённая форма идеи физической святости — святость, как таковая, в глубине своей уже не зависимая от материального возрастания, как элемент оценки, ориентирующийся уже на иную шкалу. Жито свято не потому что оно растет и плодоносит, но оно растет и плодоносит потому что оно свято искони, по условию, в соответствии с высшей волей»[169].

Тема пресуществления здесь намечена. С хлебом происходит что-то новое или наоборот — святость не только в хлебе, но и предшествовала ему, была его причиной, не содержательной опять же, а радости нахождения и включения в историю. Хлеб был в природе или не был? Был весь — но вполне стал через «освящение».

Так, как развертывает освящение Топоров, не будет ошибки, даже обязательно нужно связать с этой святостью полноту (богатство) в античной мысли. О полноте как идее и сказано: благо.

---

[169] *В.Н. Топоров.* Идея святости в древней Руси: *вольная жертва* как подражание Христу. «Сказание о Борисе и Глебе». — Russian Literature XXV (1989) 1—102. North Holland, выписанное место — с. 42, 46 сл.*

* Переиздание см. в книге: *В.Н. Топоров.* Святость и святые в русской духовной культуре. Т. I. Первый век христианства на Руси. М., 1995.

О связи блага с родом (родное) и рождением в другом месте уже говорилось.

«Все формы реализации человеческой деятельности ориентированы на святость — свою (потенциально) и исходящую свыше». Имеется в виду — исходно, до официальной (например, государственно спущенной сверху как при Владимире) религии — святость была обязательной «прибавкой» ко всему что делает человек и чем он бывает. Заметьте только где святость ощущается: буквально брюхом; и в чем ее свидетельство, в экстатическом, в радостном, в красоте как настроении, т.е. вспышке цвета — в связи с праздником, торжеством (торжество как суть поэзии, по Седаковой). Праздник связан с цветом и цвета достаточно. — Через материю — как музыка Моцарта, у которой *своей* материи кстати мало, как у Пушкина. Чуть-чуть.

Циолковский: праздник, торжественность *его* речи сливается неразличимо с поступком и *ничего* кроме поступка не оставляет[170*].

[170*] Рукописные записи В. Б. в конце лекции: «*Что осталось у нас*. Лес, косматость были... Теперь: жаль, что их нет. Однако есть: Крест в табаке etc. Живое? Тонем в нем... Активный агент...

Святость — радость — и тут же разрыв, растерянность, амехания.

Радость святость первая религия. Но: такт амехании, креста. Радость креста? — Это *трудно*, хочется *оттянуть* — не последняя ведь сила...»

15 (16.12.1997)

Мы были бы в лучшем положении, если бы работали внутри расписания и уточняли его пункты. Мы этого не можем делать не только потому, что нет самого языка, на котором можно было бы говорить о лесе; технический язык лесного хозяйства и язык биологии не в счет: народно-хозяйственное значение древесины и рекреационное значение леса опять-таки в системе государственного здравоохранения (рекреационная ценность леса постоянно повышается, она может быть измерена и довольно точно оценена в денежном выражении через статистику заболеваемости в населенных пунктах с лесными массивами и без них) требует ясности понятий *народ* и *хозяйство*; и здесь мы пожалуй даже взялись бы за прояснение этих терминов, тем более это нужно, и в разных курсах, особенно «Собственность» и «Мир», в какой-то мере «Первая философия» и, что касается основ понимания языка, «Витгенштейн», мы эти понятия прояснили[171*], но с образованием «народно-хозяйственный» задача станет уже политической: это образование из обезличивающих, его основа *люди* вообще или *россияне* вообще, проблема судьбы, истории, закона истории народа, народа России у нас тематизировалась в конце курса «Язык философии», там уже довольно отчетливо, в конце курса «Узнай себя» и особенно в последней части курса «Время»[172*]. У нас сейчас нет простора для возвращения к этим темам.

В сущности не намного лучше чем с основопонятиями лесоводства обстоит дело с биологическими. Опять же интересными

171* Курс «Собственность» (1993—1994) в настоящее время не издан. См.: *В. Бибихин*. Мир. СПб., 2007; Чтение философии. СПб., 2009; Витгенштейн: смена аспекта. М., 2005.

172* См.: *В. Бибихин*. Язык философии (3-е изд.). СПб., 2007; Узнай себя. СПб., 1998. Курс «Пора» («Время-бытиё») (1995—1996) в настоящее время не издан.

конкретными проблемами современной биологической науки мы не можем заниматься из-за полной непроясненности ее опорных концепций, таких как просто *жизнь*, *эволюция*, даже *ген* и *пол*; существует резкий перепад между чистотой и строгостью лучших наблюдений и экспериментов в биологии — и темнотой общих понятий, без которых биология не могла бы поставить ни наблюдения ни эксперимента. — Прояснением этих понятий и расчисткой и обогащением той сетки понятий, которые определят расписание биологической науки, мы и заняты, но не построение языка, я сказал, наше главное дело. И с определением нашего дела наука очень помогает. Она ведь тоже только попутно и служебно занята прояснением основопонятий, потому она и может пользоваться грязной системой понятий. Ее опора находки, такие как важная техническая находка, что для микроскопического рассматривания ядра клетки надо наблюдать ее не всегда, тогда в ней всё почти неразличимо слито, а в момент деления, тогда, именно в момент деления клетки и только в этот момент, обнаруживаются, выходят из ненаблюдаемости и приобретают четкую структуру хромосомы. Клетки показывают себя в момент размножения, а так они прячутся. То же мы видели на маркированном девиантном, иррациональном, *а-механическом*, экс-статическом поведении живого мира вокруг спаривания и аналогичного ему рождения. Но мы можем так говорить, так интерпретировать только *что-то*, т.е. *сначала* должна быть находка, отчетливая наблюдаемость хромосом только в момент деления клетки, и вы понимаете, что эта находка настолько важнее в сравнении с нашим толкованием, что там где есть эта находка, пусть она голый факт, там может и не быть толкования, оно не обязательно. *Находка*, или феномен (феноменальное) говорит за себя, даже когда ничего кроме себя не говорит.

Поэтому наша цель не прояснение понятий и не построение языка говорения о лесе, а *феноменология*, опора на явления, которые маркируют сами себя и всё вокруг себя. — В отличие от науки в ее современном понимании, например биологии, мы чувствуем невозможность проглатывать целые блоки сырых и непроясненных понятий, т.е. не можем пользоваться расписанием, которое не мы составили, и похоже, что в «современной ситуации» (оставляем ее определение другим) вообще уже не можем пользоваться расписанием, это одна из наших находок, невозможность им пользоваться. — Мы ничего не теряем, отказываясь действовать так называемыми «методами науки», где опять же ни «метод» ни «наука» не опоры, на которые мы позволили бы себе опереться: в философской феноменологии, опоре на чистые находки, не мень-

ше строгости (во всяком случае должно быть не меньше строгости) чем в науке.

Неполитической тема леса не может быть. Уже ее выбор политический. Этот выбор можно считать например продолжением задачи Василия Васильевича Розанова, который пишет близко к концу Второго короба и последнего «Опавших листьев»: «Полевые и лесные частицы в человеке едва ли когда-нибудь могут вовсе исчезнуть, и даже едва ли желательно, чтобы они вовсе изгладились. Все будут в смокинге, как Скальковский, — нет! нет!»[173]. Но Розанов жил в ситуации, в которой не было абсурдно программирование, он предписывает, т.е. к существующим расписаниям прибавляет свое: не желательно стирание полевого и лесного в человеке, нет и дважды нет такому стиранию. В наше время, может быть из-за разрежения воздуха, программирование, перепрограммирование, расписание не имеют смысла.

Но это не значит, что мы устраняемся от политики, от принятия решений, оставляем все расписания в покое. Происходит вот что: если раньше, например в начале века, феноменология могла расположиться в русле программы, у Гуссерля это анализ сознания, у раннего Хайдеггера — прояснение бытия, то теперь этого шанса или этого права не видно, но зато в параметры находки или по крайней мере искания входят те силы, которые раньше расходовались на программу и расписание.

Биологией мы заниматься не будем, философией биологии тем более. Но биология будет нужна, и не в «теориях», они производное общефилософских обычно не проработанных убеждений ученых, а в *находках*. Прежде всего открытие, через наблюдение, подвиг внимательного описания, невероятного разнообразия тысяч и десятков тысяч видов живых существ, их подвижности и изменчивости. Когда могло показаться, что в животном мире всё жидко, текуче, было открыто другое, противоположный полюс жесткого постоянства вида; и как подвижная изменчивость казалась беспредельной, так постоянство видов кажется беспредельным, можно идти до крайности, до утверждения полного сохранения вида через любое число поколений. Надо быть тупым, чтобы не увидеть здесь ту же полярность, которую античность видела между материей и формой, между лесом и геометрией, лесом и крестом, — полярность, которая сцепляет эту пару противоположных прочнее чем любое сходство. Чисто на формальном уровне, уверенно ожидая от фактов подтверждения, оно будет, мы

---

[173] *В.В. Розанов*. О себе и жизни своей. М., 1990, с. 542.

можем говорить: гибкость живого обеспечена жесткостью рода. Или наоборот: изменение нужно для того, чтобы род остался неизменным. Или: изменчивость форма неизменности. И другое, такое же общее, формальное: род разнообразно защищен, он в неприкосновенности из-за того что он неприступное предельное, вокруг рода во всех отношениях всё уплотняется, опять поляризуясь в а-механической энергии, о которой говорили, когда вместе с Аристотелем перебирали поведение живого при спаривании и родах.

От Аристотеля мы научились не отделять свое тело от массы живого. На гребне, или на границе, около предела, или перевала, вокруг пола и рода, возникает тон, цвет, образ, слово, музыка, поэзия, живопись, о которых мы знаем что они уместны и что они полнее и чище развертывают а-механическую энергию чем наука, ⟨которая⟩ дает имя. Полярность материи и эйдоса обозначает трудность для всех, и для нас тоже, и в меру принятия трудности, в меру строгости мы включены в работу природы, в философии, поэзии, искусстве, религии, которые твердо знают о том что всегда будет трудно («крест»), и в науке, которая это знает не всегда и иногда может надеяться на механическое прохождение через трудность, не веря, что а-пория и а-механия встроенный закон жизни.

Говорить, что физика и биология разные *предметы*, мы могли бы в том случае, если бы хотя бы приблизительно видели, что эти предметы разные не как человеческие занятия, а сами по себе. Это *в принципе* невозможно.

Квантовая механика, благодаря своей формальной прозрачности, эксплицитно подтвердила неизбежность ускользания материи, постановила, что наука раз и навсегда откажется от познания предельного. Соотношение неопределенностей фиксирует, в математическом формализме: надо запретить себе ожидать, что в такой-то момент окажется возможно измерить определенную величину; нельзя и будет всегда нельзя в масштабах всего космоса. Q-механика в этом отношении классически вписывается в общий новоевропейский (с математики, дифференциального и интегрального исчисления начиная, с введения понятия *предела*) отказ от вглядывания в предел.

Воображать себе «свободную волю» у электрона, пока *свобода* и *воля* не прояснены, абсурдно; но поскольку мы *определяем* параметры неопределенности, мы не имеем права говорить, что ускользание природы, установленное физикой, другое, чем неопределимость живого, констатируемая биологией: *здесь всякое*

утверждение попадет в разряд неверифицируемых, т.е. выпадет из научной строгости.

То, что биология пользуется другим инструментарием чем физика, о разности предметов не говорит: это не так как клещи у плотника и хирурга дентиста разные потому что гвоздь и зуб вещи разные, а как там, где в квартиру не попасть, и одни пробуют через дверь, а другие через окно, и это не значит что квартира разная: она за дверью и за окном одна и та же, только туда еще не попали. Фрэнсис Харри Комптон Crick (р. 1916), вместе с Джеймсом Дьюи Watson (р. 1928) предложивший модель пространственной структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты, в книге Of molecules and men[174]: «Можно надеяться, что в конце концов вся биология будет „объяснена" в терминах предшествующего уровня, и так вплоть до атомного уровня»; когда войдут в комнату, методы физики и биологии сольются. Противоположное мнение: никогда не сольются. За этим стоит однако — пока по крайней мере — только ощущение. Кажется, что *естественно же* жизнь интимно близка человеку, а *физика* нет, поэтому методы не сольются никогда. Так кажется только понаслышке, несведущим: в законах природы опыт красоты и порядка может интимнее задевать математического физика-теоретика чем жизнь — генного инженера.

То, к чему мы приближаемся, с чем хотим иметь дело, труднее и интереснее чем многие привычные, якобы вечные и «проклятые», на самом деле даже и не очень философские вопросы. Например будто бы скандал смертности человека, цивилизации, человечества и вселенной, к чему тогда работать, когда всё кратко и исчезнет. «Самочувствие» Циолковского или «святость» Владимира Николаевича Топорова или другие имена приобщения к полноте (сегодня мы введем более удобный термин), в экстатической радости и ощущении плодотворности духовной и телесной одновременно, — в момент этого приобщения на бесконечность вперед и назад искра проходит, пробивает через всё что кажется длинным и в длинности безысходным, через всё время и через всё пространство. Не где-то, а сейчас открыто участие в той энергии, которая скрепляет всю природу, в уверенности, что параметры полноты самой по себе, как именно полноты, во всём одни и те же. В той мере, в какой оно причастно святости-целости-радости-празднику, всякое человеческое действие, свадебный обряд, спортивное соревнование, поэзия, философия, танец — это участие, угадывание вселенского события, события мира. Техни-

[174] Seattle 1966, p. 12.

ка, в сравнении с непрогрессирующим характером искусства, так неостановимо растет и должна расти в той мере, в какой ей не дается предельная полнота: пока еще машина не символ мировой машины, но свой смысл она может видеть только в выходе к закону бытия, полноте, и технике это доступно только за счет размаха, в пределе космического, или всеобщего уничтожения. Техника не успокоится, пока не сделает сказку былью. Она успокоится только в чем-то подобном безумию а-механической энергии.

О *неживом* можно говорить только относительно, имея в виду разную степень взятости материи в организм, но и тут опять же всё определяет наше зрение, а не «предмет». Мы не готовы видеть землю как животное, а многие видели, и тогда камни и вода были так же уверенно живое, кости и кровь, как они уверенно для нас неживое. Разница только в том, как мы проводим границу организма. Как только меняются глаза, и в лесе мы видим не лесоматериал, а рекреативную функцию, лес оказывается например «легкими города», лес включают в организм, правда пока метафорически. Краски заката, или моря, или зеленого леса казались чем-то *вне* человека, но если догадаться, что они нужны зрению, чтобы оно было здоровым, то они включаются в организм. Мешает материализм, высшая заносчивость духа, который решает, что ему не с кем и нечего разговаривать: он один.

За вопросом о происхождении жизни стоит косвенное признание, что естественное состояние мертвое, а жизнь проблема. Действительно жизнь, или современная жизнь маркирована, она задевает нас, но надо различать: как интересный предмет в поле зрения — или как задание. Настоящее научное исследование жизни понимает ее как сообщение. То, что жизни могло не быть, связано с тем, что мы можем делать или не делать чего-то, и не всё равно, inter est, будем мы делать или не будем. Но среди того, что называется наукой, есть и просто усилия, усиленные попытки представить то, чего могло не быть, как необходимость.

Можно ли сказать, что изучение, прояснение того, что есть и могло не быть, — *часть усилия, в силу которого жизнь есть?* Оставим пока этот вопрос висеть.

Так же, как о происхождении жизни, мы спрашиваем о происхождении мира. Он или уплотнился из туманностей, оптимистический взгляд, потому что компактность будет расти, распыленность уменьшаться, или он расширился однажды из сверхплотного, пессимистический, потому что всё движется к энтропии. Выходит, что вопрос мы странным образом задаем сами себе, выясняем, какое настроение в нас побеждает.

При любом исследовательском настроении любая методика будет указывать на *происшедшее* уже событие, спрашивая, *как* оно произошло? Нет: синхрония, как у Аристотеля, без растягивания в ненаблюдаемое прошлое, есть например в установлении математической физикой космических констант, всегдашнего и повсеместного образа действий природы. Но за ножницы между хорошо разработанным математическим формализмом и нечистой, пусть и необходимой, общей терминологией, физика должна расплачиваться, допуская, что в самом начале всего, например при большом взрыве, сами космические константы, так сказать, сгорали, расплавлялись. Большой взрыв был *давно и далеко*, на пределе. Эта и подобные гипотезы — способ существования предела в науке, неудобный. Философия должна уметь не выкраивать себе таким образом удобного поля для оперирования, отодвигая предельное куда-то за край этого поля.

Аналогично этому, новоевропейский субъект, вообразив себя действующим среди окружения, с которым надо бороться и которое надо побеждать, допустил, что природа и жизнь действуют без нас и взаимодействие сводится только к тому что мы себя образуем знанием. Для того чтобы доказать себе, что он неправ и участие человека в природе не наблюдательское, он должен был изобрести средства для уничтожения природы и жизни, вообще всей. Эта абсолютная достоверность надежнее и прочнее, ощутимее старой веры в то, что человек как-то участвует во всём, но зато, защищая теперь природу уже от самого себя, человек поневоле начинает и природе приписывать цели самосохранения, продолжения жизни, а это неверно.

О *цели* в природе согласны говорить все, но, опять же проецируя в нее свои настроения, чаще всего воображают, что ее цель сохранить то чудо, которое она есть. Такая цель кажется естественнее, а она для природы не важнее, чем для гениального художника — сторожить свой шедевр, стать музейным хранителем самого себя. Промах, ошибка природы была бы не смерть, как выживание человечества так же не цель человечества, как не главная цель человека прожить во что бы то ни стало как можно дольше. По вымирающим видам животных можно судить, что их цель не выживание, а какая-то другая, иначе дикие животные могли бы поступиться своей дикостью, но мы этого не видим.

Человек не может освятить и обрадовать сам себя, это должно прийти как *подарок*. *Освящение* (вы помните, мы ввели это как биологический термин) не содержательное прибавление, и похоже на освещение. Свет проходит через нашу часть вселенной как

постоянное подтверждение ее *удачности*, аккуратного расслоения энергии и материи. Расслоение произошло или при сволакивании первоначальной туманности в пряди и кольца и нити, или при взрыве раннего сгустка, где материя и энергия были слитны, или в другой космологии, но расслоение произошло. Расслоению света и вещества соответствует узнавание, которое ничего к узнаваемому содержательно не прибавляет, но устанавливает его идентичность, то-самость, и в этом смысле рождает (познание как порождение). Узнавание того самого, отождествление его как возвращение самому себе, одновременно порождение того самого как первой идеи, идеи блага, проходит через бытие как свет-радость-святость. То самое существо праздника, и как возвращения, «именин», и как праздности, освобождения от труда, потому что отождествление, узнавание в то-самости это и есть освобождение от работы.

Обращая на это внимание, мы привыкаем к тому, что в концептуальном корпусе, в понятийности биологии спутано: что цель жизни не жизнь. Благодаря особенно Розанову ясно, что цель понимания (философии) не жизнь. Труднее увидеть, что и цель жизни тоже не жизнь. Жизнь как то самое, как *именно* жизнь оказывается увлечена, оттянута именностью как чистым тождеством к нему самому, а не к тождеству *чего*-то, жизнь тут оказывается и не предельным, и не самопонятным.

Аристотель, в который раз, проясняет, подсказывает: цель эн-ергия, полнота исполнения. Исполнения чего? Этот вопрос уже вторичен, до него дело строго говоря не доходит, потому что раньше чем его ставить нужно было бы заметить невозможность полноты, целости вообще чего бы то ни было. Для живого целое располагается за порогом, во-первых его частного существа, ему нужно существо другого пола, во-вторых смерти, потому что спаривание предполагает рождение и значит смерть. Полнота, целость имеет способом существования апорию. Выходом из апории остается рождение.

Когда в дарвинизме, или селекционизме, говорят survival of the fittest, это уже плеоназм, если the fittest понимается как тот, который всего более способен выжить. Эту неловкость замечают, и всё равно продолжают так говорить. Здесь один из случаев, когда удачное выражение существует, так сказать, собственным весом, его продолжают говорить даже сами удивляясь, зачем это делают. На самом деле survival и the fittest не синонимы, в каком-то смысле они противоположности, и не будет абсурдно придать этому выражению такой смысл: загадка, чудо в том, что the fittest всё-таки survive.

Дарвинизм не сводится к картинке наугад бредущих особей, из которых какие-то оказываются избранниками. Надо обратить внимание на то, что этот веер, разброс и ступеньки возможностей *даны*, т.е. что *не* the fittest существуют. Причем не обязательно дожидаться конца жизни особей или вида, чтобы сделать по результату вывод, кто есть кто. Уже и теперь, и в поведении, т.е. в каждом движении и в облике живого, перепад между the fittest и не очень ⟨годным⟩, по-видимому, надо думать, есть. Мы только должны не спешить и спросить себя, а как мы это обычно определяем. По *успеху*, и, странно сказать но это чистая правда, об успехе мы судим по своему успеху, и обычно это сытость, здоровье и плодовитость. Крепнет догадка, что критерии могут быть совсем другие.

Живое попало в поле возможностей, выбора, где ставка не однозначна, их по крайней мере две, survival и fitness, между которыми зависимость опять же не однозначна, где только стопроцентное отсутствие fitness будет наверное исключать выживание, но наоборот, стопроцентное сохранение диким животным своей дикости уже сотни тысяч лет назад, в соседстве с человеком, означало вымирание, как по-видимому мамонтов. Когда после радиационной смерти на планете останутся крысы, их выживание тоже будет не в полном смысле слова означать что они the fittest.

Хотя до экспликации дело обычно не доходит, всё остается на интуитивном уровне, но ученые-биологи удивились бы, если бы заметили, как часто в оценке fitness они полагаются на критерии, которые например у Константина Леонтьева были осознаны и демонстративно, полемично направлены против позитивизма: «цветущей сложности». Этот критерий не требует наблюдения растянутого во времени, хотя не исключает, и между прочим он предполагает вовсе не только наблюдение и даже не в первую очередь наблюдение, а симпатию, сочувствие.

Можно как будто бы теперь поглядеть с другой стороны и заметить, что в хозяйстве природы заранее размещены словно лунки fitness, готовые удачные места, которые втягивают, подтягивают к себе живые формы. Что в нашем мире вообще удачи возможны, надо сопоставить с тем же, уже не раз цитировавшимся, наблюдением ученых, что вся наша часть вселенной удачна, по мало нарушаемому здесь расслоению энергии и вещества.

К этому *подтягиванию* форм до fitness надо сказать вот что. В поведении стада, или пожалуйста человеческой толпы, мы ведь не видим стохастического разброса более и менее удачных форм

поведения по всему диапазону от 0 % до 100 %. Технически, по математической теории вероятности это вроде бы по крайней мере *могло* быть так — но нет: живое как будто бы с самого начала расположено к угадыванию, угождению с самого начала. Заменим дарвиновское fit нашим *годность*. Похоже, оно нам пригодится, и у него хорошие окрестности: сюда *годится* и *по-года* (корень *годности* здесь молчаливо работает, и погоде противоположна непогода); интересно что *годность* понимается в *погоде* именно не обязательно для нас, «погодушка немалая волновая» («Вниз по матушке по Волге»), т.е. сама по себе значительная, особое, отмеченное время, в этом смысле «годится». Другие языки показывают скрытые возможности этого слова: в словенском однокоренное слово значит *пора*, *спелость*, *праздник*, *годовщина*, в латышском *попадать*, *добывать*, в литовском *честь*, *слава*, и в немецком gut, эта связь, годный — good, в греческом ἀγαθός, βοὴν ἀγαθός *кричать «хорош»* (в бою). Платоновская идея блага — это идея идей, дающая всему быть как оно есть, попасть в точку самого себя. Мое предположение: год это угадывание, попадание в древней обсерватории луча солнца точно в ту же прорезь, что лето назад; в больших обсерваториях можно было добиться точности до минут или даже секунд.

Годность живого не обязательно приспособленность для чего-то, это может быть его праздник, слава.

Вокруг селекционизма, естественного отбора, дарвинизма много споров. Интересно, что можно в них вовсе не вступать. Ничто не мешает думать, что разброс возможных форм, включая формы поведения, действительно громадный, и что годные выявляются post factum, задним числом. Важно только не упускать из виду и более важное, что и ante factum тоже, вкус к годности как-то, неважно как, сразу или после проб и ошибок, определяет или начинает определять поведение. Он похож на такие вещи как радость, праздник и диктует поведение не содержательно, а чисто формально, ⟨похож⟩ если хотите на жест, на блеск, на красоту. *Ведет антиципация, что такая вещь как поступок блестящий в нашем мире возможна.* Вовсе не обязательно возражать дарвинизму с его пробами случайностей и представлять припасенные Богом готовые содержательные формы, в которые живые существа, скажем, преформируются. Но против нашего собственного опыта и против наблюдения, и против опыта художника, изобретателя, ищущего, — что находки похожи не на грибы, что действует вкус к угадыванию, который создает тягу, странную, *угадать* там, где нет *что* угадать.

Что нет заранее приготовленных форм-проектов, это согласны все. Но в пользу втягивающего, опережающего действия годности говорит отсутствие промежуточных видов, в диапазоне между удачными. Куда делись забракованные пробные формы. Дарвин думал, что их просто пока не нашли: «Количество существовавших когда-то промежуточных разновидностей должно быть поистине огромно и стоять в соответствии с тем огромным масштабом, в каком совершался процесс истребления. Почему же в таком случае каждая геологическая формация и каждый слой не переполнены такими промежуточными звеньями? Действительно, геология не открывает нам такой вполне непрерывной цепи организмов, и это, быть может, наиболее естественное и серьезное возражение, которое может быть сделано против теории отбора. Объяснение этого обстоятельства заключается, как я думаю, в крайней неполноте геологической летописи»[175]. Сейчас почти окончательно ясно, что этих промежуточных форм просто не было. Тогда природу можно сравнить с гениальным художником, который делал множество набросков и эскизов, но они все шли в дело и сохранялись и получали место на выставке, а не на свалке.

В пользу селекционизма, или по крайней мере в оправдание, что его идея опирается на важный и всем известный человеческий опыт, то, что создания человеческого ума и изобретения показывают огромный разброс и именно в пропорции, предполагаемой дарвинизмом: на несчетное множество неудачных творческих попыток единицы годного у мастеров. Может быть, сейчас творчество природы прекратилось, но когда оно шло, удачи, годное были так же редки как в человечестве теперь, когда к нему перешла очередь творчества: через 100 или 20 лет от всей массы созданного остаются крошечные доли процента. Т.е. в пользу дарвинизма: происходит обман зрения примерно такой, как мы видим разброс и массу негодного только сейчас вокруг, в древности наоборот всё или почти было годное. Если бы человеческое творчество прекратилось, то через 100 лет хранили бы, продавали, учили только классику. Тогда бы наблюдатель мог о *человеческой* культуре сказать: «Нигде не обнаруживается уродливых форм, какие обязательно должны были бы попадаться в том случае, если бы господствовала безграничная изменчивость»[176].

---

[175] Происхождение видов, гл. 10, начало*.

* *Ч. Дарвин.* Происхождение видов путем естественного отбора. См.: Сочинения, т. 3. М.; Л., 1939, с. 514 сл.

[176] *Л.С. Берг.* Труды по теории эволюции. 1922—1930. Ленинград: Наука, 1977, с. 21.

Антидарвинисты: «Как бы далеко назад мы ни проследили ископаемую летопись, мы нигде не встретимся с дурно приспособленными растениями, а только с растениями, приспособленными к условиям, не похожим на существующие»[177]. Но может быть в таком состоянии проб и ошибок, творческом, в каком сейчас человек, природа была давно, и с тех пор, как ее творчество прекратилось, нам известно только то что отстоялось.

В V главе De natura rerum Лукреций Кар называет природу сейчас женщиной в возрасте, уже не родящей, но когда-то она была nova tellus (V 790). Новый был тогда и эфир (800), мужское начало. У родящей земли в ней самой в разных местах открывались родящие недра, она сплошь плодоносила, потом рожденные существа присасывались к ней, и из земли вырастали сосцы, с соком похожим на молоко. А теперь это бывает не у земли, а только у женщин.

Sed quia finem aliquam pariendi debet habere,
Destitit, ut mulier spatio defessa vetusto.
mutat enim mundi naturam titius aetas

Потому что эпохи меняются.

ex alioque alius status excipere omnino debet
nec manet ulla sui similis res: omnia migrant.

Тогда рождались многие чудовища, с искаженными лицами и телами, дается словесная картинка перепутанности: представьте андрогин

interútras necutrumque utrimque remotum (839),

без ног, или без рук, без рта, глаз, с перепутанными членами.

Здесь обычно цитирование Лукреция прекращают, но перечислены наблюдаемые уродства, vincta membrorum похоже на сиамских близнецов. Этого рода уродствам природа не дала роста и продолжения рода. Реже упоминают, что Лукреций не допускает промежуточных видов, и это сказано в строгой терминологии антидарвинистской генетики:

917: nil tamen est signi mixtas potuisse creari inter se pecudas

[177] Там же, с. 20.

Потому что мы и сейчас среди множества растений, но не перепутаны виды:

> 922—924: non tamen inter se possunt *complexa* creari,
> sed res quaequae suo ritu procedit et omnes
> foedere naturae certo discrimina servant,

соблюдают «дискриминацию».

Лукреций отчетливо отделяет уродства от промежуточных форм, творчество дает чистые формы — или уродства, но редко — нечистые, двойственные формы. И быстрая гибель уродств: их возможно несчетное количество, как и предполагал Дарвин, но уже через самое короткое время их нет, остались выжившие.

Сложнее вопрос к дарвинизму, почему «развитие», живое могло всё выйти в одной форме.

Было бы удобно, если бы все ископаемые люди, теперь они получили названия *австралопитек* (от 5,3 млн.), *homo habilis* (от 2 млн.), *homo erectus* (раньше он назывался *питекантропом*, от 1,6 млн.), *homo sapiens* (может быть от конца эпохи оледенений периодических, в чередовании льдов и потепления), выстраивались в линию эволюции. Но похоже что неандерталец был тоже homo sapiens neandertalensis (несколько сот экземпляров) — подвидом человека. Это уже наша история; и что выживают the fittest, в отношении нас трудно сказать. К чему подготовило себя современное человечество, это к судьбе динозавров, окончиться без катастрофы уже не может, и в этом смысле неандерталец ушел со света вовсе не по признаку менее годного. Тогда почему.

16 (23.12.1997)

Когда думаешь о 500 000 лет человека в Европе, о скорее всего 5 000 000 лет ископаемых остатков человека в Африке, 5 тысячелетий новейшей, записанной в книгах истории становится эпизодом, последнему событию, техническому человечеству, которое сожгло копившиеся сотни миллионов лет в земле остатки древнего планктона и отравило воздух, воду и землю бог знает какой гадостью, и накопило достаточно ядерного горючего, чтобы сжечь всё на земле; понимаешь, что дело движется к катастрофе, но всё-таки едва ли большей чем большое оледенение или такое разрастание растительности, когда содержание кислорода в атмосфере такое, что от молнии могло сгореть вообще всё органическое. Или взрыв Земли и отделение от нее Луны, оставившее яму на месте теперешнего Тихого океана. Лед оледенения растаял, новое оледенение в XVI веке оказалось малым, динозавры помогли справиться. Та болезнь Земли оказалась несмертельной, но надеяться на бессмертие Земли или галактики или вселенной не разумнее чем надеяться на свое личное бессмертие. — Другое дело, что в самой смерти индивида и сворачивании неба, или пожаре, или коллапсе вселенной, когда, по одной из гипотез, вещество в пожаре перестанет быть разреженным и ввалится само в себя, как и в рождении, индивида или вселенной из микроскопической сверхплотности, есть черта, по-разному определяемая, мы говорили о святости и экстазе и радости, но можно еще формально-логически проще определить эту черту: она такая, что может быть определена через «да», «именно», «так». Эта черта вневременная. Она заведомо проходит через весь космос и через всё время, и она не зависит от того, есть я или меня нет, потому что когда меня нет, то это тоже именно так.

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, о котором мы больше слышим потому что он один из немногих, кто избежал *от-*

рицательного отбора — выражение биологов, в частности и самого Тимофеева-Ресовского, и его учителя Николая Константиновича Кольцова, обозначение процесса, когда дарвиновский отбор идет, может быть интенсивно, но явно в другую сторону, не вверх по «лестнице развития»: выживают худшие; так во время войны или революции; «отрицательный отбор» как явление просто заставляет провести различение между значениями слова fit: выживают приспособленные, но негодные. Я вовсе не уверен, что в нашей стране отрицательный отбор прекратился после Сталина. В последней революции, которая началась десять лет назад и скоро должна похоже окончиться, идет классический отрицательный отбор, приспособленность и негодность почти синонимы; наказание за несоответствие смерть, это видно по статистике и по сокращению продолжительности жизни и рождаемости, наказаны несомненно те, кто наименее fittest, по определению раз ты умер, ты unfit, но вовсе не по критерию лучше-хуже, или даже совершеннее-несовершеннее, выше-ниже. Из-за этого по меньшей мере нельзя беспроблемно говорить, что homo sapiens neandertalensis четверть миллиона лет назад был ниже по развитию чем другой, победивший подвид, теперешний homo sapiens. Можно с уверенностью говорить только, что homo sapiens оказался более приспособленным, скажем к условиям периодических оледенений, но сказать так тавтология, если «приспособиться» означает «выжить».

Выжить не цель живого, живое имеет другую цель. Этот тезис биология по наивности, по невниманию к философии не продумывает, может быть по инстинктивной стратегии оставляя себе пространство для развития, когда ее понятия станут более продуманными. Выражение «отрицательный отбор» непродуманное, потому что хотя неверно, что выживают всегда только лучшие, неверно и что лучшие обязательно не могут выжить. Предельно тесные условия могут им быть *положительным* вызовом. Тогда тут вдвойне fitness требует различения. В плейстоцене, среди волн оледенений, явно шел и отрицательный отбор, выживание приспособившихся из вида homo за счет, скажем, людоедства, и *одновременно*, поверх и *на почве* этого же самого отрицательного отбора, через проверку и экзамен, шел *положительный отбор*, приспособление и выживание лучших через их улучшение, а не ухудшение. — Отрицательный отбор идет и сейчас, как при всяком ухудшении условий, например именно в войну на московских зернохранилищах популяция крыс увеличилась настолько, что в одном месте набережной милиция перекрывала дорогу в том мес-

те, где крысы из элеватора около Сетуни шли сплошным ковром на водопой, в жестокой жажде жить, т.е. тенденция к победе какой именно формы жизни в трудных условиях ясно обозначилась; но это не значит, что в это время разум не искал решения проблемы, но не из жажды жить, для себя и для других, а из какого-то представления о том, что *негоже*, чтобы так было, что годное, good, требует здесь другого. В наше время, на земле с шестимиллиардным населением, survival of the fittest, может быть из-за отрицательного отбора войн и революций, идет сейчас интенсивно и совершенно явственно обозначается, в какую сторону идет тенденция приспособившейся человеческой популяции, просто и прямо к катастрофе; но мы не можем сказать, что сквозь этот отрицательный отбор, на его собственной почве и *благодаря ему* ⟨не⟩ идет и позитивный отбор качеств уже *другого* человечества.

И у этого другого человечества, и у всякого человечества и у всего живого, у жизни, жизнь целью не может быть точно так же, как у хозяйки, получившей деньги на месяц на хозяйство, целью не может быть сохранить эти бумажки нетронутыми и непомятыми до конца месяца. У Тимофеева-Ресовского, биолога и кроме того очень живого человека, стихи, которые он хотел цитировать первыми, был Державин, два четверостишия, написанных перед самой смертью, за три дня:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы царства и царей.

А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлóм пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Торжество, в том смысле как О.А.С. видит смысл поэзии в торжестве и победе[178*], здесь не в радости умирающего, что всё погибнет, а в празднике принятия, что всё так: смерть и затягивающая воронка ничто. Любить эти стихи и посвятить жизнь живому можно было только ради *науки*. О празднике, который есть в науке, упрямом строгом знании, в связи с этим державинским «жерлом вечности пожрется» мы догадываемся, читая один из на-

178* «Самое скорбное лирическое чувство разворачивается под музыку победы»... См.: *О.А. Седакова*. Похвала поэзии. — *О.А. Седакова*. Соч. в 2-х тт. Т. 2 (Проза). М., 2001, с. 71 сл.

учных сценариев смерти Вселенной. Этот сценарий довольно в рамках гипотезы Большого взрыва, вовсе не единственно подтвержденной, скорее в последнее время опровергнутой, и прилаженной к этой гипотезе другой, Великого объединения. Я процитирую разумеется не ради научного интереса; вы понимаете, какая разница между математическим формализмом, разработанным на базе опорных данных, обычно не всех и уже с самого начала препарированных — и попыткой пусть того же ученого, чаще всё-таки другого, популяризатора, «образно представить» себе, что в «реальности» должно соответствовать этому формализму. «Согласно теориям Великого объединения, когда температура сжимающегося под влиянием гравитации сверхплотного сгустка достигнет 10-ти в 28-й степени градусов Кельвина, происходит переход в состояние так называемой ненарушенной симметрии взаимодействий». После пожара наоборот охлаждение. «Образовавшийся особый вакуум резко охлажден, давление излучения в нем отсутствует... Гравитация при этом превращается в антигравитацию... Затем инерция Большого сжатия вызывает весьма быстрое (за 10 в минус 32-й степени секунд) уменьшение объема особого вакуума в 10 в 50-й степени раз, то есть вселенная стягивается до микроскопических размеров». «Если картина Большого сжатия кажется кому-то слишком безотрадной, то можно сказать лишь одно: как смерть отдельного индивида есть необходимое условие для выживания человечества, так и нашей вселенной не было бы, если бы не погибло необозримое множество других». Эта картина, повторяю, не научная, она интересна повторением державинского «жерла вечности», пожирающего, и соседством индивида и вселенной: между гибелью одного и гибелью всего в каком-то важном смысле разницы нет.

То, что часто говорят о смерти одного, так что один ученый делает открытие, оказывается, по Владимиру Сергеевичу Соловьеву *человек* и *смертный* синонимы, но реже говорят о смерти Вселенной, относится к странностям — подозрительным — нашего времени, и боюсь, что забывчивость о конце космоса нужна для обоснования приспособления: вечность того, к чему приспосабливаемся, была бы оправданием космоса и надеждой, что наукотехника, врастая в него, приобщится к его бессмертию и оправдает приспособление тех, кто ее оплачивает и ей служит. Как легче получать деньги у учреждения, которое стабильно, так приятно думать, что есть большое вечное тело земли, или космоса, при котором можно существовать. Но и знание о пожаре само по себе еще мало что дает, пока нет понимания, что цель жизни не жизнь; тог-

да приятно думать, что с космосом сгорит всё, как хозяину киоска с плохой отчетностью и испорченным товаром приятно мечтать о пожаре. — Поэтому вспомнить о смертности не только человека, но и космоса хотя и нужное, но не главное. Важнее знать, что цель жизни вообще не продолжение жизни. Мистик и ясновидящий, Эжен Ионеско видит конец примерно так же, как Державин и современный автор гипотезы Большого сжатия: «Мир идет к катастрофе... Весь мир играет с апокалиптической опасностью. Людей и мучит, и вместе соблазняет этот близящийся конец, который они похоже хотят ускорить»[179*]. В одном из видений (сновидений наяву) Ионеско мир сначала застывает, недаром уже и сейчас людьми овладевает ледяная бесчувственность, потом яростный жар растапливает глыбы льда, мир окутывается непроглядной оболочкой паров, которые со временем рассеиваются, и под сияющим голубым небом не остается и следа того, чем некогда волновалась земля. Как у Державина, у Ионеско скорее восторг, не перед уничтожением, а перед чистотой, строгостью события. *Дело жизни не в том чтобы просто жить*. Ионеско: «У меня такое впечатление, что люди и писатели, боящиеся сейчас смерти от атомной или подобной угрозы... не очень интересны, потому что, в конечном счете, если эта непосредственная угроза рассеется, они смогут жить спокойно»[180*].

Цель жизни во всяком случае не «выживание приспособленных», или жизнь надо понять как спасение, приспособление как годность в смысле goodness. Ионеско: «В каждый момент времени за видимой реальностью стоит наготове другая реальность, другая вулканическая вселенная, готовая сместить первую, взорвать ее, расплавить... В конце концов, возможно, что другой мир заменяет собою наш постепенно, почти незаметно для нас, без грозных катастроф, может быть, благодаря какой-то медленной метаморфозе, так что мы окажемся в иных просторах, не ведая о том... Явление новой вселенной, новое Творение»[181*]. Ионеско видел и какое оно. Вещи омыты океаном голубого света, на несколько минут, пока длится это состояние, кажутся четкими, хрупкими и изящными, небывалыми и вместе как никогда знакомыми; а главное, они утрачивают привычное закрепившееся за ними значение и высвобождаются для того, чтобы быть только самими собой. Это внезапное очищение мира ⟨и радость⟩ не только не имеют причины,

179* См.: *В. Бибихин*. Искусство и обновление мира по Эжену Ионеско. — Самосознание культуры и искусства XX века. М.; СПб., 2000, с. 485.

180* Там же, с. 486.

181* Там же, с. 506.

но секрет их захватывающей силы именно тот, что у них явно вовсе нет никакой причины. Логика этой радости абсурдная, одновременно радость и проблема, откуда она и для чего, и сама в себе ответ на проблему, как последняя объяснительная инстанция. «Я ощущаю себя совсем рядом с сутью, с бытием, когда в окружении сияющего утра, словно при появлении мира, открываю глаза будто первый раз в жизни; полный изумления, я спрашиваю себя: что это? где я? — и еще: почему это, кто я, что я здесь делаю? Мой вопрос, конечно, не может иметь ответа, но я и не жду ответа. В тот самый момент, когда вопрос рождается во мне, я чувствую безграничную, „необоснованную" радость, и эта радость, этот восторг кажется подлинным ответом на вопрос, возникший во мне»[182*]. «Я тогда не могу даже поставить себе вопрос вроде: „что такое общество?" — да и любой подобный, потому что не могу выйти за пределы первого, основного вопроса и жаркого и ослепительного света, вызванного им... Вещи стали светящиеся, прозрачные, однако их очертания всё же не дошли до полного стирания, исчезновения... Я словно достиг какой-то границы, предела истории [можно было бы сказать — нового начала истории, ее сути], но оставался еще здесь... на границе существования, совсем близко от места, где вещи утрачивают свои названия, свои определения, где время останавливается... Я имел этот опыт, я узнал, что такое быть за пределом истории. Это достижимо. Это состояние изначального удивления, изумления присуще человеческой природе и способно озарить кого угодно независимо от его социальных обстоятельств, его исторической эпохи, независимо от экономических предпосылок. Ни один из подобных факторов тут не действует, ни один не способствует появлению этого переживания или его исчезновению»[183*].

Мы уже подготовлены, чтением Топорова и Циолковского, и еще раньше конечно Аристотеля, его биологии и его этики, что здесь тот опыт *годности*, или целости, или спасения, или праздника, или полноты, который, по нашему предположению, должен оказываться целью живого *не в каком-то предполагаемом конце эволюции, а с самого начала и сейчас, и не во времени, а в вечности, т.е. в юности*. Живое (а мы между живым и неживым не проводим границы, живое просто ответчивее, ближе и проще для разговора) располагается вокруг юности. Святость и свет, цвет, праздник, игра (и сюда относится то, что юные существа играют)

182* Там же, с. 492.
183* Там же, с. 494.

и начало и цель живого. Биологической науке, можно уверенно предложить такой прогноз, придется снова и снова возвращаться к этому началу. Поскольку науке трудно или невозможно о нем говорить, биология не потянет и ей, как физике, придется хвастаться уже только техническими достижениями, такими же эффектными как атомная бомба, например выведением искусственных людей, то произойдет самое естественное и частое в развитии науки, генная инженерия будет никого не радовать, и вероятно переключение внимания с биологии (как она в свою очередь оттянула внимание от физики) — не я один высказываю такой прогноз — в скором времени к психологии, тоже экспериментальной и точной науке, но уже изучающей не реакции психики, а настроения.

Видеть глобальные какие-то или даже просто «неслыханные», «решающие» перемены в последние века, десятилетия, годы, месяцы, или дни (допустим, придавать слишком большое значение новейшим новостям компьютера и Интернета) мешает пока еще не потеря интереса ко всему этому, а более основательное ощущение, что через всё это, или наперекор всему этому проходит, составляя настоящее содержание всех новшеств, вещь, основная, похожая на юность, упомянутую. Какие бы ни были открытия наукотехники или новости политики, крупная принадлежность человека, через его *да* или *нет*, т.е. через политику в античном смысле, к бытию, и открытие религии, о божественности человека, что он образ и подобие творца мира, смелее всей власти, которую наукотехника предлагает человеку. Настоящей новостью в науке оказывается всё-таки не такие вещи как спутниковая связь, а возвращение, на путях науки, и именование ее языком того, что на языке традиции было в свое время сказано, но теперь уже не звучит. Это возвращение происходит, когда наука догадывается, например, и в этом открытии опять же нет ничего специально «научного», что человек внутри космоса не вынесен за скобки, а врастает в него, так что на вопрос, «какой космос», вполне разумно ответить, тем более что человек как будто бы самое близкое для наблюдения: «весь космос такой, что вот, в нем человек». Или когда наука догадывается, что когда человек наблюдает вселенную, это как если бы вселенная устроилась так, чтобы наблюдала сама себя, и это входило бы в ее полноту, замысел, цель, так что наше наблюдение вселенной это и есть ее осуществление. Она устроена так, что в ее смысл и замысел входит обратная связь, вглядывание в саму себя. «Тот, кто думает о себе просто как о наблюдателе, оказывается участником. В не-

котором странном смысле это является участием в создании Вселенной»[184].

Несколько раз уже упоминались сроки: 5 миллионов, пятьсот тысяч лет назад. В свете того, что сказано о юности, лучше не перенимать бездумно от науки этих датировок, в них есть проблема. Мы говорим о прошлом, о развитии и будущем, об эволюции, и это значит, что мы исходим из целого события, которое с одной стороны не можем охватить как именно целое, а с другой стороны через эту невозможность охватить и ощущаем: событие *в целом* такое, что его невозможно охватить. Невозможность охватить, первое что мы знаем о событии, мы сразу проецируем на время, потом забываем об этом, таком происхождении времени. Из-за нее нам трудно видеть, что род существует, «развивается» во времени календарном только для нас. Чтобы это осмыслить, не обязательно опровергать дарвинизм. Роды появляются, оказываются «годными» и потом исчезают, вымирают, потому что всё вместе готовит цель, предположим человека? Или, с учетом сказанного об отрицательном отборе, мы в эволюции — кстати, что такое 2 тыс. лет внутри 500 или 5000 тыс. лет — отстали от так называемой «древности», в которой, допустим, состав воздуха больше способствовал памяти и вниманию, и Аристотель, или уже неандертальцы, по полноте бытия впереди нас. Начавшаяся 6 тысяч лет назад запись истории человечества как история болезни, не метафора, а факт, куда вносятся и симптомы и рецепты, у старых людей в поликлиниках толстые медицинские карты.

Может быть, расточительность жизни при размножении надо продумать с точки зрения цели жизни: если бы эта цель не выходила за грань жизни, эти средства можно было бы растратить, так сказать, экономнее; как прокариоты, например фитопланктон сине-зеленые водоросли (клетки размножаются просто делением) строго говоря бессмертные существа. Эукариоты, которые должны отдать, отделить ⟨от⟩ себя клетки, сложно, чаще даже через спаривание, обеспечить чтобы они стали в свою очередь жить, и это никогда не гарантировано, и потом соглашаясь со своей смертью помогать своим порождениям, — провоцировать необходимость совпадения, встречи, для того чтобы захватить в свой круг, чуть не скажешь в хоровод, попутно другие существа; это, т.е. эукариоты, шаг к охвату, который в конце концов приведет к тому, что человек своей наукой охватит всё, и полностью завися

---

[184] *Дж. Уилер.* Квант и Вселенная. — Астрофизика, кванты и теория относительности. М., 1982, с. 546.

от науки человечество уже совсем сложным путем, с совсем уже космическим захватом ⟨будет⟩ продолжать свое существование, но уже и с предельным риском, когда не просто окажется, а будет объявлено что цель человечества не жизнь, — это эволюция жизни, да, но более точно, поскольку вечная жизнь была и в прокариотах, это то, что называется сложная или развитая жизнь, собственно цель эволюции. Что эта стратегия жизни направлена будто бы на создание базы сверхширокой, космической, для поддержания той же жизни, скажем прокариоты не могли при гибели земли переселиться на другие планеты в случае остывания земли, а эукариоты на ракетах смогут, — это по разным причинам хорошей стратегией назвать трудно, я поверю в эту далекую цель, когда меня разубедят, что жизнь умеет приходить к цели уже сейчас, а не тогда, когда, одна из гипотез, человечество начнет создавать вселенные. Смысл, настоящий, причащения, приобщения к божеству в том, что человек *уже сейчас* впущен туда. Этот смысл таинства, приобщения мы должны будем в нашем курсе вспомнить. — Курс будет под этим названием продолжаться, 10 февраля 1998.

Из множества тем, которые вдруг напрашиваются, я выберу сейчас поляризацию мягкого и жесткого, сплошную в живом, начиная с полярности приспосабливающегося белка и абсолютно не приспосабливающихся и не реагирующих на изменения белка нуклеиновых кислот, кислот ядра, РНК и ДНК, смотря по тому, какого типа соединение углерода и воды, на основе рибозы или дезоксирибозы. Легко и с важным видом говорят ⟨о⟩ неприступности этих кислот ядра клетки, которые одинаково при скудном, богатом, перегретом, переохлажденном, травмированном, ухоженном белке диктуют строго одну и ту же матрицу поведения всему размножающемуся, в том числе и этому самому белку. На самом деле странна и поразительная устойчивость генотипов на протяжении сотен миллионов лет (хвощи, папоротники, плеченогие). Ведь совершенно неизбежные ошибки при репликации сложнейших молекулярных цепей ДНК и РНК, повторяемых последовательно бесчисленное количество раз, должны были за это время неизбежно размыть генотип. Тем не менее эта сложнейшая биоинформационная структура сохраняется, как отметил Э. Шредингер, неправдоподобно долго. Нет причин не видеть в генетической устойчивости явление другого характера, чем в физике восстановление точно тех же структур из любого перемешивания: с молекулой воды можно сделать разное, но если ей дать шанс, она восстанавливается той самой.

Матричный образ действий структур ядра, которые обеспечивают наследственность, естественно наводит на мысль, ведь всякая матрица стирается при употреблении. Лучше матрицу представлять себе как цифровой код, или что то же геометрически-цифровой, тогда его неизменность в сотнях миллионов поколений понятна. Размножение живых организмов происходит не путем эстафетной передачи генетической информации из поколения в поколение, с неизбежным в этом случае накоплением ошибок и размыванием генотипа, а посредством единой и незыблемой матрицы в виде. Когда мы говорили о геометрии, числе, кресте в связи с лесом, то уже предвидели такое подтверждение со стороны генетики. В свою очередь, эта неразмываемость генотипа, обеспеченная кодом не механического, а цифрового геометрического свойства, не может быть феноменом другого рода чем платоновская идея, для которой нет времени.

В этом свете мы можем взглянуть на порядок государства, обряда, например свадебного полного ритуала, дисциплины, нормирования в человеческом обществе. Здесь бессознательный мимесис и того, что есть в природе, *и самих себя*: в строгости, пунктуальной тщательности своего порядка, который всегда может быть еще более строгим и любой аккуратности всё будет мало, общество подражает тому, как всё устроено, *и тому, как устроено само человеческое тело*. В поведении человека — которое сам человек, например в случае свадебного обряда, никогда не назовет мимесисом, а оправдает тем, что так «исстари повелось» и уходит в глубь времен, на самом деле в глубь бытия, — мир вывернут, он оглядывается на себя, выставляет сам себя напоказ. Природе как бы нужно так вывернуть себя, повториться, проявиться в разыгрывании порядка человеческого мира, и конечно не только человеческого, для чего? Физик догадывается, что вселенной нужен наблюдатель, но уже не знает зачем — зачем природа нас наняла, заманила разыграть себя. Чинно, порядливо в свадебном ритуале, который нередуцированный требует много, наведением, бессознательным мимесисом разыграно то, что происходит, сказала бы наука, «на молекулярном уровне» соединения гамет в зиготу. То же — порядок в обществе, в котором есть власть, или просто порядок уличного движения. Тут надо заметить, что не принято, неуместно, неинтересно спрашивать, до какой пунктуальности надо доводить этот порядок. Мы откуда-то знаем, чувствуем, что до предельной. Если хотите, сам воздух, которым мы дышим, или еще точнее, сами мы, в *цифровом матричном* автомате наших клеток диктуем тут крайнюю строгость. Если дышать всё-таки становится можно,

то не столько потому что порядок расшатался, а потому что рядом с цифровым геометрическим есть белковый, питательный, рыхлый если хотите ряд. Мягкость и жесткость не преодолевают друг друга, а переплетаются как два полюса.

В этом контексте тема, проблема сознания бесповоротно бледнеет, растворяется до невидимости. Мимесис, разыгрывание микро- и макроструктуры *всего* человеческим порядком — это что, «осознание» «природой» «самой себя»? Чувствуешь, что сознание тут не работает, и тема сама себя развертывает шире, опять в виде полярности, проблемы участия человека в космосе. Участие или большое или малое, и решение как будто зависло. Живое существо, наделенное разумом, — оно же может абсолютно всё. Сам мир, по одной из современных физических гипотез, всё в колее «антропного принципа», создан человечеством, которое об этом забыло. — На другом полюсе божественного человек кукла, игрушка богов, по Платону.

Что верно из двух, бог или кукла богов, нельзя узнать у сведущих авторитетов, решит по Гераклиту война, кто бог и кто смертный, кто господин и кто раб. Решит предельное усилие. Только сверхмощные силы будут решать. — Пусть это останется примечанием о том, куда на самом деле уведет проблема сознания, если услышать ее всерьез.

В этом примечании мы недалеко ушли от темы мимесиса, и вернемся к нему. Независимо от того, предок ли обезьяна человеку, или человек предок обезьяны (в некоторых странах мира язык и народное знание уверенно говорят, что обезьяны это обленившиеся люди), есть прямая генетическая преемственность или нет, есть *близость*, пока можно не уточнять какая. Об обезьяне известно, что она подражает, настолько, что обезьянничать значит подражать. Человек, говорят, *умеет* подражать. Можно было бы сказать, что настоящая мера человеческого подражания не замечена, тут подходит выражение Ахутина для этого мимесиса, «закрытое сознание», вот уж действительно закрытое. Просто потому что мимесис идет настолько широко, что захватывает всё сплошь. Обезьяна тогда, предок она или потомок человека, опять же только *подражает* тому подражанию, на которое замахнулся человек. Или сказать по-другому: после всего богатства живого мира обезьяне осталось уже только подражать, она как откат, движение обратное, зеркало, которое вселенная подставила себе. Тем более человек такое зеркало.

Пример. Физико-химические *элементы* это буквы уже у Платона. В отношении генетического кода говорят о буквах, записи и

переписке, беря эти слова в кавычки. Науки *догадываются*, что в природе буквенное устройство. Это *открытое* сознание. Но в порядке *закрытого* сознания, или «бессознательного продуцирования» Шеллинга, так сказать с закрытыми глазами, как Гомер был слепой, каким-то флоренским способом, мимесисом эти буквы появились в человечестве; а еще дальше вглубь, до письменности уже язык приснился человечеству с тем же буквенным (фоно-логическим, если вам не нравится буквенным) устройством, которое потом оказалось устройством микромира, потом может быть и еще чего-нибудь. Двадцать одна или двадцать четыре фонемы в языках уже давно были, задолго до того, как при подсчете элементов хромосом остановились на 23 парах. «Наука уже стоит на пороге постижения загадки жизни путем расшифровки ее „кода". Громадные силы брошены на выполнение одной из самых амбициозных научных программ XX века — на выяснение последовательности „букв" в текстах наследственных молекул человека. Участники проекта полагают, что, прочитав эту „книгу", они не только познают сущность жизни, но и раскроют тайну человека»[185*]. Прочитают или не прочитают буквы, но сначала надо было, чтобы эти вещи, буквы, как-то оказались привычны в человеческом хозяйстве, чтобы можно было найти буквы-гены в хромосомах. — Или еще: законодатели и исполнители были разыграны действующими лицами человеческой истории задолго до того, как биологическая наука заметила внутри клетки иерархию с белками-исполнителями и нуклеиновыми кислотами-законодателями.

Вселенная, природа нуждается в свидетелях? В каких, спящих или проснувшихся? Скорее всего, вот в таких: спрашивающих, сбивающихся с толку, через «не могу», т.е. через а-механию, через предельную трудность добивающихся строгости и чистоты.

Не наше дело говорить, что отдельные прорывы жизни в порядке дарвиновского отбора утверждаются и что ⟨так утвердился⟩ например человек, чьи только несколько сот особей может быть когда-то были в лесу; но наше дело заметить, что если и ⟨не было⟩ какой-то не очень ясной борьбы, если назовем ⟨это⟩ «естественным отбором», то придется уточнять, ⟨н⟩о что ⟨такое⟩ борьба и война, уточнять не приходится, — война или не война, мы должны это как-то чувствовать. Похоже, что человек был и будет другим, Земля живое и меняющееся существо, и не надо бояться,

---

[185*] См. ст.: *В. Воейков*. Витализм: может ли он служить исследовательской программой? — Биофилософия. М.: ИФРАН, 1997.

что вмешательством техники природа будет раздавлена. Похоже, что острота войны просто перемещается.

Когда я говорю о мимесисе, о разыгрывании человеческим миром события мира, я вовсе не догадываюсь, что бы это могло значить и как глубоко на самом деле идти. Я с уверенностью могу говорить только одно, что слитность с лесом наша еще больше чем можно догадаться. Волны изменения проходят по земле раньше чем замечены, и они не всегда замечены; классический пример замеченного — осевое время, именно как *время* задевшее все культуры того мира. Я уже говорил, что Новое время, после Средневековья, в Европе началось вместе с так называемым малым оледенением, которое кончилось примерно ко времени Великой французской революции. Это не обязательно значит что малое оледенение вызвало мутацию человека, как когда-то большое, при плейстоцене, когда до 1/3 земли покрывалось льдом. — Или еще: всё то, что мы называем историей человечества, а раньше была «предыстория», или «доисторическое время», не потому что не было истории животных и человека, а потому что не было «открытого сознания», только «закрытое», — всё это началось после последнего разледенения, которое произошло 10 тысяч лет назад. Некоторые историки Земли маркируют эту границу: до того был *плейстоцен*, в смысле «большей частью было всё новое», теперь «голоцен», всё вполне новое. Есть и другое мнение, что плейстоцен продолжается. Но это приобадривает, раз уж мы рискнули предположить, что человечество вплетено в жизнь Земли.

В отношении страуса есть мнение, что он с одной стороны на пути к летанию, и через сколько-то сот тысяч лет начнет летать, его крыло сейчас просто неготово, оно разовьется. Но этому мешает то, что страус слишком большой и успел уже слишком развиться, эволюция этого вида в принципе заканчивается. Т.е. он завис с возможностью (летать), которая и могла бы реализоваться, но не успеет. Нам здесь важно то, что наблюдатели природы спокойно могут себе представить существо, миллион лет ходящее с недоразвитым органом. Гораздо менее ясно дело со спрутом, который имеет мозг сравнимый с человеческим и больше рук (они так и называются «руки», только слово иногда берется в кавычки) чем у человека. — Обязательно ли считать, что страус и осьминог застряли на путях эволюции, откуда-то вышли и куда-то не пришли? или «приспособленность», вернее «годность» включает и этот случай: *годится*, как-то идет в дело и неиспользованная возможность?

У страуса крыло для летания, но он не летает. У спрута и человека большой мозг, но они его используют гораздо меньше чем в дирекции Института философии компьютер. Красота этого громадного излишества — она входит как достаток, изобилие, как сверхмощь репродуктивной способности, непомерная плодовитость живого, в игру? Если мозг через костный мозг связан с половыми железами в одно, то там и здесь излишество одинакового порядка, немыслимое превышение возможностей над необходимостью.

Способность размножения рассчитана, по крайней мере проверенно, надежно работает в условиях случившейся катастрофы, выживания вида типа библейского всемирного потопа: при сохранении одной пары через 100 лет земля будет снова заселена. Пока не видно, в каком случае и для какой цели может быть использован весь чудовищный потенциал мозга. Может быть когда-то.

Уже рано могло быть предчувствие мощи этого разума, причем не у инженеров эпохи плейстоцена, охотников неандертальцев, организаторов уничтожения слонов и носорогов в Европе, а именно у «суеверных» мифологов, догадавшихся о Боге и о возможном следовании Богу.

Когда мы вернемся всё-таки в феврале к «Рождению животных» и у Аристотеля увидим различение уровней жизни, то станет яснее, что наука биология чаще жизнью называет только один ее уровень, вегетативный или просто растительный.

Итак, 10 февраля то же место и время, продолжение той же темы, леса.

* * *

[Продолжение курса «Лес»]

Существование человечества на земле. Лес и метрическое пространство. Материя. Мировое дерево. Дерево жизни и крест. Геометрия креста. Аристотелевская биология. Партеногенез. Эйдос, историческое начало. «Тимей» Платона. Логоцентризм (Ж. Деррида). Темы современной биологии. Номогенез (Л.С. Берг). Цель жизни. Святость (В.Н. Топоров).

17 (10.2.1998)

В основе биологии то, что В.Н. Топоров определяет как *святость*, в смысле подъема, набухания, одновременно света и цвета, ничего собственно фиксируемого не прибавляет к материи и имеет смысл *санкции*. Санкция, освящение, устанавливает именность. Она накладывает на материю не расписание типа плана, а ставит *подпись*, как утверждающая подпись власти.

Жизнь до подписи, до санкции, по фиксируемым параметрам не будет тогда отличаться от жизни после освящения, утвержденной, подписанной. Но мы чувствуем, что одинаковая в отправной точке, жизнь блуждающая и жизнь историческая начнут отличаться. И ведь не потому что на историческую жизнь, как на законнорожденных, или аристократических, или богатых детей, или породистых щенков будут обращать внимание, а на блуждающую жизнь нет. Этот *особый уход* за санкционированным уже вторичное, и между прочим вовсе не всегда эффективное, дички может быть иногда растут успешнее.

Нет, похоже что святость (в смысле В.Н. Топорова) быстрее и прямее санкционирует живое тем, что влияет на судьбу, показывает ему так сказать *спасенную* перспективу, примерно в том же смысле, в каком Циолковский говорит о перспективе чувствительности, проходящей сплошь через всю материю. Святость в этом смысле даже и неотделима от живого. И всё равно есть смысл говорить о ней отдельно. Не освящение придает жизни перспективность, жизнь и есть заглядывание в перспективу. И всё равно почему-то нужна *церемония*, *ритуал*.

Почему нет перспективы у биологической инженерии — потому что хотя создаваемые ею новые формы жизни могут быть самоосвящающимися, у науки в принципе нет самого жеста, тона освящения, что важно, если сказанное о санкции верно. У поэзии, мифа, которые до сих пор сопутствовали жизни, эти средства есть,

но у биологической инженерии нет даже простой гуманитарной поддержки. А ведь она получила в руки небывалую возможность. Делает она собственно операцию, какие хирургия делала тысячелетиями, трансплантирует живое, пользуясь его способностью восстановления, но никакая операция раньше не могла быть проведена над всем телом сразу, только над частью, а операция на клетке действует на сразу *весь* организм, который вырастет из этой клетки, *на все его клетки*, причем так, что не остается незатронутых клеток, которые бы противодействовали вмешательству. Операция на клетке это по сути способ тиражировать хирургическое воздействие, одна клетка изменяется в такой момент и таким образом, что печать изменения будет проставлена на всех клетках.

В сообщениях например о пчелах-убийцах, которые по оплошности вырвались из аргентинской лаборатории, есть *острое задевающее*. Здесь проявляется то, что мы всегда явно или неявно не только вполне можем себе представить какое-то неправильное развитие живого, но и заботимся (например, требуя запрещения биологической инженерии) о том чтобы развитие было правильным. Скажем это по-другому: мы ждем и требуем освящения для живого. Дарвинизм имел успокоительное значение на этот счет, вовремя подоспевшее когда церковь как будто бы вообще забыла об освящении всего живого: не надо тревоги, санкционирование живого обеспечено жесточайшим отбором, выживанием *годных* в условиях, когда все выжить явно не могут. Дарвинизм таким образом причудливый аспект или поворот религии в ее функции освящения. Живое и так само освящено *естественным* отбором. На деле тут функцию освящения берет на себя наука, отвечающая за то, что говоримое ею — правда, при вере в то, что если всё действительно есть, оно тогда так и должно быть.

В традиционной вере *вся плоть совокупно стенает* и ожидает освящения со стороны того светлого, мужского и исторического начала, каким приходит спаситель. Один из его символов рыба, фаллический символ. Как санкционирующее, освящающее спаситель и его крест, геометрия дерева креста, настолько сплошь мужское начало, что внутри евангельской истории у спасителя уже и не должно быть специальных мужских черт. Феминизм, поскольку он слеп к освящающей задаче мужского, сам берет на себя эту задачу, сам становится мужским, и находит в евангельском спасителе все черты феминистского идеала. В транссексуальном, когда то, что считается мужским, берет на себя роль женского и наоборот, *на самом деле происходит* опять же воспоминание о *настоя-*

щем мужском как освящающем и историческом — вразрез, вызывающе; вызов направлен на восстановление мужского против его сбитых, стертых пониманий.

В святом есть избыток, или полнота, о которой говорилось в контексте аристотелевского эйдоса. Но сегодня нам нужна другая сторона *этой* полноты, невозможность, предельность. Это значит — и беззаконность, внезаконность, хотя невозможность предельного настолько не нарушает закона, что даже как бы отбрасывает к нему, как никогда повышает его ценность. Закон становится дорог и цел.

Я сразу скажу, что хочу видеть в «идеалистическом», невозможном всю суть стратегии жизни. Закономерности рядом с этой сутью только закоренелости, окаменелости, примерно как длительность существования скелета живого организма в сравнении с кратковременностью его самого. Опять же я не хочу между живым и неживым проводить границу. Так называемое неживое, камни, может оказаться только таким же изводом живого как кости. Современная химия, физика в своих «элементарных частицах» пробивается к живому тем, что убеждается и убеждает в нефиксируемости неживого. Это может странно звучать, но это так: только редукция, упрощение видит «неорганическое». Элементарные частицы от физики и химии ускользают, они *не наглядные*. С чем мы по-настоящему имеем дело, что можем в принципе видеть, это только живое.

Стратегия природы, т.е. по существу всего живого, построена вокруг небывалого, чего не было. Это сегодняшняя тема. Подойдем к ней так.

Какая проблема с жизнью, ведь только кажется что сохранение: мощь разрастания жизни, размножения, такая, что аристотелевское самозарождение жизни, физиологически допустим неточное, имеет за собой более важную правду: жизнь всё равно что зарождается сама, она так быстро разгорается, как костер, что голова кружится. Этот рост по экспоненте — почти что уже уход в бесконечность, разница невелика и ветвь гиперболы очень быстро кончается знаком бесконечности. Т.е. аристотелевское самозарождение жизни другой способ сказать: если с жизнью есть проблема, то как ее наоборот *остановить*.

Как примечание: двуделение и симметрию в физике, возможно, надо сравнивать с размножением, и не обязательно только с делением клетки. Это наверное тема для будущего нового сближения физики и биологии. Среди гипотез возникновения материи — размножение. Не в том смысле что луна рождает другую

луну, а что через тяготение, гравитацию всякое тело *пред-полагает* другое. Солнце размноживается в планетной системе, Земля раздваивается — от нее отрывается Луна, которая продолжает быть вынесенным в космос материком Земли, жестко привязанным к ней. Солнце не обязательно представлять по типу двигателя, в котором может кончиться горючее: нет причин думать, что Солнце не в структуре взаимодействия, если Галактика явно в структуре, она собрана, в отличие от внегалактической пустоты. Всё это необязательные догадки, даже не для проверки, а просто чтобы не упускать из виду, что история космоса это схождение и расхождение тел.

Еще одно примечание. Разбор принципа мироустройства, мироздания не начинается, а так или иначе всегда уже идет; почему-то человеку вообще, раньше чем науке, космогония и космология навязаны, а ведь не сразу очевидно почему. Причем ожидание и подготовка результатов здесь не единственный образ действий, прояснение (научное) начал вселенной еще когда-то наступит, а уже сейчас явно само это занятие что-то делает с нами. Это опять примечание.

Возвращаемся к тексту. Волю и разум ученые упрямо не вписывают в природу вовсе не потому что они неверующие, среди них верующих во всяком случае не меньше чем среди нас, а от *внимательности*. Если собою, через себя прочитывать вселенную, то беря ведущее, а оно в нас всё-таки не воля и разум, а лес, в котором мы тонем, и крест, в который лес превращается. Наука может не обязательно именовать крест, она его во всяком случае несет. В образ действий ищущей науки входит немеханичность (представление о науке сбивается на механизм, на формальное исчисление, но это не обязательно). Или сказать еще проще и точнее: где крест, там и надо искать, не только науку но и человека. (Крест как указание на средоточие.) Так что нельзя даже сказать что крест *появляется* в истории как эпизод — крест скорее так в середине, что из него всё.

Крест дерево, материя, и в этом смысле креста в точке середины всего материя конечно первична, а сознание во всяком случае вторично или еще дальше.

Поэтому поставить, как опереточные креационисты, постулировать в начале всего разум и волю просто ненаучно. Наука по-настоящему и будет, понятно, ставить в начале то, что знает в себе как строгость, императив, как *точ*ность, т.е. как крест, — конечно, как наука умеет, т.е. в виде геометрии, топологии, логики, математики. К геометрии от арифметики и алгебры, как в античнос-

ти, математика теперь между прочим и возвращается, насколько понаслышке известно. — Наука это *редукция* креста к геометрии, честная, где крест сохранен в его строгости, всей остроте, но — уже как схема. А если без редукции? Ведь полнота креста больше: он лес, и он сделан из райского дерева жизни? Вот вам пример красивого возвращения, без потери геометрической строгости, от математики как редукции бытия к нередуцированной геометрии, то что можно назвать геометрией креста. Это так называемый аксиоматический метод в философии. Возьмем для примера случай, где (это не обязательно, философия может и без такого формализма) сохранена школьная математическая форма доказательства, как у Спинозы. Это Прокл, Элементы физики, я цитирую в новом блестящем переводе Светланы Месяц[186*]:

Как у Евклида, начинается с определений:

«I. Непрерывные суть те, края которых одно.

II. Касающиеся суть те, края которых вместе».

Точнее не скажешь, не согласиться нельзя: попробуйте определить изящнее и иначе. Определений немного, примерно как у Евклида, шесть. После них — теоремы, опять возьмем две первых.

«1. Два неделимых не касаются друг друга».

Определения неделимого не дается: оно будет тавтологичным, неделимое это то, что нельзя в смысле не удастся разделить, не так ли? что тут неверно, с чем не согласишься? может быть, возразить, что Прокл начинает оперировать сразу с тем, чего не бывает, неделимых не бывает? да?

Но на каком основании запрещать Проклу то, что мы себе не запрещаем? «Это имущество неделимо». «Территория государства неделима». «Имущество не может быть разделено». «Элементарная частица наверное неделима». «Личность нераздельна, едина». «Единое и неделимое». Сколько угодно, на каждом шагу. Причем придаем этому слову именно такой смысл: что-то мы явно делим, но значит и неделимое же должно быть.

Примечание Светланы Месяц: «Здесь и далее мы переводим amere (букв. „не имеющие частей") как „неделимые" (atomoi), поскольку в тексте „Элементов", как и в соответствующих пассажах из „Физики" amere и atomoi не различаются».

Доказательство теоремы. «Допустим, два неделимых А и В касаются друг друга. Но касающимися были те, края которых в од-

---

186* *Прокл.* Начала физики. Предисл., пер. и коммент. С. Месяц. М: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2001 г.

ном и том же. Это означает, что у двух неделимых будут края. Следовательно, А и В не неделимы». Не смущайтесь красотой формулировки, здесь она работает, не мешает логике, доказательности. Действительно: дайте мне *два* неделимых, и они касаться не будут. Выводы делайте сами, первый вывод: вся Евклидова геометрия оказывается под вопросом, еще каким: ведь там точка «не имеет частей», т.е. неделима, и значит точки зависнут, сколько бы их ни было, разрозненно в пространстве, нигде друг друга не касаясь, линия, поверхность и объем станут загадкой из загадок, если вы рассердитесь на это и насадите в пространстве бесконечное число точек, чтобы они наконец заняли всё пространство, чтобы вытеснить этой бесконечностью всё, получится головокружительная картина сплошной точки, но одной, и хоть так мы заметим, что и с самого начала о *двух* точках было говорить бессмысленно, раз они никогда не касаются и не коснутся, т.е. значит и об их сближении говорить бессмысленно: точка похоже вообще только одна.

Вторая теорема.

«Два неделимых не образуют ничего непрерывного.

Допустим, имеется два неделимых А и В, и пусть они вместе образуют непрерывное. Но всё непрерывное сначала соприкасается. Следовательно, А и В касаются друг друга, будучи неделимыми, что невозможно».

Опять делайте выводы сами. Например: если элементарные частицы в атомарном смысле слова действительно существуют, то все так называемые тела оказываются проблемой, например иллюзией, мы в самой гуще индийской философии.

Так выглядит возвращение от редуцированной евклидовской геометрии к онтологической, бытийной. Вы скажете: но не остается ничего в руках, и земли под ногами. Т.е. мы оказываемся на кресте, в невозможности шевельнуть руками и ногами. — Но что вы хотели. Это настоящая философия. Она сразу и очень круто вводит в настоящие трудности. Сразу возвращает к лесу, к дереву, к материи, к кресту. К материальному от идеального.

Возвращаемся к нашему размножению, с его геометрической прогрессией. Эта мощь каждый раз удивляет, любого, и ученый биолог тоже всегда со свежей наивностью скажет, и повторит, и любой будущий биолог тоже никогда не привыкнет к этому, и опять скажет: «Все организмы стремятся размножиться в таком количестве, что вся поверхность земли не могла бы вместить потомства одной пары». От этого факта будет одинаково идти дарвинизм и антидарвинизм.

Я говорю, тут мы видим правду аристотелевского самозарождения жизни: даже не надо оправдывать Аристотеля, обращая внимания на то, что под самозарождением он иногда имеет в виду партеногенез, размножение живого головокружительно по мощности, живое как бы действительно вспыхивает само, проблема не в том как разжечь пожар живого, а в том как его остановить, этот пожар. Или этот *потоп* живого, который всегда грозит — потоп, в котором тонет живое, редко грозит и грозит ли, ведь рыбы в воде не тонут, но живое как потоп грозит всегда.

История жизни на земле это тогда история предела, рамок, опять же *креста* живого, который — его строгость, императивность — заложены уже в размножаемости живого. Уже ранняя форма жизни, еще бессмертная, через деление старой клетки на две молодых, могла бы превратить землю в одно слитное живое существо. Онтологическая геометрия, геометрия креста помешала этому. В истории жизни на земле особенное, исключительное не жизнь, а введение потопа живого в берега и границы.

Паническая догадка: человек может быть в природе есть для того, что он своим разумом призван ввести порядок в этот потоп, допустим австралопитек или неандерталец должен был справиться с динозаврами, мамонтами и львами в Европе, остановить потоп живого, сыграть роль полицейского?

Опять же хороший феноменологический принцип: сказать «это было давно и неправда». Пусть фантазирует Пелевин, мы посмотрим на то что есть. Есть то, и мы это видим, что человек приходит и *удивляется*, как мудро, сбалансированно всё устроено в природе. Человек видит себя с самого начала *глядящим*, присматривающимся, ищущим, т.е. *лишним*.

То, что говорит Аверинцев в интервью «Аргументам и фактам», № 3, 1998: «Человек в конце XX века находится в ситуации утраченного места». Если человек в конце XX века смог потерять свое место, то значит он *с самого начала был такой, что был способен потерять свое место*. Или просто скажем еще прямее: человек *неуместный*. Никакой критики, это факт. Присмотритесь ко всему, к своему самоощущению. *Лишние* люди в русской литературе это просто хорошая феноменология, демонстрация данности: люди *лишние*, я говорю без всякой критики. Нелепо было бы говорить, что лев к концу XX века находится в ситуации утраченного места — у льва просто отняли его место, не он его утратил.

Аверинцев продолжает: «А когда нет места — нет и тонуса, нет дерзости, бунта, мятежа». Постоянный тоник льва — его бесспорное право, в котором никто не сомневается, разорвать чужую

плоть и пить горячую кровь. Человек в ритуале режет плоть и льет кровь, преподнося их *богу* и только от бога получит себе. У неуместного человека нет тоника. То, что он постоянно ищет и находит тоник, как раз и доказывает, подтверждает, что от природы, с самого начала, а не в конце XX века, у человека дерзости нет. Человек вне машины мира, он ее наблюдатель, он в *амехании*.

Опять это показывает в ту сторону, что крест не придуман и не привнесен в историю в каком-то веке — крест и есть существо человека с самого начала, или опять же вернее сказать: человек это лишний, которому нашлось место, всегда, и в конце XX века тоже это место открыто, место на кресте. «Находиться в ситуации утраченного места» это у Аверинцева просто другой способ сказать о геометрии и топологии креста.

Неправильно говорить, что сначала был рай, давно и недавно, а потом крест. Дерево жизни то самое, из которого сделан крест, т.е. уже внутри дерева жизни был крест, допустим невидимый.

Поэтому движение упорядочить, принять меры в человеке не первично или даже просто неверно, ошибка. Всегда первое его движение будет, как в фильме Скорсезе «Последнее искушение Иисуса Христа» по роману Казандзакиса, где последнее искушение это искушение сойти с креста, раз тебя приглашают сойти и вся разумность и вся природа так советует, — но более подлинное, только по времени последнее, а по человеческой природе первое движение — это хоть как-то, из последних сил, как можно скорее, во что бы то ни стало докарабкаться, доползти, вернуться на свое место, на крест, от ужаса остаться в ситуации без места, когда тебя подберут кто ты не хочешь и используют как тебе не надо.

Проблемы человека, неуместного существа, решаются возвращением его на свое место, на крест, в амеханию, апорию, к неприменению механизмов. Другого решения не видно. Бессмысленно, плохая феноменология или вообще никакая — спрашивать, почему так устроено. Достаточно что мы видим, что устроено так.

* * *

Как только мы увидели в кресте только геометрию, т.е. один редукционизм, т.е. отвлеклись, решили видеть как бы только то что видно — а как не увидеть, «посмотрите, две прямых под прямым тоже углом и больше ничего тут нет», — и мы уже раздвоились: пошли вроде по легкому пути, а напросились на вопрос: какое вы имеете право превращать крест в чертеж? Он священный.

Почему в университете, светском, нарисован крест? что имеется в виду? почему крест неправильно нарисован, почему он не восьмиконечный? почему крест, а не уже полумесяц, который актуальнее или скоро станет актуальнее? Т.е. пойдя вроде по чистенькому пути, мы оказались в гуще проблем. Так что лучше уж с самого начала видеть крест *весь*, на руках окажется тогда как-то слишком много, но по крайней мере не будет неудобного раздвоения.

Всегда настоящий философский разговор — это подключение к геометрии леса, т.е. возвращение от схемы креста к кресту как мировому дереву, дереву жизни и так далее. Всё равно далеко от креста мы не уйдем, всегда будем вокруг невозможностей, как сразу в лесу невозможностей, предельностей онтологическая логика, как у Прокла. Так что лучше сразу впустить немеханическое, невозможное.

И в этом свете Дарвин безусловно прав, если с ним спорят, доказывая, что, видите, жизнь развивается по плану, по закону. Против всякого расписания дарвинизм прав в том, что обращает внимание на ключевую, решающую ситуацию, видит суть дела в крайнем напряжении, предельной ситуации борьбы на жизнь-смерть.

Дарвинизм неправ когда начинает редуцировать, когда для предельной ситуации, для креста, на который брошено мировое дерево, дерево жизни, не предполагает *невозможности*, в смысле предельной, крайней возможности. Механика кончается в амехании, но полная амехания вдруг переходит в любую возможность. Этот переход хорошо присутствует в греческом ἀμήχανος, «беспомощный, находящийся в затруднительном положении, в недоумении, в нужде», δρᾶν ἀμήχανος, «неспособен делать, действовать» — и второе значение «против кого или чего нет средств, непреодолимый», в Илиаде 10, 167 ἀμήχανος ἐσσι, «ты непреодолим», против тебя ничего не поделаешь, еще «неизъяснимый, удивительный, невероятный, неизмеримо большой, удивительно какой великий», ἀμήχανος κάλλος, «невероятная красота». Этот поворот есть и в русском *невозможный*, пример из словаря: *невозможная жара*, и это между прочим не означает «жара которую невозможно выдержать».

Дарвинизм и обращает внимание на ключевую ситуацию *невозможности* и не вглядывается в нее, словно этого достаточно.

Для редуцированной геометрии, или условной онтологии, «система тел всегда переходит от менее вероятного состояния к более вероятному», т.е стирается, переходит в энтропию. Так называемый принцип наименьшей работы Пуанкаре. Так Лейбниц

говорил, что естественнее и проще чтобы ничего не было чем чтобы что-то было — но очень похоже на то, что взгляд, который видит неизбежность энтропии, он уже редуцированный, евклидовский, это схематизированный крест.

С живым, очень похоже на то, проверьте, дело обстоит наоборот. У Льва Семеновича Берга: «Каждое отдельное живое существо, поскольку оно представляет совокупность материальных частиц, понятно, подчинено тем же законам: оно идет по линии наименьшего сопротивления». Можно было бы сказать точнее: живое существо можно схематизировать, редуцировать до механического среза. «Но этот путь вовсе не характерен для процесса эволюции отдельной особи (т.е. для онтогении) и вида или вообще для *направления эволюции жизни*. В противоположность неорганическому миру в органическом развитие идет в сторону создания таких организмов, которые были бы в состоянии производить не минимум работы, а максимум. Жизнь идет как раз в сторону *наименее вероятного*. И, тем не менее, всё, что совершается в организмах, происходит на основе законов физики и химии»[187].

Берг приводит пример: есть разница, машина построена строго по законам физики, механики, но что-то мешает говорить, что эти законы предусмотрели с самого начала машину. На будущее нам понадобится, попробуйте сказать, почему неудобно говорить, что машина *предусмотрена*, запрограммирована в законах физики.

Почему? сказать, что законы природы с самого начала такие, что машина возможна?

Или шире: почему антропный принцип неверен, почему нельзя говорить, что законы природы с самого начала были такие, что возможен человек?

Не буду отвечать. Другие за меня ответят, слушайте.

Берг между тем продолжает:

«В том-то и необычайная, непостижимая загадочность живого, что в нем всё происходит в точности по тем же законам, что и в неорганической природе. Или, говоря словами Лейбница, в теле (человека) все детали явлений происходят так, как если бы справедливо было скверное учение тех, кто, вместе с Эпикуром и Гоббсом, считают душу за нечто материальное; иначе говоря, — как если бы человек был только телом или автоматом... Он — машина

---

[187] *Л.С. Берг.* Труды по теории эволюции. 1922—1930. Ленинград: Наука, 1977, с. 45.

вплоть до своих мельчайших частей»[188]. Животный организм есть автомат, — можем мы повторить вместе с Декартом.

Берг согласен с Декартом, Лейбницем, Аристотелем: живое это машина. «Одним из видов машин является *организм*»[189].

Легкая странность, живое существо машина, но мы ее проглатываем, принимаем. Почему. Потому что, не очень заметив, мы как-то нечаянно все говорим *машина* в двух смыслах. Машина раздвоилась: на автомат и на... автомат, а автомат для нас раздвоился отчетливо, окончательно уже давно. Разница проходит однако даже не так как мы ее проводили до сих пор, хотя конечно и так тоже, но оказывается не это главное, — не то, что самодвижное в живом автомате спонтанно, а в механическом задано и строго предписано по программе, т. е. всё что сделает автомат он как бы уже сделал заранее в своей программе. Теперь, сегодня, разницу между машиной и машиной мы можем уловить отчетливее: живой автомат включает фазу амехании, зависания. Например живое млекопитающее существо проходит через амеханию при спаривании, она тень смерти, и из нее выбрасывает себя в род, который бессмертен не хуже чем существа, размножающиеся делением всех своих клеток.

Надо провести грубую работу, вымести или выскрести налипшую грязь, что будто бы есть механизм рода, его жизни, и важные моменты, как продолжение рода, сопровождаются «субъективными переживаниями», как когда на американских горках дело доходит до езды вниз головой, то это сопровождается сенсациями, а может не сопровождаться, скажем у сильных. С фазой амехании и с изменением души при продолжении рода дело обстоит не так, что это «сопровождение» физиологических «процессов», так что кто-то не «поддастся» переживаниям. Сильный не в лучшем положении когда прикасается к жизни рода, не зависнуть в амехании будет уродством, — т. е. вовсе не так, что чем сильнее человек тем он спокойнее проходит через поворот, момент рода.

Каждый в ключевые моменты жизни рода, рождение, спаривание, смерть, делает, восстанавливает, воспроизводит скачок, который сделала жизнь, когда рискнула пойти по сложному, *историческому* пути, *решила* расстаться с бессмертием. Вовсе не обязательно жизнь по этому интересному пути ⟨должна была идти,⟩ могла не пойти, ее было много и так.

Или иначе сказать: никогда не было, чтобы в род на каком-то первичном уровне были заложены механизмы его продолжения,

---

[188] Там же, с. 46.
[189] Там же.

функционирования, которые потом допустим с развитием сознания начали ощущаться, переживаться, Всегда было так, что род жил вокруг точки, сосредоточенности амехании, которая охватывает всё, физиологию и «переживание», или «психику». Психика, так сказать, уже была с самого начала.

Машина в смысле организма (такое представление сколько угодно распространено, красиво оно развернуто у Мамардашвили, произведение искусства как машина[190*]) *включает* то что в программированном, расписанном автомате самое скверное и противное: зависание в невозможности сделать шаг, странно сказать, отказ механизма. У Мамардашвили это момент творчества. Мне очень сильно кажется, что и с машиной и с творчеством нам еще придется встречаться, каждый раз удивляясь, как мы могли думать, что их понимаем. Но пока здесь нас интересует только этот различительный момент, *мертвая точка* хода живой машины. Почему живая машина выходит из мертвой точки, почему в гегелевской триаде синтез снова становится тезисом.

Первое решение, которое приходит в голову и вам и мне, это конечно подпитка, горящий уголь подогревает воду, вдохновение, вдыхание допустим духа, обеспечивает движение мысли. Вы понимаете, что такое решение феноменологически негодно, оно просто отодвигает дело куда-то, допустим в глубины космоса, откуда идут разные лучи. От большого взрыва идет первоначальная энергия, она каскадом изливается и приводит в движение машину мира.

Мы чувствуем, что надеяться на подпитку даже и нечестно. Если амехания частична, если зависание это просто временное непоступление энергии, если там есть гарантии, то крест упраздняется, он трюк, фокус, опереточная драматизация. Наш опыт говорит, что нас кидают не условно и с подстраховкой, а по-настоящему. Сотворение мира из ничего или из чего угодно происходило не когда-то давно, так что мы живем дивидендами, а входит в машину, прежде всего в машину мира. Начало надо искать в амехании.

У Берга: «Живое, скажем мы, это как бы часы с необычайно длинным, быть может, вечным заводом: будучи раз заведены, на заре истории жизни, эти часы продолжают сохранять запас энергии, передавая его от поколения к поколению». Этот уход «на зарю жизни» не может нравиться. Тут отодвигание трудности в

190* См.: *М. Мамардашвили.* Лекции по античной философии. Москва: Аграф, 1997, с. 17.

прошлое. Типичный академический жест расчистки удобного пространства. Тот же жест, дающий как будто сразу удобство, но потом увязающий в неизбежной необходимости новых терминологических уточнений — предлагаемое Бергом различение живой машины и механического агрегата. Мы поступим как всегда: догадавшись о разнице, будем мириться с тем, что как раньше автомат, так теперь машина скользкое место, расслаивается.

Дарвин уверенно, жестом Моисея, как во сне указал на кризис живого. «Вся природа ведет войну; сильнейший, в конце концов, берет верх, слабейший терпит поражение... Жестокая и часто возобновляющаяся борьба за существование определит: тем изменениям, которые благоприятны, хотя и незначительны, быть сохраненными или отобранными, а неблагоприятным быть уничтоженными. Это сохранение в борьбе за жизнь тех разновидностей, которые обладают каким-либо преимуществом в строении, физиологических свойствах или инстинкте, я назвал естественным отбором. Герберт Спенсер хорошо выразил ту же мысль словами „переживание наиболее приспособленных"»[191]. Survival of the fittest, мы не забудем, «приспособленные» плохой перевод, *fittest* скорее *самые годные*.

Тем интереснее, почему это дарвиновское поразило как уверенная правда; Томас Генри Гексли (1825—1895) сказал: «Как глупо человечество, которое до сих пор не додумалось до этого», — тем страннее, что на самом деле мысль эта частая и старая. Гераклит, когда возражает Гомеру, что его благодушное пожелание «да исчезнет раздор из среды богов и людей» это рецепт разрушения уничтожения мира. Закон природы: доведение до крайности, предельной тесноты, закон крайнего напряжения, в котором начинает происходить самое интересное. У Канта в «Идеях к всеобщей истории в космополитическом аспекте»: «Люди, добродушные как овцы, не придали бы своему существованию больше достоинства, чем есть у этих их домашних животных: они не заполнили бы лакуну природы в виду их цели, как разумные живые существа... Человек хочет согласия (Eintracht); но природа лучше знает, что хорошо для его рода: она хочет раздора (Zwietracht). Он хочет удобно и в довольстве жить; природа хочет наоборот, чтобы он вышел из вялости и недеятельного довольства наружу в работу и тяготу»[192].

---

[191] Цит. по: *Л.С. Берг.* Труды по теории эволюции..., с. 40—50.

[192] Кант двуязычный 1, 92—93.*

* См.: Двуязычное Собрание основных сочинений *Канта* в четырех томах. М., 1994—2006.

И здесь нет никакого зла. Люди как деревья в лесу, говорит Кант, вырастают стройными и высокими, в тесноте. Так и война. Кант: через войны, через сверхнапряжение, никогда не слабеющую подготовку к ним, через нужду даже в мирное время, после многих опустошений, переворотов и даже сплошного внутреннего истощения сил — выйти из беззаконного состояния дикости и т.д. Нет зла как дьявольщины. К этому месту Канта можно добавить: есть то, что называется хорошая злоба. В этом смысле говорят о злободневном. В этом смысле зло приходит в рассерженности на добро, в котором нет добра. Оставляю вам посмотреть этимологию «злобы». Кажется того же корня *зело* в смысле *очень*.

Дарвин поздно начинает думать, он улавливает уже происшедший отбор, но до этого конечного результата что-то происходило уже в жесткой ситуации борьбы, она как бы выбивала решения, которые потом поступали на отбор, на конкурс.

Что создается в крайнем напряжении? Можно ответить формально: необычное. *Невозможное*. Происходит уже не совершенствование полезности. В амехании мало места для полезности. Критерием оказывается уже в самом широком смысле годность.

Или по-другому, словом Канта из Положения седьмого тех же Идей: из войны, всеобщей жесткой борьбы должен родиться автомат. Т.е. если плавное совершенствование накопляет сложность, то из амехании, зависания прорыв возможен, если возможен, только в автомат, который *основу амехании удерживает*.

Дальше ответ на вопрос, почему антропный принцип неверен, до следующего раза.

18 (17.2.1998)

Еще разница между автоматом и автоматом: один я завожу, включаю, потому что мне его действие нужно, например чтобы когда в рассчитанный момент действие мыла уже ослабло, а истрепывание белья еще не наступило, автомат *сам* что-то нужное сделал. По-честному конечно не сам автомат придумал когда это сделать, а наоборот я перестал, может быть устал решать эту задачу каждый раз для каждой партии стирки и *научно*, т.е. *ритуально*, проведя разные сложные процедуры расчета, отодвинул от себя белье, занятие стирки, воду как заботу, но заботу о науке не отодвинул, последствия выброса синтетического порошка в канализацию, фильтрование городской воды, воздействие остаточной чистящей химии на кожу, проблема расходования высвободившегося времени, предоставление необходимых для этого развлечений, например в виде женских журналов, женских передач по телевидению, вообще феминизма, — всё это на мне висит, не только не автоматизировалось, но наоборот гораздо хуже, перспектива автоматизации тут отдалилась в бесконечность, я с ворохом на руках этих проблем, городского хозяйства, планировки и оборудования жилища, психологии, экологии так и остался и мне некуда с рук сбросить этот ворох до скончания века.

Кант хочет, чтобы общество и государство стали автоматом, вовсе не в том смысле — здесь опять важная разница между автоматом и автоматом, — что кто-то запрограммирует общество. Программист извне, человек в автомате Канта (т.е. я имею в виду «Идею к всеобщей истории в космополитической перспективе», Положение 7, автомат, которым станет человеческое общество в видах природы, zwar nicht in der Absicht der Menschen, aber doch in der Absicht der Natur) — *внутри автомата*, как у Пелевина. В момент смены личности (выбрав неправильный эскалатор, ведущий в мясорубку) личность мгновенным безвременным переключени-

ем, как перескок квантированной элементарной частицы с одной орбиты на другую, видит себя в другой ситуации, в том же теле и в той же одежде или нет, не очень существенно. В отличие от автомата Пелевина, где людьми играют, автомат Канта свободен — но ведь не так, что деталь автомата может остановиться, выйти из игры и починить себя извне. Зависание, самый важный, ключевой, собственно решающий момент автомата (в остальное время он спокойно и гладко функционирует), и не условное, игровое, и когда автомат зависает, он не может на ходу, на лету изменить свои правила, он оказывается в *невозможности*, перед челюстями мясорубки неотменимая ясность гибели в ней, через мгновение и мгновенной, бросает в полную невозможность «действовать».

Какое мы имели право, кроме желания помечтать, говорить о *невозможности* еще и в другом смысле, громадности. Что-то невероятное тут может быть и произойдет, но не мое и не по моей власти, вмешается божественная рука, клавиши оператора, невидимого. — Гипотезу Бога или оператора мы однако сразу отбрасываем, не потому что их нет, а потому что неинтересно, из амехании настоящий автомат должен как-то выходить сам. Но он не может ничего сделать в зависании, у него нет средств. Мы здесь подходим к загадке сознания: не так ли, что оно автомату не нужно, но в *невозможности* может оказаться разница между тем как идти под зубья проглатывающей машины, и похоже, что эта разница проходит между *пусть будет так* и *пусть будет так*, принятием и принятием, разница в тоне впускания судьбы.

Т.е. раньше мы хоть и догадались, что роль не выбирают, выбирают только хорошо или плохо сыграть, но еще не догадывались, что от хорошей или плохой игры ничего не зависит, кроме вот этого одного: она будет хорошая или плохая. Игра не изменится, перерабатывающая машина в конце эскалатора всё равно заглотает человека, но — Пелевин этого неожиданного варианта не предусматривает, но древняя философская фантастика предусматривала, — продолжения в другой игре и ситуации уже не будет; как говорили, череда рождений кончится.

Не таким ли образом мы можем подобраться к происхождению видов. Пока попробуем взять это чисто формально: эволюционизм, или креационизм, вообще история жизни связывает происхождение видов с годностью, степень fitness во всяком случае должна быть угадана, чтобы вид сложился и осуществился. Но ведь критерий этой годности, fitness — не уютное вписывание в экологическую нишу, а имеет отношение к впусканию другого рода, не в готовую экологическую нишу. В автомате Канта выбор

и устройство ниш автоматические, для Пелевина и в его глазах это мир Пелевина, и одновременно для других глаз это очищенное поле свободы, где принимаются самые ответственные и захватывающие решения, именно между отпущением и отпущением, или между решением и решением, в той сфере, или в амеханической топологии, где человек не может шевельнуть пальцем. Я написал *человек*. Или просто *живое*. Нам нужно будет вернуться к биологии Аристотеля, где у животных есть нрав, ум, *принципы*, как у пчел например средства против лени. Нужно будет привыкнуть к мысли, что живое существо всегда как-то причастно к той годности, тому угадыванию, каким оно всегда оказывается, чтобы существовать.

Расставаясь с Пелевиным: автомат и действующее лицо внутри автомата будут *участвовать* в годности и негодности своей роли и автомата в целом, и по этому принципу будет идти *естественный отбор*, или естественно будет идти отбор. Вопрос о годности и негодности будет всегда открыт не планирующей воле, а раньше, так рано, что годность и негодность будет опережать и волю и планирование.

Годно и негодно, fit unfit — то же, что хорошо и плохо. Выживание приспособленным, годным может быть дано в награду, а может быть и не дано. Не имеет смысла говорить, что вымирающие сосны «не приспособлены» к такому-то проценту СО в атмосфере и поэтому вымирают. Не всё живое, мы говорили, и годно. Годность ставит жизни задачу, на которую жизнь может ворчать, жаловаться, как римский солдат на рюкзак с полцентнером поклажи. Жизнь может взбунтоваться против креста, постоянно и бунтует.

Проверим это предположение, что годность, fitness не нужна жизни и соскальзывает в приспособление, но она становится определяющей в моменты несрабатывания автомата и автомат в амехании выходит из амехании через различение хорошего-плохого, которое действует как санкция или несанкция, освящение или нет. Участник автомата не знает устройства и цели автомата, не имеет расписания для себя конкретно, только общее и значит чужое, но откуда-то он причастен к знанию которое не больше и у создателя автомата, и ни у кого в мире.

Неверно, что на уровне жизни хорошо загорать на песке в Байях, а на уровне креста нести через горы полцентнера на плечах, и эти два критерия разные, смотря как посмотреть: у того, кто был на кресте, не было раздвоения и двойного счета, что в чем-то, в биологии, он проигрывает, а в биографии выигрывает; тайна крес-

та в том что крест это победа безусловная. — Между прочим, теория естественного отбора не классифицирует, для каких целей отбор, и интересно спросить, почему для нее удачная форма страуса, например, не расписывается по столбцам, в графе «приспособленность для летания в воздухе» одна оценка, «приспособленность для плавания в воде» другая. Почему приспособленность не нуждается в априорных критериях и всегда уже только описывается: сильные ноги достигают, перья способствуют, устройство желудка позволяет. Я думаю, причина в том, что ⟨...⟩ природный вид поражает исследователя на его раннем, доисследовательском, наивном общечеловеческом уровне как *хороший* до удивления. Научное наблюдение умножает этот донаучный опыт восхищения, многократное повторение, подтверждаемое каждым новым опытом, приучает ожидать, и ожидание не обманывает, что в каждом новом живом существе опережающим будет годность, останется только развернуть, интерпретировать ее.

Хорошо, если вы подумали: не совсем так. У нас нет честных стопроцентных оснований думать, что другая жизнь не доводит себя до хорошести, как мы доводим, или что тяга к хорошести удается всем одинаково, а не так, беря аристотелевские примеры, что пчелам лучше чем осам. Так говорить странно, поэтому останемся только на этом осторожном, негативном: мы не знаем, что тяга к хорошему во всем живом мире есть только у человека. Если говорить вообще о притяжении годного, то скорее всего такое притяжение общее. — Притяжение тут не совсем точное слово. Лучше вернуться к более формальному, *санкция*. Участник автомата, его фигура, всегда находит себя в поле санкции, которая есть или нет и которую он «знает» так же достоверно, как святость, целость и годность. Интересно, что санкция может быть узнана только санкцией, у нее нет объективных признаков.

Так называемый антропный принцип предполагает, что можно указать на человека вообще, человека вот такого, но дейктический жест теряется на полпути, как только мы замечаем, что указывают при этом на *хорошего* человека, а не плохого, а у плохого ведь вся физиология так сказать та же самая, стало быть не на нее указывают. Перескакивая несколько ступеней рассуждения, это не так интересно и важно, получаем в итоге от антропного принципа: Вселенная с самого начала была такая, что могла пойти в хорошую и в плохую сторону, и эта ее черта, возможность святости, остается по-видимому всегда неизменной. Какие бы *содержательные* параметры, например разум, ни проецировать с человека на Вселенную, можно спросить, а нужны ли вообще эти парамет-

ры; их санкционирование возвращает к святости. — Ясно, как возник антропный принцип: в среде, средненаучной, которая за то, чтобы считать себя по определению хорошей (потому что сознательной), заплатила тем, что очень упростила, до размытого либерализма, толерантности, критерии хорошести.

Как критерий годности в полной мере присутствовал в античном эволюционизме, не всегда видно, потому что например в «Природе мира» Лукреция Кара он вшифрован в поэтическое совершенство исследования, брошенное на описание развития жизни. Лексически об освящении победивших форм жизни вроде бы ничего нет, но они подняты в святое, победившее возвышенностью поэтической речи. Лукреций говорит об исчезновении видов:

Но были звери еще, коим не дано было уменья
Жизнь защищать свою собственной силой и не дано свойства
Чем-либо быть нам полезными, ради чего мы б старались
Нашей защитой их племя питать и им дать безопасность.
Звери такие добычей и жертвой других становились
И попадали в оковы злосчастного рока, покуда
Всё поколение их, наконец, не исчезло в природе.

Здесь нет нашей теперешней печали о гибели видов, может быть потому что много и осталось, само исчезание освящено голосом святой поэзии. Поэзия лгала бы, если бы вбирала в свою святость что-то, не *увидев* сначала святость в сути дела.

Вся эта «природа мира» сдвинута Лукрецием хотя бы немножко в прошлое, современность шатается и освящения у него не получает, она темна и пошла вразнос, как на волнах корабль, современность рискует играет с гибелью:

Люди конца ведь не знают стяжанью,
Или границ, до которых расти может их наслажденье,
Это и вывело жизнь постепенно в открытое море
И до глубин всколебало войны величавые волны.
(V, 1429—1432).

«Природу мира» Лукреция Кара приходится поэтому отнести к райским видениям, как в Библии описание Эдема. Поэзия умеет райски видеть вещи и имеет на это право. Так же с детством. Обычно разница освещения, пространства при этом соблюдается, смешения не происходит. Я говорил о том, как стирка белья стиральной машиной, при удобстве для обычной бездумной хозяйки, на самом деле висит целым пакетом экологических проблем. Вот

для контраста описание сходного действия, умывания правда только рук, но которое безусловно освящено, вдвойне, или втройне, как давний языческий обычай в день летнего солнцестояния, как христианский праздник Иоанна Крестителя и еще потому, что описано поэтом, Петраркой 29-летним в 1333 году. Он путешествует по Германии и добрался до Кёльна, Agrippina Colonia, «расположенный на левом берегу Рейна, славный и местоположением, и рекою, и народом. Поразительно, какая в этой варварской земле человечность (civilitas), какая красота города, какая степенность мужей, какая опрятность жен! Случилось так, что я прибыл туда в канун Иоанна Крестителя, и Солнце уже клонилось к закату. Сразу же по совету друзей — ибо и там скорей молва, чем мои заслуги, создали мне друзей — меня с постоялого двора ведут к реке посмотреть на редкостное зрелище. И не обманывают моих ожиданий. В самом деле, весь берег реки был покрыт прекрасным и огромным строем женщин. Я был ошеломлен: боги праведные, какая красота, какая осанка! Тут мог бы влюбиться всякий, кто пришел бы с еще свободным сердцем. С небольшого возвышения, где я стоял, легко было видеть всё происходящее. Скопление было огромное, но без сутолоки; одна за другой, весело, некоторые опоясавшись пахучими травами, с поднятыми выше локтей рукавами они мыли в потоке ладони и белые руки, о чем-то мягко переговариваясь неведомой мне речью... Есть очень древний укоренившийся в простом народе, особенно среди женщин, обычай их племени смывать с себя все беды на целый год вперед, омываясь в реке в этот день, после которого должны наступить радость и удача; словом, это ежегодное купание, соблюдавшееся и соблюдаемое с никогда не слабеющим усердием»[193*].

У Петрарки это увиденное откровенно отнесено, приподнято в райское и отделено от злободневного. По-настоящему, по-серьезному этот автомат (он автомат, потому что обычай и древний, и радостный, и соблюдаемый с неослабевающим старанием, и нет *своих* причин, пока течет Рейн, ему прекратиться) не работает. «О безмерно счастливые жительницы берегов Рейна, смывающего несчастья! Наши никогда не удавалось смыть ни По, ни Тибру. Вы свои беды отсылаете по Рейну к британцам, мы охотно отправили бы наши к африканцам или иллирийцам, да, видно, реки у нас ленивей!»[194*]. В этом настоящем продолжается работа поэти-

---

[193*] См.: *Ф. Петрарка*. Письма. Пер. с лат. В. Бибихина. СПб., 2004, с. 52 (Книга писем о делах повседневных, I 5).

[194*] Там же, с. 53 сл.

ческой философии Петрарки, освящающая, но она в другом пространстве, встречи взглядов и лиц, геометрии пересечения взглядов и встречи открытых лиц, божественных и человеческих.

Почему с освящением в науке что-то не так. Отчасти, возможно, из-за неосторожного спутывания рая и злобы дня, так называемой «гипотезы», якобы научной, и «факта», из-за несоблюдения феноменологии то есть, из-за неясности освещения.

Непрояснена, темна для науки и степень, похоже очень большая, в какой на прошлое, это ошибка вовсе не только науки, а общая, проецируется *свое*, например метод проб и ошибок: природа якобы если не сейчас, но когда-то, в начале вещей,— сейчас-то мы видим уже всё слаженное, способное автоматически сохраняться, но ведь не сразу наверное так было, — искала *как мы ищем* и ошибалась *как мы ошибаемся*. «Сколько уродливых неудачных миров быть может поминутно распадалось, потом снова формировалось и опять распадалось в тех отдаленных пространствах... где движение продолжает и будет продолжать комбинировать скопления материи до тех пор, пока они не приобретут такого расположения, которое им позволит сохраниться»[195].

Сохраниться. Ключевое слово. Острота проблемы в том, что ⟨то, что́⟩ вокруг пишущего и в нем, в его теле, в его писаниях, т.е. в том, что́ его заботит и что́ у него на руках, явно не сохранится. Он проецирует на ненаблюдаемое прошлое то, что ощущает слишком близким, слишком тревожным. Дидро: «Кто сказал вам, Лейбницу, Кларку и Ньютону, что в первые моменты сотворения животных одни не оказывались без головы, а другие без ног?.. Уроды погибали один за другим... все порочные комбинации материи исчезли и остались только те, у которых в механизме не заключалось никакого существенного противоречия и которые могли поддерживать свое существование и размножаться»[196]. Тоска по постоянству.

Откуда у Лейбница, Ньютона такое представление о началах вещей. От *другого* опыта, наоборот опыта счастливого попадания, сразу, в цель, сохранения, которое не надо дожидаться чтобы подтвердилось, о нем есть другое свидетельство в санкции, святости. Так для Гёте, знавшего секрет счастливого попадания, нет ничего неестественного, странного видеть природу сверхудачливым легким творцом: «Представьте себе природу, которая как бы стоит у

---

[195] *Дени Дидро*. Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, 1749, цит. по: *Л.С. Берг*. Труды по теории эволюции..., с. 60.

[196] *Л.С. Берг*. Труды по теории эволюции..., с. 59.

игорного стола и неустанно выкрикивает: au double! [т.е. каждый раз выигрывает и требует удвоить ставку, чтобы выигрыши возрастали в геометрической прогрессии], т.е. *пользуясь уже выигранным*, счастливо, до бесконечности продолжает игру сквозь все области своей деятельности. Камень, животное, растение — всё после таких счастливых ходов постоянно снова идет на ставку, и кто знает, не является ли весь человек, в свою очередь, только ставкой на высшую цель?»[197].

Наше дело сейчас не большое, решать, как, сразу удачливо или мучительно, природа достигает цели, а заметить, что в одном случае, и чаще всего это бывает в так называемой науке, стерто, не тематизированно, часто размазанно по времени и воображаемой (не потому что мы думаем что ее нет, а потому что мы всё равно ее не наблюдаем) постепенности возникновения видов, но всё равно, как-то в тени и исподволь, осознается скачок, различие между пробным, обреченным и удавшимся, «сохранившимся», — а в другом случае, обычно в хорошей поэзии и философии, как у Гёте или у ренессансных философских поэтов, всегда отчетливо проводится граница между несохраненным и сохраненным (оно называется спасенным), именуются ключевые слова, *радость*, *счастье*, *удача*. Гёте смелее науки, он не считает что человек (как в антропном, лучше сказать антропоцентрическом принципе) окончательное создание, может быть только промежуточное, но *не* промежуточная, а всякий раз уже *окончательная* радость счастливой природы при удаче (камень был удача, растение еще какое тоже, животное). Причастный к спасению в этой радости, с Топоровым мы называем ее *святостью*, человек может быть хоть и недоделанным, не только конечным.

Автомат, недодуманный, непроясненный, бродит в эволюционистской литературе (Кант ведь тоже в тех «Идеях» эволюционист). Дидро, Pensees sur l'interpretation de la nature, 1754: органическим молекулам свойственна зачаточная чувствительность, конечно в тысячу раз меньшая чем у даже самых низших животных (т.е. как у Циолковского). Для любой органической молекулы имеется только одно положение, *наиболее удобное*. У Лукреция: за «великий век», т.е. может быть не «великий год», около 30 тысяч лет, а гораздо больше, а чуть выше 423 вообще говорится о бесконечном времени; так вот за это время primordia rerum, V 419, столько сталкиваясь перепробовали, что должны были наткнуться на удачные сочетания; в 429 произносится ключевое слово об уда-

[197] Там же, с. 60.

че, — эти primordia rerum именно вдруг совпав, coniecta repente / magnarum rerum fiunt exordia saepe, / terrai maris et coeli generisque animantum[198*], 429—431. У Дидро удача названа прямее: мельчайшие частицы, что-то чувствуя, ищут «с беспокойством автомата» удобное, устойчивое положение, как животные ворочаются во сне, пока не найдут подходящего положения. Дидро: Животное «это система различных органических молекул [т.е. уже чувствующих], которые, под влиянием ощущения, похожего на смутное и глухое осязание, каким снабдил их создатель материи вообще, комбинировались до тех пор, пока каждая не нашла места, наиболее подходящего для своей формы и своего покоя»[199].

Почему Создатель, который снабдил молекулы осязанием, оставил им самим искать себе форму, которой тоже мог бы их снабдить. Потому что это ведь наблюдаемый факт, что мы ищем сохранения и спасения, или «равновесия». Зачем тогда, если мы делаем, мы сами, сейчас, что-то заложенное «в начале». Потому что опять же наблюдаемый факт, сейчас, что в найденное равновесие мы входим как-то вдруг, внезапно как у Лукреция, — факт, что находка это попадание в лунку, стало быть которую кто-то приготовил.

Всё это тоже долгий кривой путь к аристотелевской энергии, т.е. к парменидовскому бытию. Из-за того, что Аристотелю уже не приходится снова и снова рисовать, как всё пришло к тому, к чему оно пришло, у него внимание высвобождается для подробностей. Если угадывание, попадание в *то* есть, то не принципиально важно, когда оно происходит, после тысячи попыток или сразу, установление тут дело не догматики, а факта.

Мы говорили об автомате. Другой опоры для него вроде бы нет, кроме этой странной обеспеченности попадания, т.е. обеспечено не то что я попаду, а что если я попаду, то будет встреча, окажется, что годная форма это *то самое*. Если это так, пока не видно, почему здесь может быть ошибка, мы должны быть готовы расстаться с эволюцией. Годность, угадывание не могли бы быть безусловными, если бы создавали то, что дожидается опять еще проверки: угадывание *одноразовое*, само себе успех и санкция. Ведь годное попадает в *то самое*, оно и есть собственно *то самое*. Аналогию природы и искусства естественно продолжить до того, что в природе нет развития как в искусстве. Нельзя сказать, что с

198* Перевод: Сходятся так, наконец, что взаимная их совокупность / Часто великих вещей собой образует зачатки: / Моря, земли и небес, и племени тварей живущих (пер. с лат. Ф. Петровского)

199 *Л.С. Берг.* Труды по теории эволюции..., с. 60.

годами к своему 80-летию Гёте стал писать лучше, он эволюционировал в другом смысле. Усложнение форм так же не рост, не приближение к годному, как сложность барокко не развитие Ренессанса, или непричесанная бесструктурность постмодерна выше структурности модерна. Развитие, если оно не имеет смысл развертывания рулона, возможно только назад, к тому, что уже есть. В основном увеличение жителей земли диктует историю новейшего времени, последних 6000 лет, — по Циолковскому прогресс в том, чтобы человечество возросло до триллионов, но нельзя будет сказать даже что задача усложнилась.

Так называемая аристотелевская лестница (в море есть существа, о которых нельзя сказать, относятся они к растениям или животным, промежуточная ступень между выше и ниже) только с ее проекции на время становится эволюцией от высшего к низшему, «сначала низшее, потом высшее». «Следует иметь в виду, что современное представление о ходе эволюции как о процессе выработки высших форм из низших *во времени* было чуждо Аристотелю. Идея об исторической преемственности организмов впервые намечена у французских авторов середины XVIII века»[200]. Требование времени для развития было связано с *отказом* от обязательности попадания, с революционным разрешением себе блуждания и ошибок. Разрешено себе было действие без санкции, и оправдано развитием, т.е. что допустима целая цепочка действий без санкции, потому что в конце концов санкция, в результате развития, будет получена. Фактически, понятное дело, действие без санкции было разрешено себе *всегда*, для Аристотеля оно не разрешено *ни разу*.

Отличие революционного эволюционизма XVIII века от аристотелевской лестницы *диаметральное*, начинающееся с *прямо наоборот*. Целью человеческой истории, у Маркса это особенно видно, было признано всестороннее развитие способностей. Для Аристотеля это так же абсурдно, как учить человека играть на флейте только потому, что у него есть флейта. Мало ли что у человека есть. Сначала цель, к ней подтягиваются средства.

Вообще мы спускаемся в современность по ступеням разрешений сомнительных, которым странным образом придаются названия достижений: эволюционизм как аналог laisser-faire в политике и экономике, в надежде на кривую, которая вывезет, т.е. в сущности на восстановительную силу природы, земной и человеческой, входит в целый ряд разрешений, которые дал себе человек

---

[200] Там же, с. 65.

модерна (постмодерн только заострение модерна), таких как введение предела в математическое исчисление, т.е. разрешение оперировать пределом и значит разрешение не заниматься проблемой бесконечно малых и бесконечно больших. Или как в машине разрешение брать у природы энергию не отдавая. Эти разрешения — массовые движения, которым всегда не поддаются единицы.

Не в новизне идеи, которая (дарвиновская) формулировалась у Аристотеля, а именно в новизне разрешения дожидаться, когда межвидовая борьба сама выяснит годность или негодность живого, разрешения рассматривать живое существо как «пока еще не» и «уже не», т. е. пройти мимо него как окончательного, целого, — сила и влияние дарвинизма. И, как оправдание разрешения, вокруг дарвинизма много сознания превосходства над прежде всего ламаркизмом. Жан Батист Ламарк (1744—1829) ввел в 1802-м, тогда же (такие вещи бывают) то же сделал немец Тревиранус, термин *биология*; он «основоположник зоопсихологии»; по Ламарку, «виды животных и растений постоянно изменяются, усложняясь в своей организации в результате влияния внешней среды и некоего внутреннего стремления всех организмов к усовершенствованию»[201*]. Зоопсихология занимается этой самодвижностью живого. Как у Аристотеля, у Ламарка не потому что есть флейта, научаются играть, а когда надо играть, как-то достают, добывают, делают флейту. «Новые потребности делают ту или иную часть организма необходимой и обусловливают вследствие прилагаемых усилий [! живое *силится* измениться, приобрести себе инструмент] появление этой части; затем, вследствие постоянного употребления, часть эта мало-помалу укрепляется, развивается и, в конце концов, значительно увеличивается»[202]. С самого начала цель, годность, присутствует как стремление. И наоборот, «если отсутствие употребления длилось в течение долгого времени, то данный орган может совершенно исчезнуть». «Птицы, которые принуждены отыскивать себе пищу в воде у берегов, должны погружать свои ноги в вязкий ил дна, а затем снова вытаскивать; они делают постоянные усилия, чтобы удлинить свои ноги. Вследствие продолжительной привычки постоянно вытягивать и удлинять свои ноги все особи данного вида становятся, в конце концов, такими длинноногими, что производят впечатление

[201*] Советский энциклопедический словарь (СЭС). М., 1982, ст. «Ламаркизм».

[202] Цит. по: *Л.С. Берг.* Труды по теории эволюции..., с. 72.

ходящих на ходулях»[203]. — Опять же, *усилие*, но ведь оно в глубоком сне живого, цапли. Без сознания, но оттого не менее эффективно, и вспоминаем Плотина, по которому сознание только ослабит движение воли и мысли. Без сознания живое тело податливее, как глина, которую можно лепить.

---

[203] Там же.

19 (24.2.1998)

«Когда воля побуждает животное к какому-либо действию, то органы, которые должны производить это действие, побуждаются к тому тотчас же притоком тонкой жидкости (нервной жидкости), которая становится непосредственной причиной движений, требуемых данной деятельностью» (Ламарк Ж. Б. Философия зоологии. М. 1911)[204] (J. B. Lamarck 1744—1829).

Так смотреть сложно, тревожно, внутри живого открываются воля и лепка, и какая, самих себя. Спеша выдать разрешение массе не усложнять свою мысль в эту сторону, справочник сообщает[205*]: «Ламарк, однако, не вскрыл истинных причин эволюционного развития», т.е. три механизма, естественный разброс вариантов, жесткое закрепление вариантов в наследственности и отметание негодных вариантов в «естественном отборе», вымирание неприспособленных. «В додарвиновский период еще не были известны причины и движущие силы эволюции органического мира».

Сам Дарвин (Ch. Darwin, 1809—1892), наоборот, жалел в 1876 году, в письме к Морицу Вагнеру, — Дарвину 67 лет, уже три его главных книги вышли, «Происхождение видов путем естественного отбора», 1859, «Изменение домашних животных и культурных растений», 1868, «Происхождение человека и половой отбор», 1871, человек произошел от обезьяноподобного предка, — «по-моему, я сделал одну большую ошибку в том, что не признал достаточного влияния прямого воздействия окружающего, т.е. пищи, климата и пр., независимо от естественного отбора»[206].

---

[204] *Л.С. Берг.* Труды по теории эволюции..., с. 72.

[205*] СЭС..., ст. «Ламаркизм».

[206] *Л. С. Берг.* Труды по теории эволюции..., с. 72.

Тут Дарвин мало что собственно признал. Дарвин остается упрямым и намеренно односторонним. Он словно оставляет другим заметить, что эффективность поедания зеленой массы могла обеспечить уже и тля, лошадь не просто «приспособилась», а предложила для жизни собственно не обязательное, тля тоже жизнь, биология, но красивое и сложное преобразование зелени. Дарвинизм, теперь берущий что-то от ламаркизма, может быть хуже чистого, одностороннего дарвинизма, в котором помимо его собственных тезисов действует и энергия провокации, по умолчанию мысль наводится на то, что живое существо, вид едва ли не «почувствует», говорю нарочно небрежно и провокативно, что он обречен естественным отбором. *Психология* будет разная у перспективного или неперспективного вида — или наоборот с самого начала у живого есть стратегия.

Термин *мутация* ввел нидерландский ботаник Хуго Де Фриз (H. De Vries 1848—1935); если бы Грегор Мендель (G. J. Mendel 1822—1884) не вел свои опыты по гибридизации сортов гороха в 1856—1863, то приходилось бы говорить не *менделизм*, а упоминать Де Фриза, который вторично открыл законы Менделя около 1900 г. «Теория мутации» в двух больших томах, 1901—1903; он пишет, случай с которым придется сталкиваться, по поводу того, что он считал в конкретном случае одного растения мутацией, но потом оказалось странным сложным скрещиванием, *но то что он пишет от этого не отменяется* (я говорю, нередкий в науке, не только биологии но и физике тоже, случай или даже система непересечения теории и факта, они проходят параллельно друг другу, прямого вытекания теории из факта просто не бывает): «Одним скачком произойдя от материнской формы, вид сразу явился во всём своем совершенстве. Здесь не было какой-либо начальной формы, которую естественный отбор должен был бы еще очищать и улучшать, дабы создать жизнеспособную форму: это был такой же вид, как другие, равноправно выступивший на сцену рядом со старшими видами»[207]. Вы видите, что чтобы так сказать, не надо было особых опытов в ботаническом саду Де Фриза с oenothera lamarckiana, из Аристотеля например это вычитывается — но ⟨это⟩ имеет ценность свидетельства человека, который десятилетиями всматривался в жизнь и видел ее *отчетливость*, организм как завершенную форму или как *сообщение*. Де Фриз: «Виды это не какие-нибудь произвольные группы, между которыми человек здесь и там проводит границы ради лучшего их обозрения: это резко

[207] Там же, с. 75.

обозначенные, вполне самостоятельные существа, ограниченные во времени и пространстве», в смысле: определенные[208].

На Де Фриза упрямая, бычья (Джон Буль) провокативность Дарвина хорошо подействовала: Де Фриз уже мог спокойно говорить, что в образовании новой формы естественный отбор *не* принимает участия. Похоже, он сделал это зря: не сам отбор может быть диктует мутацию, но для мутации скорее всего нужна особенная плотность, теснота, Лосев сказал бы «нагнетание» жизни. Фриз со своей стороны рискуя предположил сроки, допустим 4000 лет, в которые вид как бы накопляет энергию для мутационного скачка. Для чего скачок? Просто так, от силы и мощи. «Творческая деятельность вовсе не считается с господствующими жизненными условиями: она творит лишь для того, чтобы образовать нечто новое; она увеличивает богатство форм, но предоставляет им самим справляться с обстоятельствами. Одной из этих форм счастье благоприятствует, другим — нет; судьба решает, что в конце концов выживет и, следовательно, будет избрано для продолжения родословного древа»[209]. *Счастье* здесь и *судьба* как решающая инстанция.

В случае ошибки Де Фриза он наблюдал не мутацию, а гибрид. Очень отчетливая формула возникновения видов как гибридов у Карла Линнея (K. Linne 1707—1778), создавшего работающую до сих пор классификацию растений и животных: вначале бесконечное Сущее, infinitum Ens, создало отряды растений, от смешения при спаривании возникли роды, и опять же per generationes ambigenas, взаимного оплодотворения, возникли виды растений. Против этого факт неохотности скрещивания между видами[210].

Русские биологи, Андрей Сергеевич Фаминцын (1835—1918), физиолог растений, и Осип Васильевич Баранецкий (1843—1905), обратили внимание на возможно еще один путь образования новых видов жизни, симбиоз. В их век позитивистского накопления еще надо было подождать революционного начала XX века, когда их направление заострили другие. Фаминцын и Баранецкий работали над фотосинтезом и осмосом, пропитыванием, прокачиванием растения светом, или влагой, например когда корневое давление у растения вызывает выделение капелек воды листьями. Во всяком случае оказывалось, что растение пропускает, допускает в себя много такого, что ему не обязательно принадлежит. Есть

---

208 Там же.

209 Там же.

210 Там же, с. 76 сл.

яркие случаи: лишайник, он как бы сплетен из гриба и зеленой водоросли. Можно думать, что они случайно слиплись и борются друг с другом, но Фаминцын и Баранецкий увидели тут симбиоз. В этой перспективе Фаминцын увидел саму клетку как симбиоз *нескольких* организмов. Опять же непрямая зависимость между теорией и наблюдением: Фаминцын был неправ, что орхидея определенного вида, у которой уже в ее зародыш проникает гриб, вообще не будет прорастать без гриба, не живет иначе как в симбиозе. Он оказался неправ, в этом случае, но теория имеет какое-то свое притяжение. Борис Михайлович Козо-Полянский (1890—1957) в смелые годы, начало 20-х, предложил вообще все организмы, и высшие тоже, видеть как сплетения из низших. Красивый пример: один морской червь, турбеллярия, т.е. плоский червь с ресничками вдоль тела Convoluta roscofiensis зеленый потому что в него вросли одноклеточные зеленые жгутиковые водоросли. Они питают червя крахмалом, а от него возможно тоже что-то получают; доказательство, что питают, то, что в темноте у зеленых водорослей хлорофилл не работает, червь не подпитывается и без своей пищи быстро гибнет, а на свету живет больше месяца.

Козо-Полянский предложил вообще хлорофилл считать отдельной жизнью, которая состоит в симбиозе с растением, хлорофилл так называемыми пластидами врастает в саму клетку, причем пластиды размножаются друг от друга, а не от клетки растения. Как особые организмы. Хлорофилл в пластидах вроде бы живет инкрустациями, отдельно от клеток. Сходно у Окена (Lorenz Oken 1779—1851): инфузории — части организма, Urthiere, Urstoff. Больше того: наблюдая как у некоторых орхидей ядро переползает из одной клетки в другую, Козо-Полянский начал считать и ядро другим по отношению к клетке организмом, в симбиозе с клеткой. Растения вообще срослись из микробов, микробами Козо-Полянский считал элементарные организмы, в той мере, в какой они не сочетания из организмов, так сказать атомы жизни. Как-то эти атомы срастаются, т.е. всё живое это гибриды. Они образуют союзы, образовавшийся союз обособляется в относительную самостоятельность, и так далее. Козо-Полянский: «Растительный мир является результатом эволюции микробов путем образования консорциев и колоний, колоний из консорциев, консорциев из колоний, консорциев из консорциев»[211].

Господа, обратите внимание, что в эту дефиницию входят понятия двух порядков: *колонии*, *консорции* — это названия образо-

[211] Там же, с. 79.

ваний, которые биолог Козо-Полянский наблюдает в микроскоп, когда вглядывается в то, что называется «жизнь», что называется «живое», названия могли быть и другие, наблюдает Козо-Полянский то же, что и любой в микроскоп. В его способ именования, как и в слова «является результатом эволюции», вложено то, что биолог никогда не наблюдал и наблюдать не будет, потому что концепция смысла жизни («консорциум, колония» проецируют на жизнь осмысленные образования человеческого общества) и возникновения жизни ходит вокруг загадки жизни, вокруг того что в принципе себя не именует, своего принципа не называет. Козо-Полянский тут говорит, *внося* в живое концепцию о смысле вообще движения всего живого.

Теперь, зачем биолог это делает. Он что, наивно не понимает, что спровоцирован загадкой жизни на концепцию, с которой будут спорить. Ты останься при чистом наблюдении, а? зачем возникать? Зачем неудержимое желание у биологов вводить помимо чистых данных наблюдения второй порядок, смысла? отчетливо отличающийся от наблюдения?

Сплетение двух совершенно разных порядков речи в биологии спровоцировано загадкой жизни, загадкой леса, в которой — в этой загадке — дерево двоится, оно дерево жизни и дерево познания добра и зла, дерево и крест. Полярность входит в саму жизнь, наше преимущество перед биологом только то, что мы догадываемся, в отличие от привычных представлений, что теоретик *вносит* в практику *свои* теории, что диктует это *внесение* сама жизнь. Платон и Аристотель не от своей теории вносят в живое идею и эйдос как начало целого, полноты: живое в самом себе несет *два*, спросите чего два. Помните мы в прошлом году говорили о Троице, что сначала *три* и только потом — *чего* три.

Крест, пересечение перпендикулярных, — название этой ситуации. Оно более формально, чисто, чем платоновские два, место и идея, и аристотелевские три, материя, эйдос и нецелость. За платоновским и аристотелевским делением однако остается то огромное преимущество, что они — вопреки представлению о будто бы искусственности философской терминологии — называют словом *вид*, *идея* не искусственный конструкт, а то, что, мы видим, жестко скрепляет лес, чем? но вот именно же родом, видом, до сих пор не научились говорить точнее чем в античности. Менделизм — это заново удивленное открытие того, что кажущееся буйство, разрастание леса взято в жесткие рамки. Так в человечестве: индивид может изменить и тело и душу до извращения, но в это время в нем самом, невидимо и незаметно для него, род остается непри-

ступным. Человек может с ним сделать только то, что прекратит его, и уйдет род, но не его загадочность, загадку рода, жизни вообще человек прекратить не может, т.е. значит не знает тех кнопок, тех рычагов в бытии, которые прекратили бы жизнь. Когда есть жизнь, есть полярность гибкого, приспособляющегося леса и жесткого креста, геометрии.

Попытки с большими средствами преодолеть идеализм и внутри вещества, справиться с видом, сломить его неприступность в академии Трофима Денисовича Лысенко (1898—1976), и в головах людей, выбить из умов идеализм, наткнулись там и тут на жесткое, непонятное, иррациональное сопротивление. Упрямо вид, сколько бы ни изменяли вид особей, восстанавливался всё тем же; идеализм в головах восстанавливался как бы сам собой.

Даже если не называл себя идеализмом. Мы говорим о структурах, которые не требуют оправдания, обоснования. Но зато они и требовательные: для участия в идее мало понимать и признавать ее, или это вообще не нужно, нужно вести себя, если можно так сказать, как идея. Жесткость в поступке, если хотите *дикость* (человек не весь домашнее животное), имеет цену. По *сырому*, жестокому и жесткому поступку, не выходящему из своей такости, в XX веке тоска Антонена Арто[212*]. Мы обязаны быть дикими, чтобы продолжить стратегию природы, и в том смысле, что домашняя овца спокойно идет на смерть, ее смирность совпадает с дикостью. У человека можно априори ожидать нечистых форм, смешения дикости и домашности. Их смешение в хитрости. Эти два полюса поведения называются по-разному, допустим «консерватизмом» и «либерализмом». Прирученность извращается в конформизм, и тогда противоположный, зависимый полюс тоже искажается в нехорошую жестокость. Интуиция ведет странными путями.

Но странность общий способ действия софии.

Это значит, что и в современном мире в конечном счете выход из ситуации в том, что пробьется странность, какой бы она ни была. Ее соседство святость, которая радость, можно сказать дикая, которая узнала тайну креста. Она пройдет где хочет, как ростки сквозь мертвеющее тело.

Напоминание о естественном отборе, т.е. о причесывании жизни смертью. Смерть помогает жизни. Естественный отбор прав и в том смысле, что у жизни нет расписания и плана, она ни-

---

212* См.: *В. Бибихин.* Поэт театральных возможностей. — Res Cogitans № 3, М., 2007.

когда не знает, как *быть*. Но вот уж что неверно в вульгарно понятом естественном отборе, это что София ходит тупым путем тысячи проб и ошибок, слепо дожидаясь, когда что выйдет из игры случая. Конечно можно говорить о двух принципах, Витгенштейна и Поппера, условно говоря, причем Витгенштейн прав вплоть до того, что я оправдал бы его жест замахивания кочергой на Поппера.

Дарвинизм Поппера неправ и в том что развитие науки (мы всё больше привыкаем к августиновской трактовке библейской заповеди, *плодитесь и размножайтесь*, который относил это прежде всего к созданиям человеческого ума, теперь к поколениям изобретений), как бы биология науки, «развивается» будто бы механическим перебором и осуществлением всех возможностей, и неправ еще в том, что будто бы верификации порождений надо дожидаться от будущего. Заниматься перебором возможностей и смотреть что из этого выйдет для софии означало бы отдать инициативу, чему, скорее всего смерти. В изобретательстве, как и везде, черты софии *странность*, *вдруг*, *святость*, *экстаз*, *рай*, *крест*. Это то, что я называю Витгенштейн против Поппера. Или Мандельштам против Алексея Толстого и почти всей советской литературы.

Непохоже чтобы в этих приемах софии что-то менялось или когда-то изменится. Ситуация с компьютером меняет конфигурацию леса, компьютер это как просека, допускающая сплошное просматривание любого леса. Масса вещества перестает быть глубокой, как бы выводится на плоскость. Может быть, в веществе становится больше геометрии. Меняется фактура вещества, что-то вроде превращения Сохеля, полосы вдоль южного берега Средиземного моря, из лесов и полей, которыми она когда-то была, в песчаную пустыню.

Ничего не меняется в том, что человечество вписано в бытие и мир, можно спокойно представлять компьютерный мир как снова дикую природу. Должна быть продолжена, в новых и в любых условиях, стратегия софии в параметрах, которых я назвал, — ее шаги *угадывания*. Или если хотите имеет смысл, эвристически это хорошо, видеть современный мир, постмодерн, как джунгли. В джунглях, где видно только на несколько шагов, бессмысленно говорить, правильно они растут или неправильно. Нет смысла, с другой стороны, и спорить с тем что человечество в порче, в пороке. Так или иначе всё равно к порче в человечестве я не смогу подобраться иначе как через порчу во мне, при моей зажатости в лесу. — В отличие от первобытного леса, сегодняшний лес вклю-

чает технику, информатику и как сплошной лес невидим. Но похоже что после вычитания видимости существенное в лесе не меняется, ведь он так или иначе выводил из метрического пространства и вводил в другое, невидимое. Вот почему наполнение мира поколениями компьютеров, которые все в плоскости видимости, существенного ничего в статусе леса не меняет.

Похоже, что видимость мешает увидеть важное, что неметрическое, нерасписываемое существо леса невидимо. Прозрением был бы как раз выход, как ни странно, в невидимое. Сюда относится миф о Гомере, слепом, которому незрячесть помогла увидеть суть дела. Тему незрячего провидца я только упоминаю как в примечании. Сюда же относится другая тоже важная, но не для нас сейчас, тема средневекового невидения пейзажа и так называемого «открытия пейзажа» в Ренессансе. В средневековой литературе много сцен сражений, описаний оружия и мало пейзажей, во всех скандинавских сагах пейзаж нашли вообще вроде бы только один. Это тоже пример невидения, которое как открытие. Еще одно примечание: если у современного поэта нет на страницах технических реалий, то это обещающая характеристика, — возможно, но пока не больше чем возможно, что он умеет видеть лес.

Возвращаемся к пейзажу софии: лес, крест. Крест открыт христианством, он всегда был жизнью леса, джунглей. Здесь жестко, опасность — «естественный отбор», т.е. гибель, сохранение рода — главная цель.

Этот лес, эти джунгли, я говорю, остаются. Для софии гуманнее, легче с цивилизацией не стало. Не Поппер, а Витгенштейн; решает, как говорит Мамардашвили, «духарская выкладка», не дискурс, не лексика. Важная, интересная ситуация — по-прежнему, как всегда в пейзаже софии, невозможность, правильное место человека — крест.

В невозможности, из ничего с самого начала складывались вещество и жизнь. Как было, так и есть; лес никуда не делся; мы и сейчас одни в лесу, дело софии со стороны в принципе всегда невидимо. Так называемое объективное исследование дает мнимые законы природы, в сущности операциональные предписания, описания сложившихся навыков человека, который не дожидается милостей от природы, а «взять их у нее — наша задача». Правда, Иван Владимирович Мичурин, когда говорил эти слова, имел в виду прямо противоположное тому, как они звучат: имел в виду, что без него в природе не было бы тех 300 сортов плодово-ягодных культур, участие в выведении которых он как-то принимал.

Лес, лишая просмотра и выводя из метрического пространства, вне которого расписание не работает, зато дает участие в себе, не расслабленное отражением (объ-ективизация дает удобство контроля и учета всего что можно контролировать и учесть, но за счет расставания с участием). Куда на самом деле принадлежит сознание с его отражением, якобы высшая функция «мозга», видно из того, что технике вроде бы удалось синтезировать сознание: если видеокамеру подключить к телевизору так, чтобы съемки проецировались на его экран, а потом снимать происходящее на экране, то на экране появятся структуры, якобы упорядоченные, которые не дал бы ни экран, ни камера, ни соединительный кабель — предположительно результат самонаблюдения, аналог сознания человека[213]. — Или математизация сознания. Подопытному, не объявляя в чем дело, дают одинаковую очень ровную фасоль и требуют распределить по принципу хорошая — плохая, из ста фасолин непредубежденный человек любой положит 62 в хорошие, 38 в плохие, 62 % это психологическая константа.

Наблюдательство это ослепление видимостью, которое надо как-то обязательно пересилить, под поверхностью всякого наблюдения мы внутри леса и встроены в автомат софии. Она решает и поступает через нас и в нас и нами, она — одновременно сквозь нас и нами, т.е. и не так будто мы привязаны на нитках и выполняем чужое задание, но и не так что мы что-то можем сами.

В современной науке можно слышать такие расставания с прошлой объективизацией: To quote Nicolis and Prigogine (1989): «In classical physics, the investigator is outside the system that he observes. He [sic] is the one who can make independent decisions, while the system itself is subject to deterministic laws. In other terms, there is a „decider" who is „free", and members of the system, be they individuals or organizations, who are not „free" but must confirm to some master plan. Today, we are getting farther and farther away from such a dichotomy»[214]*. Типичное высказывание.

---

[213] *М. Ичас.* О природе живого: механизмы и смысл. М.: Мир, 1994, цит. по: *Сергей Сипаров.* Телеология эволюции. — Silentium 3, СПб., 1996, с. 67.

[214] Цит. по: Silentium 3..., с. 60. * Перевод: В классической физике исследователь находится вне наблюдаемой им системы. Он [...] тот, кто может принимать независимые решения, тогда как сама система выступает в качестве субъекта детерминистских законов. Иными словами, [с одной стороны,] есть „тот, кто принимает решение" и „свободен", [а с другой] — члены системы, будь то индивиды или организации, которые „несвободны" и должны соответствовать некоему плану. Сегодня мы всё дальше отходим от такой дихотомии.

Теперь его типичное понимание[215]: «В настоящее время можно различить две модели эволюции: инфинитную и финитную. Инфинитная модель в простейшем случае подразумевает поступательное движение к некоторой цели, причем приближение к ней является асимптотическим. Иногда говорят о восходящей расширяющейся спирали... В этих случаях... цель эволюции находится вне человечества, и оно стремится превзойти само себя в попытках продвинуться далее. [Финитная эволюция это такое движение как] в некоторых механических или гидродинамических системах... обладает одновременно признаками как хаотического, так и детерминированного движения. При этом система остается всё время в окрестности некоторой замкнутой кривой, иногда называемой „странным аттрактором". Наличие „аттрактора" указывает на существование цели, хотя и недостижимой, но такой, что в процессе движения к ней возникает новое качество — фрактальный характер самого движения. Здесь цель эволюции хоть и неуловима, но не носит внешнего характера, и специальных усилий прилагать не нужно — всё равно попадем куда-нибудь».

Здесь есть наше слово «попадание»; «замкнутость» кривой хорошо соответствует нашему пониманию спенсеровского fit, как угадыванию в «годность», в то, что само себе санкция; «странный аттрактор» конечно не по модели их математической топологии, а по угаданности свойства софии тоже близко к тому, что мы говорим. Иначе и быть не может: ведь все *имеют в виду* одно. Но в описании, которое я прочитал, наш пейзаж, с которым мы понемногу постепенно знакомимся, опять уже *увиден*. Отказ от расписания, программы происходит легко, вводится «фрактальная» размерность, Хоружий называет этот подход в математическом описании распространением общей ситуации постмодерна на науку. Вместе с программой отменяется и усилие, в самом деле, внутри фрактальной размерности усилие просто не к чему прилагать. Попадания в бессмыслицу не происходит: «...вне зависимости от того, имеется ли цель у эволюции и какова она, можно констатировать, что в процессе ее имеет место усложнение живых организмов»[216]. В этом смысле и без всякого усилия, как сказано, «всё равно попадем», усложнение само собой идет, и верно опять же сказано, что усложнение это другого порядка движение чем стремление к цели, может быть вовсе не цель.

---

[215] Там же, с. 68, в статье: *Сергей Сипаров*. Телеология эволюции.
[216] Там же, с. 67.

В этом настроении укрепляет и то, что весь состав живого развивающегося организма кодируется в онтогенезе только двумя процентами всех звеньев, входящих в молекулу дезоксирибонуклеиновой кислоты — девяносто восемь оставшихся процентов тщательно копируются, передаются по наследству, но ни в каких признаках живого тела не проявляются. Некоторые биологи считают эти 98 % «мусорной» частью, trash. Внутри этой части тоже наверное происходят какие-то мутации из поколения в поколения, но выследить такие мутации собственно невозможно, по каким собственно признакам, их нет.

Это открытие очень хорошо вписывается в самочувствие большого современного класса носителей информации: они просто носители информации, ничего больше, может быть про запас, подлежат сохранению так сказать упакованными (все смыслы работают). Они при этом для чего-то, вовсе не обязательно знать для чего, соответствуют в обществе тем 98 % генетического кода, которые тоже никому не известно для чего, но именно потому что эта часть запакована, она наверное предназначена для чего-то важного, как особый пакет на почте, который запрещено вскрывать.

«Можно предположить, что для того, чтобы обеспечить выполнение некоторой весьма важной функции, используется постоянно заменяемое и возобновляемое устройство, которое эту функцию и должно исполнить — надо думать, мы с вами»[217]. Выполнение этой функции, заметьте, обеспечивается именно неприложением усилия, невскрыванием пакета: вскроешь его, выведешь (пока никто этого не умеет, но дело в том что и не надо уметь) эту предполагаемую потенциальность в актуальность — и всё, будет прервана линия связи, протянутая через тысячи поколений. *Запакованное должно именно оставаться невскрытым.*

Но почему тогда не запаковаться полностью, зачем 2 % актуализируются? 2 % это весь живой организм, изменяющийся или неизменяющийся в поколениях. Он нужен для того, чтобы приспособиться к среде, меняясь при необходимости вместе с ней, именно для того чтобы передача «послания», 98 %, была обеспечена в любых обстоятельствах — примерно как пакет везут сначала на машине, потом на поезде.

Теперь, кто получатель письма. Наверное тот, кто сумеет его прочесть. Т.е. надо дожидаться ума, который теперь уместным образом интенсивно развивается. Он получит информацию, соб-

---

[217] Там же, с. 69.

ственно ту же самую которая теперь у него в виде запакованной, но уже распакует ее, там станет ясно что делать, причем не исключено, что снова вернется цель, уже ясно прописанная. «Последние достижения философской мысли — структурализм и постмодернизм в целом, настойчиво призывают именно к такому обращению с элементами культуры»[218].

Пока ума такого размаха нет, надо — это опять наша тема — не вмешиваться в автомат, который мы не знаем. Слова «автомат» у автора, которого я цитирую, правда нет, но по сути он его имеет в виду. «Рассмотрим, что предпринимает конструктор, когда встречается с необходимостью обеспечить безусловное выполнение некоторой функции устройства, его стопроцентную надежность... Повысить прочность и качество... стопроцентная надежность в этом случае не достигается... трещинка в заготовке или случайное изменение параметров среды... могут испортить всё дело. Поэтому в особенно ответственных случаях применяется периодическая принудительная замена устройства аналогичным — операция, требующая участия человека или специальной программы»[219]. Речь собственно об обеспечении автоматичности, но этот автор не может себе представить другого автомата кроме управляемого человеком или программой.

---

[218] Там же, с. 70.
[219] Там же, с. 67.

20 (3.3.1998)

Если в пакете генетической информации, которая передается из поколения в поколение и не развертывается, содержится разгадка всей истории человека, его программы, как мы читали у одного и могли бы прочитать у другого философа биологии, то развитие, эволюция сводится к тому, чтобы *ум* подтянулся до своих задач, чтобы суметь прочитать их. А ведь ум уже и сейчас достаточно развит, сложен чтобы прочесть пакет, собственно на всё способен. Поэтому и с этой точки зрения эволюции собственно нет, есть обучение, школа.

Спокойно отказываясь от эволюции, мы оказываемся между прочим, как мы уже могли догадаться, в хорошей компании, начиная с Парменида, Платона, Аристотеля, но и собственно со всей классической мыслью. Шопенгауэр: «Как брызги и струи бушующего водопада сменяются с молниеносной быстротой, между тем как радуга, которая повисла на них, непоколебимая в своем покое, остается чужда этой беспрерывной смене, так и всякая *идея*, т.е. род живых существ [в биологии предпочли бы сказать: вид], остается совершенно недоступна для беспрерывной смены его индивидов. А именно в *идее* или роде и лежат настоящие корни воли к жизни; именно в ней она находит свое выражение, а потому воля действительно заинтересована только в сохранении идеи. Например, львы, которые рождаются и умирают, — это всё равно что брызги и струи водопада; *leonitas* же, *идея* или форма льва, подобна непоколебимой радуге над ними. Вот почему Платон только *идеям*, т.е. species, родам [видам], приписывал настоящее бытие, индивидам же — лишь беспрестанное возникновение и уничтожение»[220].

Шопенгауэр считается критиком Гегеля, но есть общее правило: если мысль настоящая, то на каком бы языке какой бы своей

---

[220] Мир как воля и представление. М., 1903, с. 497—498.

современности она ни говорила, она «имеет в виду» одно. Гегель: «Новая ступень имеет свою причину во внутренней идее, составляющей основу природы... Совершенно пустое дело представлять себе виды так, как будто они постепенно развивались во времени: разновременность не имеет ровно никакого интереса для мысли. Человек не выработался из животного, ни животное из растения: каждый организм сразу явился тем целым, которое оно есть. [Но как? Бежим к биологии — она говорит и не говорит.] Поэтому, если земля и была в таком состоянии, что не существовало ничего живого, то всё же, как скоро молния жизни ударит в материю, тотчас возникает полный организм, как Минерва возникает во всеоружии из головы Юпитера»[221]. Т.е. если уж вы допустили «молнию жизни», то эволюция зачем, она не интересна.

У нас, может быть, самый заметный и важный противник дарвиновской эволюции Лев Семенович Берг (1786—1950). Физико-географ и биолог. Первый провел зональное физико-географическое районирование СССР. Ихтиология (анатомия, систематика, распространение рыб), климатология, озероведение. В «Трудах Географического Института. Том I» напечатал в ПБ (Государственное издательство) «Номогенез, или эволюция на основе закономерностей». Из дарвинизма собственно вынута соль, если уже есть закон, по которому происходит развитие. В чуть более раннем варианте номогенеза Берг дает эпиграф из Гёте: «Нет ничего существеннее попыток установить зоономию и проследить те законы, которыми определяется жизнь органических существ». Не совсем правомерно ссылаться на Гёте: у него константы, архетипы это как те выигрыши, гениальные догадки природы, о которых мы читали прошлый раз, у Берга они законы развития.

Я писал это и спохватился: говорил, что в целом я за Дарвина, а излагаю его противника. В целом Берг по сравнению с дарвинизмом, по-моему, проигрывает неучтением важности собирающего, концентрирующего узлового предельного момента, критического и кризисного, в жизни жизни, так сказать.

Берг оставляет роль естественному отбору, но только для сохранения *нормы*. Причем отклоняющееся от нормы сохраняется у него не тривиально: не так вовсе, что сохраняется статус-кво какого-то постоянного естественного разброса вариантов и отклонений в пределах вида, *а так, что в каждом поколении снова и сно-*

---

[221] Через Берга цит. по: *И.И. Лапшин*. Законы мышления и формы познания. СПБ, 1906, с. 119.

ва появляется разброс большой, а с прочисткой, выверкой на жизненность (с дарвиновским отбором) все так сказать маргиналы сходят со сцены, вид снова подтягивается к норме. Берг цитирует исследователя поколений мака ⟨К. Пирсона⟩: «всякая раса есть в гораздо большей степени продукт своих *нормальных членов*, чем этого можно было бы ожидать, исходя из относительной численности ее отдельных представителей»[222]. Между прочим, это можно наблюдать и в человеческом обществе: разброс девиантов, опустившихся, спившихся в каждом поколении очень большой, но в каждом следующем дети снова начинают внутри скорее нормы. Если увеличивается число нездоровых детей, то в меньшей мере чем среди взрослых. Типично чтобы дети оказались нормальнее родителей, наоборот бывает реже. Во всяком случае, к этому тезису Берга надо прислушаться и против него трудно возразить: сам по себе естественный отбор похоже действительно не изменяет *нормы*. Чтобы норма изменилась, нужен естественный отбор *плюс* еще что-то. Допустим, самое заметное и понятное: изменение среды. Если пойти по этому пути дальше, вы понимаете, мы спросим, что такое «среда» и расширим ее до космической. Космическая среда явно меняется, но как? Замечают изменение допустим магнитной оси Земли, а изменение радиации? например в связи со слоем озона?

Биолого-географ, Берг обращает внимание на одновременные массовые изменения, например европейской ели, которая на севере России и в Сибири образует подвид Picea excelsa obovata. «Конечно, образование этого подвида произошло не так, чтобы сначала где-то получился один экземпляр его, а затем он завоевал бы всю Сибирь. Нет! Под воздействием сибирского ландшафта все ели в Сибири превратились в форму obovata» из просто Picea excelsa[223]. Или наблюдают, это уже геологи, изменение формы моллюска Planorbis multiformis при переходе из одного горизонта верхнетретичных отложений в другой. «В последовательных превращениях принимали участие все особи сплошь: ничто не говорит... в пользу того, чтобы слабые различия в величине или скульптуре раковины имели какое-либо селективное значение»[224].

Верхнетретичные отложения в геологии. Грубо говоря, перед появлением первого человека. Если допытываться в годах, время третичной системы, то у геолога будет скорее досада: о длитель-

---

[222] *Л.С. Берг*. Труды по теории эволюции..., с. 83.
[223] Там же, с. 84.
[224] Там же, с. 86.

ности периодов спорят, недаром предпочитают вместо *период* говорить *система*. После четвертичной системы уже не считают: она последняя, мы живем в ней. О третичной знают много: она и громадная по сравнению с четвертичной, вообще системы, как в человеческой истории периоды, с приближением к *сегодня* сокращаются, на третичную приходятся десятки миллионов лет, около 65 в большинстве случаев дают, а на нашу четвертичную всего лишь только миллионы, причем редко больше 3,5, а иногда всему этому четвертичному, т.е. и плейстоцену, «большей частью новому», и голоцену, «полностью новому», им вместе дают только 600 тысяч лет. По сравнению с этим третичная система — какой простор, и как интересно. Если по времени она занимает примерно 98 % всего кайнозоя, этих 60—70 миллионов лет (но правда палеозойская группа, опять заметьте предпочитают говорить «группа» а не «эра», и мезозойская группа каждая раз в пять грубо говоря дольше нашего мезозоя, начало палеозоя это больше полумиллиарда лет назад) — но всё равно, в этих 70 миллионах примерно лет кайнозоя тонул бы и наш голоцен, если бы — если бы не одна деталь. Кайнозой начинался, захватывая мезозой, — заметьте, что жизнь служит часами земли в большей мере чем геология, — с того, что образовалось собственно знакомое нам лицо земли: геосинклинали, очень грубо говоря продолговатые плоты земной коры, которые почему-то плавают по более горячей и жидкой внутренности Земли, надвигаясь друг на друга, в некоторых местах от напора складывались, сгибались без разрыва и возникли горные *сооружения*, так они называются, Альпы, Кавказ, Памир, Гималаи и Анды вдоль Тихого океана тоже. Так может морщиниться кожа. Понятно, что при этом в одних случаях изгиб происходит вверх и снизу поднимаются слои изнутри, так сказать более «древние», это антиклиналь, а в других случаях наоборот кора будет продавливаться внутрь, это синклиналь, и в антиклинали геологам так сказать подают наверх то, что иначе было бы надо очень глубоко откапывать, а в синклинали наоборот, копаешь копаешь и всё «новое». Может быть для нас важнее резкое изменение климата. Ледники покрыли всю северную треть Европы, Сибири, естественно России, и на этом фоне среди льдов почему-то возник человек. Верхнетретичные отложения — это во время возникновения известных нам горных *сооружений*, но очень задолго до всех оледенений. Вы помните, как об этом стандартно пишут, цитирую случайно Вернадского: «Благодаря открытию огня человек смог пережить ледниковый период — те огромные изменения и колебания климата и состояний биосферы, которые теперь перед нами

научно открываются в чередовании так называемых межледниковых периодов — по крайней мере трех — в северном полушарии. Он пережил их, хотя при этом ряд других крупных млекопитающих исчез с лица Земли. Возможно, что он способствовал их исчезновению. Ледниковый период не закончился и длится до сих пор. Мы живем в периоде межледниковом — потепление еще продолжается, — но человек так хорошо приспособился к этим условиям, что не замечает ледникового периода. Скандинавский ледник растаял на месте Ленинграда и Москвы несколько тысяч лет назад, когда человек обладал уже домашними животными и земледелием»[225]. Можно рассматривать снег, насколько он еще сохраняется у нас зимой, как остаток последней эпохи оледенения. Комментатор к Владимиру Ивановичу Вернадскому (1863—1945), который был уже в возрасте 75 лет, когда писал это, уточняет (Вернадский был склонен отодвигать в прошлое, возникновение жизни например до 2—3 миллиардов лет назад, возникновение человека несколько миллионов): «Современный вид Homo sapiens (человек разумный) появился 40—50 тыс. лет назад не в Африке, а в достаточно северных широтах Европы и Азии, вероятно, не без влияния приспособления к экстремальным условиям ледниковой эпохи»[226]. — Так вот, при переходе из одного слоя отложений верхнего третичного периода в другой наблюдают, что моллюск Planorbis multiformis весь другой, без промежуточных форм. — Или африканская пчела будет другая, между прочим более злая, абхазская имеет хоботок на 0,5 миллиметра длиннее чем орловская. Для Берга важно, что меняются сразу все (главный указатель в расоведении). Берг верит экспериментам в стиле начала века, когда актуальны были разговоры о расах: придавали большое значение округлости или удлиненности головы, по этому признаку как-то различали расы, и замеры по двум показателям, ширина черепа — длина черепа, у 6000 евреев показали, что если они родились в Европе, то ширина черепа у них 83 % его длины, а если родились в Америке, то уже только 81 % от длины, т.е. для того чтобы стать более длинноголовым, менее короткоголовым, достаточно только родиться в Америке. Просто переселение в Америку никакой разницы с европейскими параметрами не дает. Опять же изменение сплошное, оно сначала, в первом поколении,

---

[225] *В.И. Вернадский.* Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1977, с. 29.

[226] Там же, с. 157. См.: *И.К. Иванова.* Геологический возраст ископаемого человека. М., 1965. То же на немецком языке, Stuttgart, 1972.

резкое, потом медленное, в том же направлении. Евреи удобны потому, что они живут по всему миру, и признак параметров черепа меняется *везде*, приближаясь к типу окружающего населения[227]. — Сюда же относится увеличение роста, например заметное у голландцев — *не* питание; причина не совсем ясна. — *Гибкость* человеческого организма. — Прибалтика: белокурые, голубоглазые. Своеобразная *мимикрия*. Байрон: as the soil is, is the heart of man: не только сердце[228]. — Эти изменения понятно *не наследственны*, при возвращении на прежнюю почву опять же массой всё возвращается обратно. — Но: есть формы (ср. с елью) упорно сохраняющие фенологию. — Знаток фауны Черного моря говорил, что он устриц средиземноморских в куче отличит от черноморских: «Почти на всех черноморских животных лег какой-то „черноморский отпечаток": меньший рост (кроме [!] некоторых видов более северного происхождения), более бледная окраска, менее богатая скульптура, меньшая прозрачность и т.д.»[229].

Сплошность изменения проявляется еще и в том, что новость какого-то вида по сравнению с другим видом не в каком-то одном органе, а сплошная, захватывающая всё строение животного до мелочей. «Если животному, быстро бегающему, например антилопе, необходимо иметь длинные ноги, то, во-первых, одинаковые вариации должны сразу получиться на всех четырех ногах; во-вторых, *одновременно* с костями и *в том же направлении* должны удлиняться мышцы, сосуды, нервы, перестроиться все ткани». Так оно и оказывается при наблюдениях. «Верить, что такое совпадение случайностей может осуществиться, это значит верить в чудеса»[230]. По дарвиновской же теории вроде бы у одних особей окажутся удачные длинные ноги, но их короткая прежняя шея не даст дотянуться до травы, надо будет дожидаться особей, у которых случайно и длинные ноги и длинная шея, тогда они и убегут от волков и смогут напитаться, но для изменившегося кровообращения у них слишком маленькое сердце, и неприспособленный для новых скоростей кожный покров.

Вот главный тезис Берга: «Мы установили два факта, тесно связанные друг с другом. Во-первых, естественный отбор вовсе не благоприятствует отдельным счастливым уклонениям, а сохраняет норму. Во-вторых, процесс видообразования идет путем массо-

---

227 *Л.С. Берг.* Труды по теории эволюции..., с. 243.
228 Там же, с. 245.
229 Там же, с. 249.
230 Там же, с. 86.

вой трансмутации. Этих двух фактов совершенно достаточно, чтобы опровергнуть селекционизм, т.е. учение об отборе случайно полезных вариаций, и показать, что эволюция есть *номогенез*, или образование новых форм на основе закономерностей»[231].

Эту черту природы, о которой говорит тут Берг, каждый наблюдал. В русском есть выражение «дружно» в смысле «все вместе»; люди, которые зависят от того, какой урожай, замечают весной «дружные всходы» например кукурузы; от этого бывает весело, все зерна, еще так выражаются, «как сговорились» прорасти одновременно, для человека на земле это всегда *радостно*, причем не через цепочку рассуждения, «значит будет хороший урожай», всё еще может сорваться, а прямо, от *поведения* растений. Всходы могут быть и не дружными. Опять же они потом могут подравняться и урожай будет хороший, но всё равно это хуже чем дружные. Разумеется, всё зависит от условий: когда тепло, после сильного дождя. Но что и со стороны самого засеянного поля есть спонтанное движение, встречное, *готовность* подтянуться к условиям, *всем сразу*, мы это чувствуем. Эту линию можно и нужно продолжить, например в ту сторону, что способность к дружному поведению повышает шансы вида в условиях «естественного отбора», но я сейчас эту нить обрываю.

Перехожу к еще одному тезису Льва Семеновича Берга. (Кстати, его вторая жизнь была поддержана переводом его книги «Номогенез», вышедшей в 1922 г. в Петербурге, на английский язык (1926). На английском же можно читать книгу дочери Берга, Раисы Львовны, Acquired Traits, Viking USA (Aug 17 1988)). Связанное с так называемым «биогенетическим законом», индивидуальное развитие особи, «онтогенез» (по-моему, очень неудачный термин) кратко повторяет (рекапитуляция) главные «этапы эволюции» (филогенеза) всей группы, к которой эта особь относится. Биогенетический закон сформулировал тридцатилетний немецкий дарвинист Эрнст Геккель (Haeckel) в двухтомнике «Общая морфология организма» 1866. (Другая его известная книга «Мировые загадки» 1899.)

Всё было бы просто, если бы не было случаев когда наоборот особь носит на себе лишние свойства или признаки, которые у нее не разовьются и не понадобятся, но разовьются и понадобятся группам, которые считаются *выше* развитием чем у группы, к которой принадлежит эта особь. Красивый пример южноафриканской вельвичии, хвойникового растения. Оно раздельнополое, как

---

[231] Там же, с. 87.

например облепиха, и это признак «низшей» организации, высшая была бы двуполость, как у яблони например. «И вот мы видим, что у вельвичии... в мужских цветках наряду с шестью тычинками появляется зачаточная семяпочка. Эта семяпочка бесплодна, но тем не менее снабжена рыльцем; физиологически она не функционирует, морфологически же цветки этого своеобразного растения двуполые. Какое значение имеет этот зачаток пестика, не приносящий никакой пользы растению? Будь это наследие предков, дело было бы понятно. Но здесь пред нами „рудимент" органа, который начнет функционировать лишь в двуполом цветке покрытосемянных»[232].

Чтобы говорить об опережении видового развития, нужно уже иметь схему *как* всё развивалось, подобная схема всегда может быть и другой. У развития особи (т.е. стало быть в так называемом онтогенезе) без схемы можно наблюдать ⟨такое опережение⟩, пример Берга: асцидии, это класс морских хордовых животных подтипа оболочников. Хорда — первичная скелетная ось, а еще не позвоночник. «Еще не» — это наша дань дарвинизму. Если так проецировать на время, то хордовые потом становятся позвоночными, но позвоночные это уже третий подтип хордовых, второй — головохордовые, а первые — оболочники, т.е. у них тело в мешке или в бочонке. Оболочников хордовых больше 1000 видов. Так вот, можно было бы ожидать, по закону Геккеля, что у личинок асцидий не будет хорды, а у взрослых будет. Всё прямо наоборот. Асцидии взрослые, до 50 см, это живые мешки, или туни́ки, оболочников еще называют «туникатами», в море, и никакой хорды у взрослых асцидий нет, они как моллюски, а у личинок асцидий всё так, словно они хотят стать полноценными позвоночными не хуже скажем человека: есть хорда, спинная нервная система, слуховой пузырек, глазоподобный орган, жаберные щели, т.е. начала и ушей и глаз и жабр, т.е. всё как бы готово к появлению головы, а голова не появится, и хорда и спинная нервная система и глаза и уши и жабры рассосутся с возрастом. Тогда асцидии *были* раньше позвоночными, и потом вернулись назад дегенерировали в сторону моллюсков?

Вот это было бы совсем интересно, эволюция может идти назад, и мифы тихоокеанских архипелагов, что обезьяна это результат дегенерации человека, оказываются верными.

Берг просит не приписывать мистику своим тезисам: онтогенез не обязательно повторяет филогению, может предварять ее;

---

[232] Там же.

филогения может опережать свой век. Трансформизм есть в буквальном смысле слова «эволюция», т.е. развертывание уже существующих задатков. Есть *закон* развития, развитие идет как бы зная куда и *для* его цели. Грубо говоря, что ему надо, то животное и приобретет. Вот два красивых примера.

Один из Берга. Амфибии, например лягушка, всего амфибий под 3000 видов, причем ископаемых амфибий тоже очень много, в личиночном состоянии как вы видели дышат жабрами, во взрослом как мы легкими. Что вы скажете, увидев рыбу, у которой и легкие и жабры. Этих рыб очень мало, они вымирают, по одному виду в Австралии, Южной Америке и Африке. Всего проще думать: значит лягушка это какая-то двоякодышащая рыба. Нет, это совсем разные группы, но у двоякодышащих рыб кроме легкого разделение предсердия на две половины, носовые отверстия открываются в полость рта, элементы верхней челюсти срастаются с черепом, т.е. как у нас, в переднем мозгу аммонов рог как у высших позвоночных, у других рыб его нет. Т.е. параллельно у рыб, когда им стало нужно жить и на земле, стало появляться всё то что у земных, на другой, так сказать рыбной базе. — Так же обстоит дело со знаменитым сходством птиц и динозавров, например пневматичные кости, в полости которых по-видимому проникали как у птиц воздушные мешки легких. Но птицы не произошли из динозавров, и тут опять на разных базах конвергенция. Еще больше сходства у птиц и птерозавров, вплоть до птичьих черт в строении мозга у птерозавра Scaphognatus, но опять не генетическая связь. Обобщение Берга, не его только, потому что тут не теория, а факт: «Сходства, наблюдаемые в двух группах организмов, сплошь и рядом оказываются следствием не кровного родства этих групп, а результатом независимого развития в одном и том же направлении»[233]. Еще короче: различия первичны, сходства вторичны. Прямо против Дарвина: признаки не дивергируют, а *конвергируют*. Связано это с общим нивелированием, выравниванием под бульдозер условий жизни на земле? Позволю себе сравнение с языками: раньше было больше разнообразия, теперь идет сближение из разных углов.

Другой пример из Николая Ивановича Вавилова (1887—1943), который в своей работе по селекции и классификации растений так часто встречался с конвергенцией, что считал возможным *предсказывать формы*, например среди памирских пшениц он нашел в 1917 году форму без язычка у основания листовой пластин-

[233] Там же, с. 91.

ки и уверенно заключил: значит, такая же форма, без язычка, есть и у ржи — и в следующем году ее там же на Памире нашел. *Гомологические ряды* культур.

Почему Берг говорит, да и все, о «развитии» беспроблемно. Вовсе не потому, мы говорили, что критерии развития есть. Стоит начать говорить о них, и всё затемняется. Но развитие, т.е. разница уровня, аристотелевской ступени лестницы, видно интуитивно, невооруженным глазом так же ясно, как разница между поколениями электроники. Другое дело, что скажем разница между системой электроинструментов и синтезаторов богатой эстрадной группы и Александром Вустиным, который в одном своем произведении пользуется только человеческим свистом и ударами деревом по дереву рояля, в одном отношении совершенно очевидна, любому и каждому с первого взгляда, в смысле абсолютного, безусловного превосходства технического, в сложности, в изощренности, эстрадной группы над Вустиным. Превосходство Вустина, такое же абсолютное, безусловное, над эстрадной группой и вовсе не так безусловно видно, и главное выражается в терминах каких-то апокалиптических, пророческих, для науки неуловимых, библейских или метафизических: вроде сотворения из ничего, самостояния, опять же святости, причастности к вечному, т.е. юному.

По параметру сложности-тонкости-изощренности лестница существ очевидна, по параметру другому, трудному, ⟨нет,⟩ и определение этого параметра прямо наше дело, и оно же дело нашей жизни. Если говорить о выживании, то выживание человечества связано со смыслом — нет оснований говорить что в остальном живом мире иначе, только там чаще говорят о цели. Смысл не менее важен чем хлеб *биологически. При сбое в снабжении смыслом его восстановление становится дороже хлеба, люди буквально не дают себе есть, как бы голодом выбивая из себя истину.* И наоборот, кажущийся успех приспособления, обеспеченность хлебом эпохи скажем «Титаника» или теперешнего общества потребления настолько не показатель того, что человеческий род на правильном пути, что как бы и не наоборот. Во всяком случае когда есть снабжение смыслом, откуда-то берется хлеб, но не наоборот. Добывание смысла поэтому для нас, людей, и непонятно почему не для всех — что такое выигрыши природы, по Гёте, как не проблески смысла, — биологически важнее всего. Понятно поэтому, что такое религия, поэзия, философия.

К сожалению, у Берга мы отчетливого понимания целесообразности («*Целесообразность есть основное свойство живо-*

го»[234]) не найдем. В сущности его научный подход в этом отношении так же беззаботен, и он может говорить о цели как шутят садоводы о новых сортах: «Первое условие для разведения новой разновидности — это иметь ее готовой»[235]. Цель уже *есть там*, она чувствуется. Искусственный отбор как бы извлекает затерянную форму, очищая ее от примесей. Естественный отбор наоборот работает в пользу грязных форм.

Но смотрите, так легко сбиться на тривиальности, и против грубого понимания дарвинизма, дикого, в смысле «притесни живое предельными условиями и получишь что-то интересное», говорит здравый смысл, как Николай Гаврилович Чернышевский, не нуждаясь ни в каких особых биологических знаниях, писал в 1888, подписываясь «Старый трансформист», в статье «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь»: «Самая обыкновенная форма естественного отбора — вымирание излишних существ от недостатка пищи. Одни ли умирающие существа подвергаются в этом случае голоду? Нет, все. Так ли поступает хозяин со своим стадом? Улучшалось бы его стадо, если б он сдерживал размножение, подвергая всех животных голоду?»[236].

В этой связи поневоле снова начинаешь думать о неандертальцах: по объему мозга, строению зубов (корни короче, клыки меньше отличаются от других зубов), нёбо шире, челюсть интереснее устроена чем у homo sapiens, он не хуже нас. Может быть уничтожение неандертальцев нами уже было следствием неверно понятой полезности борьбы, и мы тут сделали большую ошибку, которую должны исправить религией, которая учит, «несть наша брань ко плоти и крови, но к началом, духовом злобы».

Хоть и частичный, отказ Берга от чесотки эволюционизма освобождает ему поле зрения для природных пра-форм, блестящих находок природы (Гёте), действующих сквозь все ступени, поверх всякой «близости происхождения». От чистой феноменологии эволюциониста отвлекает навязчивая схема «что из чего», «что развивается во что», «что прогрессивнее чего». Это как если бы допустим кто-то имел схему безусловной прогрессивности всего, что сделано на Западе, у него не было бы глаз для добротности у нас.

Берг спокойно говорит о физиологических параллелях[237] между животными и растениями. У некоторых насекомоядных расте-

---

[234] Там же, с. 101.
[235] Там же, с. 129.
[236] Там же, с. 132.
[237] Там же, с. 218.

ний есть для переваривания животной пищи фермент подобный пепсину, прослежена аналогия между урнами таких растений и слизистой оболочкой желудка: там и там содержится зимоген, профермент, неактивный предшественник фермента — например не пепсин, а пепсиноген, если бы биосинтез давал сразу пепсин, то переваривались бы сами создающие его клетки, был бы эффект язвы желудка; организм, одинаково животный и плотоядный растительный, дает химический сигнал кислотой, по которому в нужный момент зимогены, проферменты, превращаются в активные ферменты. Есть растение, которое своим пепсином растворяет допустим белок куриного яйца. При переваривании получаются пептоны, продукт неполного гидролиза белка, — состав, который в микробиологических лабораториях применяют как питательную среду. Потом, на второй ступени, эта питательная среда подвергнется еще новой обработке. Такая сложная система переваривания белков есть у высших животных и не всегда у беспозвоночных.

21 (10.3.1998)

Не смущаясь большим расстоянием между этими вещами на эволюционистской схеме, Берг замечает и родство растительного хлорофилла с животным гемоглобином. 75 лет назад была открыта реакция для различения мужской и женской крови. Та же самая реакция работает и для различения мужского-женского у двудомных растений, типа облепихи; клён и крапива тоже относятся к двудомным[238]. Приемы природы те же на расстоянии.

Берг географ, мы уже видели его внимание к географическим изменениям форм. Мысль совсем не новая. В античности в так называемом язычестве власть места была замечена, общепризнанна, и местные боги были закреплением и освящением того, что теперь узко понимается как «свойства среды». Земля космическое тело, и по моему ощущению нет никаких причин отмахиваться от космической привязки местностей Земли: если вращение, склонение оси, магнитное поле, орбита, удаление от Солнца Земле, так сказать, диктуются из космоса, то почему не свойства мест. Другое дело что научная строгость строго воспрещает фантазировать о том, чего мы не знаем. То, что я сказал, может иметь только очистительный, освободительный смысл, допустим навязчивого сведения этой зависимости сердца от почвы только к климатическим условиям или к климатическим и геологическим условиям. Мы не знаем и не можем знать, какой суммой «факторов» определяется склад человека допустим на восточноевропейской равнине. Это значит, что нам остается только наблюдение и еще наблюдение. Не запретно связывать разницу между московской общественно-государственной структурой и новгородской с тем фактом, что между Москвой и Новгородом проходила где-то граница ледника, в Новгороде ледник был, в Москве нет. Во всяком случае помнить

---

[238] *Л.С. Берг.* Труды по теории эволюции..., с. 218.

об этом имеет смысл. Во время выборов во Франции историки обратили внимание на границу между поясом «левых» и «правых», оказалось, что она в точности проходила там, где в Римской империи проходила граница между тогдашними провинциями. Самое главное удерживаться здесь от объяснительных догадок. Только тогда освободится зрение для сквозных, сплошных печатей, приемов, проходящих в природе вещей там, где по нашим, допустим научным, представлениям для действий природы нет оснований.

Пример один из множества у Берга, морфологического параллелизма (по другим авторам с. 249): в горах Самаркандской области находят очень своеобразного жука-водолюба, не похожего обликом на водолюбов: более грубая скульптура всей поверхности, почти полная матовость, сужение кзади переднеспинки, а у всех водяных жуков она расширена. И там же находят тоже водяного жука, но совсем другого семейства, не водолюба а плавунца, с этими же странными особенностями. Берг цитирует исследователя, у которого это берет, присоединяясь: «Склонность у отдельных видов, независимо от их генетической близости, под влиянием суммы аналогичных или идентичных условий существования развиваться в одном и том же направлении, приобретая (прогрессивно или регрессивно) комплекс общих признаков»[239]. — Мне в таких случаях только хочется хватать исследователя сзади за подол и говорить ему: чувствуй себя свободнее с этими «условиями существования», «под влиянием» которых животные живут и развиваются; ты не обязан эти условия определить, почему водяные жуки так меняются в среднеазиатских горах, вообще «почему всё так» мы в конечном счете не знаем; причины это наша гипотеза, а водяной жук не гипотеза, и лучше спросить у него, он лучше объяснит, что такое среда, а всякая «сумма условий» всегда останется нашим конструктом. Русский человек зависит от климата восточноевропейской равнины, но он больше скажет о свойствах этой равнины чем свойства этого климата скажут о нем.

И я бы сказал: не увлекайтесь простотой объяснения, когда например у видов ящериц и жуков и у роющих в песке ос, у кротов и сусликов пустыни есть приспособления для жизни в песках, роговые зубчики или волоски, ноги-метелки, ноги-щетки, причем эти щетки прирастают к разным местам ног. У верблюда «нога с подошвой», но и голени жуков тоже расширенные, у песчаного таракана шиповатые голени. Всё это приспособления конечно для

[239] Там же, с. 249 сл.

отгребания песка, но не только: потом мы еще будем говорить, что количества игры, иррациональной мимикрии и разнообразного изобретательства в видоизменениях животных столько, что не бессмысленно говорить, что живое существо *отыскивает, выискивает* повод для развертывания своей изобретательности, примерно как художник без нужды может отправиться в трудности в пустыню, чтобы сделать там пейзажи. Примитивное представление о «среде» что она животному чужая как новоевропейскому субъекту. Она животному явно не «внешняя» и не «чужая» как новоевропейскому субъекту. И человеку она тоже не внешняя и не чужая, осталось только догадаться об этом.

О таких эстетических, если хотите, игривых причинах изменчивости Берг хорошо говорит в своих исследованиях мимикрии. — Только вдогонку Чернышевскому, с которым Берг солидаризуется, на тему о морфологическом параллелизме я сделаю одно примечание в пользу всё-таки Дарвина. Берг замечает[240] сходство в психической области, в образе жизни и инстинктах, вроде бы совершенно независимо вырабатывающихся у общественных животных: термиты, муравьи, пчелы, осы, человек. Термиты и муравьи, между прочим, принадлежат к совершенно разным группам. И вот африканские термиты и южноамериканские муравьи явно независимо придумали создавать грибные сады или питомники, плантации. Ясно, что человек действует так же. Для устройства грибных садов южноамериканские муравьи взбираются на деревья, нарезают там листья и сносят в гнезда — термиты на другом континенте делают так же, и тоже носят листья колоннами, в сопровождении солдат; способ нарезки листа и уноса одинаков у муравьев и термитов. Но к этому описанию то ли муравьев, то ли людей приходится к Бергу добавить, что солдаты сопровождают колонну рабочих муравьев не просто для парада. Муравьев едят медведи, муравьеды, барсуки, птицы, но самый страшный враг муравьев — сами муравьи. Война идет ежечасно, везде, в одиночку и муравейник на муравейник. Обычно каждый муравейник имеет свои границы охоты, свою территорию. На муравья, попавшего в чужие владения, тотчас же нападают. На границе между территориями муравейников соблюдается что-то вроде нейтралитета. Встретившиеся противники, раздвинув челюсти, расходятся каждый в свою сторону. Если добычи не хватает и муравейники тесно расположены, группы муравьев схватываются и начинается война. «У некоторых муравьев взаимные побоища

[240] Там же, с. 261.

происходят регулярно и протекают как будничная работа по истреблению слишком размножившихся собратьев»[241].

Нет ни малейших оснований не доверять серьезности наблюдений Мариковского над муравьями. Но и нет никакой возможности отслоить у него от этих наблюдений его ощущение того, как развивается жизнь, его философию жизни. Не исключено, что войны между колониями муравьев не имеют только цели защиты жизненного пространства для этой колонии против другой. В природе ничего не односложно, на нее можно распространить то, что Фрейд говорил об образах бессознательного: ищите, эти образы имеют никогда не меньше трех смыслов. Мы беззащитны против биолога, наблюдателя, когда он как например возможно в случае этого наблюдателя муравьев почему-то — например думая о международных отношениях периода холодной войны, т.е. войны, — склонен подчеркивать борьбу живого.

Описание, любое, всегда зависит от оптики, которой пользуется исследователь. Оптика может меняться по ходу описания, но всегда задним числом, она всегда описанию предшествует. И дополнительная трудность в том, что не сначала приобретается оптика и потом вооруженный ее глазом исследователь, зная чем он вооружен, исследует свой «предмет». Всегда *вместе* с притяжением вещи, которая собирает на себе внимание, на глазах глядящего оказывается как-то «естественно» и оптика, и увлечение притягивающим обычно так велико, что оптика откуда-то берется сама собой. Здесь по сути действует принцип Ламарка: когда жизни нужен орган, она его создает. Оптика неотделима от наблюдаемого, она его функция. Уточним поэтому претензию к наблюдателю муравьев: у нас есть опасение, что он пользуется оптикой *отдельной* от наблюдаемого, заранее имеет координатную сетку.

Перед темой *мимикрии*, для которой надо будет вспомнить то, что мы говорили в разных курсах о мимесисе, надо to take stock, провести инвентаризацию. Где мы стоим и что у нас на руках. Мы стоим в лесу, лучше, как я говорил позапрошлый раз, думать что мы никуда не вышли из первобытных джунглей и не видим дальше чем близко вокруг себя; просматриваемость, обеспечиваемая экраном и компьютером, иллюзорна, все ее перспективы прочерчены только на искусственной плоскости. Я читаю из физика и биолога Freeman Dyson (родился в 1923 в семье музыканта в Англии, потом получил американское гражданство), из его книги Infi-

---

[241] *Павел Иустинович Мариковский.* Насекомые защищаются. М.: Наука, 1978, с. 27.

nite in all directions[242] (к названию книги: это фраза из Эмиля Вихерта, «Wiechert-Gutenberg discontinuity», прохождение волн землетрясений показывает резкое изменение скорости прохождения на глубине 2900 км от увеличения плотности почти в 2 раза, предположительно переход от мантии к металлическому ядру; Вихерт в 1896: «Вселенная бесконечна во всех направлениях, не только над нами в ширину, но и под нами в сторону уменьшения». Когда это говорит Лейбниц, мы говорим, «метафизика», когда физико-химик, лучше верим: «наука»). Читаю из Фримана Дайсона: «Иногда, когда я слушаю разговоры моих молодых коллег в Принстоне, мне кажется что я потерялся в тропическом лесу, где насекомые и птицы и цветы растут вокруг меня в сложном изобилии, in intricate profusion, growing too abundantly for my sixty-year-old brain to comprehend. But the young people are at home in the rain forest and walk confidently along trails which to me are almost invisible. They have their own discipline, different from the discipline which I was taught forty years ago [Дайсон учился у Julius Robert Oppenheimer, 1904—1967, в Принстоне в Америке, где сейчас преподает Нина Владимировна Брагинская], but still as strict in its way as mine. They are not wandering aimlessly. They are explorers, mapping out the ground, finding the ways that will lead them out of the jungle up to the mountain peaks»[243]*. Наука для Дайсона движется, но не так что джунгли становятся реже и не так, что когда теперешнее поколение выберется из чащи на сияющие вершины, то следующее будет уже не в лесу. — Когда я говорил, что мы сейчас в джунглях как всегда, мы могли считать это метафизикой, когда говорит Фриман Дайсон, должны считать наукой.

Осматриваемся кратко и бегло, где мы стоим в этом лесу. Что граница между физикой и биологией стерта, это мы уже заметили. Почва под нами окончательно ушла, потому что математическая физика действительно отчаялась разобраться в элементарных частицах, как-то сопоставимых с размерами атома, и бросила большие силы на теорию суперструн. The distinguishing feature of superstring theory is the postulate that elementary particles are not mere

---

242 N. Y.: Harper and Row, 1988.

243 *F. Dyson*. Infinite in all directions... Part I, § 1. * Перевод: что мои мозги 60-летнего человека неспособны это понять. Однако молодые люди чувствуют себя в тропическом лесу как дома и гуляют по тропинкам, которые я почти не вижу. У них своя дисциплина, отличная от той, которой меня учили 40 лет назад, но всё еще по-своему строгая, как и моя. Они не бродят бесцельно. Они исследователи, создающие карту местности, ищущие пути, которые выведут их из джунглей к горным вершинам.

points in space but have linear extension. The characteristic linear dimension is given as a certain combination of the three most fundamental constants of nature: (1) Planck's constant *h* (named after the German physicist Max Planck, the founder of quantum physics), (2) the speed of light *c*, and (3) the universal gravitational constant G. The combination, called the Planck length (Gh/c){sup 1/2}, equals roughly 10{sup -33} cm, far smaller than the distances to which elementary particles can be probed in particle accelerators on the Earth[244*]. Т.е. теория, или скорее *суперструны* можно назвать пока гипотезой, снова ушла в ненаблюдаемое, потому что пропорционально суперструны так же малы по сравнению с атомом, как атом мал по сравнению с солнечной системой. A type of theory of particle physics that treats elementary particles as extended one-dimensional «string-like» objects rather than as the dimensionless points in space-time used in other theories. Superstring theories became popular during the 1980-s when Michael Green of Queen Mary College, London, and John Schwarz of the California Institute of Technology showed that certain types of such theories might provide a fully self-consistent quantum theory that describes gravity as well as the weak, strong, and electromagnetic forces. The development of such a unified quantum theory is a major goal in theoretical particle physics, but usually the inclusion of gravity has led to intractable problems with infinite quantities in the calculations. The basic entities in superstring theory are one-dimensional massless strings only 10{sup -33} cm long. (This distance is the so-called Planck length, at which quantum effects in gravity can no longer be ignored.) The strings vibrate, and each different mode of vibration corresponds to a different particle[245*].

244* Перевод: Отличительная черта теории супер-струн заключается в постулате о том, что элементарные частицы больше не являются точками в пространстве, а имеют линейное измерение. Это линейное измерение дано в качестве определенной комбинации трех самых фундаментальных констант природы: (1) константы Планка *h* (названной так в честь немецкого физика, основателя квантовой физики), (2) скорости света *c*, и (3) универсальной константы притяжения G. Эта комбинация, называемая длиной Планка (Gh/c) {sup 1/2}, равна примерно 10{sup-33} см; это намного меньше расстояний, на которых измеряются элементарные частицы в ускорителях частиц на Земле.

245* Перевод: Разновидность теории физики частиц, которая трактует элементарные частицы как натянутые подобно струне одномерные объекты, а не как безразмерные точки в пространстве-времени других теорий. Теория супер-струн приобрела популярность в 1980-е гг., когда Майкл Грин из Queen Mary College в Лондоне и Джон Шварц из California Institute of Technology показали, что определенные типы таких теорий могут дать полностью самодостаточную квантовую теорию, которая бы описывала тяжесть наравне со сла-

Очень грубо говоря, отсутствие массы у суперструн интересно с точки зрения нового интереса физики к вакууму (к пустоте, к ничто) и к тому, что для сотворения мира вакуума, опять очень грубо говоря, было достаточно. Четырехмерность с точки зрения гипотезы струн иллюзия, надо говорить о 10-мерности или о 26-мерности.

Если гипотеза, или теория суперструн станет работать, то будет вовсе бессмысленно говорить о «сложности» или «простоте» или «элементарности» живых молекул: под каждой в глубине окажется столько всего, сколько надо. Граница между живым и неживым становится искусственной, если верна идея Джона Wheeler (b. July 9, 1911, Jacksonville, Fla., U. S.), physicist, the first American involved in the theoretical development of the atomic bomb. He also originated a novel approach to the unified field theory. The son of librarians, Wheeler first became interested in science as a boy reading scientific articles. He was educated at Baltimore City College and Johns Hopkins University, Baltimore, Md., where he received his doctorate in 1933. He also studied with Niels Bohr at the University of Copenhagen. He and Bohr wrote «The Mechanism of Nuclear Fission» (1939), a seminal treatise that singled out uranium-235 for use in the development of an atomic bomb)[246*] о том, что структуры физической природы *не* первичны, они так сказать среднестатистические обобщения, они условные *упаковки* бесчисленных без-законных событий. В книге John Wheeler: «Individual events. Events beyond law. Events so numerous and so uncoordinated that, flaunting their freedom from

---

бой ядерной и электромагнитной силами. Разработка такой унифицированной квантовой теории — главная цель теоретической физики частиц, но обычно включение тяжести приводило к неразрешимым проблемам в исчислении бесконечных количеств. Базовые сущности в теории супер-струн — одномерные, лишенные массы струны длиной 10{sup-33} см. (Это так называемая длина Планка, на которой уже нельзя не учитывать квантовый эффект гравитации.) Струны вибрируют, и разные вибрации соответствуют разным частицам.

246* Перевод: Джон Уилер (род. 9 июля 1911 г., в Джексонвиле, Флорида, США), физик, первый американец, участвовавший в теоретической разработке атомной бомбы. Он также предложил оригинальный подход к единой теории поля. Сын библиотекаря, Уилер заинтересовался наукой, читая мальчиком статьи в научных журналах. Он получил образование в Baltimore City College и Johns Hopkins University, Балтимор, Мэриленд, где он получил степень доктора в 1933. Он также учился вместе с Нильсом Бором в Университете Копенгагена. Вместе с Бором они написали книгу «Механизм деления атомного ядра» (1939), где впервые говорилось о возможности использования урана-235 в разработке атомной бомбы.

formula, they yet fabricate firm form»[247]*. John Wheeler: «It is preposterous to think of the laws of physics as installed by a Swiss watchmaker to endure from everlasting to everlasting when we know that the universe began with a big bang. The laws must have come into being. Therefore they could not have been always a hundred percent accurate. That means that they are derivative, not primary... Of all strange features of the universe, none are stranger than these: time is transcended, laws are mutable, and observer-participancy matters». И еще, Wheeler: «The universe is a self-excited circuit»[248]* — т.е. *автомат*.

Другое вторжение физики в биологию идет от астрономии. На земле находят, только эродированные, кратеры от комет как лунные. Некоторые кратеры возможно скрыты в океане. Большая комета, как Эдмунда Галлея (Halley, английский астроном и геофизик, 1656—1742), которая возвращается каждые примерно 76 лет, с диаметром примерно 15 км, оставит кратер примерно 150 км в диаметре: есть кометы и до 50 км в диаметре, ледяные глыбы. В 10 раз меньше была комета, оставившая кратер, в середине которого в Германии город Nördlingen в Баварии, он окружен правильным кругом холмов, когда-то это были края кратера. Важнее не это изменение географии Земли, а пыльные бури после падения. Известняк, в котором находят ископаемые, перемежается тонким слоем глины, которая имеет все свойства осевшей пыли. Наложение пыли в точности соответствует исчезанию большой части ископаемых остатков. Над слоем глины появляются новые ископаемые.

Характерно: когда красивой теории для полного успокоения требовался бы факт от природы, природа его не дает. Не найден кратер гигантской кометы, которая устроила биологическую катастрофу 65 миллионов лет назад, когда, вы помните, считают конец мезозоя и начало кайнозоя, важное время полного, быстрого вымирания динозавров, ни одного вида вовсе не осталось, и одно-

---

[247] Frontiers of Time. Univ. of Texas 1978, p. 13. * Перевод: Индивидуальные события. События по ту сторону закона. События настолько многочисленны и несоотнесенны друг с другом, что нарочито подчеркивая свою независимость от формулы, они создают устойчивые формы.

[248] Цит. по: *F. Dyson*. Infinite in all directions..., p. 52, 53. * Перевод: Джон Уиллер: Нелепо думать, будто законы физики установлены швейцарским часовщиком и будут вечно работать как точные часы. Мы знаем, что Вселенная началась с большого взрыва. Законы должны были появиться в какой-то момент. А потому они не могут быть точными на 100 %. Среди всех удивительных вещей во Вселенной нет более удивительного чем эти три: время преодолимо, законы подвержены изменениям и участие наблюдателя играет большую роль. [...] Вселенная — это самовозбуждаемый контур (круговорот).

временно массы других животных, преимущественно морских. Биологи говорят о mass extinction. Можно услышать о константе: 26 миллионов лет, повторение биологических катастроф. С этим связана теория повторяющегося через такое время кометного дождя. Запас комет содержится в облаке Яна Хендрика Oort (1900, Голландия), первая публикация Оорта о нем в 1950. Виктор Сергеевич Сафронов, русский, предложил позднее считать облако Оорта остатком того сырья, из которого слиплись все планеты.

Той мелочи, которая падает на Землю сейчас, несколько метеоритов в год, вроде бы недостаточно чтобы за обозримое время планета образовалась. Тогда надо предположить эту константу, вроде бы 26 млн. лет, когда вдруг в течение одного-двух миллионов лет льется просто дождь с неба. Допустим, такое бывает, эта константа существует, свидетельства есть, хотя не для всех биологов и геологов убедительные. Тогда в чем дело. Какое-то тело проходит близко к облаку Оорта и вытягивает, вырывает из него по крайней мере часть, или вообще выводит всё движение комет в нем из равновесия. Нерегулярного приближения Солнца к тем или иным звездам мало. Должна быть какая-то звезда гравитационно связанная с Солнцем. Два голландца, Piet Hut и Rich Muller, предложили искать эту парную Солнцу звезду, в 2,5 световых лет от нас, только где? может быть она не такая яркая, что ее можно увидеть в телескоп. Но Хут дал ей уже имя, Немезида, у нее как обычно для парной звезды продолговатая орбита, раз в 26 миллионов лет она близко к Солнцу, сбивает орбиты комет и вызывает кометный дождь. Последний период гибели живого и кратеров был примерно 13 миллионов лет назад, значит Немезида сейчас всего дальше от нас. Hut и Muller назвали звезду Немезидой «after the Greek goddess who relentlessly persecutes the excessively rich, proud and poverful»[249*]. Вы понимаете, это новый поворот дарвинизма. Проходит Немезида и жестко подстригает жизнь на земле, как садовник деревья. Но как раз *приспособление* к условиям жизни на земле означает, что слишком удобно нашедшие себе ниши экологические погибнут! Чтобы выжить при причесывании, надо быть не приспособленным, не специализированным, а *открытым для изменения и приспособления*. И похоже что люди, при их телесной беззащитности и неприспособленности к жизни в сырой природе, всего *пригоднее* для условий причесывания жизни. Как пишет Дайсон, p. 32, «we thrive of ice ages and environmental catastrophes.

[249*] Перевод: в честь греческой богини, которая неотступно преследует очень богатых, гордых и могущественных людей.

Comet showers must have been one of the major forces that drove our evolution and made us what we are»[250*].

Еще один факт из астрономии тоже безгранично расширяет наш лес, далеко за пределы Земли. Поскольку то, что я хочу сказать, касается изобретательности природы. Эта изобретательность какая-то сбивающая с толку, сумасшедшая. Природа как фокусница словно специально делает перед нами, показывает нам фантастические спектакли, или точнее разыгрывает их сама с собой, как если акробат устроил представление сам для себя. Пример, один из бесчисленных. У гусеницы мозг это пятнышко нейронов несколько миллиметров длиной. Там записана, в случае бабочки Монарх, перелетной, программа: питаться листьями определенного растения, повиснуть потом на хвосте, начать окукливаться, втиснуться в жесткую куколку, это они делают с большим трудом, выбраться из куколки, обсохнуть, взлететь в небо и полететь из Америки в Мексику, зная как-то заранее путь, несколько тысяч километров. Как записано в ДНК, как выполнено — это нас поражает, мы хотели бы знать.

Многое из этого известно. Но смотрите как. Допустим, работает сравнение живого с компьютером, ДН-кислоты как software, протеин — hardware; программы, тексты передаются теми кислотами, мягкими дисками, роль обслуживания этой информационной химии играют протеиновые образования. Но *почему* в природе эти два, старый вопрос. Crick, Francis Harry Compton (b. June 8, 1916, Northampton, Northamptonshire, Eng.; British biophysicist, who, with James Watson and Maurice Wilkins, received the 1962 Nobel Prize for Physiology or Medicine for their determination of the molecular structure of deoxyribonucleic acid (DNA), the chemical substance ultimately responsible for hereditary control of life functions. This accomplishment was widely regarded as one of the most important discoveries of 20th century biology[251*]) настолько убедился в жесткости этого разделения на две, две функции, две природы в

250* Перевод: мы процветаем за счет ледниковых периодов и климатических катастроф. Кометные дожди, вероятно, можно рассматривать как одну из сил, которые вызвали нашу эволюцию и сделали нас такими, какие мы есть.

251* Перевод: Крик Фрэнсис, род. 8 июня 1916 г., Нортгемптон, Нортгемптоншир, Англ.; британский биофизик, вместе с Джеймсом Уотсоном и Морисом Уилкинсом получил в 1962 г. Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие ими молекулярной структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), химического материала, ответственного за передачу и наследственный контроль жизненных функций. Этот успех был воспринят как одно из самых значимых открытий в биологии XX в.

одной природе, что в 1957 году сформулировал «центральный догмат молекулярной биологии». «*The Central Dogma. This states that once information has passed into protein it cannot get out again.* [Четкая граница!] In more detail, the transfer of information from nucleic acid to nucleic acid, or from nucleic acid to protein may be possible, but transfer from protein to protein, or from protein to nucleic acid is impossible»[252]*.

Эта догадка, что природа может фантастически много, похоже не требует специальных знаний. Christian Huygens (1629—1695) не в качестве механика и оптика, а в качестве ума, судившего о природе по своему размаху, писал: «A man that is of Copernicus's opinion that this Earth of ours is a Planet, carry'd round and enlighten'd by the Sun, like the rest of the Planets, cannot but sometimes think that it's not improbable that the rest of the Planets have their Dress and Furniture, and perhaps their Inhabitants too as well as this Earth of ours»[253]*. Т.е. что если у жизни есть проблемы, то не со своим возникновением, распространением и поддержанием. А с чем же тогда. С чем-то вроде возможно тех же проблем, *которые и для нас сейчас продолжают быть главными.* Как добро и зло.

Это из ⟨самого начала⟩ *Cosmotheoros*, который Гюйгенс распорядился напечатать после смерти. Сходные мысли Ньютон вообще предназначал не для печати, запер их в большой черный сундук. Его рукописи о космической жизни вроде бы до сих пор не опубликованы, в библиотеке Еврейского университета в Иерусалиме. «As all regions below are replenished with living creatures (not only the Earth with Beasts, and Sea with Fishes and the air with Fowls and Insects, but also atanding waters, vineger, the bodies and blood of Animals and other juices with innumerable living creatures too small to be seen without the help of magnifying glasses) so may the heavens above be replenished with beings whose nature we do not un-

---

252 *Francis Crick.* On Protein Synthesis. — Symposium of the Society for Experimental Biology, 12: 138—163 (1957), цит. по: *Dyson F.* Infinite in all directions..., p. 46. * Перевод: *Центральная догма. То есть информация, однажды попавшая в белок, оттуда больше не возвращается.* [...] Говоря более подробно, передача информации от нуклеиновой кислоты к нуклеиновой кислоте или от нуклеиновой кислоты к белку возможна, но передача от белка к белку, или от белка к нуклеиновой кислоте невозможна.

253* Перевод: Человек, который придерживается взглядов Коперника на нашу Землю как планету, которая носится вокруг Солнца и освещается его светом, подобно другим планетам, не может иногда не думать, что нет ничего невероятного в том, что и другие планеты имеют свою неповторимую внешность и, возможно, населены, как и эта наша Земля.

derstand. He that shall well consider the strange and wonderful [!] nature of life and the frame of Animals, will think nothing beyond the possibility of nature, nothing too hard for the omnipotent power of God. And as the Planets remain in their orbs, so may any other bodies subsist at any distance from the earth, and much more may beings, who have a sufficient power of self motion, move whether they will, place themselves where they will, and continue in any regions of the heaven whatever, there to enjoy the society of one another, and by their messengers or Angels to rule the earth and convers with the remotest regions. Thus may the whole heavens or any part thereof whatever be the habitation of the Blessed, and at the same time the earth be subject to their dominion. And to have thus the liberty and dominion of the whole heavens and the choice of the happiest places for abode seems a freater happiness then to be confined to any one place whatever»[254]*.

Причина, почему жизнь скорее всего переносится по всей Вселенной: потому что это веселее, общительнее, радостнее. Радость, блаженство представляется целью жизни. Почему бы жизни не быть всемогущей, если даже то малое что мы видим уже удивительно.

Межпланетные корабли, узость воображения, представляющая, что для жизни нужна перевозка, относятся к позитивистски-научному периоду, который ограничил жизнь сферой видимого. Но если жизнь есть в воде, в земле, в воздухе, почему ей по-своему не быть и в космосе, где она хочет. Пользоваться нежи-

---

254 *Frank Manuel.* The Religion of Isaak Newton. London: Oxford University Press, 1974, p. 99—102. * Перевод: Все области полны живых существ (не только Земля полна зверей, море полно рыб, а воздух — птиц и насекомых, но и сточные воды, уксус, тела и кровь животных и другие соки наполнены живыми существами, настолько маленькими, что их невозможно увидеть без увеличительных стекол), а потому и небеса над нами могут быть наполнены существами, чью природу мы не понимаем. Тот, кто внимательно рассмотрит странную и удивительную природу жизни и строение животных, тот поймет, что для природы возможно всё, что нет ничего сложного для всемогущего Бога. А поскольку планеты остаются на своих орбитах, то и другие тела тоже могут находиться на расстоянии от земли и уж тем более существа, обладающие достаточной способностью самодвижения, могут двигаться, куда они захотят, занимать какое угодно место и в любой области неба наслаждаться обществом друг друга и посредством своих посланников или Ангелов править землей и поддерживать связь с самыми удаленными регионами. Поэтому всё небо или любая часть оного может быть местопребыванием Благословенного, и в то же время земля может быть субъектом для их господства. И таким образом иметь свободу и власть над всеми небесами. Поэтому гораздо радостнее иметь свободу и господство над всеми небесами и выбор самого счастливого места для жизни, нежели быть ограниченным в своем выборе каким-то одним местом.

выми кораблями — удел техники, которая от природы отстает (автомат дегенеративный). Чтобы подняться в воздух, человеку нужен аппарат, а птица сама свой аппарат. Пронестись сквозь пространство жизнь должна уметь не обязательно на чем-то, а прямо, в своей собственной живой форме. Может быть Ньютон заложил свои рукописи в черный сундук как пророчество для будущего. Биология и космология сблизятся. Сейчас жизнью в космосе заняты многие заметные астрономы. Френсис Крик, смоделировавший спираль ДНК, верит в *направленную панспермию*, в письме к Дайсону («a few years ago I received a letter from him saying, „I am still interested in the idea of Directed Panspermia"»[255]*).

Панспермия, микроорганизмы, споры разносятся световым ветром или метеоритами по вселенной, старая идея Сванте Августа Аррениуса, шведского физико-химика (1859—1927). Когда стало ясно, что прямая радиация убивает живое, безопасно и надежно стало говорить, что живое как не живет в космосе, так и не переносится по небу. Но мы всё больше привыкаем к странному принципу: если живому надо, то... *Направленная* панспермия не обязательно означает, что какие-то коллективы разумных существ посылают пакеты микроорганизмов на планеты с атмосферой. Направленность здесь может относиться к образу действий софии, к чему-то примерно такому же невероятному, как тысячекилометровый полет только что вылезшей из кокона бабочки.

В пользу способности жизни перебрасываться каким-то семенем в разные части галактики повторяющийся опыт интимного отношения к звездам, ощущение протянутой с них нити. Но в этих догадках важнее всего не искажать чистоту знания, не терять незнания. Мы *не знаем* как переносятся или переносятся ли семена в космосе. Мы не знаем в частности и что они безусловно *никак* не переносятся. Лучше говорить с химиком Майклом Поланьи (Polanyi), ⟨сказавшем в⟩ 1951—1952 гг.: «This universe is still dead, but it already has the capacity of coming to life[256]*». Говорится о вселенной как мы ее видим.

Математике, причем именно в той мере в какой она не прикладная а чистая, не решает заданные задачи а развертывает свои гармонии, удавалось на этом пути угадывать структуры существующего. А о существующем в целом, о мире говорит статус ма-

---

[255] *F. Dyson*. Infinite in all directions..., p. 50—51. * Перевод: несколько лет назад я получил письмо от него, где он говорил, что его всё еще интересует идея Управляемой Панспермии.

[256] Там же. * Перевод: Эта вселенная всё еще мертва, но у нее уже есть способность ожить.

тематики в целом: согласно важной теореме, которую доказал 25-летний Курт Godel из Австрии в 1931 году, каким бы списком ни задать *конечный* набор математических аксиом и процедур (а как задать *бесконечный*), всегда останутся такие осмысленные математические выражения, которые из этих аксиом не выводимы и не объяснимы. Многих это расстроило; кто-то надеялся, что можно найти алгоритм верификации или фальсификации любого математического высказывания. Такого универсального алгоритма не оказалось. Это значит: при любом развитии или развертывании математики мыслимые и осмысленные математические формулы не исчерпаны. Если так открыта математика, то, судя по давно замеченному параллелизму, и физика тоже.

Заметим, чем одним занята наука, учитывая всю специализацию и поверх нее, несмотря на нее. По хорошей формулировке известного ученого, «I am concerned with the origin of life as a scientific problem, not as a philosophical or theological problem. The problem is to find out what happened»[257]*. Заметьте: не ставится вопрос, случилось что-нибудь или еще не случилось. Наука это не обсуждает, она начинается когда ясно, что что-то случилось вызывающее. Мы имеем результат случившегося: вот она, жизнь. Раз случилось, надо понять, что и как. Если хотите, в том смысле, как расследуют преступление. Пикантность ситуации в том, что экстраординарное событие, действительно пре-ступление, переступание, выход из себя, существование всего, эк-зистенция, похоже на подарок. Представьте кого-то, кто проснулся и увидел рядом с собой подарок. В таком положении проснувшегося наука. Если хотите, она имеет дело с реальным априори. Человек — реальное априори. Или: всё так; So-sein, такость всего. С этой *такостью* что-то *не так*. С тем, что всё так, что-то не так! Оно не *так*. (А вдруг *так*? и наука мистифицирует?) Надо догадаться, в чем дело, почему нам всё это.

О тропическом лесе Дайсон говорил в отношении расплодившихся частиц и теоретических моделей в современной физике. «The metaphor is impressionistic, but it is not altogether misleading... I shall use metaphor again to describe the chemical architecture of life»[258]*. Жизнь: джунгли, тропический лес, но внутри жесткое

---

[257] Там же, p. 54. * Перевод: Я занимаюсь происхождением жизни как научной проблемой, не как философской или теологической проблемой. Речь идет о том, чтобы выяснить, что случилось.

[258] Там же, p. 55. * Перевод: Метафора эта импрессионистична, однако не уводит в ложном направлении... Я вновь прибегну к метафорам, чтобы описать химическую архитектуру жизни.

различение. Теория *двух* жизней. Выход из метрического пространства здесь давно уже совершился. «Instead of describing nature with mechanical models, physicists now describe it with infinite-dimensionel spaces and other even more esoteric mathematical concepts»[259]*.

Но смотрите, чем вернее рушатся схемы, чем больше всё оказывается джунглями, тропическим лесом, тем отчетливее проступает *отчетливая разница между, грубо говоря, питанием и размножением, протеинами и нуклеиновыми кислотами*. То, что занято в организме ростом, обеспечивает расширение живого, не обязательно вовсе копирование, тиражирование, дублирование с сохранением. Это важное различение, оба процесса настолько разные, что встает отчетливый вопрос: жизнь это одна вещь или две? Настолько, что копирование, тиражирование насело, внедрилось в процесс простого расширения жизни, можно сказать паразитирует на нем. Это не напоминает рабовладельческое общество?

Интересно, что в лабораторных экспериментах (раньше это эксперименты с лягушками) оказалось удобно именно рассмотреть эти функции отдельно, иметь дело с организмами, которые так сказать *освобождены от обязанности* обеспечивать себя питанием и заняты только своим тиражированием. Макс Delbrück (1906), переехавший в 1937 г. в США, генетик, вирусолог, получил нобелевскую премию (1969) работая с бактериофагами, пожирателями бактерий, теперь это классические подопытные кролики в молекулярной генетике. Они вирусы бактерий, бактерия им питание, они почти ничего не имеют в себе кроме аппарата размножения, *почти* голый генетический аппарат. Но совсем голый генетический аппарат — молекула РНК, за наблюдение размножения которой в пробирке получил тоже нобелевскую премию в 1967-м Манфред Eigen (р. 1927) в ФРГ. В обоих этих случаях и в подобных, заметьте, фактически, экспериментально размножение и питание как-то независимы друг от друга.

Хорошо знакомый с экспериментами Дельбрюка, Эрвин Шрёдингер (Schrödinger) (1887—1961), нобелевскую премию получивший собственно за свою теоретическую физику (параллельно с матричным формализмом Вернера Гейзенберга он, в одно время

---

259 Там же. * Перевод: Отказываясь от описания природы с помощью механических моделей, современные физики описывают ее с помощью пространств с бесконечными измерениями или других еще более эзотерических математических понятий.

даже испугав Гейзенберга, вдруг он неправ, показал, что квантовые скачки можно рассмотреть и как волны и соответственно математически формализовать — потом оба формализма оказались идентичными), в 1943-м прочитал в Ирландии важные лекции «Что такое жизнь?», они скоро были переведены на русский. Репликацию, воспроизводство, дублирование клеток со строгим сохранением оригинала он связал с квантово-механической стабильностью молекулярных структур, этим поставил на десятилетия вперед задачу биологам, выяснить какие именно молекулы и структуры эту стабильность обеспечивают, а метаболизм объяснил как способность живой клетки извлекать свободную энергию из окружения по законам термодинамики. Эпоха была структурализма. Структурализм был и в языкознании, и в литературоведении. Репликация интересовала Шрёдингера явно больше чем метаболизм. Негативный вывод: *явно* крен в сторону репликации. Так собственно и Дельбрюк во внимании к бактериофагу, чисто паразитарному созданию, в котором метаболическая функция куда-то исчезла и только репликативная самотиражирующая функция разрослась. Но ведь это дегенеративная и очень специфическая форма жизни? Или — или *вся жизнь так устроена*, что она поделена на две функции? Тут надо вспомнить Фаминцына и Козо-Полянского, предлагавших рассматривать всегда живые организмы как симбиоз. На субстрате, который обеспечивает метаболизм, на протеине, паразитирует тиражирующий механизм? Обязательно, т.е. жизнь это *две* вещи?

22 (17.3.1998)

Но есть точка зрения что ранняя жизнь только расширялась и не тиражировалась. Мы об этом уже говорили. Клетка просто делится, дочерние две клетки получают равные доли состава материнской клетки. Теперь это не наблюдается: в синезеленых водорослях, это прокариоты, другое название «дробянки», они хоть и не имеют хромосомного аппарата и бесполо размножаются делением, и в других прокариотах, не имеющих отчетливого ядра клетки, теперь после деления клетки материнская клетка восстанавливается в своей полной молекулярной структуре в дочерних. Но если мы можем теперь наблюдать, как ***внутри*** клетки без тиражирования репродукции клетки молекулы расслаиваются, тиражируются, то почему ранние существа не могли *множиться без тиражирования*, создавая при своем расширении всё новые и новые структуры — может быть как в калейдоскопе. Для тех живых существ точное самокопирование не было целью. Крен современной биологии в сторону генетики, когда чуть ли жизнь не отождествляется со способностью повторить, копировать себя, должен быть исправлен. Копирующий механизм паразитирует на метаболическом, он и вторичен и строго говоря для жизни не обязателен, «hosts must exist before there can be parasites. Somebody must eat and grow to provide a home for those who only replicate»[260]*.

Другой математик, Джон (Янош) von Neumann (1903—1957), тоже из Австро-Венгрии, с 1930 в Америке, теоретик автомата (The General and Logical Theory of Automata), исправил перевес у Шрёдингера в сторону интереса исключительно к стойким самовоссоздающим структурам: жизнь это *две* вещи, метаболизм и ко-

---

[260] *F. Dyson*. Infinite in all directions..., p. 63. * Перевод: хозяин должен существовать до того, как появятся паразиты. Кто-то должен есть и расти, чтобы обеспечить проживание для тех, кто только размножается.

пирование, *логически* по крайней мере они раздельны. Только ли логически? или жизнь возникала дважды, один раз из протеинов, и протеиновые создания существовали независимо долгое время, может быть переменчиво как Солярис Станислава Лема, ели и росли и совершенствовались. Потом жизнь возникла второй раз, нуклеиновые кислотные создания пришли *паразитировать* на протеиновых.

Пока это только гипотеза. Я не думаю что она нам послужит чем-то большим чем напоминанием о том, к чему мы пришли на наших путях. Лес это *два*, платоновские *кормилица*, бесформенная восприемница форм, и идея, жесткая, вечная форма. К философии мы вернемся, сейчас мы инвентаризуем, просматриваем идеи биологов.

В пользу того, что жизни две, говорится, что вообще бросается в глаза дуальная структура жизни, разделение всякого организма на железо и программу, hardware and software. Эдвард Wilson: «Each living form... a product of ... interaction between genes & environment»[261]*.

Когда вы читаете об уже упоминавшихся опытах в пробирке с РНК, самые известные у Манфреда Эйгена, упоминавшегося, в 60-е годы, и Leslie Orgel, это уже вторая половина 80-х, то аристотелевские вещи невольно приходят на память, я даже не буду говорить какие и как. — В питательной протеиновой среде — протеин служит катализатором — в которой растворены нуклеотиды четырех типов, аденин, гуанин, цитозин, урацил (о сахаре «рибоза» можно не упоминать) как бы кирпичики, из которых при их сцеплении образуется молекула РНК, та самая, которая в клетках всех живых организмов приводит в исполнение генетические директивы. *Одна*-единственная молекула РНК дает за часы, собственно за час или два, дублируясь каждые две или три минуты, 10 в 14-й степени молекул точно таких же.

А если в пробирке *ни одной* молекулы РНК, т.е. нечего копировать, но нуклеотиды все на месте? Нет образца, части РНК сами догадаются, как им сцепиться? Они догадываются долго, по-разному в разное время, два-три часа или около того, и вдруг молекула РНК появляется, четыре кирпичика нуклеотидов догадались как им химически себя связать. Т.е. очень медленно и долго. Но раз молекула появилась, она уже начинает размножаться с той же невероятной скоростью, теперь всё просто, каждая новая молекула штам-

---

261 *Edward Osborne Wilson*. On Human Nature. Cambridge (Mass.); London: Harvard University press, 1978, p. 17. * Перевод: Каждая живая форма — это... результат... взаимодействия между генами и окружением.

пует себе подобных из элементов. И еще интереснее: нуклеотиды сцеплялись не всегда одинаково, образовывались мутанты РНК.

Так что, смотрите, спонтанное порождение жизни из еще-не-жизни? Не совсем. Ведь протеины в пробирке — экстракты живого. Тут если хотите микроклонирование, мини-овца из клетки, причем способная к воспроизведению; протеиновый катализатор говорит нуклеотидам, как поступать. — Мне кажется, что это против догмы Френсиса Крика, что информация, попавшая в протеин, оттуда уже снова выйти в нуклеиновую кислоту не может. Не знаю, как быть с этим противоречием. Скорее всего, догма работает, судя по тому как плохо и медленно протеин дает команду нуклеотидам слепиться в молекулу; но не абсолютно, клетка не догматик, не слишком упрямится, если ей приходится взяться за совсем чужую работу.

Но получить самовоспроизводящую молекулу не пользуясь ничем живым пока никому не удалось.

Жизнь всегда *сим*биоз, т.е. два. Окен, Фаминцын, в прошлом веке Козо-Полянский... О том, что жизни *две*, говорит и симбиоз, которым сейчас интересно занимается Lynn Margulis. У Маргулис *глобальный* симбиоз. Она собственно начала печататься похоже только в 80-е годы. Она больше журналистски известна из-за *гипотезы Геи*, земли как существа. «The close interrelation between life and its environment, and its philosophical significance, was noted by the British chemist James E. Lovelock and the American biologist Lynn Margulis. They called this idea of complementary evolution of life and environment the Gaia hypothesis after Gaia, the ancient Greek goddess of the Earth. As Lovelock put it, this is „a new insight into the interactions between the living and the inorganic parts of the planet. From this has arisen the hypothesis, the model, in which the Earth's living matter, air, oceans, and land surface form a complex system which can be seen as a single organism and which has the capacity to keep our planet a fit place for life". The Gaia hypothesis is highly controversial because it intimates that individual species [e. g., ancient anaerobic bacteria, они выделили кислород в атмосферу, чтобы аэробы смогли дышать, но это было благородное самоубийство, потому что некоторые анаэробы облигатные, или строгие, и развиваются только в отсутствие кислорода] might sacrifice themselves for the benefit of all living things»[262*].

[262*] Перевод: Тесная взаимосвязь между жизнью и окружением и ее философское значение было отмечено британским химиком Джеймсом Э. Лавлоком и американским биологом Линн Маргулис. Они назвали эту идею компле-

В пользу гипотезы Геи — то, как действительно Земля следит за собой. «The Gaia hypothesis postulates that the physical conditions of the Earth's surface, oceans, and atmosphere have been made fit and comfortable for life and have been maintained in this state by the biota themselves. Evidence includes the relatively constant temperature of the Earth's surface that has been maintained for the past 3,5 billion years despite a 25 percent increase in energy coming from the Sun during that period. The remarkable constancy of the Earth's oceanic and atmospheric chemistry for the past 500 million years also is invoked to support this theory»[263*].

Но нам сейчас, говоря о *двух* жизнях, надо посмотреть как Линн Маргулис и другие продолжают идею симбиоза, которую мы с вами проследили только от Окена до Козо-Полянского. По Линн Маргулис тоже двигатели прогресса, усложнения клетки — паразитизм и симбиоз. Помните, как у Фаминцына и Козо-Полянского даже ядро клетки пришло в клетку извне? Маргулис нашла теперь уже явственное экспериментальное подтверждение случаям «to support her view that most of the internal structures of cells did not originate within the cells but are descended from independent living creatures which invaded the cells from outside like carriers of an infectious disease. Her book *Symbiosis in Cell Evolution* summarizes the evidence up to 1981. According to Margulis, the invading creatures and their hosts gradually evolved into a relationship of mutual dependence, so that the erstwhile disease organism became by degrees a chronic parasite, a symbiotic

---

ментарной эволюции жизни и окружения «гипотезой Геи» в честь греческой богини Земли. Как говорит Лавлок, речь идет «о новом прозрении в суть взаимодействия между живыми и неорганическими частями нашей планеты. Отсюда гипотеза, модель, согласно которой живая материя Земли, воздух, океаны и земная поверхность образуют сложную систему, которая может рассматриваться как уникальный организм и которая делает нашу планету годной для жизни». Гипотеза Геи чрезвычайно спорна, поскольку она подразумевает, что индивидуальные виды [...] могут жертвовать собой ради благополучия всех живых существ.

263* Перевод: Гипотеза Геи постулирует, что физические условия поверхности Земли, океанов и атмосферы сделаны годными и удобными для жизни и сохранялись в таком состоянии самой флорой и фауной. Очевидным фактом являются относительно постоянные температуры на поверхности Земли, которые поддерживались в течение последних 3,5 млрд. лет несмотря на увеличившееся на 25 % количество солнечной энергии за этот период. Примечательное постоянство океанической и атмосферной химической лаборатории Земли, существующее последние 500 млн. лет, также свидетельствует в пользу этой теории.

partner, and finally an indispensable part of the substance of the host»[264]*.

Вторжение извне и жестокая борьба. Клетка хочет сохранить себя, вирус извне тоже. *Через болезнь* создается новая форма. И похоже что самыми ранними и наиболее успешными клеточными паразитами были нуклеиновые кислоты, — если верно что первые живые существа умели есть и не имели генетического аппарата[265]*.

Интересно, что паразиты, в этой гипотезе, из самих же протеинов и возникли — примерно таким образом, как в пробирке Манфреда Эйгена молекула РНК, которой там не было. Опять не буду даже говорить, как это заставляет вспомнить Аристотеля.

В пользу того, что на ранних стадиях развития, когда-то, жизнь умела обходиться без механизма копирования, говорит как будто бы теория генетического дрейфа, ее главный автор Motoo Kimura, директор биологического института недалеко от Фудзиямы между Токио и Киото. Это тоже работы уже 80-х годов. Кимура построил работающую математическую модель поведения популяций молекулярных живых существ. Он придает большое — или слишком большое — значение статистическому разбросу, генетическому дрейфу популяции, и считает, что это важнее для образования видов чем дарвиновский естественный отбор. Может быть — когда вот именно механизмы строгого копирования еще, предположительно, не закрепились.

Важно постоянно иметь в виду *дело*, которым занято научное биологическое исследование происхождения жизни, происхождения видов, конституции организмов, устройства генетического механизма: это дело исследователя как следователя, *искателя*, мобилизованного событием, происшествием: что-то явно случилось, произошло и надо выяснить, что и как. Вроде мы видим, *что*: вокруг нас автомат, самодвижное, в которое входим мы сами; но это явное *что* само такое странное, что снова и снова

---

[264] *F. Dyson*. Infinite in all directions..., p. 68. * Перевод: чтобы обосновать свой взгляд, что большинство внутренних структур клеток появляется не внутри клеток, но происходит от других живых существ, которые инфицируют клетки извне подобно переносчикам инфекционных заболеваний. Ее книга «Симбиоз в клеточной эволюции» обобщает факты, известные к 1981 г. Согласно Маргулис, вторгающиеся существа и их хозяева постепенно эволюционируют в сторону отношения взаимной зависимости, так что болезнетворный организм становится сначала временным паразитом, потом симбиотическим партнером и наконец неотделимой частью самого хозяина.

[265]* Абзац отмечен восклицательным знаком.

спрашиваешь: что это. Что такое самодвижность, как она возникла и как работает, спрашивает исследователь. Эдвард Wilson: в генах только продолжение рода, а *для чего* продолжение? Жизнь цели не имеет. Да, жизнь цели не имеет, это верно, но сама в себе она, как брошенная как-то, откуда-то, например залетевшая из космоса, такая *вызывающая*, кричаще необъяснимая, что стопроцентно обеспечивает захваченность, прямо приключенческую, детективную, каждого ученого — начиная с самого Wilson. Разумеется, при таком событии есть и забота другого рода: как теперь быть, что делать, как вести себя дальше. Это, насколько я понимаю, два разных и основных поведения при происшествии: одни заняты выяснением, что произошло, другие принятием мер, которые из-за этого события стали необходимы.

Легко видеть, как просто, как естественно при этом, так называемом строго научном, роде исследования упустить главное. Главное — это почему случилось так что мы задеты происшедшим. Ответ: «ну а как же, ведь произошли-то *мы сами*, как тут не заинтересоваться», несостоятелен. Пока мы происходили, нас так сказать не было или мы были но сейчас не помним были ли мы и как были мы когда мы происходили. Почему мы спохватились только сейчас, только сейчас оказались не на шутку задеты происходящим и развернули эту двоякую науку, одна разбирает что произошло, другая разыскивает что теперь делать. Ответ, опять же самый казалось бы естественный и распространенный, который постоянно слышишь на каждом шагу, — что мы были дети, развивались бессознательно, теперь взрослые должны взять на себя заботу о своем развитии, — тоже не работает: нечего и говорить, разводить глупые разговоры, ясно что лучше чем получилось, когда нас не было или мы не помним как мы были, мы не сможем, мы на каждом шагу оступаемся и ошибаемся, самая наша большая мечта прочитать что там написано в ДНК, как-то снова приобщиться к уверенному, красивому, может быть не такому безошибочному как казалось Гёте, но всё-таки завидному и удивляющему успеху природы.

И тут открывается странная и важная вещь; раз мы не отгадали загадок природы, то мы можем и не опознать то, где и как она действует *сейчас*. Она действует явно по-другому чем исследующий ее, но она незаметно для исследующего может в нем продолжать действовать неопознанной. Мы, допустим, задеты и любопытствуем, исследуем, доискиваемся, но и не любопытствующий тоже задет. Люди ведут себя, мы говорим, иррационально, дерзко, странно, дико и при этом совсем не заняты исследованием приро-

ды. Мы не можем быть уверены, что и непонятное нам поведение *не* ответ на вызов природы. Мы не знаем до сих пор что произошло — так мы не знаем и что происходит. *О том, что пока мы что-то делаем, в том числе например изучаем образ действия природы, природа что-то в нас и через нас делает, лучше никогда не забывать*[266].

Наука изучает автомат природы и нет оснований говорить что она не изучит его. Но мы не знаем, возможно науке придется тогда измениться.

Философия, поэзия, искусство, музыка, религия, если не всё что так называется, то внутри этих областей надо искать то и тех, кто учит, как всему человеку, т.е. миру, обращаться с автоматом природы, т. е. с миром, и у нас нет оснований считать, что философия, музыка, религия плохо учат или что проблема тут в несовершенстве этих уроков, а не в нашем плохом ученичестве.

Отсюда выводы, два главных. Наука возможно забыла спросить, почему она впала именно в исследующее и в инженерное отношение к тому что произошло; наука возможно забыла научиться у философии и музыки обращению с автоматом.

Скажу сразу всё что у меня за душой: автомат это срыв от нетерпения такой же как понятие предела в Новое время: когда не хватило классического терпения, бесконечной выдержки иметь дело с бесконечно малыми, поставили *предел* парадоксам Зенона. Так автомат *срыв* от может быть аналогичного нетерпения, не стали дожидаться, когда автомат *настоящий* развернется, замена автомата лошади, встроенного в self-exciting circuit мира (Джон Wheeler, космология) — *автомобилем*, зависящим от программы и *не* встроенным в мир.

Еще раз: если у исследователя в руках что-то, он должен уметь разобрать и понять. В природе всё можно разобрать до *из чего* и *для чего*, концы как говорится в воду, можно сказать в мировой океан. Интересная черта действий природы: пробиться к *из чего* и *для чего* не удается вовсе не потому что там возрастает сложность, а скорее из-за того что возрастает простота. Скажем, возникновение жизни на Земле: органические молекулы в космосе попадают в поле зрения радиотелескопов, радиотелескопы фиксируют их наличие в разных местах космического пространства; геохимики находят их в углеродистых метеоритах. Т.е. никакой возможно

---

[266] Автомат, самодвижное, αὐτὸς μέμαα скорее та же этимология что в лат. motio, motor.

проблемы с жизнью на Земле, жизнь рассыпана повсюду по крайней мере в нашей галактике. Остается однако опять вопрос, а откуда она там. —

В 1982 г. A. Graham Cairn-Smith предложил теорию минерального происхождения жизни, из глины: микроскопические кристаллы минералов, содержащиеся в обычной глине, могли послужить первоначальным генетическим материалом, без нуклеиновых кислот. Микрокристаллы в глине состоят из правильной решетки с упорядоченным расположением мест для атомов, но с нерегулярным распределением металлов, какие металлы в глине, алюминий конечно, магний и другие. Микрокристалл глины имеет вид пластинки, эта пластинка естественно окружена водой, в воде взвесь простейших органических молекул, т.е. таких, в которые входит углерод. Они и сами по себе не редкость, углерод очень легко соединяется с большинством других атомов, и есть в метеоритах. Органические молекулы соприкасаются с кристаллом, который служит катализатором, причем не одной реакции, а разных в зависимости от того, какие атомы стоят в местах кристаллической решетки. Кристалл может провоцировать метаболизм органических молекул, и он же может тиражировать информацию, которую сам несет, по мере того как оформленные им органические молекулы отслаиваются от него — то есть выполнять обе функции РНК. Первобытная жизнь на глине, миллионы лет протеина, и только потом жизнь началась второй раз в том, что Cairn-Smith называет *genetic takeover*, генетической переворот, или захват, когда репликативным аппаратом стали нуклеиновые кислоты, а не кристаллы в глине, и вся та базированная на глине ранняя жизнь была съедена, скорее всего. Если эта теория окажется верной, она еще экспериментально не подтверждена, тогда как отнестись к мифам о сотворении людей из глины? Они вещий сон, прямое миметическое участие наше в софии.

Из чего жизни таким образом загадка не из-за сложности явления, оно простое как космическая пыль или глина, а проблема такого же порядка, как с угадыванием что создает гениальность музыки Моцарта, ведь она как у Сальери. Теперь вторая половина первого вопроса, *как* жизнь устроилась. И опять затруднение не в сложности устройства, двойная спираль ДНК в конце концов разгадана и ее код прочитан по буквам, а загадка в том, каким трюком *механизм* наследственности при многократном повторении не дает ошибок. В каком узле молекулярной структуры заложена гарантия против error catastrophe, и подозрение есть что природа достигает этого не механизмом, не путем сложности, а как-то про-

ще, но как? И точно так же не понята до сих пор механика гомеостаза в метаболизме, этого квазистационарного равновесия, делающего так, что химический баланс, процентное содержание молекул в клетке сохраняется неизменным. Раковая опухоль тоже жизнь, но там гомеостаз нарушен. Если он не нарушен, он действует с какой-то немыслимой точностью, непостижимым постоянством. Я выгляжу в среднем одним и тем же, а ведь все атомы во мне другие, сменились и меняются несколько раз в жизни. Я ем разные вещи, бог знает что, и не превращаюсь в пищу.

В связи со старым представлением, оно есть у Гегеля например, обеспечить такое квазистационарное равновесие (квази — потому что неизменность организма только кажущаяся, а так он чистая форма из ничего, через которую протекает вещество) могло бы только что-то вроде огня. В костер подкладывают новые ветки, они должны меняться чтобы пламя оставалось прежним. По Гегелю царство жизни это царство огня, субъективность есть *образ* а не материал, «животное сохраняет себя в своем инобытии», в пропускаемых через этот образ, через механизм метаболический, веществах, которые *не части* живого существа! То что я ем не часть меня! «Огонь отпускает себя в множественность членов... самостоятельность членов тут же пожирается. Животная жизнь есть, таким образом, развертывающееся в пространстве и времени понятие»[267].

Так жизнь огонь или понятие? У Гераклита огонь это логос. Гераклитовский огонь стал у Платона идеей, идея как бы *горит в веществе*, вещество через нее течет, а идея как язычок пламени остается одной и той же.

Чтобы пламя оставалось одним и тем же, надо постоянно и много подкладывать горючего. Чтобы сохранилась базальтовая скала, надо чтобы ее вещество было стабильно; чтобы сохранился живой организм, наоборот надо чтобы обмен веществ, так называемый, шел как можно более интенсивно: питание, движение, смена обстановки нужны как подпитка огня, поэтому парадокс: в живом чем сложнее тем проще. «Homeostasis seems to work better with an elaborate web of interlocking cycles than with a small number of cycles working separately. Why this is so we do not know»[268]*.

---

[267] Философия природы § 337.

[268] *F. Dyson*. Infinite in all directions..., p. 88. * Перевод: Кажется, гомеостаз лучше работает со сложной паутиной взаимосвязанных циклов, нежели с небольшим количеством циклов, отдельных друг от друга. Почему это так, мы не знаем.

Мы и с этой сложностью и с этой стабильностью живого еще имели дело, когда оставались при Аристотеле и нарочно не выходили за границы его биологии. У нас тогда получалось, что род имеет узловые моменты, именно моменты продолжения рода, они критические, связанные с не-возможностью, а-механией, и именно прохождение через предельный фильтр, как бы фильтрование предельностью обеспечивает чистоту и постоянство рода. У ненастоящего автомата этот фильтр извне, где он? В настоящем автомате, человеке конструкторе или программисте. *Характер* настоящего автомата в том, что он проходит всегда через, так сказать, игольное ушко, через моменты предельного напряжения и риска, как у птиц тысячекилометровый перелет, у всего живого — брачный период, роды. Но вы понимаете что это опять язык другой чем науки, непонятный. Оба языка у нас будут, хорошо или плохо мы будем говорить на обоих, оба правомерны, и если кто-то умеет говорить только на одном, то пусть помнит, что есть и другой, которым его язык обессмысливается.

Это, говорят, одна из необъяснимостей жизни, что для ее постоянства нужно не простое, а сложное и как бы хаотическое, сказать на нашем языке — нужен лес; и это, назовите «самоорганизацией», прослеживают и в природе, которая еще недавно по крайней мере в школьных учебниках называлась неживой (для квантовой механики «электрон» хоть и не «пользуется свободой», но во всяком случае *выбирает*, делает непредсказуемые движения), и в социальной, экономической, культурной действительности. «The open-market economy and the culturally open society, notwithstanding all their failures and deficiencies, seem to possess a robustness which centrally planned economies and culturally closed societies lack. The homeostatis provided by unified five-year economic plans and by unified political control of culture does not lead to a greater stability of economies and cultures. On the contrary, the simple homeostatic mechanisms of central control have generally proved more brittle and less able to cope with historical shocks than the complex homeostatic mechanisms of the open market and the uncensored press»[269]*.

---

[269] Там же, p. 91. * Перевод: Экономика открытого рынка и открытое в культурном отношении общество, несмотря на все свои недостатки и пороки, видимо обладает тем зарядом прочности, которого нет у закрытых культур. Гомеостаз, вызываемый унифицированными пятилетками и унифицированным политическим контролем культуры, не приводит к большей стабильности экономики и культуры. Наоборот, простые механизмы гомеостаза центрального контроля обычно оказываются более хрупкими и менее способными справить-

Дарвин в конце своей главной книги «Происхождение видов» говорит образно, что такое жизнь: перепутанные приречные заросли, представьте себе мешанину разных трав («разнотравье»), тут же цветы, пчелы, бабочки, всё это в изобилии, без всякого наблюдаемого порядка, но возвращается каждую весну к тому же самому состоянию, «achieving homeostasis by means of a web of interdependences too complicated for us to unravel»[270]*. Этот образ продолжает жить; исследователь представляет себе таким лесом первобытную клетку, спутанный, беспорядочный дарвиновский микрокосм.

Теперь, метаболическая система автомат или репликативная, или только они вместе автомат? И каждая и вместе. Лучше вспомнить у Лейбница: автомат в автомате, и до мельчайших подробностей внутрь автомат на автомате, интегрированы в машину мира, которая тоже не имеет себе часовщика извне, а так что он *внутри*.

Но рядом с этим лесом, мы уже привыкли, — совершенно другой образ. В известной, не так уж давней книжке Ричарда Докинса[271] в эту демократию, пышное разнообразие изобретательной жизни вторгается тирания с жесткими требованиями, репликативный аппарат. Каждый вид *вынужден*, т.е. каждый вид насколько он существует в своих индивидах, особях, пленник, раб своих генов, он *обязан* подчиниться диктату наследственности, вести себя, развиваться, делать всё для продолжения рода. Т.е. ему может и казаться что он свободен, и хотеться той свободы, его манит изобилие возможностей, но что бы ни делала особь, как бы ни наслаждалась бабочка порханием среди цветов, эта ее кажущаяся свобода на самом деле служение. Она никуда не уйдет от своего порхания, как птица, тоже свободная как ветер, никуда не уйдет от поедания гусениц. Только гены свободны экспериментировать, если им вздумается пройти мутацию, с типами поведения, индивидуальные организмы должны делать что они прикажут. *Рядом* переплелись, не различишь, свобода и рабство; причем кажущиеся свободными индивидуалы — рабы, кажущиеся жесткими механизмы воспроизведения — свободны и диктуют.

ся с историческими потрясениями, нежели сложные гомеостатические механизмы открытого рынка и свободной печати.

[270] Там же, p. 92. * Перевод: достигает гомеостаза посредством сложной и запутанной сети взаимозависимостей.

[271] *Richard Dawkins*. The Selfish Gene. N. Y.: Oxford University Press, 1972.

Richard Dawkins не выдерживает напряжения этой полярности и в конце книги рисует бунт против этой тирании генов, которая длилась 3 миллиарда лет, предполагаемое время возникновения (а уже нельзя не поправить себя, может быть появления) жизни на земле (Dawkins принадлежит к тому большинству биологов, которые не верят в первобытную живую клетку как вольный лес, он отождествляет жизнь с тиражированием). Восстал единственный вид, Homo sapiens. Мы свергли тиранию, изобретя символический язык и культуру, теперь можем поступить против законов генетики: допустим, она велит нам размножаться, но мы идем в монастырь; допустим, ген в своих экспериментах приговаривает нас к смерти, потому что ему вздумалось встроить в наследственность гемофилию и убедиться что она не работает, а мы при помощи медицины всё равно живем и с гемофилией. Первые и единственные, мы вырвались из тюрьмы.

Но тиран погнался за нами и на этот раз — всё у того же Dawkins — внедрил свою тиранию прямо в сердце этой нашей вольной демократической культуры, например в виде религиозного догмата: не объясняя почему, не смея критиковать, мы должны держаться догмы, она кладет по-разному свою печать теперь уже, а не ген, на наше поведение. Кончилась тирания рода — началась тирания идеи. Хорошо бы тут Докинзу вспомнить что идея это и есть род. Поздний Лосев говорил о Космосе как о тирании, да еще какой, рабовладельческой, где правит ледяная жестокая идея. Опять полярность, опять два: весь античный космос у Лосева живой, телесный — и в нем жуткий, неумолимый тюремщик.

Мораль Докинза: не зря же мы боролись, если побежденный ген мстит нам за себя, внедряясь в виде идеологии в нашу культуру, то надо еще раз восстать, свергнуть эгоистических репликаторов, вплоть до правил языка, стилей в искусстве и науке, принятых почему-то норм поведения в еде и одежде. Выследить, где просочилась тирания, и изгнать ее. Мы потомки Прометея (кстати, насчет происхождения жизни из глины: лепит не обязательно верховный Бог, может слепить и Прометей или в одной басне Гигина богиня Забота, Cura). Вернуться к равенству, которое было до тирании генов.

Вот в такой причудливой форме возврат, как бы интуитивный с завязанными глазами, в форме криминального или детективного романа, к идеям Платона, к эйдосам Аристотеля, к нашему первобытному лесу, который не становится, а сразу одновременно и есть крест.

Докинза поправляют: где он видит тиранию и рабство, на самом деле согласие, жизнь полярна, жизни даже две, но это как правая и левая рука пианиста, двухголосная инвенция, голос репликаторов только кажется императивным, на самом деле он нуждается в противоположном голосе разнообразия, гибкости, богатства, изобилия. — И это говорят ученые. Не кажется вам что Платон себе такое позволял, но только в своих мифах, для развлечения?

Картина тиранов и рабов усложняется упоминавшимся мусором в правящем слое, junk DNA. Что этой части в аппарате наследственности 98 % и что это письмо будущему, а мы его почтальоны, это только одно мнение. Более распространенное — что если этой части аппарата наследственности без биологической функции и больше половины в нуклеиновых кислотах, то не намного, и что действительно это что-то вроде случайного безбилетного пассажира, который прокатывается в нас за чужой счет. Говорят, что только кризисная экономика не может позволить себе ничего лишнего, и избыточный груз, который перетаскивает с собой из поколения в поколение репликативный аппарат, показатель его здоровья и мощи. Одно мнение мы слышали, другое: как цивилизация тащит на себе хлам, популярные или оплаченные телепрограммы, астрологию, постоянно звучащую из механизмов музыку, политическую пропаганду, весь этот сор, так и жизнь волочит на себе сор.

Для дальнейшего мне нужно вспомнить сказанное раньше. Если ученым позволено такое гадание о непонятном присутствии недействующих частей в аппарате жизни, я предложу или вернее продолжу свое представление: во всём, что мы делаем, есть сторона, о которой мы знаем и которой мы распоряжаемся, и есть сторона нашего миметического участия в софии, насколько мы ей принадлежим, т.е. есть неработающая сторона, та где работаем мы, и работающая сторона, та, где мы настоящие автоматы жизни. Там, где ученый имеет свои цели, он как лишний груз на том себе, который служит казалось бы чисто формальным чистоте и строгости, но именно этим позволяет, дает природе говорить через него. Теоретик космоса Steven Weinberg в книге The First Three Minutes делает замечание о том что поведение ученых в отношении к тому что они создают очень легко бывает неадекватным. Они как бы делают не то что делают, не знают что они делают, что у них в руках, что через них на самом деле проходит. «Our mistake is not that we take out theories too seriously, but that we do not take them seriously enough. It is always hard to realize that these numbers and equations

we play with at our desks have something to do with the real world»[272]*.

Edward Osborn Wilson (не путать с Робертом Вильсоном, который вместе с Арно Пензиасом (Penzias) открыл в 1965 г. фоновую радиацию во вселенной, а именно в диффузном электромагнитном излучении вселенной, которое широкого спектра и может идти откуда угодно, есть еще микроволновое так называемое реликтовое излучение, если верить гипотезе, что вселенная была другая, очень горячая и плотная, настолько горячая и плотная, что она взорвалась со скоростями больше намного скорости света).

---

[272] *S. Weinberg*. The First Three Minutes. N. Y. 1977, p. 131—132. * Перевод: Наша ошибка не в том, что мы принимаем теории слишком близко к сердцу, а в том, что мы как раз относимся к ним недостаточно серьезно. Всегда бывает непросто понять, что те числа и уравнения, с которыми мы играем на доске в аудитории, напрямую связаны с реальным миром.

23 (24.3.1998)

Эдвард Осборн Вильсон, Edward Osborne Wilson, знаменитый биолог (b. June 10, 1929, Birmingham, Ala., U.S.), american biologist recognized as the world's leading authority on *ants*. He was also the foremost proponent of sociobiology, the study of the genetic basis of the *social behaviour* of all animals, *including humans*[273]*. Опять это старое причисление аристотелевское человека к животным, и именно к стадным, или общественным.

Нам придется неожиданно много говорить о муравьях. Но мне кажется неинтересным публицистическое заострение темы сплошной, причем возрастающей организованности — начиная с переписи, через расписание, до предписания на каждый день и каждый час, в конце концов до каждой минуты — как встраивания, вмуровывания человеческой биологии, благо она податливая, в землю, когда основные работы были земляные, в железо, в бетон и вот теперь в компьютер, через обучение, медицину и администрацию, начиная с вписывания нового рожденного ребенка в компьютерный учет и компьютерного досье на каждого человека. Всё-таки непохоже что вся эта организационная техника как-то принципиально изменит человеческую жизнь. Не видно и что она совершенно новая: ритуал в старых обществах мог доходить до такой же тонкости и точности и давал ту же или даже еще бóльшую степень организации. «Термитное государство» кажется всё-таки журналистским приемом, рассчитанным на скандал, шок, обиду оскорбления всех прозвищем *муравьев*, с намеком на отмирание высших человеческих способностей, каких? разума и воли, допустим. Но и

273* Перевод: американский биолог, самый авторитетный в мире специалист по *муравьям*. Он также был выдающимся сторонником социобиологии, исследования генетической основы *социального поведения* всех животных, *включая человека*.

разум и воля всегда начинали себя чувствовать лучше, когда просыпалось трезвое знание сплошной вмурованности всего, что можно наблюдать, до «психических процессов», в причинно-следственные зависимости. Сплошное расписание общества скорее хороший, отрезвляющий мимесис природной сцепленности всего. Когда становится ясно, что ни на что в этом сплошном расписании нельзя положиться и что наше дело не в составлении нового расписания, то мораль здесь не та что надо анархически взбунтоваться против расписаний, это уже было, бунты против переписей, а то что наше дело, наша забота, наше пространство невозможность.

Когда появляется это понимание, то скорее успокоенно смотришь на сплошную техническую организованность всего и даже хочешь чтобы это работало отчетливее и подробнее. Проблемой становится другое, и по другой причине нам придется много говорить о муравьях: как раз явная термитизация общества, превращение его в муравейник только и выявляет огромное отличие человека от муравья, и вот какое.

Смотрите, стоит расплодиться, разрезвиться подводному стаду анчоусов, маленьких селедок размером сантиметров от силы 10, как на горизонте появляются каракатицы, сепии, или другие головоногие моллюски, их сотни видов теперь, а раньше в те миллионы лет их были тысячи видов, — и захватывают из стада анчоусов скорее крупную рыбку чем мелкую. — Для муравьев и термитов, против всей их ядовитой химии, есть бесчувственный какой-то технический резиновый хобот муравьеда, который засасывает насекомых, которые не знают как с этим бороться, примерно как *мирмекологи* своим прибором, стеклянной бутылью с пробкой, засасывают для экспериментов муравьев. Подобным или другим образом всякий вид жизни имеет окаймляющий, отсекающий, теснящий другой вид, как бы свой страшный суд, и вид и испытывается, и очищается, и крепнет в борьбе.

Относительно тогда нашей свободы. Мы восстали против тирании генов — я хочу доказать, что мы не исключение, якобы одинокие и на свободе.

Скажите теперь, кто таким же образом причесывает, подстригает человеческий род.

Война, конечно. В древнегреческом эпосе война служит именно для причесывания поколений людей. Она же закаляет, очищает поколения. Т.е. как будто бы, при том что смешно говорить что человечество проходит естественный отбор в борьбе с крокодилами, тиграми, оно род с самоселекцией. Это немного странно.

Тут есть несколько неувязок. Во-первых, как мы читали у Тимофеева-Ресовского, и не только у него, война ⟨не⟩ — или по крайней мере не всякая война — осуществляет положительный отбор, можно говорить об *отрицательном отборе*. А скажем волки в отношении лосей и оленей ведут однозначно положительный отбор, т. е. допустим ведут себя и скверно, и расистски, и садистически, но создают, в своем секторе, уголку, ту плотность, напряжение, которое нужно для тренировки живого, подтягивания его к форме. Вообще во всём диапазоне живого всё взаимно дисциплинирует, мягко говоря, друг друга, причем волк набрасывается на оленя без предупреждения, не предъявляя ему справки о разрешении на охоту с теми доводами, что на гектар или квадратный километр леса разумно иметь 14 лосей, но не больше.

Перед человеческой войной всегда так или иначе выступают доводы, доказательства, не обязательно и не в первую очередь для противника, на него можно напасть и без предупреждения, но прежде всего для своих, страна разгорячает чтобы приготовить их к необходимости борьбы, но ведь какие это доводы.

Они если хотите такие же *инстинктивные* как у волка, *никогда* они не имеют смысла селекции, необходимости улучшить качество жизни, усмирения, жизненного пространства *для себя* как биологического вида или подвида, всегда ради *идеи*. А, как вам это нравится?

Мы идем на войну не в интересах нашего *вида* биологического, а в интересах *идеи*!

После всего, что у нас тут говорилось, вы начинаете догадываться, что происходит. Но ведь вид это идея и есть. В примечаниях я пишу как перспективу, как задание литературную цитату из апостола Павла: «Мы Его и род» (Деян 17: 28) и сразу бросаю эту нитку.

Продолжаю первую, *идеи*: если в армию, на войну мы идем неохотно, или если охотно то трагически, преодолев себя, то видно через нас людей пробивается что-то не наше, или сверх-наше, *высшее*, раньше говорили *божественное*.

Тогда я скажу: рядом с человеческим родом, который очищает себя всё-таки не самоселекцией, есть соседний род, дисциплинирующий, более мощный, с которым нет и речи о том чтобы человек справился как с тиграми или с микробами, это род ангелов, демонов и богов. Мы живем с этим родом в таких же жестких условиях селекции, как всё живое, известное нам, с соседними видами живого.

Господа, включение бога и богов в биологическую лестницу конечно вам покажется, не может не показаться, должно показать-

ся насильственным пристегиванием картины живого к метафизической схеме, но я уверен что остаюсь на научном и единственно здравом уровне. Рассудите сами, *как* еще иначе назвать то, что вторгается в человеческую биологию и бросает, подчиняет ее дисциплине, строю, порядку, закону, если не диктатурой — чего, будто бы какая-то организация вычислила, что полезно для развития, выживания и совершенствования человеческого рода и продиктовала законы? Со всеми законами как с ритуалом, всё равно религиозным или государственным: всегда есть резоны его объясняющие, но если ритуал сменится, будет не меньше резонов, и если не будет резонов и знания почему, то ритуал от этого не пострадает. Ахутин: мы не совсем род[274*].

Хоть бунтуй или нет или призывай к бунту: в человеческое общество спущен диктат *идеи* более мощный чем диктат рода, род человека это *идея*, с вашего позволения в биологическую лестницу, живых существ, я включаю *богов*, то же что *идеи*, они правят человеком и уж во всяком случае делают с человеком через войну, революцию всё то, что на низших ступенях лестницы виды делают с видами, строжат и дисциплинируют, ограничивают и отбирают. *Боги в человечестве такая же реальная сила или более реальная и действенная чем идея в смысле вида у других живых существ*. И поскольку это ближе к нам, лучше, легче род или вид для особи понять как ее бога, а труднее и сложнее наоборот догадываться о том — в тумане — как виды поддерживают постоянство, а потом говорить что тот же самый механизм работает в идее внутри человечества. Смену, эволюцию видов не абсурдно будет понимать как смену богов (фетишей, тотемов), смену религий, которая никогда не бывает постепенно, как смена видов скачками.

Положим себе в прибыль это приобретение: держащий, хранящий стержень вида это идея, или бог (Платон); реабилитируется с этой неожиданной стороны древнее обожествление растений и животных. — С этим странным соседством нам уже кажется не расстаться. Так, издалека, мы может быть подойдем к хайдеггеровской четверице мира, земля небо, человек боги. Тут сразу открывается всего так много, что мы пока этот пейзаж ненадолго оставим и вернемся к нашим муравьям.

274* Постоянная и основополагающая мысль А.В. Ахутина: «человек — существо совсем не родовое, принципиально, по самой сути своей; каждый — сам себе весь род, есть лишь постольку, поскольку рождает себя сам, причем всё снова и снова».

Начав с муравьев, Эдвард Осборн изучал вообще популяции. «He developed the concept of „character displacement", a process in which two closely related species populations undergo rapid [!] evolutionary differentiation after first coming into contact with each other, in order to minimize the chances of both competition and hybridization between them»[275*].

Вильсон понятным образом шокировал многих тем, что человеческое общество ведет себя как муравьиное или термитное.

О Вильсоне нам придется говорить в связи с муравьями. Но сейчас он мне нужен, чтобы уж закончить наш экскурс в то, как наука разбирает то, *как и откуда* жизнь, мы же ведь делаем сводку биологических концепций; а заодно заметить, как загадочно снова и снова повторяется лес, аристотелевский, немногим меньше чем платоновская идея. На этот раз в молекулярной биологии. «Edward Wilson describes the new picture of the genes in a cell as „a rainforest with many niches occupied by a whole range of elements, all parts of which are in a dynamic state of change"»[276*].

Видеть клетку, первобытную допустим, как уже лес, да еще тропический, джунгли, это признаться что мы теряем нить, тропу в том, откуда и как живая природа. Потому что лес не такая реалия, на которую можно распространить метрические, в том числе причинно-следственные отношения. Материя *неопределенна*. Наука как собака *теряет след* жизни, когда смотрит, откуда она и куда. Это не значит что, я сказал, проблема происхождения жизни стало быть страшно сложна; может быть как раз наоборот, собака потеряла след белки не потому что след стал страшно сложный, а потому что белка залезла на дерево, а собака лазать по вертикальному не может. Она может только *очень точно* очертить на горизонтали фигуру, внутри которой *на горизонтали* была бы и собственно *и есть* белка, обегая вокруг ее дерева.

Но может быть еще интереснее как наука думает о том *куда* живая природа. Как и тот первый, этот второй вопрос наука задает себе нехотя, просто потому что если на него никак не ответить, то это скандал: зачем же ты занимаешься тем, что непонятно куда,

---

275* Перевод: Он развивал концепцию «сдвига характерных особенностей» — процесса, в ходе которого два близких вида после первого контакта стремительно эволюционируют в различных направлениях, чтобы минимизировать шансы соперничества и гибридизации между ними.

276 *F. Dyson*. Infinite in all directions..., p. 96. * Перевод: Эдвард Уилсон рисует новую картину генов в клетке, изображая их как «тропический лес с множеством ниш, занятых целой цепочкой элементов, все части которых находятся в динамическом состоянии изменения».

к чему идет. *К чему* тогда ты сам занимаешься наукой. И опять: наука *очень* точно и безошибочно на своей метрической плоскости отмечает место, куда, к чему жизнь, опять же с безошибочной точностью.

И вот на вопрос *куда* идет живая природа или вообще природа, наука отвечает, вынуждена ответить: к тепловой смерти вселенной, к коллапсу, к черной дыре, к окончательному износу протонов, decay of protons, т.е. основы, ядра, стабильной части атома: протоны устанут через 10 и 33 нуля лет, испарятся в позитроны, фотоны и нейтрино. Приятно или неприятно это слышать и говорить, наука не может врать. Всё в измеряемом ею пространстве безошибочно и однозначно указывает в этом направлении как собака не ошибется в указании именно на то дерево, на которое вверх ушла белка. Наука тут не может ошибиться точно так же.

Вещество *не может* не износиться, ему так сказать некуда деваться, как искрашивается кирпич, так рассыпаются протоны. С другой стороны, можно смело предвидеть развитие техники. Человечество уж конечно, если у него сотни, тем более тысячи, тем более миллионы лет, к тому времени, когда вещество станет уже не молодым и пышным, давно сумеет управлять своей генетикой и — тут снова и снова вспоминают нашего Циолковского, о будущем человечестве которого, превратившемся в летучее световое, мы читали.

Даже если вселенная страшно остынет, ослабнет, даже если рассыплются атомные ядра, для этих новых созданных искусством легких световых людей, для всех их межгалактических странствий и связей и для *вечного* существования понадобится страшно мало энергии, подсчитано: столько, сколько теперешнее Солнце излучает за 8 часов, — для общества световых людей, по громадности своей культуры сравнимого с нашим. А если от галактики останется только энергия одной звезды, Солнца, но уже вся, то ее хватит на общество с культурой в 10 триллионов соответственно раз более обширной чем наша. Эфирное человечество установит сплошные межгалактические связи, и т.д. Может быть, даже после тепловой смерти вселенной такая кроха энергии для человечества достанется. Но вот не может быть, а точно человечеству придется отказаться от теперешних тел, прямо по Циолковскому. Пишет кристаллограф Десмонд Бернал[277]: эти существа умственные единства, пользующиеся крошечным минимумом энергии, связанные всеми коммуникациями, имеющие от себя свои органы

[277] Там же, р. 112 сл.

чувств и действия на громадном отдалении в пространстве и во времени тоже. Наконец человечество вообще превратится в эфир, сознание исчезнет, человечество научится быть просто массой атомов, между которыми связь радиацией; потом вовсе превратится в свет.

Т.е., вы видите, о будущем наука говорит увереннее чем о прошлом. И всё-таки момент неопределенности остается, а именно в том, что обеспечить всё это себе человечество конечно может, но вот хватит ли у него еще бодрой энергии для поддержания всего этого. Человек устал уже теперь; когда ему нужно поддерживать стабильную систему только на земле, и то уже он хочет махнуть рукой; а миллионы лет? не хватит терпения для поддержания всех тех систем межгалактических связей.

Как это вам ни покажется опять странным, вовсе не в порядке смешения разных областей, а формально, технично мы если даже не хотим, то обязаны включить в эволюцию параметры скуки и увлечения. Кто-то из биологов сказал, *радость жизни*, где она в уравнении Шрёдингера. Имеется в виду та радость, без которой стало бы не интересно и жить и изучать жизнь. Что не увлекает, не интересно, то человек просто бросает, это жестокий закон. Развалины древних цивилизаций, людей там стало не увлекать защищать и продолжать усилия поддержания.

Над Циолковским у нас стали уже посмеиваться, но именно он сейчас упоминается в самых новейших футурологиях. Дело в том, что у него *есть* принцип, с которым можно пройти через тупик и дурной непознаваемости *того, откуда* и дурной бесконечности *того, куда* (действительно дурная бесконечность, если подсчитано что энергии в любом как угодно энтропийном космосе всё равно хватит для *бесконечного* существования лучевого человечества). Это у Циолковского принцип ощущения, или «чувствительности», который через эту стену и сейчас и навсегда будет сцеплять всё в космосе, от человека до атома. У Циолковского не когда-то, а уже сейчас вся Вселенная сцеплена одним: сплошной чувствительностью. Через чуткость уже сейчас всё во всём приобщается ко всему. Поэтому у Циолковского инженерные успехи будущего эфирного человечества, на разных эфирных островах, *нужны в сущности уже только для подтверждения, как бы для доказательства того, что чуткость сейчас не напрасна, что только за ней будущее и сила, что только она одна собой может оправдать всё, без скуки и упадка интереса к бытию.*

По Циолковскому, по его букве и по его интенции, можно уверенно говорить, что *теперешняя* чувствительность всего (его при-

мер: стрелки прибора) и есть то постоянно и повсюду действующее, через что всё теперь здесь приобщено ко всему везде и всегда. При этом не обязательно говорить о дальнодействии и сверхзвуковых скоростях: любые отдаленные точки космоса, ничего не зная друг о друге, знают о себе всё, потому что *одинаково* приобщены к чувствованию.

При этом всё то, что сложится, перестает быть проблемой в том, сложится ли и как именно сложится, потому что в любом случае всё будет определяться продолжением чувствительности. Как-то бледнеет и проблема с творцом, один раз он творит, или всегда, потому что творчество идет не извне а изнутри, из сути материи, она чувствительность. Можно тогда вполне сказать, что Бог сейчас не знает, чтó будет, но он стопроцентно твердо знает, что будет продолжение и развертывание чувствительности.

То старое соображение, что если есть строй (таксис, космос) то есть и стратег и если есть часы то есть и часовщик, не учитывает разницы между автоматом и автоматом, вообразите себе часовщика внутри часов и неотделимого от его деталей. — Вселенная часы без обеспечения.

⟨Да,⟩ протоны устанут и распадутся, наступит энтропия, тепловая и другая смерть, но решение будет не в том чтобы, так сказать, искать, найти, получить новый грант, новые источники финансирования для вселенной, самой этой находкой будет запрограммирована новая потеря, — а в том что всегда и в любой ситуации останется место для попадания, для удачи, для *того самого*. Sapientia от слова *sapio* «чую, имею вкус». И не так что для вкуса надо много. И нищий может быть со вкусом. Помните у Витгенштейна о мире, который состоит из двух или одного элемента. Разнообразние, плюрализм — это уже обреченная, энтропийная установка, которая не поддержит сама себя.

Теперь всё-таки муравьи. Я ссылаюсь сначала на Julian Huxley, Хаксли как и его брат писатель Олдос Хаксли и его отец Леонард Хаксли, английский биолог, философ (1887—1975). Собственно его специализация экспериментальная эмбриология, но он шире известен как один из создателей современной *синтетической теории эволюции*. Ему и карты в руки: он внук Thomas'a Henry Huxley, Гексли (1825—1895), главного пропагандиста дарвинизма, которого мы цитировали: как это человечество до сих пор не додумалось до того простого и гениального, что развитие идет естественным отбором. Наверное Джулиан Huxley знал что говорил в статье War as a Biological Phenomenon: «In point of fact, there are only two kinds of animals that habitually make war — men

and ants»[278]*; но не все муравьи, а только одна группа, несколько видов, всего наука знает десятки тысяч видов муравьев. Это муравьи-собиратели и накопители, harvester ants, запасающие на сухой сезон. Войны с большими потерями, победители уносят запасы, долгая война длится 3 недели, самая долгая полтора месяца. Хаксли подчеркивает необычность войны. Даже у людей собственно «there is no evidence of prehistoric man's having made war, for all his flint implements seem to have been designed for hunting, for digging, or for scraping hides; and we can be pretty sure that even if he did, any wars between groups in the hunting stage of human life would have been both rare and mild... As for human nature, it contains no specific war instinct, as does the nature of harvester ants. There is in man's make-up a general aggressive tendency, but this, like all other human urges, is not a specific and unvarying instinct; it can be moulded into the most varied forms. It can be canalized into competitive sport, as in our own society, or as when certain Filipino tribes were induced to substitute football for head-hunting»[279]*.

Война у Джулиана Хаксли не значит хороший естественный отбор, скорее наоборот, порча. Это не значит что он против Дарвина, он с удовольствием цитирует своего деда, который сказал, прочитав *Origin*: «How stupid of me not to have thought of that!»[280]* Новый дарвинизм принимает, что изменение идет мутациями, скачками.

То, что только мы и муравьи воюем, достаточная причина их изучать. Цитирую старого английского мирмеколога William Morton Wheeler (b. March 19, 1865, Milwaukee, d. April 19, 1937, Cambridge, Mass., U.S.), «American entomologist recognized as one of the

---

[278] On Living in a Revolution. N.Y. and L., 1944, p. 76. *Перевод: Фактически существует лишь два вида животных, для которых война — обычное дело. Это — люди и муравьи.

[279] Там же, p. 83. * Перевод: нет никаких доказательств того, что доисторический человек воевал. Все его каменные инструменты были скорее всего предназначены для охоты, копания или свежевания. Мы можем быть вполне уверены, что даже если он и воевал, то эти войны между группами на охотничьей стадии человечества должны были быть редкими и мягкими... Что касается человеческой природы, то в ней нет специфического военного инстинкта, в отличие от муравьев-собирателей. Во внешнем поведении человека присутствуют в общем агрессивные тенденции, но они не являются, как и все другие человеческие побуждения, каким-то неизменным, свойственным виду инстинктом. Он может принимать самые разные виды. Например, находить выражение в спортивных состязаниях, как в нашем обществе, или в обществе Филиппин, где некоторые племена вынудили заменить охоту за головами футболом.

[280]* Перевод: Как же глупо с моей стороны, что я об этом не подумал.

world's foremost authorities on ants and other social insects. Two of his works, „Ants: Their Structure, Development, and Behavior" (1910) and „Social Life Among the Insects" (1923), long served as standard references on their subjects. Муравьев он собирал сам, прибором, похожим на хобот муравьеда. He discovered that the social behaviour of ants was among the most complex in the insect world, leading him to use the ant colony as a behavioural analogy for human civilization. His findings were based on firsthand [!] observations of ant species collected from all over the world, including Morocco, the Galapagos, and the Canary Islands»[281*].

Тридцать лет проведя в изучении муравьев, говорит, что это захватывающе интересно, и почему так мало кто этим занимается. Это при том что он же упоминает о громадной литературе о муравьях, у самого Уилера библиография 467 наименований, в основном муравьи.

Морис Метерлинк, которого Уилер цитирует, поэт символист, драматург, эссеист, первым увидел в улье и муравейнике «un individu unique, mais encore ou déjà disseminé, un seul être vivant qui ne serait pas encore ou qui ne serait déjà plus coagulé ou solidifié et dont les divers organes, formés de milliers de cellules, bien qu'extériorisées et malgré leur apparente indépendance resteraient toujours soumis à la même loi centrale. Notre corps aussi est une association, un agglomérat, une colonie de soixante trillions de cellules, mais de cellules qui ne peuvent pas l'éloigner de leur nid, ou de leur noyau, et demeurent, jusqu'à la destruction de ce nid ou de ce noyau, sédentaires et captives. Si terrible, si inhumaine que paraisse l'organisation de la termitière, celle que nous portons en nous est calqué sur le même modèle. Même personnalité collective, même sacrifice incessant d'innombrable parties au tout, au bien commun, meme système défensif, même cannibalisme de phagocytes envers les cellules mortes ou inutiles, même travail obscur, acharné, aveugle, pour une fin ignorée, même férocité, mêmes spécialisations pour la nutrition, la reproduction, la respiration, la circulation

---

281* Перевод: Американский энтомолог, считающийся одним из ведущих специалистов в мире по муравьям и другим социальным насекомым. Два его труда — «Муравьи: их строение, развитие и поведение» (1910) и «Социальная жизнь насекомых» (1923) — долгое время оставались основными источниками по проблеме. [...] Он обнаружил, что социальное поведение муравьев — одно из самых сложных в мире насекомых. Поэтому он стал рассматривать муравьиную колонию как поведенческую аналогию человеческой цивилизации. Его открытия основывались прежде всего на наблюдениях над семейством муравьев, представителей которого он собирал во всех уголках земли, включая Марокко, Галапагосы и Канарские острова.

du sang, etc., mêmes complications, même solidarité, mêmes appels en cas de danger, mêmes équilibres, même police intérieure»[282]*.

Тут мне становится жутковато. Если идея из биологии, то платоновский город, как организм, это тело не метафорически, а так же как живое тело или муравейник организм? Т.е. без всякого символизма, термитник какой нам и не снился?

Организм Уилер предлагает понимать не как вещь, не как концепт, а как процесс, поток, как систему действий с двумя целями, общение с окружением и воспроизведение подобных систем[283]. В этом смысле никакой метафорики: «the animal colony is a true organism and not merely the analogue of the person»[284]*.

Муравейник *индивидуальность*. Что он держится кучкой, известно, но что он противится своему расползанию, меньше известно, и яростные войны служат поддержанию этого компактного спаянного. Отдельные солдаты-защитники и работники соответствуют в личности тканям кожного и волосяного покрова и мышечным и другим внутренним тканям. Лучше всего муравейник сравнивается с корненожками, одноклеточными, где ⟨муравьиная⟩ матка будет ядром, но крылатым и возможно сознательным. Способность такого ядра вылетать из организма не нарушает аналогии: ядро клетки можно ведь, мы видели, считать вообще внешним, иногда ядро мигрирует из клетки в клетку. Крылья ⟨муравьиная⟩ королева сразу отбросит, когда выберет

282* Перевод: уникального индивида, но еще не рассеянного, уникальное живое существо, которое еще не или уже не находится в свернутом или затвердевшем состоянии и различные органы которого, сложенные из множества клеток, как бы вынесены вовне и несмотря на их явную независимость всегда подчиняются одному и тому же центральному закону. Наше тело также является ассоциацией, агломератом, колонией шестидесяти триллионов клеток, но таких клеток, которые не могут оторваться от своего гнезда или ячейки и остаются малоподвижными и привязанными, пока это гнездо или ячейка не погибают. Организация термитника может казаться нам сколь угодно ужасной и бесчеловечной, однако наша организация — это калька той же модели. Та же коллективная личность, то же постоянное принесение себя в жертву бесчисленными частями ради целого, ради общего блага, та же защитная система, тот же каннибализм фагоцитов в отношении мертвых или бесполезных клеток, та же теневая, ожесточенная, слепая работа до неведомого конца, та же жестокость, те же специальные функции для питания, воспроизводства, дыхания, циркуляции крови и т.д., те же сложности, та же солидарность, те же сигналы в случае опасности, то же равновесие, та же внутренняя полиция.

283 Essays in Philosophical Biology. Cambridge: Harvard Univ. press, 1939, p. 5.

284 Там же, p. 7. * Перевод: колония животных — это настоящий организм, а не только аналог личности.

место для будущей колонии, и рожает тоже бескрылых. Передвижение, одноразовое, матки, т.е. короткое время когда она крылатая, соответствует движению одноразовому оплодотворенного яйца в организме. Как корненожки фораминиферы имеют половое и бесполое размножение, так муравейники могут размножаться не при вылете матки, а простым делением.

Теперь гомеостаз, которым отличается организм. Выбирают из муравейника (они бывают небольшие, тогда это легче сделать) весь рабочий персонал (*the worker personnel*, термин). Остается только матка. Она начинает интенсивно создавать и выращивать другой выводок, как бы регенерирует недостающую *сому* (все клетки животного растения кроме половых). Но то же самое и если извлечь the sexual personnel, в приплоде, расплоде, у пчел это черва, напрыск, нужная порция будет воспроизведена. Теперь, если удалить матку: один из рабочих изменит свою физиологию и начнет класть яйца. Это так называемые гинекоидные рабочие. Т.е. у муравьев они откладывают яйца, но не оплодотворенные, маток не замещают. По крайней мере движение, неокончательное, в сторону восстановления организма имеется. А у термитов восстанавливаются и матка и самцы: плодовитые индивиды возникают, физиологически изменившись, из неплодовитых.

Мирмекофилами называются растения и животные, у которых с муравьями совместимость или, я не придумываю, взаимное влечение. Некоторые колонии кроваво-красных муравьев-поработителей (т. е. они отнимают у других личинки, которых заставляют потом развившихся себе служить) поражены паразитом мирмекофилом жучком Lomechusa strumosa. Муравьи относятся к этому жучку с большой любовью, и к его личинкам тоже (the beetle and its larvas are treated with great affection[285]), но жучки пожирают личинки муравьев, так что от расплода мало что вообще остается. Муравьи замечают недостаток и *превращают как-то всех выживших личинок маток в рабочих*. Это не помогает, потому что появляются промежуточные существа между рабочими и матками, псевдогины, негодные ни для работы ни для размножения[286*].

---

[285] Там же, p. 20.

[286*] Запись В. Б. к несостоявшемуся занятию 31.3.1998: «Бож⟨ества⟩ не предъявл⟨яют⟩ документы, как волки. Соображения — только в отдалении от богов; как олени могут и поиграть без волка. А без богов рассуждать? Храбрый заяц. Вся культура, публицистика, газеты... — оборона от богов! И наука входит в систему обороны? Скорее соскальзывание в растительную и вегетативную душу — при сохранении повинности перед Богом.

Почему война не чиста: смешение».

24 (7.4.1998)

Интересно, что муравьи если любят lomechusa strumosa так уж любят и не подозревают их и не гонят, по существу помогают им в поддержании жизнедеятельности — и это случай альтруизма, жертвенного самоубийства, о котором говорит Линн Маргулис.

Муравьи кастрируют своих маток, химическим путем, переделывают, наполовину по крайней мере, их пол.

Меня это наводит на мысль о темной практике кастрации, которая может быть была больше распространена в архаике чем сейчас, хотя ведь и сейчас тоже. Вовсе не человек тут изобретатель. Усоногий рачок Sacculina прилепляется к животу краба-самца, впускает в него свои присоски, кастрирует, его живот расширяется и туда проникает своим мягким телом паразит. Т.е. паразит ведет себя как масса яиц краба, а краб-самец ведет себя так, словно он изменил свой пол и у него появился живот самки. Это вещи в мире насекомых, о которых трудно говорить: у Владимира Соловьева они вызывали нестерпимое отвращение. Но если смотреть на паразитизм по Козо-Полянскому и видеть во взаимных поеданиях, порабощениях, кастрациях *внутриорганизменные процессы,* как предлагает Уилер, рассматривая массу насекомых *как один организм,* тогда, по Морису Метерлинку, остается только посмотреть на собственное тело: там всё то самое или аналогичное и происходит.

Дальше. Всем этим кто правит? Что управляет «предвосхищающей кооперацией», anticipatory cooperation, или *синергией*[287] муравейника или улья-организма. Jan Сваммердам (b. Feb. 12, 1637, Amsterdam, d. Feb. 15, 1680, Amsterdam), Нидерланды, «Dutch naturalist, considered the most accurate of classical microscopists, who was the first to observe and describe red blood cells (1658). Swammerdam

---

[287] Essays in Philosophical Biology..., p. 21.

completed medical studies in 1667 but never practiced medicine, devoting himself to microscopical investigations instead. Turning to the study of insects, he accurately described and illustrated the life histories and anatomy of many species»[288*]. Он назвал матку «королевой», она действительно окружена в муравейнике и улье явным почитанием. Но похоже что ульи устроены не монархически, а в роде коммунистической анархии, так же как в теле нет правящей клетки, мозг ведь нельзя сказать чтобы правит, правят больше страсти, а они разве в мозгу, тогда уж в уме, ум не то же что мозг.

Кто правит, это действительно вопрос, над которым стоит задуматься. Кто и как правит клетками организма. Морис Метерлинк говорил о «духе улья». Он безжалостен, жесток к благосостоянию и самой жизни этого крылатого народа (но ведь *одна* пчела не живет, без улья не может, как же ей не жертвовать жизнью ради улья). Все должны подчиняться духу улья — но он сам словно подчиняется великому долгу! Дух улья как-то устраивает, что число рождений соответствует количеству цветов в окружении; матка (королева) сама должна улететь; она взращивает своих соперниц, которые ее вытеснят; дух улья позволяет или не позволяет раньше родившимся убить своих сестер еще в ячейках. Потом, когда сезон кончается, рабочие пчелы убьют весь королевский род, всё будет посвящено работе, запасам на зиму. Дух улья строг — не скуп; в сытые летние дни вместо того чтобы работать и делать запасы он допускает присутствие в улье трехсот или четырехсот самцов, вот уж действительно трутней, глупых, нелепых, бесполезных, шумных, жадных, грязных, грубых, совсем-совсем праздных, ненасытных, громадных. — Из них королева выберет. Но потом, когда цветы станут раскрываться позже и закрываться раньше, дух улья однажды утром прикажет одновременно уничтожить всех самцов, сразу. Рабочие делятся на касты. Разного возраста пчелы делают вылеты по-разному, пчелы-няни ухаживают за куколками, всё время рядом с королевой; домашние пчелы чистят, проветривают, согревают улей, вентиляцией ускоряют испарение воды из меда: другие рабочие заняты воском, скульпторы создают соты, пчелы-химики заняты сохранностью меда, капают в него

288* Перевод: Жан Сваммердам (род. 12 февр. 1637 г., Амстердам, ум. 15 февр. 1680 г., Амстердам), Нидерланды, голландский натуралист, считается самым точным из классических микроскопистов, первым наблюдал и описал красные кровяные тельца (1658). Сваммердам получил медицинское образование в 1667 г., но никогда не занимался врачеванием, посвятив себя микроскопическим исследованиям. Увлекшись изучением насекомых, он прилежно описал и проиллюстрировал жизнь и анатомию многих видов.

капельки муравьиной кислоты; пчелы-упаковщики запечатывают наполненные ячейки, ⟨есть⟩ подметальщики, могильщики, которые убирают мертвые тела; и конечно хранители летка, ⟨они⟩ прогоняют грабителей, лишних, при необходимости вообще баррикадируют леток.

Потом дух улья организует ежегодный день массового жертвоприношения гению расы: устроившиеся пчелы как раз в час наибольшей силы и процветания внезапно оставляют свое богатство, дома, результаты своих же трудов молодым, которые еще ничего не делали, и роятся. Рой иногда гибнет, всегда он обречен на нищету — поступок в человечестве непонятный.

Где, говорит Метерлинк, этот дух улья, или рода, требующий от всех героизма, откуда он знает будущее? Всё загадка, интеллект, судьба, воля, цель, средства, цели. Любая мелочь таинственна. А ведь, помните мы говорили, пчелы только наемники, они на службе у цветов, у растений, и тогда уж надо говорить о гении сада, гении поля, духе леса!

«Энтелехия», говорят в беспомощности. Не то что это плохой термин; но он пуст и бессмыслен без всего аристотелевского контекста, а кто прочел и понял Аристотеля, всего, в связи его философии с его биологией? (Кстати, незамеченная вещь относительно перехода Аристотеля от «медицины», т.е. биологии, к философии: вы заметили, как много ⟨таких переходов⟩, и уже давно, с Ламарка Philosophie zoologique (1809) и раньше? Биология склоняет к философии сейчас, Аристотель это рано понял и всего решительнее и дальше пошел по этому пути, мы всё больше понимаем его термин *материя*, *лес*.)

Мнение Уилера вы догадываетесь какое. Клетка как муравейник, колония низших физиологических единиц. Вообще *все* организмы колонии и социумы, «one of the fundamental tendencies of life is sociogenic»[289]*. Всё живое тянется к другому живому, ассимилирует его или кооперирует с ним. Симбиоз, сожительство (инквилинизм), паразитизм, койнобиоз (ценобиоз). Тут не столько борьба за существование, сколько способность организма приладиться, найти компромисс, послужить интересам единства и других организмов, «to secure survival through a kind of egoistic altruism»[290]*. Борьба за существование, да — но не меньше всеобщий

---

[289] Там же, p. 26. * Перевод: одна из базовых тенденций жизни — социогенная.

[290] Там же, p. 27. * Перевод: обеспечить выживание посредством своего рода эгоистического альтруизма.

симбиоз взаимопомощь, до, мы видели, жертвенного, самопожертвенного поведения.

Пейзаж, который открылся, соседей-партнеров человеческого рода — богов, на время оставим. К пейзажу соседей-богов мы конечно вернемся, мы там много не досмотрели, в частности пикантное соседство вирусов и богов: проснувшись утром в настроении, мы не знаем, его причина новый штамм вирусов или веяние и предчувствие богов.

Перерыв, несостоявшийся разбор, объясняется моей несостоятельностью и путаницей с продажей билетов на Московском вокзале в Ленинграде. Путаница создана искусственно, в пользу *своих*, работников системы вокзала, которым она удобна, потому что они как знакомые с ситуацией могут быстрее сориентироваться в ней и получить преимущество, и значит потеснить в снабжении внешних.

Частная система не служит общей, это против гипотезы Геи, по которой все живые системы должны были бы ⟨служить выживанию Земли⟩, пусть даже через самопожертвование, как анаэробы пожертвовали собой, создав для аэробов атмосферу, в которой сами существовать не могли.

Провал системы, пусть не полный провал этой нашей формы жизни, а хотя бы частный проигрыш, но это может суммироваться, естественно возвращает нас к дарвинизму и борьбе видов, всё равно, идет ли эта борьба в абсолютных параметрах или она соревнование видов в их общем служении Гее, ведь для вида результат в обоих случаях один, уйти со сцены исчезнуть.

Говорить, принадлежать к исчезающему виду бессмысленно, скучно действовать, когда ты в тупике. Допустим, какая-то другая цивилизация захочет заявить о себе... Побеждающая форма жизни на земле сейчас американская цивилизация, другие могут считать себя важными, но даже заявить о себе они смогут уже только на американской пленке, или изготовленной по американскому патенту, и по телевизионной системе американского изобретения. Мы тут говорим потому, что в нашей стране победила американская финансово-экономическая система. Иначе университет стоял бы, на курсе философии биологии говорились бы очень сходные вещи и приводились те же факты, но *проблема* была бы по-настоящему уже только одна, как привести все эти факты в соответствие и как повернуть их на службу народно-хозяйственной задаче, упрочению мировой социалистической системы и новой коммунистической цивилизации. Мы бы в нашей теории решали эту практическую проблему.

Мы сейчас говорим здесь косвенно благодаря новым русским, которые держат власть. Они более или менее явно ориентируются на американскую цивилизацию. Как я сказал и как вы конечно со мной согласитесь, говорить и действовать, сознавая себя в тупике, скучно и бессмысленно. Присоединению к американской цивилизации поэтому в сущности только одна альтернатива. Но и она тоже для нас неприемлема. Вот ее типичное выражение: думающие люди «по-видимому, должны занять единственно подобающую им позицию интеллектуальной оппозиции... и в условиях всеобщего безумия оставаться живыми носителями идеалов человеческой индивидуальности и общественной справедливости... Россия может сказать другим странам, всему миру: „Я хотя бы попыталась осуществить мечту". Да, путь оказался тупиковым, великий замысел провалился. Но если констатировать это не без сожаления [кажется, тут лишнее *не*] и даже с радостью, если делать отсюда вывод, что идеал вообще является химерой, и начинать петь осанну нашим спасителям-миллионерам, то зачем тогда были философия, религия, искусство, зачем жили все эти Аристотели, Шекспиры, Моцарты, Белинские? Неужели для того только, чтобы воцарилась на Земле „нормальная" жизнь, когда можно всё купить, весело отдохнуть, в отпуск съездить вместе с женой в Австралию?! Нет, всё-таки был и есть какой-то иной, более высокий и сокровенный смысл в человеческом существовании! Нет, всё-таки мы выйдем и из сумасшедшего дома приватизации и рынка, как вышли из сумасшедшего дома казарменного социализма. И поэтому, говоря о крахе социалистических идеалов в их большевистском исполнении, не будем уподобляться карликам, которые злорадно измываются над трупом не ими поверженного великана. С точки зрения большой исторической перспективы это не конец, а всего лишь прерванный полет»[291].

Здесь не соблюдено правило феноменологии, говорится не о том что видно, а о том что видели Аристотели, Шекспиры и Белинские. Мы не знаем что они видели, за них не можем отвечать и они нам не гарантия.

Но если мы не встаем на «позицию оппозиции» по этой причине, она висит в воздухе, то на позиции американизма мы не стоим просто потому что на ней не стоим, так получилось и не нам это отменить. Мы оказываемся нигде, в безвыходности. Вызываю-

---

[291] *Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов.* Язык и совесть. Избранная социально-философская публицистика. Москва: ИФРАН, 1996, с. 123 сл.

щей, подстегивающей реальностью стоит перед нами американская цивилизация, чисто методологически она претендует на знание секрета выживания, который мы, не приобщившись к ней, по определению не будем знать.

Одна из симпатичных ее сторон та, что она относится к себе с юмором. Вот типичная американская притча: люди вконец испортили Землю и полетели искать счастье на других планетах, но там оказалось очень неуютно, настолько, что они решили вернуться чтобы хоть умереть на Земле. Тем временем однако на поверхность вышли динозавры и привели Землю в прежнее, наилучшее состояние. Дайте нам хотя бы клочок, худший, этой земли, сказали люди. Нет, не клочок, а всю землю, сказали динозавры, но не в частное, а в общее владение.

Кстати, что появятся неизвестные существа, не исключено, потому что миллион зарегистрированных видов живых существ на земле это только 10 или самое большое 30 процентов всех существ на земле. «Biology, as the naturalist Howard Evans expressed it in the title of a recent book, is the study of life „on a little known planet"»[292*].

Или еще, отношение американской цивилизации к человечеству, т.е. себе, потому что американская цивилизация уже давно берет на себя ответственность за весь мир, во всяком случае не перекладывает эту ответственность на других и ни одну политическую силу не считает основанием для горестной резиньяции, со здоровым юмором. Возьмем этическую дискуссию, которая переходит в биологию и подхвачена биологами. Роберт Нозик так доказывает необходимость вегетарианства. «The most widely discussed alternative theory to Utilitarianism in recent years is set forth in *John Rawls*, A Theory of Justice (1971, reprinted 1981). *Robert Nozick*, Anarchy, State, and Utopia (1974), criticizes Rawls and presents a rights-based theory. Another work giving prominence to rights is *Ronald Dworkin*, Taking Rights Seriously (1977)»[293*]. Человек в конечном счете оправдывает едение других живых на том основании,

---

[292*] Перевод: Биология, как гласит заголовок недавней книги натуралиста Говарда Эванса [*Howard Evans*, Life on a Little Known Planet, Lyons Press, 1993], — это изучение жизни на «маленькой знакомой планете».

[293*] Перевод: Альтернативой теории утилитаризма является широко обсуждаемая в последние годы книга *Джона Роулза* «Теория справедливости» (1971, переизд. 1981). *Роберт Нозик* в книге «Анархия, государство и утопия» (1974) подверг Роулза критике и сформулировал теорию, основанную на правах. Важное значение правам также придает *Роналд Дворкин* в книге «Относиться к правам серьезно» (1977).

что другие животные менее чуткие и у них меньше интеллигенции. Допустим, внеземная цивилизация приложила бы тот же критерий к людям, стала бы их есть с чистой совестью. Ученые той цивилизации могли бы найти наш ум слабым, страсти предсказуемыми, нашу социальную организацию уже знакомой по другим планетам. На нашу беду они обратили бы внимание на муравьев, у них редкая «haplodiploid form of sex determination»[294*] (у них трудолюбивое женское общество, самцов страшно мало, и когда самцов не будет вовсе, им это не беда, можно не заботиться: как только самцов нехватка, нужное количество их матка родит в партеногенезе) и сложная система женских каст. Возможный приговор космических ученых: наконец-то мы нашли в нашей галактике интересную планету, уникальные гаплодиплоидные социальные организмы в миллиметровом диапазоне. Людям будет трудно или невозможно доказать, что каждый из них неповторимая ценность[295].

Т.е., иначе говоря, как одной части человечества удавалось уверить себя и противника и все последующие поколения, как например грекам Александра Македонского, что они имеют безусловное право покорять, подавлять, так это с высшей ступени развития может быть доказано всему человечеству. Или еще иначе говоря: человечество как всегда, как библейское и гомерическое перед карой богов, так теперешнее американское перед инопланетянами, ищет оправдания, и в *этом* отношении американская цивилизация не ставит себя на заведомо оправданную, высшую ступень, за которой смысл истории, как делала советская цивилизация. Но, в отличие от советской, американская имеет реальный, уверенный шанс, всё равно права она или нет, этот вопрос не решается, взять верх в «естественном отборе», на это указывает уверенный, мягкий способ решения ею проблем, которые она себе ставит: вопрос нравственности решается тем, что американская цивилизация готова не уничтожать бесследно другие, а дать им место в резервациях. Каждая группа имеет право в Соединенных Штатах иметь церковь, обычаи, ритуалы, язык, школу, газету, радио, телевидение. Не имеет только администрации на своем языке, правительства, законодательства; и националисты говорят, что это хуже, и предпочли бы, в случае выбора, чтобы национальной была администрация (наверное потому что школа тогда будет национальной автоматически).

294* Перевод: гаплодиплоидная форма половой детерминации.

295 *Edward Osborne Wilson.* On Human Nature..., p. 17 сл.

Правоту, *санкцию* американская цивилизация готова признать за чужой религией, культурой, пожалуйста, но политическое решение оставит за собой. Что там за религией. Муравьи. Американский мирмеколог пишет: если бы муравьи освоили две вещи, мирное сосуществование между колониями и сохранение природной среды, «they would have greater staying power than people, and in a broad sense theirs would be the higher morality»[296]*. Нравственное первенство может быть отдано муравьям, но не политическое решение.

Тем более что человеческое поведение продиктовано генами. Ведь не случайно набор человеческих генов отличается от шимпанзе; разницы достаточно для объяснения отличия человеческого поведения от других животных, если учесть, что сходные гены объясняют сходное поведение. Например в обществах муравьев: возрастные группы, календарь, касты, кастовые законы, организация, обучение уходу за телом, общественный уход за молодыми, сотрудничество, космология, ухаживание, разделение труда, воспитание, этика, этикет, табу на пищу, дарение, приветствия, ритуалы ухода за телом, гигиена, табу на инцест, язык, уход за личинками, медицина, ритуалы метаморфоз, брачные путешествия, повиновение главе, воинские касты, хирургия, изготовление орудий, торговля, визиты, метеорологическая служба.

Нет в принципе способа доказать, что культурное поведение не продиктовано генами. «...Human behavior is... organized by some genes that are shared with closely related species and others that are unique to the human species. The same facts are unfavorable for the competing hypothesis which has dominated the social sciences for generations, that mankind has escaped its own genes to the extent of being entirely culture-bound»[297]*.

Около 5 млн. лет шло генетическое становление человека, и последние 10 тысяч лет начался культурный спринт, естественно, почти без или вовсе без генетического изменения. За это время истории и культуры собственно ничего не происходит такого, что не

---

[296] Там же, p. 23. * Перевод: они имели бы бóльшую выносливость, нежели люди, и — в широком смысле слова — были бы более моральны.

[297] Там же, p. 32. * Перевод: ...Человеческое поведение... организовано несколькими генами, которые общие у близкородственных видов, и другими, которые есть только у человеческого вида. По той же причине в невыгодном свете предстает соревновательная гипотеза, которая господствовала в социальных науках в течение нескольких поколений: будто человечество избавилось от собственных генов в рамках существования, определяемого исключительно культурой.

следовало бы из счастливых находок миллионов лет естественного отбора. С генетической основой человека ничего не происходит, и она вовсе не любому культурному процессу одинаково дает шанс.

Ясно одно: индивид или группа, которые могут обеспечить себе более надежное распространение в следующем поколении, этим самым упрочиваются, утверждаются. Поведение при этом может быть всякое. Почти такие же касты как у муравьев были в доколониальной и британской Индии, в меньшей мере это сохраняется и теперь. Более или менее общая для всего человечества *гипергамия*, т.е. продвижение женщины вверх по социальной лестнице через брак, в Индии была, да и остается, узаконена строгим обычаем и религией. Сикхи *беди*, подкаста кшатриев, воинов, посвященная в Веды, а сикхи между исламом и индуизмом, известны как кури-мар, убийцы дочерей. Так на социальном верху создается вакуум, притягивающий женщин из низших каст наверх, к сыновьям сикхов, вместе с приданым: движение женщин и богатств наверх. Беднейшие мужчины низших каст остаются практически без жен. — Трезвее чем возмущаться или удивляться сравнить эту практику со сложной организацией муравейника, где и пропорция самок и самцов, и касты подчиняются строгому порядку. В этом свете надо по-новому посмотреть на революционное уничтожение классов. Тогда соответственно и исключительно нравственная оценка такой регуляции человеческого населения становится проблемой.

Проблема и с нашей так называемой свободой воли, или свободой выбора. «If our genes are inherited and our environment is a train of physical events set in motion before we were born? how can there be a truly independent agent within the brain? The agent itself is created by the interaction of the genes and the environment. It would appear that our freedom is only a self-delusion»[298]*.

В самом деле, мы ведь не сомневаемся назвать машинкой скажем комара. Самка комара, вызывающего желтую лихорадку, издает писк частотой между 450 и 600 герц (циклов в секунду), и в лаборатории энтомологи просто ударяют по столу камертоном, имеющим эту частоту, чтобы приманить самцов; если на камер-

---

[298] Там же, p. 71. * Перевод: Что если наши гены передаются по наследству, а наша окружающая среда — это череда физических событий, приведенная в движение до нашего появления на свет? Каким образом тогда в нашем мозге может быть некое всецело независимое действующее начало? Само действующее начало — результат взаимодействия генов и окружения. Тогда может оказаться, что наша свобода — не более чем самообман.

тон положить что-то органическое, самец будет пытаться спариваться с чем? со звуком, для него это достаточный стимул, без всякой самки, он настроен на частоту звука. Но такое же жесткое поведение самки. Она настроена на тепло млекопитающего или на запах молочной кислоты, идущий от кожи. У нее два тонких жала, которыми она прокалывает кожу, и один вид этого комара например идентифицирует кровь по вкусу одного из сотен составляющих крови, аденозин дифосфат: где аденозин дифосфат, там для нее и кровь. По каким-то другим знакам-стимулам она потом находит резервуарчики воды, в которых может отложить яйца. Ничего другого она в своей жизни не делает. В голове этого комара сто тысяч нервных клеток. Этого достаточно чтобы жестко запрограммировать комара генами, все несколько дней жизни от рождения до финального акта откладывания яиц. Где здесь место для свободы воли, свободы выбора.

Но чем человек другое дело. У него в голове 10 миллиардов нейронов, конечно, это разница; можно ожидать что его поведение будет соответственно в 100 000 раз сложнее поведения комара; иногда реально оно не намного сложнее от рождения до смерти. Громадная разница в потенциальной сложности может кого угодно сбить с толку и запутать, но какое есть основание говорить, что человек уже не машина, только чудовищной сложности? В сто тысяч раз сложнее комара, но почему не так же детерминирован. Не видно причин, кроме как от отчаяния выяснить причины и цели, говорить, что человек поступил именно так потому что он так *захотел*. Само *захотел* как понятие окажется биологической функцией. Поневоле тут вспомнишь с удовольствием, что эту возможность, сплошной и абсолютной детерминированности поведения, жесткого *креста*, на котором человек не может шевельнуть ни рукой ни ногой, мы как-то предвидели.

Есть большая разница между частным наблюдением и массовым собиранием данных, возможность чего дает современная наука и по-настоящему только она. Что казалось личными чертами, обычно они кажутся «хорошими» или наоборот «скверными», оказывается врожденным, этому индивиду просто *не принадлежащим*, он так сказать ни при чем в своих чертах характера, они *не его* черты. Систематически врожденность, т.е. генетическая детерминированность черт «характера» недооценивается. Исследовали детей американских китайцев в возрасте 3—5 лет, они бегают, прыгают, смеются, зовут друг друга, катаются на велосипедах и самокатах, но — делают это заметно тише чем в группах европейских детей, и впечатление не бедлама, а мира и покоя.

Меньше мимики, от этого больше достоинства и самообладания. Физические движения более скоординированы, меньше падений, столкновений, ушибов, нет визгов, воплей, нет даже такого частого среди детей этого возраста нравственного негодования, «ты плохой», нет споров о собственности, драки — тоже нет, собственно только добродушная борьба у старших мальчиков. Что это, столетия китайского воспитания, *или наоборот*, Китай такой и так воспитывает потому что его население генетически такое?

Индейцы навахо в этом отношении — дети — еще спокойнее китайцев. Когда ребенка навахо поднимаешь стоящего и переносишь так с места на место, он редко болтает ногами так, словно идет; его сажаешь, он опускает голову, кладешь на живот, он лежит и не ползет. Опять же, пассивность детей навахо давно замечена и ее объясняли тем, что матери навахо носят детей за спиной собственно зажатыми в деревянном ящике, в вертикальном положении. Но скорее наоборот: именно потому, что младенцы навахо относительно спокойны, их естественно было носить в жестко неподвижной позиции.

Если всё генетически расписано, то что же делает *сам* человек? У Эдварда Wilson, мирмеколога, о котором я заговорил три недели назад, ему сейчас 69 лет, в книге 1978 года «On human nature», есть мнение, которое мне очень нравится. Самость добавляет старательности, тщательности в движения манекена. Нравится наверное потому что это близко к тому что я называл именностью и «тем самым» или просто «тем». «The emotional centers of the lower brain are programmed to pull the puppeteer's strings more carefully whenever the self steps onto the stage»[299]*.

Распространенная ошибка, если нам удалось избежать которую, то очень было бы хорошо, — думать, что у человека есть нравственное суждение, имеющее какой-то смысл. Прав скорее Платон, в Алкивиаде I замечающий, что то самое нравственное суждение о добре-зле, дающее взрослому политику энергию действия, естественно ради добра против зла, у него было уже, очень энергичное, с незапамятного детства, когда он бойко упрекал товарищей по играм, что они плохие, неправильные и скверные.

Вот описание поведения общества охотников-собирателей, живущих еще в каменном веке; таких на земле несколько десят-

---

[299] Там же, p. 75. * Перевод: Эмоциональные центры нижнего мозга запрограммированы на то, чтобы марионетка двигалась более точно всякий раз когда самость вступает на сцену.

ков, и это как бы расширенные семьи, группа в 25 индивидов занимает и защищает пространство для собирания и охоты в 1—3 тысячи кв. километров, значит какой-то грубый круг диаметром 30—50 километров. В их лагере постоянный ровный шум разговоров, их нескончаемый несмолкаемый поток, говорят о собирании, охоте, погоде, распределении пищи, подарках, скандалах. У всех всегда слов хватает, и иногда одновременно говорят два, три человека, слушай кого хочешь. Даже в самых благополучных лагерях большая часть разговора переходит в спор. Спорят о несправедливом разделе пищи, часто о нарушении этикета, о том, что кто-то не дал ответного дара, не приютил как его приютили. Аргументация ведется всегда задевая личность, с подозрениями и упреками что кто-то слишком гордый, дерзкий, ленивый и эгоистичный. Если заходит речь о других группах, особенно с которыми война, то оценки будут круче, до злобы, коварства, применения ядов, скверного колдовства. Т.е. идет постоянная шлифовка, притирка, настраивание себя на усилие. При сравнении с современным постоянным журналистским разговором этого нравственного ворчания первобытного общества оценки, темы оказываются одинаковыми[300].

Или еще. Сопоставляя наблюдения современных обществ охотников-собирателей с поведением обезьян, с археологическими данными, антрополог рисует предположительный портрет гоминида, который должен был иметь шанс на выживание на протяжении тех 99 процентов генетической эволюции человека, которая предшествовала последним 50 тысячам лет человека в известной нам форме. Получается такой портрет: «Controlled, cunning, cooperative, attractive to the ladies, good with the children, relaxed, tough, eloquent, skillful, knowledgeable and proficient in self-defence and hunting» (Robin Fox)[301]*. Чем отчетливее эти черты, тем больше успеха выживания и воспитания. Но ведь это черты, все, старательно культивируемые, пропагандируемые в кино, рекламе, телевидении, успешного современного американца.

Гоминиды с такими качествами, с такими генетическими задатками не могли иначе как катализировать собственное развитие, автокатализ, всё быстрее и быстрее, пока в конце взлет куль-

---

[300] Там же, p. 85.

[301] Там же, p. 86. * Перевод: Управляемый, хитроумный, готовый к сотрудничеству, привлекательный для дам, добрый к детям, расслабленный, упрямый, красноречивый, умелый, хорошо осведомленный и удачливый в самозащите и охоте.

туры не стал почти вертикальным, за какие-то десять тысяч лет ⟨возникло⟩ всё что мы видим. Постепенно или скачками биологическое развитие человека шло как-то странно неостановимо на протяжении двух-трех миллионов лет, когда за каждые сто тысяч лет объем мозга увеличивался на кубический дюйм. Только примерно 250 тысяч лет назад этот процесс остановился, homo sapiens сложился в теперешнем виде.

Но, так сказать, химия, действующая в этом автокатализе, с самого начала — генетика — одна и та же. Биолог с современным кругозором в антропологии и исторической антропологии совершенно отчетливо видит, что цивилизация новейшего типа это просто *гипертрофия* структур, которые уже и существовали, примерно так же как гипертрофия одного зуба в бивне у слонов, или гипертрофия лобных костей в ветвистые громадные рога у некоторых оленей.

То, что у ранних охотников-собирателей было скромным приспособлением к среде, стало развитой, иногда чудовищной формой в «продвинутом» обществе. Но направление роста тут, как и вырастание зуба до бивня, преднамечено, к нему есть предрасположенность у дописьменных человеческих существ.

Например охотники пустыни Калахари. Воспитание девочек и мальчиков там одинаково, разница едва заметна, девочки меньше работают со взрослыми работающими вне дома (мужчинами и женщинами), взрослые женщины уже отчетливо отличаются по своим занятиям от мужчин, собирают орехи, ходят за водой — хотя и мужчины делают то же. Но вот охотничья большая семья оседает и становится деревней. Сексуальные роли уже в первом поколении отчетливее. Девицы остаются при доме, мальчики пасут домашних животных, отгоняют обезьян и коз. Раньше то, что собрала женщина, она никому могла и не отдать, разве что подарить, это ее, она равноправна, уверена в себе; теперь в деревне она явно зависима, появляется характерная мужская доминация, вне дома женщина слова не имеет. Дальше — больше, гипертрофия сексуального разделения закрепляется обычаем, ритуалом, просто законом, и вот уже женщина движимое имущество, за нее дерутся, торгуются, продают, к ней другая мораль в отношениях. «The great majority of societies have evolved toward sexual domination as though sliding along a ratchet»[302]*. Однонаправленное движение, стре-

---

[302] Там же, p. 92. * Перевод: Подавляющее большинство обществ развивалось в направлении полового доминирования подобно тому, как собачка скользит по зубьям храповика.

лок в часах, и страшно гипертрофированное по сравнению с коротеньким движением маятника, но ведь движение маятника *было* и должно было быть сначала, чтобы потом появилось движение стрелок.

Но как с положением женщины, посмотрите на гипертрофию женской моды в современном обществе, так и все черты современного общества. Взять национализм. В пустыне Калахари Nyae Nyae !Kung уверенно говорят о себе, что они-то совершенно чистые, правильные, всё скверное сами себе запрещают делать, но того же народа !Kung другая группа гадкие, абсолютные убийцы, пользуются колдовством и смертельными ядами. Точно так же все национальные цивилизованные культуры любят себя, считают свою культуру в ***главном***, т.е. решающем отношении безусловно лучшей, от Бога санкционированной, а другие в каких-то отношениях может быть и сносными, но в главном явно худшими. Культура работает над обоснованием этого различия, пишет свою идеологию и историю, и разные культуры пишут истории всегда *разные*, такие, что подтверждается воззрение именно этой, хорошей культуры.

Теперь, в сломанных часах шестеренки не крутятся, храповик заклинило, а что с пружинкой маятника? Она *кажется* что тоже стоит, но нет! те же колебания, что и раньше, особенно при внешнем движении часов, в этой пружинке сохраняются, может быть незаметные. Если снять культурную гипертрофию, под ней окажутся всё те же генетические механизмы, они никуда не денутся. И те маски, лица, которые вынуждены в культуре носить ее участники днем, например женщины, которые хотят занимать положение в обществе, соблюдать требования моды, всё это схлынет, причем не когда-то всё куда-то денется, а *уже и сейчас* в функционере цивилизации, каждый такой функционер — лица *два*, надетое для показа, демонстрации, и то, может быть совсем не уверенное, которое каким-то минимальным, незаметным движением маятника *подчиняясь как во сне генетической диктовке* склонилось в предопределенную сторону, а остальное подхватили уже храповик и шестеренки. Поддержка этой сложной системы может сорваться, человеческое существо внезапно, крушением возвратится от гипертрофированных форм к природным. Самопознание, конечно поддержанное всем человеческим знанием, великим освободителем от правящих схем, говорят просвещенные биологи, должно выявить то ядро природы в человеке, которое подвергается цивилизационным гипертрофиям. Знание и самопознание поможет точнее отслоить опасное развитие от безопасного, пока-

жет, что́ в человеческой природе надо культивировать и что́ подорвать, чем можно безопасно наслаждаться и к чему относиться осторожно. Но изменения человеческой природы надо ожидать не раньше чем, реально очень нескоро, удастся не просто комбинировать и рекомбинировать, а изменить гены.

Как всякая культурная гипертрофия, так сходным образом война. Биологическая предрасположенность к войне в человечестве скорее средняя, гиены — особенно гиены, — львы, обезьяны лангуры гораздо чаще чем люди грызутся до смерти между собой, пожирают детенышей и даже друг друга. Но вот *культурный* каннибализм, например ритуальный в древней Мексике, конечно гипертрофия, когда в долине Мехико ежегодно приносились в жертву богам и потом съедались знатью, их слугами и солдатами (возможное объяснение: человек плотоядное животное, и в Центральной Америке дело обстояло очень плохо с мясной пищей) думают что 15 000 человек.

Биологическая антропология, или социальная биология, отказывается от фрейдистской схемы накопления в бессознательном импульсов, влечений, которые время от времени находят себе выход в войне. Война ведь только один из видов агрессивного поведения. По фрейдистской схеме кипящего котла с накопляющимся паром война, хороший выход для пара, должна была бы компенсировать собой другие формы агрессивности, как например татуировка и другие ритуализованные формы увечения тела, военные виды спорта, жесткое обращение с девиантами. На самом деле наоборот: *все* виды агрессии как бы разжигаются одновременно, опять в порядке автокатализа.

Тема, еще мало развитая, *территориальной* войны, или вообще привязки к территории.

25 (14.4.1998)

Мы окружены лесом со всех сторон, вплотную, и то, что кажется интимно нашим, наша мысль, не в лучшем положении чем наши настоящие тела. Лес всегда уже успел сомкнуться вокруг. Напрасно в этом отношении, зря топорами пробивались через джунгли: современный большой город опять джунгли; наука пробилась в макромир и в микромир, но в новых измерениях она встречает всегда снова уже готовые образования, так, что наука как бы сама себе заказывает то, что она увидит: степенью своей изощренности и тонкости, в меру своей софистики и логистики она встретит софистику и логистику и в «природе», образования встретит той сложности, к которой она готова и на пределах того, с чем она может справиться, всегда обязательно видя и предел, «нерешенные вопросы».

Но ведь так же и с нашей мыслью. Мы всегда видим уже ее образования, как проснувшийся всегда видит уже готовый сон, слышит и звонок будильника, который превратился в сон, но шаг перехода от звонка к тому что приснилось, или движение того что приснилось к звонку, не видит.

Недоступна для науки коммуникация с двойником. Мы стоим рядом с ним, всегда, нам так интересно, рядом с inter-esse, важной и единственно важной разницей, нам хорошо потому что мы догадались об этой интересной позиции. И кроме того мы осваиваемся в положении, которое, похоже, одинаковое в предприятии всего живого: оно не особенно знает что дальше. Мы учимся быть готовыми к нашей принципиальной неготовости, к тому, что мы так или иначе будем застигнуты, и решающим (для чего решающим? для нас, для всего, для чего угодно) будет наше поведение в момент когда нас *захватит, увлечет*.

«Культура», которая *не знает* или еще не знает о принципиальной неготовности живого к встречам в лесу, может быть стати-

стически, по количеству публикаций например или по экранному времени, преобладающая, нам не может помочь никак, ни даже отрицательно, своими ошибками: у нее нет даже интересных ошибок, но эта «культура» в кавычках составляет удобный, удачный нейтральный фон для интересного поведения человека. Например поведение зайца, который подпрыгнул от ужаса при виде волка, интересно, но ведь оно было подготовлено его смелым выступлением на трибуне. Ровное мирное гудение безмятежной экранной культуры годится на то чтобы быть фоном необычного. Наука, научное мышление учит, что всё на самом деле не так просто, и показывает, как именно непросто.

Я попробую понять и объяснить, почему наука всегда продолжает ориентироваться на общекультурный фон, берет оттуда лексику и понятия. Не в первую очередь потому что культура массовая и потому что через свою лексику она умеет притягивать деньги для оплаты научной работы, исследования, и нуждается, просит науки для своей критики, очистки, и науке поэтому естественно встраиваться в культуру. Просто то, что не подключено к этой машине, не имеет в ней названия, начинает новое и неименованное.

Но если даже постоянный ровный культурный фон служит для контраста, то тем более наука; ее очищающей, отрезвляющей работы всегда мало, здесь американская прагматическая и аналитическая мысль всегда *еще мало* сокрушила европейскую старую метафизику, надо еще больше. Принадлежим мы к этой традиции американской или нет, поздно или рано приобщились к ней, так или иначе надо, it's a must, пойти к ней в школу и навыки ее перенять. Нелепо только делать *эту* уникальную школу трезвости, прагматизм и аналитику, моделью для порождения новых текстов. — Так что никогда уже не скажем, что американский подход это не для нас. Наоборот, всякий раз, когда принципы, требования, дисциплина прагматизма и аналитики у нас не будут выполнены, считать это нашим недостатком и исправиться. Неспособность усвоить дисциплину прагматизма давайте будем теперь честно засчитывать себе в промах.

Против того, чтобы считать человека особым в природе, простое соображение, что многие животные, например шимпанзе, или муравьи, похожи на человека в поведении. Человек сильно отличается? но во-первых почему бы отдельному виду и не сильно отличаться; а во-вторых человек в массе, в большинстве отличается от животных вовсе не в лучшую сторону, или если вам не нравится введение этических оценок, то отличие может быть и прин-

ципиальное, коренное, но такое, от которого вообще окажется не нужно говорить о каких-либо отличиях внутри живого или о живом на земле. То отличие человека от других животных, о котором смысл говорить имеет, странное и оно кричащая проблема: всё, чем мы заняты, что мы делаем и говорим, это решение человеческой проблемы. Говорить сколько-нибудь окончательно о человеке иначе как в порядке острого вопроса, это как раз тот лишний европейский мусор, которому нужна метла американского аналитизма и прагматизма, она его мягко, снисходительно выметает.

Выметается первым Бог особого рода, наблюдатель, который якобы создал людей свободными и такими оставил в мире, будто бы для того чтобы от своей большой любви не нарушать их свободу. На такого бога, отстранившегося воспитателя, сердился Розанов: неужели мать, родитель, видя как младенец протягивает руку к огню, даст ему для науки спокойно обжечь руку, чтобы он сам на опыте узнал что такое огонь? неужели вовремя не отведет? Бог, который любит людей и знает секрет, как им надо вести себя, неужели стал бы дожидаться, когда они сами додумаются, не побежал не сказал им первый? не повел за руку? Не очень интересно думать какого производства этот небиблейский бог (библейский первый приступил, пристал к Моисею, заставил его против воли, против силы вести народ, дал закон, страшно рассердился когда народ сбился с пути). Кому хочется, может распутать этот след курицы. Но я предупреждаю не причислять этого прохладного бога к новейшим изобретениям. В нем продолжается древняя традиция ревнивого завистливого бога, который хоть и знает, но не поделится своим знанием ни за что и заставит человека искать методом проб и ошибок.

Правда, американский прагматизм, признавая Бога и выметая его странные изображения, оставляет его пустым, примерно как Бога американской государственной религии, того, о котором сказано на американских деньгах, что In God we trust. Не обязанные вместе с американским прагматизмом принимать и его ограниченность, мы можем уверенно говорить о Боге, что Бог, *если* Он настоящий и если действительно Он относится к людям как к своим созданиям и детям, всё что сам знает им скажет. Всё что надо знать для обращения с автоматом, живым существом самого себя, он сказал, внушил, если надо, догонит и еще повторит, заботливо.

Пусть покажется рискованно, но ⟨в том, что⟩ вокруг чего⟨-то⟩ долго ходишь и в конце концов убьёшься, что по-другому тут думать уже не будешь, лучше честно в этом признаться. Вот в чем дело: Бог, о котором интересно думать, о настоящем, не о ревни-

вом, уже всё что он знает сказал, причем всеми способами и на всех языках, в том числе в интуиции, в предчувствии и во сне. На этот счет можно быть спокойным, не конструировать Бога, а спросить лучше, знает ли человек всё то что он знает. Вот *человек* действительно может знать много и не сказать это никому и даже самому себе, и вовсе не по той причине что хочет как воспитатель дать воспитываемому свободу, чтобы он научился сам, а по другой замкнутости и глухоте. Человек сам себе неприступен как двойник. И вот непохоже на то, что загадка двойника так и должна остаться загадкой, словно она его не касается. Вызов американского прагматизма, на который нам поневоле приходится отвечать, заставляет объяснить и объясниться, почему мы *не обязаны* считать себя просто до-научной культурой, задача которой подтянуться: круг вещей, к которым мы по-разному подходили, тема *другого*, друга, другого *я* или второго *я*, двойника и близнеца, и сновидения, как этот круг ни трудный, но он *близкий*, это всё слишком близко и ближе чем хватает прагматизм. И Бога мы будем искать, если вообще будем, тоже близко, в той близости, когда он нам близнец, и думая о Гераклите, о его тождестве людей и богов, между которыми разница только в смертности и бессмертности. Что такое бог. Это сам человек, тот же человек, не который стал благодаря медицине бессмертным, а который и есть он же сам себе другой. Кроме гераклитовской формулировки нашей задачи, у нас есть еще и пушкинская, без двусмысленности, без стыда и робости, пусть нас назовут отсталыми или наивными, вера

Что есть избранные судьбами,
Людей священные друзья;
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит.

Эту речь о друзьях мы понимаем и в смысле: о других нас. Признаться в том, что именно эта тема наша, значит обязать себя, связать себя задачей, что мы и делаем: от этого момента связываем. С благодарностью американскому прагматизму, чей вызов заставил нас наконец повернуться к са́мому своему.

Но пока — глаза страшатся а руки делают — вернемся в наш непроглядный лес, спокойно встанем в ряд живых существ. Будем надеяться на настоящую свободу только когда мы не испугались полной скованности.

Продолжаем освобождаться от структур, которые часто кажутся спущенными откуда-то с неба, из-за облаков. Жесткая *граница*, черта или закон, похоже связана с территориальностью живого, с защитой им территории. Не обязательно думать что живое вписано в пространство, скорее пространство развернуто по-разному (разное пространство) живым, но во всяком случае граница принадлежит лесу. Да мы уже и давно, как-то формально увидели в лесе геометрию. Присмотримся к ней еще и с этой стороны.

В сохранившихся обществах каменного века, у уже упоминавшихся охотников-собирателей (мужчины в основном охотники, женщины в основном собиратели, но разделение не жесткое) жесткое разделение между своими и чужими: общество запрещает на своей территории ловить рыбу, охотиться, собирать растительную пищу. Убийство чужого, соседа за собирание плодов кажется неоправданно жестоким и может быть даже невыгодным поступком, потому что неприятные последствия могут быть хуже чем от потери части территории. Но вступает в игру жесткость другого рода чем пластика леса, и другого рода чем рациональность, расчет: человек соседнего племени *не спросил разрешения* собирать, он оказался *коварным, нечестным, т. е. злым*, и *именно по этой причине своей коренной недоброкачественности*, а не для компенсации причиненного ущерба, должен быть уничтожен как главная зараза, как носитель худшего зла. В связи с этим типом поведения надо пересмотреть правило *око за око, зуб за зуб*, в нем есть несоразмерность, рационализм, который другого порядка чем выступление за добро, которое может начаться с малого, но должно кончиться полным искоренением зла. Евангельская заповедь, наоборот, прощения, а не ока за око, тогда в другом, радикальном пространстве, а Моисеева, так сказать, в рациональном.

Бразильские mundurucú, охотники за головами, вот уж действительно «уголовники», имеют тоже жесткое, безусловное обоснование для своих нападений на pariwat, так называются все кто не mundurucú (нападают рано утром после сна, навеянного шаманом, отрезают как можно больше голов и уносят как можно скорее): так поступивший поступил лучшим образом, потому что не-мундуручу хуже чем зверь, он не человек, в его «внутри», в замысле воле и решении, в умысле и настроенности, в его «голове», такое зло, что только сняв эту голову с плеч и взяв ее себе, храня ее у себя, можно избавить мир от зла.

Если бы мундуручу не вели этой жесткой очистки природы от зла, контроль народонаселения осуществлялся бы например через голод, охотники за головами осуществляют его опережающим об-

разом. За страшным злом в головах, которые надо отрезать, скрывается нарушение природного баланса, экологии, — там, на их ранней стадии, мундуручу опережают собой, спасают землю от того, что ей грозит теперь, от уничтожения.

У них в крайней, отчетливой форме проводится правило, *кто не с нами, тот против нас.*

Вместо силлогизма, «разрастание населения приведет к деградации и голодной гибели, это надо заранее предотвратить, искусственно население сократив», сознание выходит из реальности в пространство, где добро-зло, подвиг ума, силы и мужества для истребления зла, и потом эта схема довольно произвольно накладывается на живые существа. Она и должна накладываться произвольно, как-нибудь, потому что ведь не в персональном выборе действительно злых ее сила, а в том что она обеспечивает выкос популяции. «There is an innate predisposition to manufacture the cultural apparatus of aggression, in a way that separates the conscious mind from the raw biological processes that the genes encode. Culture gives a particular form to the aggression and sanctifies the uniformity of its practice by all members of the tribe»[303]*.

Дарвинизм с опережением, заранее настраивает человеческое существо на свою жесткость, и задолго до того как сработают дарвиновские законы выживания, биология взрезается, прорезается границей. Можно было бы сказать что граница, край, жесткость диктуют муравьиные войны. Едва ли измененной химии другого муравейника достаточно для обоснования убийства. Явно химия только знак, примерно как для охотников за головами не наш язык знак, но малого знака достаточно чтобы развязать схему «свои хорошие — чужие плохие».

Как эта схема войны была изобретена. Изобретатель не знает о своем изобретении, он раздваивается на себя чистого, который жестоко, с риском для собственной жизни очищается служением, верностью (святой, религиозной) схеме, на того кто безусловно знает как надо делать — и себя другого который ровным счетом ничего не знает о происхождении схемы, о причине ее абсолютности, жесткости.

Мундуручу только случай-модель, простой. В более сложном виде то же показывает всякая культура. Культуру поэтому чуть ли

---

[303] *Edward Osborne Wilson.* On Human Nature..., p. 114. * Перевод: Существует врожденная предрасположенность к выработке культурного аппарата агрессии, чтобы сознание было отделено от грубых биологических процессов, закодированных в генах. Культура придает агрессии индивидуальную форму и освящает единообразие агрессии, практикуемой всеми членами племени.

не прежде всего надо определить как военный аппарат: аппарат культуры — военный аппарат. В культуру встроено требование абсолютное (дисциплины, послушания, воспрещения), которое обязательно включает соображение, лапидарно высказанное человеком одного воинственного племени: «We are tired of fighting. We don't want to kill anymore. But the others are treacherous and cannot be trusted»[304]*. Разница между своими и чужими может быть меньше чем между своими и своими, к чужим может быть отношение лучше чем к своим, но: какими будут, должны быть свои, как проляжет граница, как она изменится, заведомо не закодировано; но почему граница между своими и чужими в человечестве обязательно пройдет, и пройдет обязательно по бескомпромиссному абсолютному принципу. Непременная далекость этого принципа от биологических причин дарвинистского плана, типа выживания (война идет настолько не ради телесного самосохранения, что тема «лучше смерть чем рабство», better dead than red, «умрем, но не сдадимся» появляется обязательно и сразу как только дело становится серьезно), — эта парящая отлетность, отрешенность идеалов, ради которых ведется война, не обязательно должна вызывать подозрение, что так, косвенно, легче и вернее захватить лучшие дарвинистские позиции, но обязательно требует заметить: человеку, как он понимает и каким он хочет себя видеть и иметь, выжить трудно. Присутствие других, которое *всегда* требовательно, причем требовательность *никогда* не остановится перед угрозой войны, а война *как правило* не остановится перед большими и очень большими потерями, делает так, что для сохранения своей жизни человек должен *рисковать* жизнью.

Парадоксально, но никакой ошибки нет: за сохранение своей жизни человек платит жизнью. Лев, в отличие от этого, всегда рассчитает, на какую силу нападать, и не скажет себе, нападу чего бы это мне ни стоило. Собака нападет, но так она тренирована человеком. Но вот пример камикадзе, где человек ни при чем. Солдаты одного вида термитов как ходящие бомбы нагружены железáми и мешками, в которых хранится жидкость собственно для одноразового использования: солдат выбрасывает ее в противника, она мгновенно загустевает и запутывает противника или противников, но и солдата тоже; причем иногда солдат буквально взрывается, эта жидкость выплескивается из него в разные стороны и запутывает всё вокруг.

---

[304] Там же, p. 119 сл. * Перевод: Мы устали от борьбы. Мы больше не хотим убивать. Но другие вероломны и им нельзя доверять.

Но у термитов воюет каста солдат, о случаях тотальной мобилизации и коллективного жертвенного самоубийства за *идею*, а не за целость муравейника, не слышно чтобы сообщалось. Чтобы весь вид был готов жертвенно уничтожить себя за верное понимание идеи, этого как будто бы вне человека не наблюдалось.

Стратегию дарвинизма проводят все виды, но ни один не бросает себя весь в тотальной мобилизации на служение идее, которая может и потребовать войну и санкционировать во время войны *любое* поведение. Только человеческая религия (понимая религию широко, не обязательно даже в институтах, как марксизм-ленинизм, а и новейшая темная религия банков, почти без институтов, кроме рулетки в разных видах) дает такой неограниченный запас оправдания. Муравей солдат, проникая на чужую территорию, будет постепенно сникать, его решительность будет падать и на совсем чужой территории он смутится. Крестоносец не смущается на чужой территории, потому что религия дала ему санкцию на экс-территориальность.

Как будто бы всё-таки нет причин не соглашаться с дарвинистским происхождением идеи, культа, религии, культуры как войны: угадываемый, ощущаемый исход судьбы, жесткие условия выживания проецируются как бы обратно, вперед из будущего на настоящее и уже теперь диктуют предельные, граничные требования, *потому что так или иначе* крайность подступит, тогда пусть уже теперь. Ранняя дисциплина перед неминуемой встречей. Разведка так сказать донесла, что та встреча с концом будет. Разведка кроме того постоянно идет, вглубь леса. «История» даже этимологически одного корня с «разведкой», первоначальное значение ιστορία *исследование*, *расспрос*. История человечества стала такой, историей культур и войн, благодаря истории-разведке, которая собрала достаточно сведений чтобы внушить необходимость строгой опережающей дисциплины.

Как возможна такая сложная настройка человечества на ситуацию. Но в принципе так же, как лев рассчитывает свой прыжок. Или как дельфин, мы читали у Аристотеля, рассчитывает свой нырок на пределе запаса воздуха в легких. Сама правда, очевидность быка прямо диктует льву его прыжок. Так разведка, на которую мозг человека вполне способен, диктует ему его дисциплину.

Если культура, т.е. прежде всего культура войны, это опрокинутая назад, на современность, судьба, собранная история, то в образ действий человека входит помимо содержательного наполнения формальный, если хотите, или сверхсодержательный при-

знак полноты, завершенности. Эта черта есть и в нырке и полете дельфина, описанном у Аристотеля, и в прыжке льва.

Как назвать эту всякий раз уже сейчас присутствующую законченность в человеческой культуре (человек уже сейчас ведет себя как на пределе, на краю, конец уже сейчас), я не знаю, но предложу вам считать, что она связана с дионисийством, с вином. *Вино и полнота*, эта тема стоит того чтобы на нее обратить внимание. Основатель христианской религии начал свое чудотворство с превращения воды в вино. Брак в Кане Галилейской мог сорваться оттого, что вино кончилось. Вино старой религии кончилось.

С этим опережающим характером человеческой культуры, которая строится так, что всегда устанавливает уже сейчас последний решающий суд, обеспечивая так себе сразу же полноту, интересно сравнить секс у человека. Современная биология повторяет аристотелевское наблюдение: человек выбрал странный кружной и сложный путь продолжения рода, как бы запретив себе, физиологически закрепив запрет на прямые способы размножения. «Sex is central to human biology and a protean phenomenon that permeates every aspect of our existence and takes new forms through each step in the life cycle. Its complexity and ambiguity are due to the fact that sex is not designed primarily for reproduction. Evolution has devised much more efficient ways for creatures to multiply than the complicated [!] procedures of mating and fertilization»[305]*. Бактерии просто делятся на два, в некоторых видах через каждые 20 минут. Или гидры производят потомство просто из частей своего тела. Интересно, что в человеческом существе, в его истории есть момент, вполне здоровый, нисколько не уродство и не воспринимается даже как отклонение вообще от человеческого размножения, когда вдруг пробивает себе дорогу размножение через деление, по принципу бактерий. Настоящие близнецы, которые рождаются абсолютно похожими друг на друга, возникают от деления одной клетки внутри утробы надвое. Природа в этих случаях, правда редких и без которых человечество могло бы обойтись, вдруг показывает, что она могла, умеет обеспечить прямое, простейшее размножение. Теоретически, если бы в утробе было место, размножение де-

---

[305] Там же, p. 121. * Перевод: Пол занимает центральное место в человеческой биологии и феномене белковых тел; он проникает собой всё наше существование и принимает новые формы на каждом новом витке жизненного цикла. Его сложность и неопределенность связаны с тем фактом, что пол изначально не предназначен для воспроизводства. Эволюция придумала для живых существ более эффективные способы размножения, нежели сложные процедуры совокупления и оплодотворения.

лением клетки могло бы идти неостановимо. В каком-то смысле для древних прокариотов, размножавшихся делением, которых было больше чем теперь, земля прямо по Лукрецию Кару была одной сплошной утробой.

Этот простой прямой способ размножения, на который человеческая природа как бы демонстративно показывает, что она способна, вытеснен у человека; секс тяжелое, сложное, рискованное предприятие. Аристотель заметил: как нарочно, пути рождения удлинены, усложнены. Скандальным образом возможна, и не так уж редко случается со смертельным исходом, вообще внематочная беременность; инженер сказал бы, конструкция вызывающе до ненадежности переусложнена. Настройка репродуктивного механизма требуется такой тонкости, что опять же совсем уже скандальным образом есть подозрение, что идеально правильная настройка трудное и редкостное дело. Аристотель, вы помните, предлагает совсем странные комбинации настроений, разных, у мужа и жены для обеспечения этой настройки; проходит больше двух тысяч лет, и по Европе как откровение проходит, и во многих странах оказывается под запретом на 35 лет, книга DAVID HERBERT LAWRENCE (b. Sept. 11, 1885, Eastwood, Nottinghamshire, Eng., d. March 2, 1930, Vence, France), English author of novels, short stories, poems, plays, essays, travel books, and letters[306*], «Любовник леди Чаттерлей», 1927, где автор подчеркивает верную настройку человеческого эротического союза как совершенно редкостную вещь, и две души, которые оказались способны на это, нашлись случайно в таких разных позициях в обществе, что должны были пробиваться друг к другу через два барьера, классовый и семейный. Позднее молекулярная биология вскрыла новые скандалы: человеческий генетический механизм такой сложный, путаница с хромосомами, а даже этого не нужно, достаточно малейшего сдвига в балансе гормонов внутри развивающегося зародыша, и возникают ненормальности в физиологии и поведении. Т.е. то, что происходит на молекулярном уровне, во всяком случае не менее сложно, чем свадебный ритуал, который как бы разыгрывает сценически поведение, сближение взаимный выбор гамет, и как легко сорваться плавному порядку свадебного ритуала, хотя бы потому что он очень сложный, так же легко быть срывам на молекулярном уровне. И вовсе не так надо представлять, что в бессознательном творчестве мимесисе свадебный ритуал как может вос-

306* Перевод: Английский автор новелл, коротких рассказов, стихотворений, пьес, эссе, книг о путешествиях и писем.

производит физиологическую сложность брака, а скорее наоборот: угадывая чувствуя или сочувствуя тонкости, шаткости того, что происходит на молекулярном уровне, люди строгим соблюдением брачного ритуала хотят обеспечить правильное срабатывание физиологии, при том что возможностей срыва, порчи, деградации, с последствиями в виде неполноценного потомства, сколько угодно.

Так что сложность человеческого секса явно не по Дарвину рискованна, никакого преимущества в выживании она вовсе не обеспечивает, наоборот сама нуждается в обеспечении. «There are good reasons for reproduction to be nonsexual: it can be made private, direct, safe, energetically cheap, and selfish. Why, then, has sex evolved?»[307]*

Характерным образом американец-биолог отвечает: ради разнообразия. Если бы в потомстве каждой пары снова и снова не происходило смешения генов, потомство было бы идентичным, не было разброса, который конечно при полностью сохраняющемся окружении ни к чему, но при таком в сущности быстром и радикальном изменении как на планете Земля разнообразие дает шанс: возможно кто-то приспособится.

Не обязательно конечно это единственное назначение двуполости. Но на то, что живое существо здесь ищет чего-то и заинтересовано в максимальном разбросе попыток, на это указывает полярность мужского и женского, такая яркая как будто бы для того чтобы между крайними полюсами действительно могло уместиться наибольшее разнообразие. Полярностью как бы забрасываются широкие сети. О полярности мужского-женского говорить особая тема, но вот факты того, как действительно широко, кричаще широко расставлены полюса: женская особь за всю свою жизнь создает несколько сот воспроизводящих клеток, гамет, а мужская 100 миллионов при каждом спаривании; и женская гамета (слово очень удачное по-моему, означает *брачующееся*, способное к браку на молекулярном уровне, от γάμος «брак», наводя на мысль, что параллельно тому молекулярному браку идет социальный, ритуальный) в 85 тысяч раз больше мужской половой клетки. Различие, яркое, я бы сказал веселое, проходит сплошь через всё существо, и как-то сцеплено с молекулярным уровнем например то,

---

[307] *Edward Osborne Wilson*. On Human Nature..., p. 122. * Перевод: У воспроизводства есть веские основания быть бесполым: оно может осуществляться приватно, непосредственно, безопасно, энергетически незатратно и эгоистично. Но почему тогда пол эволюционировал?

что человеческие младенцы девочки в шестимесячном возрасте внимательнее к коммуникативным шумам чем например к техническим, как-то их различают, а мальчики в этом возрасте такого различения не делают. И интересно проследить, как эта разница продолжается и усложняется всю жизнь. Женское существо если можно так сказать настроено на улавливание сообщений, личных обращений, мужское в меньшей мере.

Всю эту совершенно бездонную область сопоставлений лучше обойти мимо. Но зато тут есть возможность, наша новая обуза, тема *близнеца*, или двойника, и в связи, я скажу какой, со старой темой управления живым автоматом заставляет искать и дает смелость, а молекулярная биология, и в своей *терминологии* тоже (*зиготой*, от греческого корня со значением «супружества», называется соединение, мгновенное слияние разнополых гамет), дает основание вот для какой, скажем так рабочей гипотезы, которая пригодится как эвристический прием: будем считать способ размножения млекопитающих, особенно человека, характерно и загадочно сложный, не нужный для продолжения рода, уже *ритуализацией,* на молекулярном уровне, *биологическим ритуалом* размножения. Теперь, не думая ничего и не догадываясь о странной переусложненности этого ритуала, не понимая ничего в молекулярном уровне, живые существа, птицы, млекопитающие, на наблюдаемом уровне, так сказать в свете, на сцене земли разыгрывают в брачном и шире социальном ритуале, в соперничестве, в церемонии сватовства ту же или аналогичную сложность. Я сделаю рискованный шаг и скажу что я *не знаю* что первое и что второе, социальный балет мимезис физиологии или физиологический автомат настраивается, видоизменяется, закрепляется в приспособлении к наблюдаемому ритуалу.

Так сказать достаточно ответственно, вовсе не хочется чтобы это повисло одной из сумасшедших гипотез, что-то подсказывает, что доказательство здесь возможно. Сегодня поэтому я дальше этой темы не пойду. Но перед тем, как ее сформулировать отчетливее, еще несколько наблюдений из биологии.

Дарвинистское объяснение человеческих особенностей секса (отсутствие периодов для спаривания, которые у других млекопитающих есть, так называемая течка; участие в эротике почти всего тела; эротика между лицами одного пола — кстати, если вообще секс не для продолжения рода, не для размножения, то отпадает вообще то возражение против человеческого увлечения существом своего пола, что это не служит продолжению рода: секс служит как ни странно это звучит не продолжению рода, во всяком

случае не в первую очередь продолжению рода, главные его цели другие, «genetic diversification, the ultimate function of sex [допустим], is served by the physical pleasure of the sex act and outranks in importance the process of reproduction»[308]*): человеческий секс такой, сложный, рискованный, тонко настроенный, чтобы наладить и упрочить, сцепить связи между людьми.

Не комментируя это мнение, в связи с этим признаваемым биологом экстазом секса вспомним о Вакхе и Дионисе. Так ли действительно требуется священное безумие, чтобы вырваться из цепей так называемой природной детерминированности. В самой природе тела, по крайней мере человеческого, не вшифровано ли опьянение. Не идет ли представление о железных механизмах, цепях физико-химических и биологических зависимостей от эпохи механизма и мнимого, ненастоящего автомата. Действительно ли к свободе, радости вырвалась только человеческая культура. Не наоборот ли, она чаще скорее закрывает, запутавшись и механизировавшись, захлопывает *настоящее* тело, устроенное для радости и экстаза.

Тогда надо будет пожалуй считать что физикохимии тела одинаково отвечает и трезвость, строгость науки и экстаз, безумие.

Опять же и аскетизм, высшее выражение которого образ Спасителя и его Креста, или самопожертвование, как будто бы высшее достижение человеческой культуры — на самом деле не воспоминание ли, и напоминание, о том, что заложено в нашей биологии. О самопожертвовании солдат-термитов говорилось. То же пчелы, которые защищая улей жалят всем своим брюшком, жало устроено как рыболовный крючок, и пчела знает, что опустив его она его обратно уже не вынет, оно останется вместе с частью ее брюшка и вместе со всем ядом в теле ужаленного. Человек реже бывает таким альтруистом, биологи нас помещают в альтруизме где-то между акулами, древними и совершенно эгоистическими существами, и пчелами. Отсюда, оттого что мы не на своем даже биологическом уровне по альтруизму, у нас укоры совести, колебания, амбивалентность, чувство вины.

Всё это указания на то, что автомат в нас не работает еще или перестал работать на полную мощность. И вот похоже что обращение с автоматом, уход за ним идут не по линии разборки и механического вмешательства, а по линии чинности, ритуальности,

---

308 Там же, p. 137. * Перевод: генетическая диверсификация, предельная функция пола [...], обеспечивается физическим удовольствием от полового акта и превосходит по своему значению процесс воспроизводства.

драматизма, игры человеческого лица и общества. Автомат настраивается не там, где работают его предполагаемые механизмы, на молекулярном уровне, а на уровне поведения. В провансальской культуре, в той поэзии искателей, трованторов, шло искание вовсе не только стихотворных форм, куртуазный балет провансальцев, сицилийцев и флорентийского сладостного нового стиля, dolce stil nuovo, где экстаз-наслаждение-радость, с одной стороны, и продолжение рода, с другой, были чисто разведены, так что, говорит исследователь, воспевающий прекрасную даму по определению не может быть ее супругом, — этот куртуазный балет не только не был уходом от природы, какой-то «сублимацией» «физиологии», а наоборот, открытием, на недолгое и быстро забытое и подавленное, в войнах против «альбигойцев» еретиков, время, — открытием человека в его истине, *разыгрыванием*, рассвобождением настоящего автомата, угадыванием и одновременно восстановлением его тайной генетики, именно на физиологически-молекулярном уровне.

26 (21.4.1998)

Надо понять, откуда происходит и что означает наше интуитивное ощущение нерасписанности нашего поведения, если, как мы слышим от современной биологии, мы на поводке генетики. «Длящееся чудо», можно сказать вместе с Чаадаевым его словами, об этом и вообще о давно замеченном соседстве двух параллельных рядов, сплошная жесткая детерминированность всего и явная свобода всего. «Отношение дополнительности», можно сказать вместе с Нильсом Бором, который распространял этот свой принцип и на биологию, видя отношение дополнительности между двумя одинаково возможными способами объяснить например выздоровление раненого кита, химическими реакциями, которые естественно, закономерно не могут не начаться при соприкосновении крови с поврежденными тканями и с морской водой, и наоборот *тел*еологией, подтягиванием части *тел*а, отошедшей от своей *целости*, обратно к этому завершенному, равновесному состоянию *целости*.

У нас, вы видите, намечается постепенно и давно уже, начиная с чтения Витгенштейна, в основном «Логико-философского трактата»[309*], другое ощущение свободы. Во-первых, появляется всё больше уважения к живой машине, автомату, на всех уровнях которого мы видим сложность, которая даже современными фантастическими способами подробного исследования не вычерпана, и тонкость настройки, — от так называемого единства генотипа до плотности запрессовывания генетической программы для целого большого организма в крошечной невидимой клетке.

309* Курс «Витгенштейн» читался в осенний семестр 1994 г. и в весенний семестр 1995 г., курс «Логика Витгенштейна» — в осенний семестр 1996 г. См.: *В. Бибихин.* «Логико-философский трактат» Витгенштейна. — Философия на троих. Рига, 2000; *В. Бибихин.* Витгенштейн: смена аспекта. М., 2005.

Единство генотипа, об этом стоит сделать особое длинное примечание. О нем можно говорить еще и по-разному, ⟨например как⟩ у старого биолога. ⟨Étienne Geoffroy Saint-Hilaire⟩ (b. April 15, 1772, Etampes, Fr., d. June 19, 1844, Paris), French naturalist who established the principle of «unity of composition», postulating a single consistent structural plan basic to all animals as a major tenet of comparative anatomy, and who founded teratology, the study of animal malformation. After his appointment as professor of zoology at the University of Paris (1809), he began the anatomical studies that he would later summarize in Philosophie [!] всё, хватит: это уже превышает всякую теорию вероятности: частота соединения биологии и философии указывает на связь между ними, на которую стоит обратить внимание⟩ anatomique, 2 vol. (1818—22). His studies on embryos supplied important evidence for his views on the unity of organic composition among vertebrates, which he now defined in three parts: the law of development, whereby no organ arises or disappears suddenly, explaining vestiges; the law of compensation, stipulating that one organ can grow disproportionately only at the expense of another; and the law of relative position, stating that the parts of all animals maintain the same positions relative to each other[310]*. Эти три закона объединялись в его loi de balancement[311]*. Теперь наверное вместо «балансирования» говорили бы о гомеостазе, «относительном динамическом постоянстве состава и свойств внутренней среды и устойчивости основных физиологических функций организма». Хотя «балансирование» это конкретнее: имеется в виду, что если сдвинута одна чашка весов, то другую можно хоть и не проверять, и не смотреть на нее: она тоже явно сдвинулась. Но говорят и о

310* Перевод: ⟨Этьен Жоффруа Сент-Илер⟩ (род. 15 апреля 1772 г., Этамп, Фр., ум. 19 июня 1844 г., Париж), французский натуралист, обосновавший принцип «единства строения», согласно которому существует единственный непротиворечивый план строения всех живых существ (краеугольный камень сравнительной анатомии); основатель тератологии, исследования врожденных уродств животных. Став профессором зоологии в Парижском университете (1809), он начал проводить анатомические исследования, которые впоследствии обобщил в книге «Philosophie anatomique», 2 vol. (1818—22). Его исследования по эмбрионам дали ему важный эмпирический материал, позволивший ему выдвинуть теорию единства органического строения у позвоночных, которую он подразделял на три части: закон развития, согласно которому ни один орган не возникает или исчезает внезапно (объяснение рудиментов); закон компенсации, объясняющий, что диспропорциональный рост одного органа возможен лишь за счет другого; и закон относительного положения, согласно которому части всех животных сохраняют одно и то же положение по отношение друг к другу.

311* Перевод: закон равновесия.

«генетическом гомеостазе» в более специальном смысле: это теория, для подтверждения которой есть и факты, что если в эволюции какая-то черта становится доминантной, вырывается вперед, потому что ее требует отбор, когда она так сказать достигает цели, соответствующая популяция сохраняется и процветает, вырвавшаяся было черта снова встает в строй, восстанавливается генетическое равновесие. Кто хранит баланс? Что-то опять же *целое*.

Этьен Сент-Илер плавно переносил развитие эмбриона на развитие живого в истории, и был одним из тех кто подготовил принятие дарвинизма. У Дарвина, можно считать, прямая терминологическая привязка к Сент-Илеру его Correlation of growth: «I mean by this expression that the whole organization is so tied together during its growth and development, that when slight variations in any part occur, and are accumulated through natural selection, other parts become modified»[312]*. Это из тех вещей у Дарвина, которые его критики склонны не замечать; как вы помните Берг ставил Дарвину на вид, что жирафу мало вытянуть шею, нужна перестройка всего тела, а для этого нужен другой, особый естественный отбор. Нет, здесь у Дарвина тоже номогенез ничуть не хуже чем у Берга, Дарвин даже об этом еще смелее говорит, например применительно к непредвиденным последствиям *искусственного* отбора: «If man goes on selecting, and thus augmenting any peculiarity, he will almost certainly modify unconsciously [!] other parts of the structure, owing to the mysterious laws [! заметим, что Берг так смело не говорит] of the correlation of growth»[313]*. Дарвин в курсе кошмара селекционеров: сосредоточиваешься на одной черте, появляется нежелаемая другая. «I do not know of a single intensive selection experiment during the past 50 years during which some such undesirable effects have not appeared»[314]*.

---

[312] *Ch. Darwin.* On the Origin of Species by Means of Natural Selection. London: John Murray, 1959, p. 143. * Перевод: Под этим выражением я разумею, что целостная организация настолько тесно связана внутри себя в ходе своего роста и развития, что даже когда в какой-либо части происходят легкие изменения, накапливающиеся в ходе естественного отбора, то другие части изменяются.

[313] Цит. по: *Ernst Mayr.* Toward a New Philosophy [!] of Biology. Cambridge (Mass.); London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1988, p. 242. *Перевод: Если человек продолжает заниматься селекцией и таким образом умножает особенности, он обязательно должен бессознательно изменять и другие части структуры, в соответствии с загадочными законами [...] корелляции роста.

[314] Там же, p. 424 сл. * Перевод: Я не знаю такого интенсивного эксперимента по селекции за последние 50 лет, когда бы в ходе эксперимента не возникли какие-либо нежелательные эффекты.

Между прочим, в названии знаменитой книги Дарвина «Происхождение видов посредством природного отбора» ударение естественно делается на «природном», потому что искусственный отбор, Аристотель сказал бы «отбор техникой», был известен, широко практиковался, был описан; теперь оказывается, природа поступает собственно так же, тоже ведет отбор как искусство, и тоже получает виды. Разница только что селекционеры получают варианты внутри видов, а природа получает целые виды, да еще такие разные, но Дарвин объяснял это тем, что у *этого* селекционера, природы, страшно много времени, не десятилетия, а *миллиарды* лет.

Сергей Сергеевич Четвериков (1880—1959; эволюционная и популяционная генетика, закономерности отбора в популяциях связаны с динамикой эволюционного процесса, зоогеография, энтомология), подобно Бергу, сохранен во многом тем, что печатался на Западе, его статья 1926 года в «Журнале экспериментальной биологии» в 1961 переведена в Америке. Феномен плейотропии, «многостороннего поворота», влияние одного гена на несколько признаков организма. Вещь известная до Четверикова, плейотропия, т.е. ген как нитка, которая вплетается как-то во все ткани и свойства (связано между прочим с витгенштейновским семейным сходством: сын явно похож на отца, но чем? трудно сказать, всем и неуловимо; во всё, скажет биолог, проник ген отца и всё как-то по-разному повернул). Четвериков развил ее до концепции «генетической среды», чуть вводит в заблуждение лексика: имеется в виду не внешняя, а *внутренняя* среда, которая действует изнутри на проявление всякого гена. Индивид неделим не только в его соме (*сома*, вы помните, это все клетки животного или растения за исключением половых), но и в проявлении всякого гена, какой у него есть. Ген действует через среду, среда организма уникальная, целая, для каждого вида и для каждого индивида своя.

Не обязательно говорить вслед за Дарвином: *таинственный* закон; и говорить что здесь кончается механизм и начинается влияние неопределимого *целого*, достаточно вполне. В конце концов, когда говорят «гены, генетика», то имеют в виду так называемые структурные гены, от наличия или отсутствия которых зависят вполне наблюдаемые особенности организма. Но что делают остальные гены, другие 50 % или другие 99 %? Это сейчас интенсивно исследуется, и есть авторы, которым уже кажется слишком наивно говорить о «генах» в традиционном смысле, как отвечающих за что-то конкретное; лучше, по крайней мере на высоких

уровнях организации, о «регулирующих системах» и об изменениях в них.

О «единстве генотипа», который поддерживается «регулирующей системой» (сама расплывчатость выражений говорит о том, как еще тут неопределенно себя чувствуют биологи), говорит с другой стороны факт, о котором мы уже читали у Эдварда Вильсона: виды например муравьев, придя в соприкосновение, начинают расподобляться, а проще было бы им сливаться. Пример из Эрнста Майра, который в свою очередь ссылается на работы еще первой половины века: в конце последней эпохи оледенения, примерно 8 тысяч лет назад, в Центральной Европе исчезла географическая граница между двумя воронами, hooded crow и carrion crow, ворона серая и ворона черная. Эти виды ворон еще не выработали изолирующих механизмов, как например между ослами и лошадьми, у осла-самца и лошади-самки (обычно; реже наоборот) могут быть благополучные потомки, но они, мулы, в свою очередь потомства иметь не будут. Гибриды вороны серой и вороны черной потомство иметь будут, всё в порядке, и следовало бы ожидать что откуда-то в центральной Европе пойдет неостановимо вид каких-то серо-черных ворон. Ничего подобного. Гибридный пояс до сих пор только 100 миль между серыми и черными, а в глубь области серых ворон гибридное потомство не выживает, отбор идет *против* него; и наоборот. Генотип держится компактно.

В 1970-е годы образцовые исследования в Дании показали такую же узость гибридного пояса между домашней мышью и какой-то недомашней. А похоже на то, что у этих видов вообще контакт географический длится уже тоже тысячи лет.

В сущности и описанный Аристотелем случай мула говорит о том же, только узость гибридного пояса тут проявляется так сказать не в пространстве (на муле можно уехать куда угодно), а во времени: только одно-единственное поколение.

«We also want to know by what mechanisms this unity of the genotype is accomplished... To be frank, our answers to these questions are still incomplete»[315]*.

В случае с белой и черной вороной можно было бы сказать, что гибрид не проникает дальше пояса прямого контакта из-за географической привязки к территории. Но против этого — широкое, континентальное или вообще даже евразийское распростра-

---

[315] Там же, p. 427. * Перевод: Мы также желаем знать, посредством каких механизмов поддерживается это единство генотипа... Если быть честным, наши ответы на эти вопросы далеки от полноты.

нение некоторых видов во-первых, словно им всё равно в каких географических условиях жить, и ⟨во-вторых⟩ существование второй, странной категории видов, которые наоборот как сумасшедшие изолируются, так называемая островная или колониальная структура популяции. Всё это против более сглаженной и обобщенной картины Берга, которая для своей цели, доказательства пластичного встраивания видов в среду прямым приспособлением, без слепого механизма отбора, конечно работает, но всей картины не показывает. Суслики, кроты и земляные крысы известный пример. Специалисты по сусликам описывают десятки, сотни новых подвидов. Но ведь эти ваши суслики, якобы разные, ничем не отличаются между собой; вы просто множите сущности без надобности. Оказалось — нет; молекулярно-биологический анализ выявил такое различие в числе и структуре хромосом между сусликами разных подвидов, что можно уже говорить и о разных видах.

Причем опять же. При раннем увлечении генетическим механизмом казалось, что мутация одной-единственной позиции в нем уже даст новый вид. Или по крайней мере мутация в нескольких позициях, допустим меньше десяти, даст новый вид жука, а вся остальная структура молекулы, которая несет генетическую информацию, остается прежней. Теперь более склонны говорить о полной и сплошной перетасовке всего «баланса», пользуясь термином Сент-Илера, и образовании новой сцепки генетического механизма.

Причем именно только на уровне генов. Так внутри происходит «генетическая революция» (теперь это уже термин), а *внешне* не только мы, а и специалисты видят тот же самый знакомый вид. Пример: популяция плодовых мушек Drosophila pseudoobscura в Боготе, Колумбия, неотличимая от североамериканских и центрально-американских дрозофил. Даже поведенческой изоляции у этих колумбийских дрозофил нет. Они и спариваются с североамериканскими (считая североамериканских севернее Гватемалы). Но самки из Боготы с самцами севернее Гватемалы дают как кобылы с ослами: стерильное потомство. Т.е. фенотипической изоляции у дрозофил Боготы нет, поведенческой нет, репродуктивная изоляция есть. (Сравнить, кстати, с человеческим родом: фенотипической, поведенческой изоляции сколько угодно, причем такой яркой, бросающейся в глаза, цветной; репродуктивной изоляции *абсолютно никакой* во всём человечестве сплошь нет.)

Мы говорим о единстве генотипа. Это нам нужно для того чтобы с бóльшим уважением относиться к нашей наследственности.

Она не «вот это» в виде наблюдаемых в микроскоп при делении клетки хромосом, а что-то вроде баланса, или «таинственного закона» Дарвина, общей сцепки.

Почему сложилось и в частном и в общем балансе видообразования как сложилось, вовсе не удается разгадать. Замысел или умысел природы не просто ускользает в непостижимое, но не исключено что его и просто *нет*. Почему например ⟨существует⟩ то, что называют «строительным планом», по-немецки в английских текстах, например одинаковые детали скелета у всех млекопитающих, у слонов и мышей, у человека и у кита; почему, во всяком случае на стадии эмбрионального развития, все сухопутные позвоночные четвероногие, все насекомые шестиногие. Какой-нибудь догматик креационист скажет: потому что это *идеальная* форма, идеальное передвижение насекомого может идти только на трех парах ног, а у позвоночного сухопутного обязательно две пары? Очень мало видно смысла. Гораздо интереснее и осмысленнее говорить как Эрнст Майр: ищите не в удобстве для хождения, а в общей сцепке. Две пары ног нужны так сказать скорее опять же общему балансу позвоночного, *мы не знаем как следует какому*, но знаем уже, что изменение *одной* черты перепутает всю сцепку генотипа и начнется мощный негативный отбор против вторгающейся черты — не потому что она плохая, а потому что она одна требует слишком большой перетасовки! Т.е. сама сложность механизма, автомата работает как инерционная система!

Эрнст Майр называет сплавленность, сцепленность генотипа, или уже «тотального генотипа», имеется в виду например генотип насекомого вообще, «смирительной рубашкой». Единство генотипа навсегда сковало бы виды в их данности, вырваться из которой трудно. Не поэтому ли за последние полмиллиарда лет возникло так мало новых структурных типов жизни, в основном всё старое. А причина вымирания видов, линий эволюции, которых вымерло 99, 999 %? не та же ли косность генотипа, из-за которой все эти роскошные виды не успели приспособиться к быстрой смене условий?

Такие и подобные вещи, как косность, инерционность или уравновешенность генотипа, структуры, которая будет упрямо повторяться и воспроизводить себя собственно всегда, до вымирания или революции, заставляют серьезнее и уважительнее относиться к диктату рода, наоборот с подозрением и без уважения смотреть на попытки выкроить себе для своего пользования и распоряжения среди природной необходимости какой-то островок еще и свободы. И еще больше подозрения заслуживает «противо-

борство», или «противоположность» культуры и «природной необходимости», якобы дело культуры это потеснять природу, отвоевывать у нее какие-то рубежи, позиции или «использовать» природу. Явно не всё в человеческой практике правильно, с этим все согласятся, и единственная причина всех неправильностей это недостаточное уважение к вещам, которые уважения заслуживают, как если бы человек имел возможность свободно выбирать и выбрал не то. Но сам по себе выбор, проведение границы, мы читали прошлый раз, *всякий раз как бы уже сделан*, человек это существо границы, хочет или не хочет — граница как бы уже всегда проведена, осталось только разглядеть где она проходит: куда бы и как ни посмотрел человек, он может быть спокойно уверен, что сам его смотрящий глаз уже проводит границу, как бы граница в самом акте смотрения. Остается рассмотреть как она проходит.

Отрезвляюще считать и говорить, что граница принадлежит нашей генетической программе. Кто очень хочет остаться при метафизике, может говорить, что очертания бытия прочерчены эйдосом, но тогда этот любитель метафизики должен если не принять новый перевод Макса Дельбрюка, физика и генетика, 1906 г. р., с 1937 г. в Америке, и Эрнста Майра, 1904 г. р., с 1931 в Америке, эйдос = генетическая программа, то уж по крайней мере без самоуверенности прислушаться, почему люди так поступают. Нельзя говорить что они выбрали так говорить и так понимать Аристотеля, а мы по своему свободному выбору предпочитаем понимать Аристотеля иначе. Есть такая вещь как обучение, и оно опять же не занятие сознания и культуры в противоположность природе. Наоборот, генетическая программа, особенно в высших организмах, это прежде всего и большей частью так называемая открытая программа, устроенная для вписывания туда того, чему научились, что узнали на опыте. Например, у птиц и млекопитающих молодняк рождается без закрытой программы действий избегания в присутствии хищника, научается этому постепенно через действие открытой программы, мышонок не бежит от кошки, львенок не съедает мышонка не по ошибке или недосмотру, а потому что в них просто еще соответствующей программы поведения нет. Но *есть* программа, диктующая учиться этому. Значит сама *биология* птенца или мышонка или львенка предполагает рискованный период незнания, куда и как бежать. Биология, программа нет причин считать что не оставила того же пояса рискованной неопределенности и для человека, и *вместе с тем* — программу обучения. Как птенец или мышонок, может ошибиться и человек.

Уже теперь надо начать использовать то чистое пространство, которое мы в несколько приемов, начав уже давно, еще с курса «Пора» или даже раньше, благоразумно оставили себе на месте *расписания*, сначала начав подозревать все предлагаемые нам расписания (образа жизни, поведения, труда, обучения), что они уже не работают, а потом, в сентябре, со вступлением в *лес* вообще окончательно расстались со всякими расписаниями, в дремучем лесу они просто не работают, иначе придется расстаться с лесом. Надо было расстаться с расписанием или с лесом, так мы расстались с расписанием, вчистую, отказались вообще от любых предлагаемых нам расписаний. Теперь то кажущееся обеднение оказывается приобретением. На чистое освободившееся от расписаний место теперь мы можем поставить эйдос понятый по Максу Дельбрюку как генетическая программа, т.е. как предписание рода, или еще вернее как род, понятый в смысле расписания. С тем добавлением что человечество *странный* род.

Вот пример на нравственный код (т.е. границу, между хорошим-плохим, своим-чужим), его подвижность и обучение, пример взят из американского биолога, мирмеколога Эдварда Вильсона. С той же энергией, с какой общества охотников-собирателей сейчас или в эпоху оледенения прочерчивали границу между теми, которым надо помогать, и похожими, но которых надо убивать, современный болельщик делит, с какой-то предельной отчетливостью и недвусмысленностью, бейсболистов на своих и чужих, своим он как может помогает, даже не столько криком и флагом, сколько безусловной готовностью платить налоги на спорт, а чужих если бы можно было сойти на стадион готов раздавить, по крайней мере иммобилизовать, помешать им двигаться. Само желание помощь немалая, команде трудно играть на «чужом» стадионе, где почти все за команду противников. Теперь, из «своей» команды люди уходят на сторону или прямо в чужую; с другой стороны, в «свои» может быть включен, собственно куплен, допустим иностранец, который может быть даже и на языке своих болельщиков не говорит. Ничего не значит. Репутация «своих» от этого ничуть не страдает, их отграничение от «чужих» вовсе не ослабляется. Болельщик весь живет в чистом, ярком мире борьбы. «The substance matters little, the form all»[316]*. В формулировке Владимира Высоцкого, в «Наш человек из Сезуана», блюди форму, содержание подтянется. Оно настолько неважно, что если поведе-

---

316 *Edward Osborne Wilson.* On Human Nature..., p. 164. * Перевод: Содержание — ничто, форма — всё.

ние своей команды кажется наглым, а чужой симпатичным, зритель вложит всё свое сочувствие в чужих.

Или еще пример: обещание абсолютно, и дающий и принимающий его даже и не говорят об этом, или если говорят то плеонастически: только безусловность, неприспособленчество дают обещанию силу. *Внутри* ситуации обещания ничего изменить нельзя. Но можно выйти из самой ситуации: внутри нее мне жестко, но моя привязка к ней не жестка.

Жесткость программы и возможность ее разного приложения указывают на пространство чего, свободы человеческой? или на необходимость обучения?

Что мы собственно делаем. Программу, расписание, которые вне автомата, мы читать больше не хотим, по крайней мере не в первую очередь хотим ее читать и ей учиться, потому что есть более первоочередная задача, живой автомат оказывается самообучающийся. И в задачу автомата входит не только сохранение его, но и сохранение его таким, обучающимся. Это то же что сказать — самоуправляющимся.

За 60 тысяч лет со времен неандертальцев (в захоронениях которых, в древнейших например на Ираке, находят 7 видов цветов предположительно имевших значение в медицине и экономике, т.е. уже ритуал, уже религия) историки религии насчитывают примерно 100 000 религий в человечестве. Флоренский скорее всего прав: культ начало культуры. В религии сам воздух, которым она дышит, это различение чистого-нечистого, святого-профанного, санкционирование, «сертификация»[317].

Пусть тогда религия будет, плюрализм, терпимость; любое правило лучше чем никакое[318]. Но это «допущение» религий не единственный способ обращения с ними. Как есть программа и программа, расписание и расписание, любовь болельщика к своей команде есть потому что до любви к своей команде есть уже свои-чужие, так до санктификации, освящения по правилам (расписанию) вот этой религии есть святость биологическая, до которой, мы читали, докапывается Владимир Николаевич Топоров. Святость подчинена биологическим императивам, говорит современный биолог[319]. С его определением религии, она congeals identity[320*], ее дело «сакрализация тождества», мы согласимся.

---

317 Там же, p. 183.

318 Там же, с. 186.

319 Там же, с. 166.

320* Перевод: сгущает тождество.

Ведь святость как санкция и есть узнавание *того самого* или просто *того*; несанкционированное имеет простейшим определением: *не то*.

Парменид невольно вспоминается с его определением бытия как *то самое* и *то*. Но и поэзия тоже, по Хайдеггеру она область святого, целительного. Выходит, все три, религия, поэзия, философия, в их самом раннем полагании указывают в сторону *сертификации*. Во всех трех мы угадывали *способ обращения с автоматом, и единственный способ*, который сохраняет его *целое*, включая стало быть и обучение. На этом формальном задании целого, святого все три названных способа обращения с автоматом сходятся. Наука по своему собственному определению, как специализированная, профессиональная, оказывается исключена; в чистоте, строгости не исключена и не отделена от управления автоматом: она сама себя отделяет, когда намеренно расстается с целым.

Разумеется, если религию понимать как вторичное расписание да еще и неведомого происхождения, то «научный этос» будет действительно выше религиозного. «От внешнего источника морали надо отделаться» (Вильсон, всё та же книга On human nature[321]). Еще бы, конечно. Верно между прочим и то, что наука интереснее сейчас классики; но мы уже давно с этим согласились, когда сочувственно цитировали Ионеско, что технические изобретения современности так сказать художественнее художественных; и сейчас тоже, цитируя перевод «эйдоса» у Макса Дельбрюка. Или говоря что мало в культуре старой Европы что останется после выметания американской прагматической метлой. В науке есть острота и свежесть, без которых никакая «гуманитарность» уже не может. Чего стоит провокативная формулировка одного физика, не помню кто, но в науке и даже научной инженерии это похоже почти общее место: теории не бывают истинными-ложными, они бывают элегантными или скучными.

Итак, обучаемся уходу за автоматом живого существа, за нашим собственным уходом. Похоже, что автомат такой чудовищной сложности нуждается в особом уходе, и не в том смысле что можно угадать какой-то секрет или ключик обращения с миллиардом *только разниц* между клетками, но тем более, и во всяком случае, нужна «чинность», уважение. Автомат настраивается, не зря мы сегодня говорили о единстве генотипа, не на уровне отдельных деталей, а на уровне поведения, общественного и «лич-

---

[321] Там же, p. 201.

ного». Кое-какое поведение расстраивает автомат, сразу начинает влиять на наследство; с другой стороны, и наоборот.

Мой пример провансальской, сицилийской, флорентийской философской поэзии средневекового Ренессанса, между прочим, если вы заметили, был и случаем слияния, сращения религии, философии и поэзии.

27 (28.4.1998)

Наша экскурсия в лес подходит к концу. Она началась с того что лес выводит из метрического пространства и из расписания и что он горит. В лесу оказалась *другая* программа, расписание нашей генетики, и ее автомат, работающий как компьютер с железом и программой, и действие железа, в организме это протеины, в компьютере процессор, схватить, переварить, предоставить в распоряжение, а программа расписывает, как, с чем и когда провести эти операции. Разница между автоматом и автоматом та, что ⟨...⟩ для механического расстройство может быть и входит в инженерный замысел, и он при расстройстве должен обратиться к другому, и настоящий автомат тоже при расстройстве должен обратиться к другому, но вся разница к *какому* другому. Мы в конце этого курса вернемся к Аристотелю, но уже в другом настроении, раньше как робкие экскурсанты, теперь как усталые охотники с добычей, и мы смело спросим Аристотеля: как это, раньше мы слышали и послушно поддакивали, природа имеет начало движения в себе, а искусство в другом? себя что ⟨ли⟩ поедает акула чтобы двигаться, или тунца всё-таки, и разве причина ее движения не вода, океан, тяга к пище, т.е. причина явно вовне? или возьмем близкое к нам, *наше* расстройство, разве мы именно как живые находим выход из расстройства в себе? Кто-то наверное да, но обычно всё-таки нет. И когда «в себе» мы находим выход из расстройства, то ведь в каких «себе», ведь говорится, «после этого переживания он изменился», или даже «внутренне переродился», или «этот кризис оставил в нем неизгладимый след». Тогда разве в «себе» причина что мы сдвинулись с мертвой точки?

И так называемая «неживая» природа у самого же Аристотеля приводится в движение круговым движением звезд, разве «в себе» имея причину движения?

Теперь искусство, оно имеет причину движения вовне, имеется в виду что дерево выросло из дерева, а стул, помните эффектный пример, брошеный на землю стул пророс и расцвел, но вырос не стул а дерево, — теперь автоматы могут изготовлять сами себя; и наоборот, художественное произведение, картина или стихотворение, разве не имеют свою тягу, в которую втягивают и художника, т. е. поэма, которая хочет быть услышана, и сама собой слышится, и выволакивает к существованию того, кто на ней проезжается, художник как медиум.

Особенно кричаще странным кажется это аристотелевское различение, причина движения в себе самом, ввиду простой статистики, которая теперь известна: палеонтология, палеобиология насчитывает всего прошлых и нынешних *видов* на земле (грубым рабочим определением вида можно считать: «Organisms are grouped into species partly according to their morphological, or external, similarities, but more important in classifying sexually reproducing organisms is the organisms' ability to successfully interbreed»[322*], но второе важнее, мы читали о южноамериканских плодовых мушках, они ни на вид ни поведением не отличаются от североамериканских, и спариваются но производят стерильное потомство, то, что не спаривается ни с каким другим видом или спаривается и не дает потомства или спаривается и дает потомство, но это потомство бесплодно в первом поколении, или спаривается и дает потомство, но это потомство от силы может продержаться два-три, но не больше поколений, и то через силу, и потом исчезает или плохо развивается. Проще: вид это то, что не спаривается ни с одним другим видом) миллиард. А теперь на Земле зарегистрировано, каталогизировано миллион видов. Как же живое имеет начало движения «в себе»; если бы «в себе», оно и двигалось бы сейчас благополучно, но всё превратилось в окаменелости или кости.

Так что об иметь причину движения, для живого и вообще природного, *в себе* не может быть и речи. Как бы нам не пришлось бы даже аристотелевское определение *перевернуть* вообще: природное, живое никогда не имеет причину движения в себе а зависит от другого, начиная с того что индивид должен спариться внутри вида с *другим* чтобы движение вида продолжалось. А вот

322* Перевод: Организмы группируются в виды отчасти в соответствии с их морфологическими или внешними сходствами, однако гораздо важнее для классификации полового воспроизводства организмов — способность организмов к успешному скрещиванию.

наоборот техника движется к созданию или уже создала автомат, который имеет причину движения в самом себе.

Теперь — мы же подытоживаем — вспомним сентябрьскую этимологию леса, по Андрею Валентиновичу Лебедеву: лес связан с горением, он или горящее или горючее. Если понимать живое как пожар, огонь, то в природе живое это пожары, гасящие друг друга, а техника может создать автомат, который не будет погашен, будет постоянно подпитываться и изыскивать себе питание. Опять же такой автомат или может быть создан или уже создан, человеческая цивилизация, которая учится и не исключено что научится себя воспроизводить за счет того, что ее не остановят другие костры. Самонастраивающийся автомат с расписанием, которое будет рассчитано на вечность. Проблема настройки настроения может быть решена или психотропным регулированием или созданием нового человека. Цель, вечность автомата, будет диктовать его образ действий, человеческое существо подстроится к этой цели.

Мысль однако сколько раз показывала, что отбрасывать что-то в ней будет себе дороже. Маркс отбросил у Гегеля его идеализм и марксизм не смог иметь потомства, а philosophia perennis продолжается. Допустим, аристотелевское различение причины, которая в себе, природы, и причины, которая вовне, техники, уже мы им пользоваться не можем, но не упустим хоть как проблему и задание. Природа начало движения в себе самом, ἐν αὐτῳ, смысл *где-то внутри себя* отпадает по сути дела, да заодно и этимологически тут скорее связь с αὖ «опять, снова», имеется в виду возвратность. Куда-то надо вернуться, или куда-то возвращается что-то, непонятно, это уже лучше: предполагается, раз возвращение, то и выход; динамика, обмен, возвращение. Вращение и возвращение у Аристотеля вообще первичное движение, обеспечивающее между прочим вечность.

Допустим, под возвращением можно иметь в виду обмен веществ и восстановление равновесия, гомеостаз. Но в гомеостазе настоящее существующее это не то что восстанавливается, оно уже другое, а само восстановление. Очень легко рассмотреть жизнь, я вам и предлагаю это сделать, вовсе не в смысле выживания видов, приспособленных, а в смысле выживания *приемов*. Тогда вполне понятным становится, почему это господствует дарвинизм, борьба видов, выживание приспособленных, к чему было их приспособление если они на 99,9 % все погибли, и выжившие постоянно погибают, и кто окончательно выживает, человек, выживает уже не как человек, а как изобретение, за счет изобрете-

ний, техники, причем поколения техники быстро сменяют друг друга, вытесняют в борьбе между собой, т.е. опять торжествуют приемы. Сами живые существа словно пристраиваются к приемам, прокатываются на них и соскакивают, или их сбрасывают, когда, как в случае людей и мамонтов, против приема мамонтов находится прием человека. Смена цивилизаций уже была сменой техник, приемов, подходов.

Мой пример с перелетными птицами. Допустим, стае становится холодно, естественно предположить ее постепенное перелетание туда где теплее и больше корма. Но стаи движутся не постепенно, они сразу перебрасывают себя за тысячи километров. Думают, что они ориентируются по солнцу, по запаху, по магнитному полю Земли, по Полярной звезде. Определяет то, что так тепло, как в средних широтах, будет в южных, идея перелета сменить географическое место на планете. Этот прием, самим подняться на крыльях, перенестись по воздуху телом сразу и очень далеко, как попадание, как угадка мог быть продиктован тревожным, тревожащим птицу снижением солнца, опусканием его к горизонту, а догадка что можно перенестись туда, где это не будет происходить, подсказана наблюдением высоко летящей птицы, что Земля покатая, шарообразная. Здесь догадка такого рода, как у льва догадка о том, какой силы должен быть его прыжок, или у дельфина, соотнести количество набранного воздуха с глубиной нырка. То, что птицы умеют... вернее сказать (не надо говорить приписывая птицам соображение, расчет, что они догадываются о возможности такого перелета), — перепад теплоты на Земле *уже* есть, и как воздух уже есть и он ждет, просит способа двигаться на крыльях в нем, так перепад температуры просит, дожидается попадания в него. Дана земля, круглая; даны крылья, воздух, дана меняющаяся высота солнца; трюк в том чтобы обогнуть выпуклость земли так, чтобы косые лучи солнца стали прямыми. По сути это тот же прием как нагнуть шею подобрать зернышко с земли, ведь, я сказал, снижающееся солнце и покатость земли птица видит так же как цыпленок зерно. Когда стая птиц летит, ее несет этот прием обращения с землей, тянет ее так же как зерно притягивает к себе клюв.

Теперь, вокруг этого найденного трюка, как плата за его изобретение и вокруг него существует весь вид перелетных птиц. (Как те же или такие же угадывания на молекулярном уровне можно понимать и всю физиологию.) Это изобретение *взяло себе* весь вид перелетных птиц, они приписаны к нему как крепостные крестьяне к своим селам. Настолько, что техника полета вписывается

в коды рода, в так называемую генетику. Птицы при этой функции, примерно как термиты-солдаты при функции охраны рабочих. Или как жители, приписанные к секретному заводу без права выезда.

Птица настолько принадлежит к своей перелетности, что не может попробовать остаться на месте, ведь другие птицы остаются. В программе птиц записано, что молодые, ни разу не летавшие далеко, начнут сбиваться в стаи осенью, выбор у них только в угадывании дня, когда они полетят.

Мы поддаемся обману зрения, птица наблюдаема как объект и нам кажется что дело в этом существе, якобы где-то *внутри него* начало его движения, но нет: оно вписано в сцепку, связь воздуха-климата-географии-астрономии, имеет прописку в изобретении, которое наблюдается только, так сказать, глазами ума.

По-настоящему есть не фенотип, не генотип (род), то и другое только сумма функций, при изобретении. *Плодитесь и размножайтесь* Августин понимал — изобретайте. Куда ни повернись, мы видим готовые существа, но лучше бы вглядывались в догадки, инженерные ходы. Что только изобретения существуют, показывает то, как легко Земля, природа рассталась с миллиардом видов: можно их понимать как индивиды (Николай Кузанский, в порядке примечания, понимал целые животные роды как индивиды) при роде, или при родах, и родом тогда будет работающая находка, аристотелевская энергия как осуществившаяся возможность.

Ламаркизм, который сейчас снова возрождается, смешной при примитивном понимании, т.е. если брать за основу опять уже видимый образ животного и приспособление его тела к нуждам, начинает работать когда мы догадываемся, что не поведение при живом существе, а живое существо при изобретении. Этим кстати вполне объясняется например четвероногость позвоночных: лучше говорить о четвероногости и позвоночности сухопутных, они встроены в этот способ передвижения и подстроились к нему. Не так что «таким-то животным для передвижения понадобились четыре ноги и они у них появились», при наивном понимании ламаркизма, а ⟨так:⟩ с появлением суши, воздушного океана и растительности зелень была возможностью изобретения этой формы горения, сгорания с превращением в движение, и к изобретению пространственного перемещения подтянулись позвоночник и ноги. Разумеется попутно с движением как у хорошего изобретения потоком идет много других находок (помните образ Гёте:

счастливая природа за карточным столом выигрывает и каждый раз удваивает ставку).

Изоляцию, генетическую, видов легче понять, если каждый вид служит не себе, а приписан к системе изобретений. Фенотип тогда можно объяснить так, что своим поведением, встроенностью в изобретение существо заказывает себе физиологию.

И с этой же стороны можно подойти к мимесису, в более узком смысле мимикрии. В частности, перелеты птиц можно понять как подражание повороту звездного неба, подражание связано, переплетено с догадкой о зависимости наличия питания от астрономии: без всякого сознания присутствие звездного неба, видимого, движущегося, над головой и уходящей под ногами внизу в сторону земли при движении по воздуху вызывает перемещение перелетных птиц как мимесис движению звезд. Птицы не *ориентируются* по звездам, как говорят орнитологи, а они прямее участвуют в астрономии, они сами и есть звезды; строй косяка тут мимесис созвездий.

Это не предположение или гипотеза, а строже: если мимикрия существует, то нужна искусственная психологическая установка, чтобы мимикрия не распространялась на всё; у летающих созданий пневматическая кость конечно легче и потому удобнее для летания, но *одновременно* она мимикрия, под-страивание под воздух, отождествление себя с воздухом через вбирание в саму свою суть, в самые свои кости воздуха, дыхание прямо костями, когда в полете птица может создать вакуум в своем костяке, оттянув оттуда легкими воздух.

Опять всего проще *наблюдать* мимикрию, например сходство кукушки с ястребом, «променял кукушку на ястреба». Но мимесис такого рода как настройка одного существа на другое, как пианино за которым никто не сидит тоже будет играть рядом с играющим, обязателен, не может не быть, если у другого пианино есть такие же струны. Тех же струн, условно говоря, у разных существ просто не может не быть, из-за одинаковости вещества.

В пользу встраивания существ в операции, в энергии говорит один из тезисов номогенеза Берга, его закон конвергенции, полифилетизма, т.е. что виды, которые вот именно *по виду*, на глаз относятся к одному роду, их *относят* к одному роду, а не надо: у них разный «филогенез», разные предки. Это как если бы на одном производстве работали люди разных наций, они сблизились бы по привычкам и даже по виду. Берг: «сходство в организации двух форм может представлять собою нечто вторичное, благоприобретенное, новое, различия же — нечто первичное, унаследован-

ное, старое»[323]. Принадлежность совсем похожих сусликов к разным видам становится понятнее, если вспомнить что вообще число видов сократилось в тысячу раз, т.е. что жить среди корней полевых растений умели не тридцать а сотни видов, т.е. почему бы и не остаться тридцати, — а с другой стороны, почему бы им не стать похожими, конвергировать до неразличимости, в свете берговского полифилетизма, когда инженерия и изобретательство существования в верхнем слое земли, как работников одного предприятия, сусликов сближали.

У Берга мягкий компромиссный полифилетизм, у Карла Линнея, вы помните, абсолютный: Бог создал сколько надо, «species tot numeratur, quot diversae formae in principio sunt creatae»[324*] (Philosophia botanica, 1751). У Берга убедительные примеры: поваренная соль и алмаз кристаллизуются в кубической форме, это не означает их родства или происхождения от одной общей формы.

«Darwinism, in the latter part of the 19th century, faced an alternative evolutionary theory known as neo-Lamarckism. This hypothesis shared with Lamarck's the importance of use and disuse in the development and obliteration of organs, and it added the notion that the environment acts directly on organic structures, which explained their adaptation to the way of life and environment of the organism. Adherents of this theory discarded natural selection as an explanation for adaptation to the environment»[325*].

В нашем неоламаркизме, где организмы только привлекаются как любой, первый попавшийся (и легко бросаемый) субстрат для обкатки изобретений природы, проблемы с развитием нет, кроме технического соображения, что для нововведения должна быть материя, и чем больше и разнообразнее тем лучше. Материя в этом смысле — аристотелевский лес, как возможность для энергии, энергия в смысле удачного «блестящего» действия. Вы видите, что наш экскурс был не зря: возвращаемся к Аристотелю не с

---

323 *Л.С. Берг.* Труды по теории эволюции..., с. 280.

324* Перевод: видов насчитывается столько, сколько в начале создано различных форм

325* Перевод: Дарвинизм в конце XIX в. столкнулся с альтернативной теорией эволюции, известной как неоламаркизм. От Ламарка в этой гипотезе — признание важности употребления и неупотребления в развитии и исчезновении органов; была лишь добавлена идея, что окружение оказывает непосредственное воздействие на органические структуры; и она позволяла объяснить их адаптацию к образу жизни и окружению организма. Сторонники этой теории отвергали естественный отбор как неспособный объяснить приспособление к окружающей среде.

пустыми руками, например здесь сейчас мы легко плавно соединяем в ὕλη казалось бы противоположные значения *леса*: живое и материал. Живое в нашем неоламаркизме материал для операций. (Кстати, кажется что живое существо, такое красивое, самоценность и труднее понять что операция цель: *чья* операция, говорим мы с нашей привычкой к персонализму. Можно ответить: операция Геи; Гея хочет быть в «энергии», в *действительности.* Это примечание.)

Для операций нужна материя, и для каких-то сложная, для других может быть наоборот. По этой причине тоже, помимо других, «нарастание сложности» в эволюции не обязательно. Если бы материал был в распоряжении, то развитие могло начаться если хотите хоть и с человека, какую возможность допускает Берг. «Геккель когда-то выводил человека из амебы. Теперь можно, перевернув филогенетическую лестницу, защищать взгляд, что бактерии и амебы произошли от человека путем постепенной деградации» (это уже не в «Номогенезе», а в работе «Закономерности в образовании органических форм»[326]). Берг здесь утрирует теорию русского биолога: Соболев Д. Начала исторической биогенетики. Харьков, 1924. Для Соболева эволюция процесс циклический, обезьяны произошли от более человекоподобных форм (в пользу этого Берг приводит странный факт: у зародыша гориллы на внутриутробном развитии есть усы и борода, потом они исчезают и ребенок гориллы рождается как человек, с волосами только на голове, «другими словами, не человек существованием у его зародыша первичного пуха (lanugo) повторяет в своей зародышевой жизни стадию сплошного волосяного покрова антропоидов, а наоборот, горилла и шимпанзе в своей зародышевой жизни проходят временную фазу, которая у человека остается на всю жизнь»[327]), примитивные млекопитающие возникли из рептилий гораздо более специализированных. Иглокожие результат деградации; двоякодышащие рыбы, тоже производящие впечатление древних, вымирающих, произошли от гораздо более специализированных, ископаемых, палеозойских.

Если не считать что сложность сама по себе признак высшего развития, существо может быть например «приписано» к удачному, эффектному процессу вегетативному, и это *материя* какой-то другой операции того же существа. — Между прочим, у операций, энергий не обязательно должна быть утилитарная цель:

---

[326] *Л.С. Берг.* Труды по теории эволюции..., с. 331.
[327] Там же, с. 339.

достаточно того что энергия *захватывает:* в полноте, завершенности есть захватывающее. У Аристотеля, вы помните, энергия неподвижный двигатель. Современность Аристотеля заметили, например Макс Дельбрюк и Эрнст Майр, но естественно поспешили привязать его величины к — опять — наблюдаемому, например неподвижный двигатель это молекула ДНК. Это и смешно и неперспективно. Единственно близко к настоящему Аристотелю называть неподвижным двигателем захватывающую тягу осуществления. Для которого в материи всегда есть возможность, та или другая.

Тогда я могу еще точнее назвать отличие настоящих автоматов от ненастоящих, оно в настройке. Живые автоматы сами настраиваются на оптимальную операцию, ту или иную, подтягиваясь к ней; искусственным автоматам оптимальная операция должна быть указана. Настоящие автоматы не ставят себе целей самосохранения и самовоспроизведения, муравей жертвует жизнью для муравейника, волк не приручается; так же, казалось бы, механические автоматы служат операциям и уходят со сцены, уступая новым поколениям или уничтожаясь по программе, когда это нужно после выполнения операции, т.е. вроде бы и здесь в технических изобретениях тоже правит классический дарвинизм, но — два сомнения. Жизнь, меняясь, сопутствует Земле почти все ее 4 или 5 миллиардов обращений вокруг Солнца, а поколения техники намного меньше, и уже можно видеть, что если так будет продолжаться, Земля едва ли выдержит еще больше 50 лет; изменение настроения человечества и новая религия, новое христианство более вероятны, более правдоподобны чем продолжение той же линии.

Может быть дело в различии между операциями, которым служит живое, и теми, которые выполняют технические автоматы.

Абсолютно исключено, в этом свете служения живого энергиям, чтобы биологическая инженерия могла повлиять на настройку живого автомата: она имеет дело всегда с живой материей и пожалуйста увеличит возможности материи, может даже усилить захваченность живого операцией, но непохоже, чтобы кроме этой перетасовки в материи биолог-инженер мог бы изменить что-то в самой природе этой захваченности (как я говорил, в ориентации на операцию, на энергию инженер может совпасть с общим движением живого, может перенаправить его, но ничего не сможет сменить в направлении движения, от возможности через захваченность к осуществлению).

Мы возвращаемся к Аристотелю, собственно курс закончен. Работа его мысли, как и современная научная работа, так называемого сознания, это день, или лицо творения, мы включены в ту же захваченность энергией, как всё в природе, и служим в меру успеха полноте осуществленности. *Включая и технические наши изобретения, которые в своем качестве операций и энергий включены в функционирование животных и существенной отличительности не имеют.* Существенное отличие только в степени риска — который возможно оправдан крайностью положения. О нем мы знаем не по наблюдениям и расчетам, типа времени предполагаемого рассыпания протонов или столкновения с кометой или остывания Солнца, а раньше тем *миметическим* знанием (раньше сознания), которым мы втянуты, захвачены.

Происхождение живого и человека надо искать очень близко, в нашей захваченности миром, которая не другая у нас чем у всего живого и не другая сейчас чем в начале всего. Заостряя, можно сказать что муравья создает муравей и человека создает человек, на каждом шагу, каждым поступком. Хотя от нашего *намеренного*, *сознательного* усилия мы так же отгорожены, как нуклеиновые кислоты от протеинов. Например, тело втянуто, не может быть не втянуто в предприятие цивилизации, тело как материя подтянется к захваченности энергией. А генетика? Трофим Денисович Лысенко, который мечтал о том чтобы сделать привитые привычки наследственными, был вовсе не первый — все родители всегда, особенно сильные отцы, мечтали о сыновьях-продолжателях; сыновья явно и продолжали, но что именно и как, запрограммировать никогда не удавалось. При всём том сын всегда оставался родной, самый близкий. Тело остается самым близким, хотя далекие вещи понятнее чем это тело. Что важно: о других живых существах сказать трудно, но до сих пор символизм нашего тела, отклик тела на энергии оказывался и глубоким, с запасом, и помогающим. Какими бы сложными ни были операции, в художественном создании, в научной работе, тело оказывалось не просто послушно, а словно ждало усилия и начинания. Поэтому есть смелость или основание думать, что тело в принципе, кто знает сразу или постепенно, но заведомо и в целом и во всех своих частях, создано подтягиванием к тем же энергиям, которыми занято, захвачено понимание. Как бы одна и та же инстанция его и создает и осмысливает. Не очень важно тогда, за долгое время или за короткое установился этот альянс. Лейбницевскую «предустановленную гармонию» между телом и духом надо будет понимать по-другому: его образ двух часов, которые одинаково поставлены

и заведены и независимо друг от друга всё время показывают совершенно одинаковое время, надо понять обращая внимание на то что эта лейбницевская пара часов *всегда* показывает абсолютно одинаковое время; ни в какой паре часов такое невозможно, и легко вспомнить что всякое сравнение работает только отчасти, но имеет смысл подумать при каком условии всё-таки часы будут абсолютно синхронны: если от заводки до показания не прошло никакого времени, т.е. никакого разлучения часов, т.е. они работают не в двойном режиме, близости и расхождения, а в одном, одновременной близости и далекости друг от друга. Или еще сказать: часы достаточно близки друг к другу, чтобы оказаться далекими. Это вещи, которые ни биология ни физика не берет; чисто формально логика и математика обращают внимание на парадоксы бесконечности; настоящий разбор того, что происходит при приближении и отдалении, может дать только осмысление. Мысль состоит из тех же проблесков энергии, которыми размечено и тело.

Не когда-то, а сейчас, и не в книгах, а в химии, еще точнее во всякой удавшейся операции мысли, которая так близка к телу, что уже не видит его, создается всё что создается, живое и осуществленное. Если очень рисковать, то я бы рискнул сказать, что сила близости такая, что если бы было дано ничто и *то же,* то близости между ними было бы достаточно для возникновения мира. Пусть это останется далеко догадкой.

Наш близнец, или наш близкий, физиология, устроен не другой удачей, чем удача мысли, которую мы тоже не можем себе заказать. Самые далекие во времени и в пространстве начала надо искать в самом близком.

По-другому надо понимать и тезис о подражании природе. Искусство делает извне то самое, что закрепится в природе, *если закрепится.* Главная мысль и забота искусства поэтому не само по себе изобретение, а именно *та* удача, которую знают операции тела и на которую они откликаются.

Еще одно замечание. Противоположность близнецу Фоме, который настроен на близость, на прямо вложение перстов в воскресшее тело, а иначе он не верит, — Иуда, который носит деньги, средство обмена. Иуда ре-ферент, интерпретатор. Двусмысленность, с какой в Евангелии сказано, что он таскал деньги, или просто носил или брал себе, на том уровне слова, на котором написано Евангелие, несущественна — так же как между прочим слова, однокоренные нашему *беру,* в других индоевропейских языках значат *несу.* В том контексте, в каком находится Иуда, в близости к началам, или к богатствам, быть переносчиком, взять всего про-

ще и соблазнительнее. *Тайная* вечеря, с которой он ушел, была запретом на до-носительство, на с-ношение. Близость начала всего была, должна была быть и самой большой далекостью, что Иудой было нарушено в его движении обмена, донесения.

Трудность настоящего понимания Ламарка, т.е. по существу опять Аристотеля, в том что между операцией и исполнителем (операция подбирание листьев на высоких ветках, исполнитель жираф с длинной шеей) предполагается прямая связь: исполнителю надо дотянуться до верхних веток и он вытягивает себе шею так же как протягивает руку. При таком анекдотическом изложении Ламарка остается только с чувством превосходства добавить что Ламарк еще не знал о неприступности нуклеиновых кислот, что никакие жалобы протеинов на недостаток питания не могли — а казалось бы что было бы естественнее — вызвать нужное изменение в генотипе, да что там вызвать изменение — просто проинформировать кислоты. Вы помните: от протеинов к кислотам информация не переходит, никакой переносчик, посредник там не действует. Полегание целых короткошеих стад не заставит генетический аппарат задуматься и перестроиться. Нужно чтобы внутри него так сказать по его инициативе произошла мутация, которая потом была бы через много поколений подкреплена отбором, дарвиновским. — Открытие Вейсманом жесткой поделенности организма на два, соматики и генетики, отрезвляющее после анекдотического ламаркизма, подчеркивает неприступность живого — чему? ему же самому! невозможность прямой связи, передачи информации — от чего к чему? странно сказать от живого к живому. Но остается в основном теперешнем постструктуралистском-неодарвинистском настроении биологической науки недоиспользованной возможность миметического, в широком смысле, взаимодействия неприступных сторон, или, как в моем примере, звучания рояля в запертой пустой комнате, или, как у Лейбница, одинаковой настройки механизмов разных и не соприкасающихся. Как раз эта возможность очень отчетливая в ламаркизме.

Дальше тезисы. Почему информация, которую дает Иуда, правдивая, нехороша. Не сама по себе — сообщить нечто известное, в этом прямого греха нет, — а тем что она заслоняет другую информацию. Так технический автомат, компьютер вовсе не сам по себе плох и опасен, а только тем что похоже он заслоняет настоящий автомат. Ин-формация, между прочим, у Николая Кузанского понимается как придание *эйдоса*. Вопрос на следующий раз: это понятие и генетическая информация близки или они разные?

28 (5.5.1998)

Лес *открыто* близок нам, как сжигаемая *нефть*, разложившиеся леса (в основном плававшие, планктонические) далекой древности; негативно *открыто* — в виде отсутствия или исчезновения лесов.

Лес *скрыто* присутствует в нашей жизни как устойчивое ощущение, что мы были другими, например *косматыми*, и можем быть другими и *что на самом деле* мы другие. В этой *мифологии* дает о себе косвенно знать наша *биология*.

Мы принадлежим живому, биологии, в большей мере чем нам обычно кажется и чем нам хотелось бы думать. Идеология, культура это разнообразная *интерпретация*, вторичная, простого закона, которому подчиняется *всё* живое.

Цель живого не сохранение жизни, а *энергия*, эн-эргия в смысле полного успеха.

Цель живого *вид*. Мы, которые часть природы, озабочены *перспективным* видом: точнее сказать, *для нас* вид — это и есть перспектива.

Разница между сделанным автоматом и автоматом живого та, что фаза зависания, кризиса, апории, амехании — сбой сделанного автомата; для живого автомата это каждый раз *шанс* перспективы. Спасено *только* то, что прошло через невозможность, а-механию.

Образ действий софии, искусной хватки жизни, всегда *странный*.

Выход из а-механии, зависания всех механизмов, в том, что пробьется *странность*. Ее соседство святость, дикая радость, которая узнала тайну креста.

Спасение жизни начинается тогда, когда она в а-механии не знает, *как быть*.

Как раз там, где, нам кажется, мы отрезаны от жизни, оставлены, одиноки, предоставлены самим себе, ищем и не можем найти,

и тяготимся собой и хотим конца себе — тогда и может быть *только* тогда мы полностью принадлежим жизни, взяли на себя ее крест. Выхода нам никто не гарантировал, надо поскорее отказаться от иллюзии, — амехания условие *недостаточное* для спасения; но *необходимое*, без которого спасения вообще в принципе нет.

В каждом опыте амехании, отказа механизмов, возвращается ситуация начала всего, — без гарантии нового чуда его возвращения.

* * *

Как расписание, программа, у нас получилось одно на бумаге, другое в генетике, так наверное и информация? Действительно, и опять не надо вводить новшеств: in-formatio в смысле введения, внедрения формы, лат. пер. *эйдоса*, есть уже у первого философа Нового времени, Николая Кузанского. Как-то информация должна быть одна; но так, что информация для информации недоступна! как автомат для автомата. Информация будет нас интересовать там, где она интересна: т.е. только там, где она на себя берет всю заботу о себе. Может быть, у нас не получится, что такая прочная информация та, которая записана в буквах ДНК. Информация окажется возможно со-общением удачи, и заражением удачей, сквозь все и любые содержания, но это потом. Опережая можно сказать, что форма тогда никак не будет отличаться от настройки на что-то подобное удаче (fitness), не так, будто ответ в задачнике с самого начала дан. Именно потому что он вокруг света, красоты, хорошего, которое притягивает к себе. Как сейчас, так и всегда. Нет оснований думать что не всегда было так; что этой одной тяги мало для складывания мира. — Это была тема сегодняшней странной пары. Говоря о лесе, мы втянулись в страшную драку за смысл, новый. Которого нет.

Этология как термин введена в 1859-м упоминавшимся Жоффруа Сент-Илером, наука о поведении животных, в основном в природных условиях (тому есть причины, наше смотрение, странных наблюдателей, уже со стороны на этос животных), в основном с вниманием к генетической программе. Первые имена: Конрад Lorenz (1903), австриец (сколько еще мы будем встречать островов потонувшего материка, Австро-Венгерской монархии), (b. Nov. 7, 1903, Vienna, d. Feb. 27, 1989, Altenburg, Austria), «Austrian zoologist, founder of modern ethology, the study of animal behavio-

ur by means of comparative zoological methods. His ideas contributed to an understanding of how behavioral patterns may be traced to an evolutionary past, and he was also known for his work on the roots of aggression. He shared the Nobel Prize for Physiology or Medicine in 1973 with the animal behaviourists Karl von Frisch and Nikolaas Tinbergen. From 1942 to 1944 he served as a physician in the German army and was captured as a prisoner of war in the Soviet Union. He was returned to Austria in 1948 and headed the Institute of Comparative Ethology at Altenberg from 1949 to 1951. In 1950 he established a comparative ethology department in the Max Planck Institute of Buldern, Westphalia, becoming codirector of the Institute in 1954. From 1961 to 1973 he served as director of the Max Planck Institute for Behaviour Physiology, in Seewiesen. In 1973 Lorenz, together with Frisch and Tinbergen, was awarded the Nobel Prize for Physiology or Medicine for their discoveries concerning animal behavioral patterns. In the same year, Lorenz became director of the department of animal sociology at the Institute fur Comparative Ethology of the Austrian Academy of Sciences in Altenberg»[328*].

Теперь Nikolaas Tinbergen (b. April 15, 1907, The Hague, Neth., d. Dec. 21, 1988, Oxford, Eng.), «Dutch-born British zoologist and ethologist. After receiving a Ph.D. degree (1932) from the University of Leiden, The Netherlands, Tinbergen taught there until 1949. He then served on the faculty of the University of Oxford (1949—74), where he organized a research department of animal behaviour. He became a British citizen in 1955. In the early 1970s Tinbergen and his wife, Eli-

---

328* Перевод: Австрийский зоолог, основатель современной этологии, исследования поведения животных посредством сравнительных зоологических методов. Его идеи способствовали пониманию того, как по поведенческим паттернам можно проследить эволюционное прошлое. Он также известен как автор сочинения об истоках агрессии. Он получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине в 1973 г. вместе с бихевиористами Карлом фон Фришем и Николаусом Тинбергеном. С 1942 по 1944 гг. он как физик состоял на службе в вермахте, был взят в плен и депортирован в СССР. Он вернулся в Австрию в 1948 г. и возглавлял Институт сравнительной этологии в Альтенберге с 1949 по 1951 гг. В 1950 г. он основал отделение сравнительной этологии в Институте Макса Планка в Булдерне (Вестфалия), став содиректором института в 1954 г. В 1961—1973 гг. он работал директором Института поведенческой физиологии Общества им. Макса Планка (Зеевизен). В 1973 г. Лоренц вместе с Фришем и Тинбергеном был награжден Нобелевской премией по физиологии или медицине за открытия в области поведения животных. В том же году Лоренц стал директором отделения социологии животных в Институте сравнительной этологии Австрийской Академии наук в Альтенберге.

zabeth, began studying human behaviour and behavioral disorders, particularly autism»[329*].

И третий, Карл фон Фриш (b. Nov. 20, 1886, Vienna, Austria, d. June 12, 1982, Munich, W.Ger.), «zoologist whose studies of communication among bees added significantly to the knowledge of the chemical and visual sensors of insects. He shared the 1973 Nobel Prize for Physiology or Medicine with animal behaviourists Konrad Lorenz and Nikolaas Tinbeigen. He found that bees communicate the distance and direction of a food supply to other members of the colony by two types of rhythmic movements or dances: circling and wagging. The circling dance indicates that food is within 75 in (about 250 feet) of the hive, while the wagging dance indicates a greater distance. In 1949 Frisch established that bees, through their perception of polarized light, use the Sun as a compass. He also found that they are capable of using this method of orientation when the Sun is not visible, apparently remembering patterns of polarization presented by the sky at different times of the day and the location of previously encountered landmarks»[330*].

Еще не опубликованы работы по этологии С. С. Хоружего, который вслед за Лоренцом и Тинбергеном говорит о «парадигме восторга» в мире живого. Жизнь избыток, льется через край, имеет наклонность к превосхождению, как — простейший пример — если чайке подложить чужое, но большое яйцо, она предпочтет

329* Перевод: Николаус Тинберген (род. 15 апр. 1907 г., Гаага, Нид., ум. 21 дек. 1988 г., Оксфорд, Англ.), британский зоолог и этолог голландского происхождения. Защитив диссертацию (1932) в Лейденском университете, Нидерланды, Тинберген преподавал там до 1949 г. Затем он работал в Оксфордском университете (1949—1974), где организовал отделение по исследованиям поведения животных. Он получил британское гражданство в 1955 г. В начале 1970 гг. Тинберген и его жена Элизабет начали изучать человеческое поведение и поведенческие расстройства, в частности, аутизм.

330* Перевод: Карл фон Фриш (род. 20 нояб. 1886, Вена, Австрия, ум. 12 июня 1982, Мюнхен, ФРГ), зоолог, чьи работы по коммуникации между пчелами значительно увеличили наши знания о химических и визуальных сенсорах насекомых. В 1973 г. он получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине вместе с бихевиористами Конрадом Лоренцом и Николаусом Тинбергеном. Он открыл, что пчелы сообщают расстояние и направление, где находится еда, другим членам колонии посредством двух типов ритмических движений или танцев: кружения и виляния. Кружение означает, что пропитание находится в пределах 75 м (ок. 250 футов) от улья, а виляние означает большее расстояние. В 1949 г. Фриш установил, что пчелы, будучи чувствительны к поляризованному свету, используют Солнце как компас. Он также обнаружил, что они способны использовать этот метод ориентации даже тогда, когда Солнца не видно, очевидно помня паттерны поляризации на небе в разное время суток и расположение замеченных ориентиров.

высиживать его скорее чем свои маленькие. Восторг немецких романтиков, например Людвига Тика (1773—1853), Хоружий относит к этой же общей черте жизни, и сюда же furore eroico позднего Ренессанса.

Этология занята в основном генетической программой, но наблюдает она фенотип, и лучше чем в поведении нельзя видеть определяющую силу удачи, успеха. Это на сегодня тема, вместе конечно с вопросом, откуда сама возможность удачи, которой не мешают условия, даже катастрофические, гибельные, конечные. Ситуация *могло не получиться и получилось* дана чуть ли не пожалуй раньше чем любое содержание. Удачу приходится поэтому ставить рядом с тем первым *хорошо,* которое Бог заметил в мире. Само бытие можно или даже нужно рассматривать как добро в смысле успеха, в смысле «здóрово», так что в бытии ничего и нет кроме успеха.

Есть разница, чувствовать себя волей, которая добивается поставленных целей (может быть даже «во что бы то ни стало, чего бы то ни стоило»), или темным самому себе автоматом, как животные. Но эта разница настолько маркированная, настолько всесторонняя, качественная и количественная, что начинаешь думать, *есть* ли тут разница в привычном смысле, между одним видимым и другим видимым, не разница ли это между видимым и невидимым, между сном и явью. Одна и та же вещь, если она приснилась и наяву, не одна и та же, и совсем разные вещи, одна во сне, другая наяву, могут оказаться одной и той же. Между волей человека и так называемым инстинктом, или слепым инстинктом, животных, не та ли разница, по-настоящему самая интересная, самая нас касающаяся, когда мы догадываемся, что чего-то не видим. — Конечно (примечание), в нашем европейском обществе через особенно этологию восстанавливается значение животного мира для общества, о котором (значении) кто-то уже было думал что оно стерлось до детских сказок. Этология часть биологии.

Биология теперь центральная наука не потому что она обещает большие приплоды, создание новых видов животных. Значение науки биологии что она откликается на яркую *маркированность*; она *вызывающе* броская, вся highly improbable[331], и, по-видимому, для своего продолжения она тоже требует невероятного, *невозможного,* в нашей системе понятий.

---

[331] *Ernst Mayr.* Toward a New Philosophy of Biology. Cambr. (Mass.), London: 1988, p. 5.

Рядом с пиковой трудностью задачи естественен и неизбежен разброс. Нагнетание напряжения около цели разбрасывает вокруг себя множество отклонений. Единственность и трудность пути жизни — другая сторона ее невероятности. Почему в живом существе спрессована сложность в тысячи, десятки тысяч раз больше чем в воздухе, воде, почве, среди которых живое живет? или всё живое это вынесенное на вид, на свет невидимое сложное микромира? и древнее занятие бесконечно малыми не безумие, а интуиция сложности того неприступного, на которую здесь, так сказать на поверхности, указывает живое?

Различение истории, якобы 6000⟨-летней⟩ истории, и доисторического биологией стирается, причем в пользу *доисторического*, ведь записанное в книгах истории не переживет культуру и цивилизацию, не заносится в генетику, наша информация не становится ин-формацией, а в те миллионы лет человека и миллиарды лет живого запись шла, но нестираемая, в самом присутствии и *подвиге* живого. Называть «доистория» тогда — злая насмешка, издевательство: организмы, уверенно говорит биолог, это historical phenomena. Макс Дельбрюк: «Any living cell carries with it the experiences of a billion years of experimentation by its ancestors»[332]*, такие floppy discs, дискеты, набитые *сведениями*, их столько сколько клеток, миллиарды в каждом живом существе, что как ⟨память⟩ самых крупных компьютеров, и в каждой клетке книга с записью миллиарда лет. Биолог Эрнст Майр изобразил всю историю Земли в виде одного года, возникновение Земли 1 января, возникновение жизни — прокариоты[333] — 27 февраля, и они наполняли недры нефтью и углем, атмосферу кислородом с 27 февраля по 4 сентября, когда появились наконец эвкариоты, в клетку вошло ядро и появилось разделение пола. Одноклеточные безъядерные занимали нашу планету с февраля по ноябрь, 21 ноября появились наконец позвоночные, 12 декабря млекопитающие, обезьяны 26 декабря, и утром 31 декабря гоминиды. История началась 31 декабря в 23.56,5, за 3,5 минуты до конца года, настоящего времени (*в панике натворили*, в незнании, вот уже действительно не помня себя, и с боем часов схватились за голову). — С какой стороны ни взять, жизнь маркирована, еще как. — Но цель ее страшна: 999 миллионов *видов,* а всего их миллиард,

---

[332] Цит по: *Ernst Mayr.* Toward a New Philosophy of Biology..., p. 27. * Перевод: Любая живая клетка несет в себе опыт тысячелетних экспериментов своих предков.

[333] Одноклеточные без ядра

превратились в отпечатки на камнях и в лучшем случае кости, остальным грозит то же, с XVII века в Европе осталось только 20 % птиц. Жизнь пришла из невероятности, невозможности и может скользнуть обратно туда же на Земле, она старалась об изобретениях и создала их невообразимое множество, и *всего этого*, всех изобретений, *может не хватить*. Жизнь сейчас снова на пределе напряжения; и нет причин думать, что не всегда было так.

Относительный успех не котируется, жизни нужен какой-то *безусловный*. Ради него она испытывает себя и свои изобретения на краю выносливости, усилия, напряжения.

Завораживает отдельность программы от исполнителя у живых существ. История жизни как постановка, в которой режиссер не церемонится с актерами. Этология присматривается подробнее к этому. Посмотрим на альтруизм у животных, у многих гораздо больше чем у человека. Говорят, что по альтруизму человек где-то посредине между акулой и пчелами: неверно поняли ⟨альтруизм⟩, как некое самопожертвенное свойство этого индивида, особи. Так ли это, не другое ли здесь что в игре. Собака, допустим, просто жертвует собой ради щенков, выхаживает, облизывает, всю себя им отдает, в случае их опасности защитит. Она явно увлечена щенками, не отходит от них, на отдалении начинает тосковать сразу, скулить, спешит назад с прогулки, а раньше такого не было. Проходят недели, и постепенно привязанность к щенку слабеет, от пристающего двухмесячного щенка собака вроде бы даже хочет отвязаться, потом ложится спать отдельно. Это и разумно, щенок естественно переходит к самостоятельности, скоро он будет как его мать на своих ногах. Но не похоже на то, что собака отпускает щенка следуя всё тому же разумному курсу поведения. Насколько она раньше была целиком захвачена своими щенками, посвящена им, найдя в них весь смысл жизни, настолько теперь она чуть ли не потеряна, несобранна. Когда она была взята течкой, спариванием, беременностью, родами, появлением щенков, которых надо всегда облизывать и кормить, она как бы вскочила на поезд и проехалась на нем, поглощенная событием, при чередовании важных, центральных событий. И не щенки ее занимали, раз она может примерно к пяти месяцам после родов спокойно оставить их, а то, что я назвал прошлый раз *операцией*. Собака *провела операцию* или можно сказать операция взяла себе собаку, задействовала ее, наполнила смыслом и для нее самой (ее захваченность была видна), и для окружающих, человеческие и животные наблюдатели отождествляли эти месяцы собаки с проводимой ею за-

хватывающей операцией. Собака, если хотите, создана успехом операции. Невидимая программа, проведенная операция захватила живое существо.

Так же как перелет захватывает птиц. Но и как, в человеческом мире, художник взят, «захвачен» идеей.

Уместно ли тут выражение «альтруизм»? не лучше ли говорить о захвате третьей силой, операцией, энергией, которая диктует? и которой принадлежит «альтруист» как событию, которое сильнее его? — Кстати, надо отставить всякий альтруизм в смысле do ut des[334]*, с чем обычно имеешь дело в человечестве, и не только, как альтруизм так называемых рыб-очистителей: мелкие рыбки, которые сопровождают крупных, следят за их санитарией и гигиеной и получают остатки пищи взамен.

Принцип *удачи,* успеха я понимал бы универсально. Так, что если общение с внеземными цивилизациями проблематично, то общность всего бытия, по крайней мере в нашей ближайшей части космоса (наша галактика и соседние), если она по-настоящему есть, то именно в усилии, радости, не в сознании. Тогда в той мере, в какой мы тут на земле поглощены, захвачены нашими успехами, мы общаемся со всем бытием Вселенной, и можем упустить это единство, как раз когда ищем единство по каким-то заданным параметрам. Мы автоматически в общении со всеми в меру нашего успеха, и мы в непременном разладе со всеми и со всем в меру нашего неуспеха.

Подразумевается успех не особи, не вида — это очень важно, — а операции, энергии как события. Картинный пример здесь: роскошный плюмаж самцов райской птицы (есть в тропиках райская птица) не помогает им выживать, так же как фантастические рога некоторых оленей, «it is quite possible that an excessive development of certain characters favoured by sexual selection contributed to the extinction of some species»[335]*. Ищем, к чему же тогда всё, в чем соль, и ответ один: в успехе того, что́ райскую птицу собственно и отличает, ради чего она *вид*, привлекает взгляд; в удаче этого расточительно роскошного плюмажа. Он создан не для того чтобы птице стало лучше, птице наоборот и тревожнее и опаснее, но — не птица плюмаж создает, или она его создает как художник творение, принося себя в жертву. Не плюмаж при

334* Перевод: даю, чтобы и ты мне дал

335 *Ernst Mayr.* Toward a New Philosophy of Biology..., p. 105. * Перевод: вполне возможно, что чрезмерное развитие отдельных особенностей, вызванное половым отбором, способствовало вымиранию некоторых видов.

птице, а птица при плюмаже, можно было бы сказать, если бы удалось понять, осмыслить, как сам плюмаж оказывается достижением, совершенством, которое *вызывает* себе птицу для создания и ношения.

Селекция (естественная) — это наверное оптимизация, но *нет параметров оптимума!* Мы его всегда можем назвать задним числом; «оказывается» что вид был приспособлен потому что вот, мы его наблюдаем. Но без притаскивания этой телеологии задним числом мы остаемся при чисто формальном, селекция идет путем просто *оптимума,* успеха. Если хотите, можно даже сказать — чего угодно, любой операции любого автомата, но должен быть именно успех.

С этим надо, во всяком случае среди прочего, связывать *приверженность* живого к своим программам, его *верную службу,* безотказную. Как примечание: приверженность так называемого «московского служилого человека» своему государству тоже надо рассматривать в этой биологической перспективе, как захваченность успешной операцией. — И в том же ряду, это важно, надо понимать кратчайшую, простейшую дефиницию дарвиновского естественного отбора: «If there is heritable variation in fitness in a population, evolution ensues automatically»[336]*. Автомат здесь действует скачками fitness, за их счет, так сказать катится сам на них; fitness мы понимали как *годность,* помня о полном значении этого слова (этимологически good), и угадывание, теперь уточняем как удачу и успех. Платоновское понимание истины-бытия как доброго, в смысле дающего пригодность (см. Хайдеггер, «Учение Платона об истине»[337]), пусть останется фоном этой стороны нашего леса.

Удача, угадка; точность; принадлежность изобретению, получившемуся, как у птиц их tour de force, перелет вместе с ветрами, солнцем, звездами, землей. Факт вымирания почти миллиарда видов тогда перестает казаться обреченностью живого; приглашение к выигрышу остается всегда.

Земля стареет и вянет, человек рискованно отходит от религии, внимательно-благочестивого отношения ко всему. Но законом по-прежнему остается не жизнь всё равно какая, а жизнь как горение, пожар, служение. Призывать тут к «самоограничению», к «уважению ко всему живому», звать *образумьтесь*, не спешите

---

336 Там же, p. 117. * Перевод: Если в популяции есть наследственное изменение в *годности*, то эволюция следует автоматически.

337 *М. Хайдеггер.* Время и бытие (статьи и выступления). М., 1993.

к смерти, поживите и дайте еще пожить, подышать, ⟨такие призывы⟩ не знают к кому обращаются: к живому же, которое в своей сути пожар. Смешно ждать защиты жизни от тех, кто жизни не хочет, хочет не жизни а успеха; как мечтающему о самоубийстве внушать пользу травяного чая или учить любить жизнь. Захваченность и захват, захваченность захватом, хватка и хитрость, единственное что работает. Кто что сумеет захватить и чем быть захвачен. Захват мира, захваченный миром. Адаптация по сути — захват мира в этих обоих смыслах. Не обязательно только того, который здесь на земле, но и шире. Теперь вместо спенсеровского fitness в дарвинизме чаще говорят adaptation, но базой, чаще незамечаемой, остается ощущение *мира* как именно *мира,* космоса, устроенности, встраивание в которую возможно. Удачное попадание в мир захватывает, как дельфина захватывает его нырок и полет. Мир это место, где *энергия*, *энтелехия* в смысле per-fectio возможны. Только не нужно понимать место удачи и удачу отдельно. Мир исчезает как только что-то не удается. Мир и есть удача, или он намерян, размечен, пунктуирован удачами, годностями. Ни в коем случае не поддаваться дешевой телеологии, постулируя какой-то мир с небес как гарантию удачи. Неясно что раньше, удача или мир. С самого начала мир устроен весь как удача, попадание. Он невероятно сложное наслоение удач, которые в своем существе одна удача, одна машина (автомат).

Если бы механический автомат не заслонял от нас настоящего, мы бы яснее видели во всякой операции мимесис мира.

Только не надо понимать мимесис в смысле подражания, как бы срисовывания. Надо слышать в этом слове его этимологию: отмеривание.

В дальнейшем всё время сегодня я читаю Nikolaas Tinbergen, Social behaviour in animals. With special reference to vertebrates[338]. Только начну со своего примера, или наблюдения. В начале весны гусеницы собираются в количестве нескольких десятков на удобном месте дерева и в довольно плотном собрании, прицепившись половиной тела к дереву, второй половиной начинают все одновременно, ритмично и энергично раскачиваться, довольно быстро и в явном экстазе, восторге того типа, о котором говорит Хоружий. Немножко нелепо понимать эту демонстрацию как коллективное упражнение гибкости тела, хотя конечно как коллективное осознание, ощущение своей мощи — вполне можно. Сексуального смысла у гусениц, которым потом еще надо будет окуклиться и

[338] London: Methuen & Co.; New York: John Wiley & Sons, 1953.

превратиться в бабочек, такая демонстрация тоже явно не имеет. Экстатичность этого коллективного действия передается наблюдателю чувством ужаса, под который легко подставить как его объяснение воображение того, как эта масса гусениц после собрания расползется по веткам и листьям и во что они бедное дерево превратят, но это похоже на уже вторичную рационализацию первого безотчетного ужаса, которое как зеркальное отражение энергии коллективного восторга живых существ. — Вообще включение наблюдателя, непроизвольное, животной этологии своим настроением в наблюдаемое вещь захватывающая, мы читали у старого мирмеколога, после тридцати лет наблюдений, как он советует всем заняться вглядыванием в муравьев. Да и как не быть захваченности наблюдателя. Вот перед большим аквариумом сидят Карл Лоренц со студентами и аспирантами, они наблюдают самца, воспитывающего молодь, запрещающего ей далеко отплывать, а молодь норовит разбежаться, отец тогда хватает свободолюбивого ребенка в губы и оттаскивает ближе к гнезду. И вдруг видит совсем рядом очень симпатичного червяка в воде. Что делать. Рыба останавливается в задумчивости, потом быстро бросает детеныша, проглатывает червяка, снова быстро берет в зубы детеныша и относит к гнезду. Невольно наблюдатели аплодируют. Острота ситуации в том, что детенышей не своего вида эта рыба в норме глотает; только что проглотив червяка, она должна была быстро преодолеть в себе инерцию поедания, сразу переключиться на отцовский инстинкт, что успешно и сделала.

Теперь и дальше Николас Тинберген. Чем больше этолог наблюдает живое, тем откровеннее он признается в неполноте и наблюдений, и объяснений поведения. В моем примере с гусеницами можно ручаться за ощущение восторга гусениц и ужаса наблюдателей, но объяснить суть, причину долгой симметричной ритмики гусениц труднее. В голову приходит мысль о молитвенном богослужебном собрании гусениц, которая как раз в достаточной мере дикая, чтобы быть на уровне невероятности живого. Или еще: Тинберген наблюдает серебристых чаек, долго, и только на первый взгляд может показаться, что они собираются в тесную группу потому, что нашли богатое пищей место. Вовсе нет: вот стая серебристых чаек перелетает с одного луга на другой, но ведь не потому что пища кончилась или появилась, а потому что одна чайка подала сигнал. Сторонние чайки, подлетев, пристроятся к стае — что их держит вместе? Всего проще сказать: в коллективе легче защититься. Но сбивающиеся в тесную компанию гусеницы ведь наоборот хуже подставляются птицам?

У Тинбергена его описания ведут не к объяснениям, а к вопросам. Вот он наблюдает соловьев в апреле, поющих самцов, прилетели пока ведь только они одни и каждый занял свою территорию, обозначив ее пением. Самец всё один да один, через несколько дней он вдруг с самкой. Самка летела *одна* от Средиземного моря, как она нашла самца? Достижение, говорит Тинберген, achievement, для человека недоступное. Какими чувствами, нашими или не нашими, самец и самка соловья находят себя за тысячи километров.

Опять же, то объяснение, что соловьям надо спариваться, потому они и обязаны найти друг друга, только путает. Зачем тогда им надо было разлучаться на тысячи километров? Почему, если одна серебристая чайка взлетает, другие тоже? Домашние куры, допустим, сыты и стоят думают. Вдруг одна начинает клевать, все тоже за ней. «Симпатическая индукция», говорит Тинберген[339]. Но и у людей то же: один начал зевать, и это заразительно; кто-то один испугался, и другие тоже. Тинберген прав совершенно. «It has nothing to do with imitation; the reacting individuals do not learn to perform certain movements by watching others perform them, *but they are brought into the same mood, and react by making their own innate movements*»[340]*. Мы скажем: это не имитация, это *мимесис*. Почему скворцы иногда сбиваются в стаи, тысячами. И почему опять это инстинктивно захватывающее зрелище. Завораживает *нас*, наблюдателей; *наведение*; в *нас* задет тот же экстаз. «It is highly fascinating to see how thousands of Starlings [скворцы], flying round above their roost on a winter evening, turn as if at a command; left, right, up, and down. Their co-operatio seems so perfect that one forgets the individuals and automatically thinks of them as one cloud, as one huge super-individual»[341]*.

Тут все делают одно как в моем примере с гусеницами. И непонятность, почему им приятно так демонстрировать, просто,

---

[339] *N. Tinbergen*. Social behaviour in animals..., p. 17.

[340] Там же. * Перевод: Это не имеет ничего общего с подражанием; реагирующие так индивиды не учатся осуществлять какие-то определенные движения, наблюдая, как это делают другие, *но они приведены в то же настроение и реагируют, осуществляя свойственные им от природы движения.* ⟨Курсив В. Б.⟩

[341] Там же, p. 18. * Перевод: Чрезвычайно увлекательно наблюдать, как тысячи скворцов, кружа над своими местами обитания зимним вечером, поворачивают как по команде; налево, направо, вверх, вниз. Их сотрудничество кажется настолько совершенным, что забываешь об индивидах и автоматически думаешь о них как о едином облаке, как о гигантском сверхиндивиде.

ради блеска координации, разумно перенести на случай когда объяснить поведение со стороны легко, но легко не заметить восторг, экстаз от отчетливой согласованности операций. *Черный дрозд*, но так ведут себя и другие поющие птицы, приносит корм в гнездо. Птенцы сидели тихо, но как только родитель сел на край гнезда, они разевают рты, которые у них больше головы. Кто кричит громче, тому родитель вкладывает червяка в страшно разинутую пасть. Птенец проглатывает и успокаивается. Это еще не конец: «usually the parent waits and looks down into the nest with close attention»[342*]. Кто-то в комке птенцов начинает шевелиться, трясет животиком, распушает свои игольчатые перья вокруг клоаки и выдает аккуратный белый пакетик переваренной пищи. Родитель тут же поднимает его и проглатывает или, если птенцы постарше, относит подальше от гнезда. Ловкость, слаженность надо заметить как то, что делает эту работу не тягостной рутиной, от которой родитель мечтает убежать в свободный полет, а демонстрацией, такого же захватывающего рода как танец стаи скворцов в небе или распушение хвоста райской птицы; как те скворцы, черный дрозд *вместе с птенцами составляет один организм.*

Операцию, или энергию, в которую втянуты животные, можно понимать как особого рода организм (тут другое значение слова «организм»). Важна готовность, с какой особи, организмы в привычном наблюдаемом смысле, подключаются к программе, служат ей. Сам индивид это тоже операция — но тут он становится материей для еще другой операции, коллективной если хотите, к которой индивид подключается. Операции, энергии наслаиваются одна на другую.

Автоматизмы имеют типовой, или повторяющийся характер, или, лучше сказать, довольно разные до противоположности операции сцеплены символическим загадочным единством. Поза драки странным образом у рыб, наблюдавшихся Тинбергеном, — ко́люшка, может быть от колючек на спине, — та же вертикальная головой вниз, как когда самец этого вида вибрирующим движением толкает сверху самку, уже введенную им в гнездо, чтобы она там метала икру. Как бы один тип поведения с противоположным знаком; или может быть, принимая сигнал, животное нащупывает, методом проб и ошибок угадывает нужное, расшифровывая различия, заложенные в программе. Ведь как генетика, допустим, программирует не «цвет глаз», а некую структуру, различительную, которая в среде, в материи, в географическом окружении

342* Перевод: обычно родитель ждет и пристально смотрит в гнездо.

становится таким-то цветом глаз, так генетика не диктует детали поведения, а только структуру отличий. Имеет смысл подумать о том, не действует ли генетическая программа по типу совести, диктуя не «делай так», а подсказывая «не то, не то» (за эту мысль отвечаю я, не Тинберген).

Тот, кто подключается к операциям, выполняет их, рискует и может ошибиться, от этого животные от восторга и экстаза так легко и быстро переходят к пристальному вниманию и аккуратности. Операция принимается как *свое*, не видно, опять мой пример с собакой, что родившая самка не входит вся полностью с увлечением в игру рождения. Она вне этой игры просто не существует, служение здесь не в том смысле, что животное отработает и пойдет по *своим* делам; сотрудничество индивида и рода тут полное.

К восторгу и экстазу надо отнести такие вещи как удивительная расцветка крыльев бабочки и глаза, прорисовывающиеся на них, этой подчеркнутой яркостью бабочки отличаются от гусениц. У нашего вида это — обращение на себя внимания в раннем юношеском возрасте, и в смысле глядения на себя в зеркале, и проснувшегося внимания к одежде (а для подростков всё равно как одеться), и расцвет, блеск ума как внимания и обращения внимания. — С типологией можно и *нужно* идти далеко, например сравнивая парад гусениц с военными парадами.

Теперь, когда мы занялись поведением, можно вдогонку сказать к прошлой теме о невозможности межвидового скрещивания: помеха ведь основная не на молекулярном уровне, а на поведенческом; от осла и лошади потомство родится, на молекулярном уровне несовместимости нет, химия так сказать пойдет на компромисс (здесь отличие от компьютерных программ, где несовместимость жестче), технический уровень пропустит, но сбой начнется из-за того, что мул так сказать запутан, у него слишком сложная программа и на уровне поведения он не может найтись, теряет инициативу, его достоинством становится удобная для людей безынициативность.

29 (12.5.1998)

Значение имеет вот эта особь — или биологическая операция, которой особь служит? Похоже, что операция. Если оставляют в голубятне например только двух самок, одна из них будет вести себя как самец, ухаживать. Начнется брачное поведение, в которое *обе* самки будут втянуты. Одна из функций брачного поведения синхронизация ритмов воспроизведения; у этих двух самок, которые образуют пару, это достигается; начав свое неполноценное супружество на разных стадиях, они в конце концов снесут яйца одновременно, и может быть на эти яйца сядут; конечно птенцы из таких яиц не появятся. Неким образом[343] их поведение как-то вызвало синхронизацию развития яиц. Есть предположение, что общественное высиживание у стай тоже ведет к синхронизации. — Что же тогда, спрашивается, надо, чтобы запустить в ход механизмы, в данном случае воспроизведения, — только символическое присутствие *якобы* «самца», намек? сигнал? всё настолько чревато запуском в ход операций, что небольшого толчка достаточно?

Смешно, насколько грубой, приблизительной может быть модель самца колюшки, чтобы самка начала исполнять перед ним брачный танец, когда она готова; в сущности лишь бы было какое-то подобие продолговатой фигуры, но обязательно окрашенное красным снизу (или в другом виде колюшки — окрашенное черным), без этого самка не проявит интереса к модели; помогают, привлекая, ярко нарисованные на модели *голубые* глаза (! не забудем о глазах на крыльях бабочек; вообще степень показа и глядения такая у животных, что я невольно вспоминаю слова одной художницы: человек это взгляд), остальные детали просто неважны. Опять же не важно, есть ли в аквариуме настоящее гнездо;

---

[343] *N. Tinbergen*. Social behaviour in animals..., p. 26.

достаточно условного движения модели, грубо имитирующего приглашение, якобы вхождение в мнимое гнездо, чтобы самка стала делать попытку «войти» куда-то на дне аквариума. Таким же грубым может сработать чучело «самки» для самца, единственно важно чтобы живот был большой.

Значит, как тот комар, который запрограммирован только на один из сотен элементов крови, рыба действует реагируя собственно не на «личность», не на «индивид» другого пола, а на *знаки*? Самец подталкивает головой самку колюшки, когда она уже зашла в гнездо, но того же эффекта, метания икры, можно достичь и вибрацией стеклянной (чтобы не было запаха) палочки.

Что же видят особи, если они не видят друг друга в нашем смысле личностей, гонятся за выполнением функций и легко, еще как, могут ошибиться? Птице надо видеть у самки резко другое оперение, иначе она могла бы напасть с дракой, драка модификация спаривания, поведение делится так сказать в последний момент. А первоначально начинается с приближения к существу другого рода, в стае, в драке, в спаривании, — как бы первичный инстинкт сближает с существом своего рода, потому что *с ним надо что-то сделать*. Или с собой (!), когда самка должна перенять поведение самца. Если самка не имеет этой резко другой расцветки, внешне сходна с самцом, она *поведением* должна обозначить свое отличие, так называемое female courtship, «женское ухаживание».

Такие примеры мы умножим, и они все указывают в одну сторону: мы похоже не теми схемами прочитываем поведение животных; фольклор, сказка очеловечивают животных, мы вдумываясь в них приближаем их к нам, в *интимно-семейном вчувствовании*, а нужно применить к животным тоже наш *близкий опыт бюрократического, военно-дисциплинарного порядка*, жесткой государственной и служебной регламентации, когда *сначала* структура, система, и ей должны соответствовать индивиды. Мы называем эту сторону жизни «бесчеловечной», она нам противна, фигура холодного чиновника, милиционера, старшины, мы над ними смеемся, называем идиотизмом, но поневоле должны смириться. Прапорщик, идущий на дежурство у ракеты с ядерным зарядом, должен пройти нужное число постов, сказать требуемые пароли, выждать нужное количество секунд. Часовой при посте должен подойти строевым шагом, ответить на «стой, кто идет», встать рядом со сменяемым не глядя ему в лицо, сделать поворот кругом.

Соблюдается форма. Поведение животных можно описать как набор шагов, действий, которые животные должны уметь выдать

и которые они должны формально легко, безусловно, так сказать не споря, предоставить, показать, когда эти поступки будут у них затребованы сигналами. Например, как сказано, к другой особи у животного готова и агрессия и ухаживание; продиктована обязательная необходимость что-то сделать (ничего не сделать, просто пройти мимо — это тоже поступить, так сказать подчеркнуто нулевое поведение). Что именно сделать из выбора готовых действий, это подскажут сигналы, которые дадут ситуация и другая особь.

Чаще незамеченной будет пропущена особь другого вида, к ней отношение как к пейзажу, за исключениями, о которых скажем. К особи своего вида безразличного отношения никогда нет. С особью своего вида вступают в драке ли, в отпугивании, в спаривании в *телесные* отношения, захватывающие тем, что неким образом из собственных тел будет извлечена, вытянута, вынута как-то совсем новая особь *того же* вида.

Химия, физиология всё подготовила в самке и самце, спаривание для них стало необходимее весной чем пища. Но им осталось так повести себя, чтобы оказаться рядом в нужное время. Очень просто они могут не оказаться, один из двух допустим может погибнуть. Могут быть другие сбои. Что природа не захотела довести физико-химию до автоматического завершения, выбросила дело продолжения рода в рискованное пространство, пошла сложным путем, с этим мы уже свыклись. Раньше мы без критики и обсуждения рассматривали оба варианта теории двух жизней, что генетика была позднее привнесена или наложена тиранически на простой обмен веществ, метаболизм, — и что обе жизни всегда существовали вместе. Теперь я скажу, что скорее второе. С самого начала жизней было две.

Полярность между мягким и жестким с самого начала. В поведении животных мы склонны видеть, нам это просто проще, эстетику и свободу, тем более надо обратить внимание на жесткую сторону. Мы умиляемся, как голубь и голубка касаются носиками. Это так называемое *инфантильное* поведение самок многих видов, сигнал, которым они взаимно отводят агрессивное поведение, драку. И не только это. В инфантильном инстинкте угадано, опережающе разыграно самкой будущее вскармливание птенцов: времени как бы нет, самка уже птенец, которого еще нет. Самец кормит самку как птенца принесенной пищей, или из зоба, и *в нем* самка провоцирует этим будущее отцовство, от которого ведь тоже особь может уклониться, сбой возможен и на той стадии. Самка сигнализирует самцу его будущую функцию.

Весеннее пение птиц нас умиляет, но опять же мы склонны тут видеть только эстетику, необязательное художественное оформление физико-химии. И зря. Певчие птицы *подставляются* хищникам и ловцам, одновременно в смертельной игре бросают им вызов. Самец соловья, который начинает петь когда самка еще на Средиземном море, в другой части земного шара, поет ***ей***, вызывая ее, звеня через тысячи километров, имеет дело с планетой, с астрономией, и он не сошел с ума. Самец общается тут с климатом, ведь его пение вызвано разностью между теплом, где он только что жил, за два-три дня до этого, и сыростью и прохладой; эта разница тоже звучит в голосе. Пением самец обозначает свою территорию, прося других соловьев отодвинуться, распространиться. Соловей поет таким образом urbi et orbi, на весь мир. Его пение поэтому узнаётся нами. В этом космическом размахе его сила. Всё это не мешает ему быть жестким знаком — ограничения территории, декларации намерения, призывания самки.

Понятно, что брачное поведение самое маркированное и эффектное для изучения. Ритуал, разный у разных видов, явно сцеплен с различием генетической программы, т.е. с химией. И то, что уже упоминалось, что химия *разрешает* спаривание сходных видов, имеет аналог и в поведении. Особь в нулевом уровне ведет себя так, словно готова пойти на связь не только с другими видами (ухаживание птиц за самками другого вида не такая редкая вещь), но так сказать со всем миром: в такой же sexual pursuit, как за самкой, бабочка может броситься за жуком, мухой, маленькой птицей, падающим листиком, даже за собственной тенью на земле. Urbi et orbi. Другое дело, что за этим первым сигналом, движением сходного по параметрам тела, не следуют очередные, уточняющие, направляющие сигналы. Первое движение имеет такую широкую направленность, а нужна целая цепочка ступеней, и детализация наступает например когда в погоне за самкой другого вида птица встречает не согласие, т.е. посадку на землю, а наоборот реакцию стремительного улетания. Сбой, заставляющий корректировать поведение. Идет работа притирки, уточнения поведения. Малые знаки, как особая скорость, особая траектория движения, мы скорее всего не замечаем.

Или движение навстречу рыбе другого вида. За первым пробным прикидочным сближением не следуют другие ступени допуска, а должны быть: приглашение к гнезду, показ входа в гнездо, потом надо добиться от самки, методом dumb shou, «делай как я», чтобы она вошла в гнездо (кстати, протискивание тела через узкий проход как разыгрывание, миметическое, для выпускания икры из

собственного тела; но самка, она уже в гнезде, должна получить еще стимул от самца, так называемое quivering, вибрирующее движение).

Я говорю, это как жесткая система допусков, проверок; сбой на любой ступени отменяет всю операцию; наоборот, прохождение одной стадии поощряет на вторую. Гнездо, потом об этом скажем подробнее, не совсем сооружение, ведь оно уже клеится под водой клеем для травинок и веточек, который рыба выделяет из собственного тела — т.е. опять предвосхищение того выделения, собственно выпускания собственного тела, ради чего гнездо; потом родители будут свидетелями выхода молоди из икры, и будут сдерживать ее около того же гнезда, выпуская, отпуская ее постепенно — т.е. собственно три выпускания вокруг гнезда, и четвертое — вхождение в гнездо и выход из него собственного тела.

Для каждой из четырех основных стадий, ведущих к спариванию, attract — persuade — appease — synchronize, привлечь — убедить в серьезности намерения — успокоить — синхронизировать[344], есть свои знаки, сигналы. Отчетливо разделены виды колюшки с красным и с черным брюшком, этот *сигнал* обеспечивает так называемую reproductive isolation: первый отсев женихов происходит по этому знаку. Я говорю «знаку» — не «признаку», потому что признак при чем-то, чего он признак, а животные реакции, мы еще увидим, вызываются именно точечными знаками, как если бы вообще всё равно, есть за знаком податель и носитель или нет никакого. Просто *знак в окружающей среде,* как если бы знак подавала сама эта среда. Словно личности нет; сработает и знак на грубой модели. Антисубстанциалист обрадовался бы очень.

Знаки работают отчетливо. Они закрепляются генетически (как красное брюшко, явный случай, или реакция на клюв, менее явный) так же жестко как среда обитания, пища, форма тела. Метод закрепления для знаков тот же что для тела и для операции: удача, не вижу другого способа объяснить закрепление. Всё в живом и складывается в форму и закрепляется удачами, которые выстраиваются в серию, наслаиваются. Дарвиновский отбор закрепляет, подтверждает удачи. Сложная система спаривания существует как одна из удач.

Особь, которая у нас перед глазами и кажется сутью дела, *служебная* при операции, но до какой степени, это надо почувствовать. Самка бабочки-сатира (потому что эта наблюдалась особенно) timed and persuaded одним самцом, спаривается с другим;

---

[344] Там же, p. 36 и др.

в цепочке, последовательности поступков ничего не изменилось, но в момент orientation инициативу взял на себя другой самец, исполнитель случайно сменился, пришел тот, кому лучше удалось. Но в человеческом мире: роман Кребийона-сына, Клод Проспер Жолио де Crébillon (1707—1777) «Заблуждения сердца и ума» (1736—1738) описывает одновременное и равное увлечение героя в Париже двумя дамами, только для вида, во вторичном нравственном обрамлении, как «заблуждение», отклонение; по действительному настроению здесь уверенное возвращение к природе, конечно *только с интуитивной* уверенностью в правде такой раздвоенной привязанности, без биологического фона.

Особь выходит на сцену и уходит, сбой только в ней, в программе сбоя в принципе не может быть. Безошибочность программы задана необходимостью получить существа того же и такого же вида. Программа не сбойная именно потому что, так сказать, абсолютная, максималистская: если хотите, невозможная. Поставьте себе возможную цель, и вас спросят, почему эту а не другую. Поставьте ⟨цель⟩, фантастическую до невероятности, вечность вида, чтобы он повторялся и никак не менялся; т.е. бессмертие; странным образом у такой программы может быть или стопроцентная удача или стопроцентная неудача, сбой невозможен. Другое дело исполнители при ней; они втянуты только в меру своей сейчасной удачи в удачу программы, хотя приподняты, захвачены ее целью, блеском.

Смотрите: самец чайки подходит к самке с еще не уточненным поведением в запасе, агрессивным или ухаживания; самка подталкивает его к выбору, вставая в позу птенца, просящего пищу. Этим она вводит тему пищи, которая мы описали как продолжается. Интересное ответвление всей этой игры: птенцы в какой-то момент дают стимулы для поедания, т.е. ведут себя как добыча. Они провоцируют родителей и рискуют: родители *действительно* (Тинберген наблюдает всё чаек) своих птенцов сразу съедят, если увидят их мертвыми, не сумев защитить от внезапного нападения чужих чаек, но сумев (это нетрудно по причинам, о которых ниже) отогнать чужих от гнезда. Что разыграно в этой провокации? Теперь, когда мы заметили, что особь только как бы прокатывается на поезде операции и заменима, мы понимаем, что птенец разыгрывает на себе, обозначает собой, предугадывает необходимый момент операции, именно поедания, как бы заявляя об этой теме еще до распределения ролей: его поведением провоцируется просто *еда вообще*, без уточнения, кто будет что делать, птенец ⟨есть⟩ принесенную еду или отец ⟨заботиться⟩, чтобы еду прине-

сти. Так ребенок говорит «ам», оставляя другим уточнить, кто ест или будет есть. Решить оставлено тем, кто желает подключиться, если желает, к процессу. Риск, что их, птенцов, съедят, уравновешивается общим доверием, что в целом операция пойдет верно. Так самки, видя подступание самца, который может повести себя и агрессивно, рискуют и подставляются, умиротворяя его инфантильным жестом.

И наоборот, родители иногда развертывают, показывают перед выводком все стимулы (знаки) толкающие к бегству. Разыграна тут тема погони вообще, без уточнения кто за кем гонится, опять с риском слишком войти в роль и съесть собственных детей и опять с доверием к тому, что программа (расписание) включает все нужные корректирующие сигналы. Можно трактовать это разыгрывание родителями хищников как *рассказ* птенцам о будущей жизни. Безусловно так; но всё на самом деле проще — взрослая птица имеет наготове и пускает в действие все типы своего поведения, ожидая и требуя ступеней корректировки.

Как голубка самка пожалуй и попробует роль голубя самца и разыграет ее, так дети пожалуй разыграют роль добычи, отец — хищника, самец — самки; другое дело что среди разных поведений есть удачное, и оно в конечном счете будет то, которое сохранит, оставит вид: в том смысле, что если мы видим вид, то значит особи по крайней мере в основной массе до сих пор играли удачно.

Так называемый display, демонстрирование животных, когда они встают в парадную позу, это показ удач, бывших. Так спортсмены, чтобы подбодрить себя, смотрят пленку где засняты их прошлые достижения. В этом есть сознание, что всё что не на уровне блестящей удачи, то срыв.

Кстати, ошибка ли у самца, который напал на самку вместо ухаживания? Как сказать; драка, владение телом, победа — тоже удача.

Вообще животное и что бы то ни было *после первой большой удачи, успешного отделения поля излучения от материи, библейское отделение света от тьмы, иначе как по направляющей удач идти не может*. Так у вида «человек» в XX веке серия небывалых удач, и конечно с риском того, что *выбор возможностей*, того, во что человек себя пустил, имеет сбой.

Разумеется у человека сложнее и труднее. Хотя уже у птиц сложность функций такая, что удивительно не сколько птиц бросают семью и губят птенцов, а сколько остаются при потомстве. — Сбой это не обязательно невыполнение, например самцами,

обязанности высиживать, но и наоборот, сидение чайки на пустом гнезде. У человека это когда мать не верит смерти ребенка, продолжает пытаться ухаживать за ним или ходит с куклой вместо ребенка. *Верность* самого жеста, промах — не в жесте.

Это как если бы подслеповатый водитель принял один знак за другой и провел маневр неверно. Он прав в том, как он провел маневр. Важно тут, что животное не будет дожидаться ясности знаков. Оно так сказать предпочтет провести действие, поступить неверно, чем не поступить. Ему легче ошибиться в прочтении знаков чем пропустить исполнение. Такая обязательность. Ведет забота что что-то останется несделанным.

Еще случай уточняющего действия поведенческих стимулов, в дополнение к физиологическим. Если подложить птице птенца в самом начале высиживания, он не будет принят, физиологические часы еще не сработали — но в конце, даже за несколько дней до начала вылупливания из гнезда подложенный птенец уже будет принят, его писк и характерное gaping, разевание рта, уже достаточный стимул, чтобы развязать реакцию вскармливания; хотя физиологические внутренние часы еще не вполне сработали, внешние поведенческие оказываются решающими.

Этология — ритуал, правило, порядок. Готовность питать тоже идет изнутри, из физикохимии, но нуждается в поведенческих стимулах, в этом сигнале разевания ртов. Если они так не делают, птица-родитель смотрит на них, потом оглядывается кругом, как бы в растерянности, беспомощно. Мысль что может быть даже и не пищащему птенцу предложить пищу (он может быть ослаб именно от недостатка пищи) не придет в голову птице. Она будет ждать этого *знака*, писка и разевания, ***словно она кормит знак, словно ее долг не взрастить птенца, а поступить по инструкции***. Но так действует и дисциплина формальная. Между ее строгим исполнением, которое часто или почти всегда убийственно для человека (исполни долг, «хоть трава не расти»), и разумным, мягким поведением, спасительным, мудрым, как говорится нет *гладкого* перехода, всегда надрывный. Инструкция или выполняется или нарушается. Как правило в человеческом обществе она никогда не предусматривает нарушения — и всегда нарушается. В животном мире она если нарушается, то в порядке сбоя такого типа как мы говорили, грубо говоря особь не на высоте или она гибнет, или нарушается в сторону своего выполнения даже там, где строгого предписания нет, т.е. животное скорее *увидит* строгое предписание там, где его нет. Правило — жесткое следование программе. Поведение вполне *безлично*. Ак-

теры дают сбои, сходят со сцены, программа должна быть выполнена.

Горихвостке-лысушке (redstart) подбрасывает яйцо кукушка. Горихвостка терпеливо сидит на яйце и обычно кукушонок вылупляется быстрее ее птенцов. Он, как говорили, взваливает яйцо или уже вылупившегося птенца горихвостки себе на спину и придерживая его поднятыми вверх началами крылышек, упираясь лапками и клювом, пятясь задом выталкивает яйцо или птенца вообще из гнезда или на край гнезда, когда он опасается сам выпасть за яйцом вместе с яйцом. (Кстати, аналогичная операция с гнездом и яйцом, вынос, вынесение себя с яйцом из своего гнезда в чужое будет повторена взрослой кукушкой-матерью, та же схема.) Но на скатывание собственного же яйца в края своего же гнезда обратно в середину чтобы на него снова сесть у горихвостки запрет такой же, как вообще у птиц кормить не кричащих птенцов! Немыслимая глупость? Нет! Можете считать, что птицы верят в законы и знают что само яйцо двигаться не может, не может подняться со дна на край. Там стало быть инородный предмет. Так, позвольте мне мой пример, человеческая мать не признáет своим ребенка в шерсти и с клыками или который сразу поползет на четырех лапах, остановится в ужасе.

Свои птенцы горихвостки не разевают клювики так широко и не пищат так громко как кукушонок, поэтому кормят прежде всего кукушонка, ведь порядок, в каком кормят, целиком зависит от интенсивности просьб. (В человеческом обществе: гранты дают по интенсивности и частоте заявок.) Расчет на то, что голодный начнет в свою очередь тоже кричать сильно; но если он ослаб, то умрет от голода и холода.

Кстати, в насколько жестких рамках проходит жизнь животных: нельзя возникать; птенец попросил пищи раз-другой и хватит, молчи, иначе подманишь хищника; просят долго только те кто живет в дуплах, и то не всегда.

Можно подумать, что эта жесткость только там, где действует генетическая программа. Нет. Генетическая программа оставляет место для научения из опыта. Например, рыбы аквариумные, cichlids, их много видов, некоторые держат икру во рту, а потом там же у них во рту спальня для молоди. В норме эти рыбы поедают молодняк другого вида, *но своих они отличают не врожденно, а на опыте*: кто из их икры у них во рту вырос, тот и свой. И вот возможно, не такая уж и тонкая техника позволяет, их икру при первом спаривании заменить икрой другого вида. Тогда они будут взращивать и охранять чужих, и всегда поедать своих, причем,

когда они во втором поколении взрастят уже настоящих своих, то съедят и их: однажды научившись считать своим другой вид, они так и затвердят себе это знание! Такая пара, говорит Тинберген, испорчена навсегда.

Поражает жесткость правил и их исполнения. Ночная цапля, это выяснил Конрад Лоренц, убеждает своих птенцов что не хочет на них напасть изящным кивком к обитателям гнезда, к самке (самцу) и детям. Это «показ», демонстрация на ближней ветке красивой сине-черной шапки, с поднятием трех белых перышек, вроде короны на голове, а так обычно они, эти перышки, прижаты назад к шее. После поклона он с ближней ветки соступает в гнездо и его радостно встречают. Лоренцу однажды удалось устроиться на дереве совсем близко от гнезда. Вернулся один из родителей, видит человека и на ближней ветке принимает агрессивную позу вместо церемонии умиротворения, поклона. Птенцы, которые перестали уже бояться спокойного Лоренца, тут же все напали на своего отца. Часовой по инструкции обязан *стрелять* если на вопрос *кто идет* не отвечают паролем, *даже если подходящий ему лично знаком.* Как личный знакомый подходящий человек для часового не существует. Подлетающая цапля существует для семьи (только уместно ли тут это слово?) не как личность, особь, а как функция, носитель знака, или даже проще: как знак, церемония.

Одного случая с кукушкой достаточно: идет не борьба видов, горихвостка не борется за свой вид против вида кукушек, происходит служение, более или менее удачное, программам, механизмам, операциям, предписаниям, формалистике. Или сказать по-другому: идет посильное обслуживание *автомата.* Служат или всем телом, или поведением, как могут, не зная для чего, и служат тому, что достигается этим автоматом. Опять же только кажется что служат индивиду или продолжению вида, но в свете исчезания большинства видов служение всё-таки имеет другое, не известное нам назначание. Дикая гипотеза: всё подтягивается к появлению исключительного вида, человека? Может быть, но в том смысле, что человек обязан иметь удачу, найти смысл. Бог в этом плане обеспечивает только что не исключено, что удача возможна. Не наблюдается, чтобы Бог знал нужный образ действий человека и скрывал.

Сравнение с человеком наводит на очень далекие и трудные мысли. Церемония приветствия у человека тоже есть, но она может и отпасть, а у ночной цапли нет, не может отпасть: прилетевший родитель *сделает* свой красивый кивок, дети в противном

случае набросятся на него как на врага. Церемония прощания, расставания у человека тоже есть, и она тоже может отпасть, но не у аквариумных рыб, которых наблюдали: подплывают для смены своей пары на страже у детей зигзагом, уносятся быстро по прямому курсу. Предположительно чтобы именно *расстаться*, чтобы не увлечь за собой молодь. Так решается проблема, с которой всегда трудно справиться людям, у которых расставание затягивается. Многое новое, неясное.

Наблюдатели говорят об *утомительной, стопроцентной послушности животных*, аккуратности выполнения программы: она святое дело. У человека аналог надо искать действительно в исполнении священных обрядов. Если родитель птица дал сигнал тревоги, птенцы будут сидеть не высовываясь из гнезда, *никогда и ни за что* не возьмут самый аппетитный корм, тупо не понимая, что если человек им не сделал вреда без корма, то не сделает наверное и с кормом. Тут не глупость, однако: тут жесткое, строго формальное следование предписанию, расписанию. — Тинберген сделал кабину, в которой стоял наблюдая чаек, птенцы к ней привыкли и заходили туда прямо под ноги человеку, привыкли к нему. Но вот человек неосторожно высунулся, птенцы не обратили внимания, а родитель чайка обратил и подал сигнал опасности, в кабине человек; птенцы естественно сразу точно выполнили команду, *не выполнить ее в принципе невозможно,* и все вбежали в кабину, сгрудились вокруг ног человека. Кстати, в общественной обороне птицы строжайше слушаются сигнала об опасности. Птиц птицеловы умеют ловить не потому что птицы глупы, а потому что птицы ходят по расписанию предвидимыми ходами, для наблюдательного человека они на виду, их можно тогда брать голыми руками.

Самец не только не сойдет с гнезда где он высиживает яйца, но он и на церемонию смены не всегда реагирует (тот же принцип: существо, вписавшееся в расписание, в экстазе распорядка скорее перестарается, чем недоработает). Его надо силой спихнуть с гнезда, чтобы заменить.

Вдумываясь так в службу животных, мы понимаем, почему животные так задевают нас, колют в глаза: так, что мы не можем как на солнце взглянуть на них прямо, слишком ярко тогда они показывают нам нас самих, какими мы возможно — были? или можем быть? или есть в нечеловеческой дисциплине строгого распорядка? или *будем* в обществе, попыткой которого были так называемые тоталитарные государства, загадочные еще не изученные образования, подход к которым так неожиданно открывает

биология? В животных нам приоткрывается наш неведомый двойник, или близнец.

И еще, мы смотрим с деланой отстраненностью на этику животных — и не замечаем того, *на чем стоит в конечном счете человеческий порядок: на слепой наивности растений и животных, которые нам терпеливо служат, и детей*, насколько populus, народ остается детьми.

Продолжаем читать, с экскурсами, Nikolaas Tinbergen, Social behaviour in animals, London: Methuen; New York: John Wiley & Sons, 1953. Социум птиц — одновременно инструмент и операция, событие. Сила социума птиц в том что он помогает обороне, социум зоркий весь как одна самая зоркая птица. Но в обществе животных есть и что-то еще, из-за чего его держатся, не покидают даже когда это можно. Оно становится «как один», организмом. На это теперь надо смотреть в свете официальности животных. Идеальное тоталитарное государство должно служить примером общества животных, а уж во всяком случае не человеческая семья.

Драки внутри своего вида в животном мире гораздо чаще чем вне. Иногда животные имеют особые органы для внутривидовых столкновений, например рога. Драки не сводятся только к reproductive fighting, и в так называемых драках за самок надо учесть общее и постоянное стремление животных держаться поодаль друг от друга, неожиданность для них самих необходимости телесного прикосновения к другому существу своего вида и сходство агрессивного и ухаживающего поведения, которое они обязаны расподобить: тогда присутствие других самцов просто нужно: оно служит для оттягивания на себя агрессивного поведения, чтобы оставить в чистом виде ухаживающее в отношении к самкам. И опять интенсивное внутреннее дисциплинирование тоталитарных обществ приходит на ум. Во внутривидовых драках видно много взаимной коррекции, например упорядочение территориальных влияний. Большинство драк это блеф, испытание нервов, угроза без приведения в исполнение. Постоянная коммунальная склока, притирка, имеющая предметом почти всегда взаимные упреки в безнравственности, приходит на ум. Также и постоянное слежение в первобытном обществе за нравственностью.

Ясно, что государства с таким неукоснительным служением рассчитаны на безотказное вечное существование. Слово «официальные отношения», которое напрашивается в случаях например нападения семьи на отца, который подлетев к гнезду не сделал церемониального жеста, отсылает к римскому officium, *долг*, *обязанность*, прежде всего неукоснительный долг римского граждани-

на. Римское государство на своем красивом отдалении не кажется слишком тоталитарным, вблизи казалось бы. Мы бы ужаснулись жесткости норм, знаков, символов. Римское государство было задумано, рассчитано именно на вечность; по Цицерону, подорвать вечность государства может только порочность граждан. Принципы римского права до сих пор остаются основой современных законодательств.

Интересны причины, по которым даже в самом строгом человеческом обществе дисциплине будет еще очень далеко до дисциплины животных. ⟨...⟩ Ещё интереснее наша загадочная слепота перед лицом животных, причина, по какой мы в животном мире не видим, не замечаем то, что нас в самой нашей актуальности, ежедневной, задевает, шокирует, обижает всего больше: железный закон государства, его формалистика, ритуальность, так называемый «бюрократизм», абсолютное равнодушие к личности, неуклонность норм, строгое воспитание, чуждость «гуманизму», «бесчеловечность» в смысле пренебрежения к личности[345*].

Вернемся к *постоянной самокоррекции* общества животных; не этому ли служат внутривидовые столкновения, которые чаще всего ограничиваются агрессивным дисплеем. Дисплей, воинственная поза скажем у птиц, или рыб, защищающих свой кусок территории, бывает очень часто, но настоящая драка очень редко, потому что хозяин территории легко отгоняет агрессора, всё поведение которого, вторгшегося на чужую территорию, показывает признаки нечистой совести, а у защитника на своей территории — справедливого негодования; этот *нравственный* перевес так силен, что агрессора выгнать легко. А зайдя уже на чужую территорию, только что полная праведного гнева птица вдруг сникает и бежит. Ну, а что если столкновение происходит прямо на границе? Опять драка бывает редко.

От сшибки двух одинаково возможных поведений начинается третье, в порядке displacement[346]: демонстративно чайка начинает рвать перед другой траву, якобы для гнезда, но с такой нервной интенсивностью, какой при строительстве гнезда не бывает; или рыба в своей агрессивной позе, вертикальной, головой вниз, начинает яростно рыть дно, словно показывая, что будет с противником, если дело дойдет до схватки. У болотных птиц странно: агрессивный дисплей вдруг кончается тем что одна прямо перед лицом другой засыпает, как цапли спят, на ногах и зарыв голову в

[345*] Заметка В.Б. на полях: «Право — неправо!».

[346] *N. Tinbergen.* Social behaviour in animals..., p. 76.

перья; у домашних петухов начинается замещающее принятие пищи, displacement eating, тоже нервное и злобное. Конечно может начаться и драка, но никогда не сразу, во всяком случае *вся гамма знаков должна быть сначала разыграна.*

Красиво, что эти типы displacement activity общие для всего живого. У пехотинцев на войне перед опасностью, атакой, замечено неудержимое желание заснуть.

Злобное поедание зерен — нервное ресторанное поедание у деятелей, связанных с опасностью и угрозой.

Чистка перышек — причесывание волос, жест расправления усов, почесывание в затылке в ситуации угрозы.

Не забудем, что знаки у животных свято требуют обязательной, неукоснительной реакции, т. е. не так что на демонстративные жесты смотрят небрежно, стратегически, как на отвлекающие маневры: если перед петухом петух начинает клевать, то это жесткий знак, что надо тоже клевать; на позу сна у противника надо отреагировать как реагируют на сон, т. е. сначала разбудить, допустим тревожным криком, или оставить в покое.

Если вблизи от краснобрюхой колюшки появляется другая, то надо встать, охраняя территорию, в защитную позу и отогнать стало быть, что удастся, пока ясно, чья территория. Но если это не рыба, а макет? То же самое, даже самый грубый макет, лишь бы снизу был покрашен красным. Больше того, когда за окном лаборатории (опыты в аквариуме) проезжал красный почтовый фургон, рыбы нервничали, следили за его движением изнутри аквариума и склонялись к агрессии. *Святость* правил — как в римском праве!

Так же малиновка, боевую позицию занимает ⟨реагируя⟩ на красный цвет грудки. Молодая особь малиновки, когда грудка еще коричневая, не вызывает протеста; а просто грубый пучок красных перьев вызывает. *Важно: агрессия возникает не потому что птица не замечает, что у пучка красных перьев нет даже клюва, т. е. птица глупа и подслеповата, а потому что* ***реакция запрограммирована не на другую особь, а именно на цвет.*** «Как абсурдно, как смешно». *Но мы смеемся над птицами чтобы не заметить, например, нашей реакции на красный цвет, не чего-нибудь, а красный цвет вообще; или в накаленном религиозными страстями Израиле реакции на христианский крест,* ***не на ком-то крест, а просто на крест.***

Колюшка краснобрюхого вида будет точно так же реагировать не на особь, а на красное. У одного вида дятлов, живущих в Америке (american flicker), самка и самец имеют совершенно одинако-

вую сложную окраску, чередование точек и полосок черных на всём теле, за единственным исключением: у самца есть так называемые усики, небольшое черное пятнышко у уголка клюва. Такие усики черные подклеили самке, и на нее напал ее собственный самец. С нее сняли усики, и он ее снова принял. Тупость, скажем мы, — боюсь, чтобы не заметить, как мы соблюдаем форму в отношениях, как боимся телесных отклонений, панически, или как жена должна быть в той же церкви, в той же партии что муж, или жена должна ходить по улице одетая как ходит муж, а когда она выходит на улицу пусть даже в очень теплую погоду полностью раздетая, как жена Константина Леонтьева, то ее уже нельзя принять. Непринятие усатой собственной же жены надо понимать у американского дятла не как ее неузнавание, а как *святое, жесткое соблюдение нормы*, или протокола, служение форме, знаковому ритуалу. — Кстати, американские дятлы клюют муравьев. Можно подумать: птичке не хватает корма, она нашла себе другой. Нет: она генетически запрограммирована на клевание муравьев, это ее служба, у нее есть щелочная слюна специально чтобы нейтрализовать муравьиную защитную кислоту. — На клюве птицы есть так называемая восковина, у одного вида маленьких попугаев, shell parrakeet[347] восковина голубая у самцов, коричневая у самок. Это страшно важно, за этим строжайше следят: на самку, у которой восковину выкрасили голубым, самец нападет.

---

[347] Там же, p. 69.

30 (19.5.1998)

Примеров жесткой реакции на знак, цвет, форму сколько угодно. И показывания, демонстрации цвета тела, как выбрасывания флага, знака войны или ухаживания. Борьбу, как в человеческом обществе, провоцируют не особи а знаки. На чужие виды нападают по ошибке когда они дают *случайно* знаки агрессии. Так и на красный почтовый фургон рыбы в аквариуме «нападут». Бывают случаи явной борьбы видов, но обычно виды ходят среди других видов словно не замечая друг друга. Как воробьи скачут среди голубей и вражды не видно.

Острота ситуации в том, что дятел прекрасно видит что самка с усиками это та самая, его пара; его протест именно идеологический. Что животные прекрасно различают индивидов, говорит складывание в любом животном обществе, прежде всего имеется в виду птичье, peck-order, «порядка клевания»: сначала авторитет, потом по рангу, по протоколу. По окраске все совершенно одинаковы. Так в классе иерархия дедовщины не только не подчеркивается внешними признаками, но наоборот, для взгляда завуча скрыта и проявится кратко, мгновенно в момент расхватывания пирожков в буфете, peck-order, порядок клевания. Жестко затвержена не только иерархия особей, но птицы сразу фиксируют, какая самка с кем, и самка получает точно то место в «порядке клевания», какое занимает ее самец. В человеческом обществе, помните мы говорили о кастах убийц дочерей, строго то же самое: взятая в жены входит в касту мужа, но не наоборот.

Знаками, цветом, жестом размечены отчетливо границы территории, иерархические различия, всё строжайше расписано и всё *свято* соблюдается у животных. У людей тоже, но мы почему-то предпочитаем не только не культивировать, но даже и не замечать минимальные, но такие отчетливые различия в одежде, жесте, походке, выражении лица между группами разных достатков, —

здесь мы как бы стыдимся тематизировать то, что на интуитивном уровне сами строжайше соблюдаем.

Не надо думать что мы знаем все причины и смыслы такой иерархии в нашем обществе. Снова посмотрим на животных. Порядок официального функционирования и порядок достижения «целей», которые мы склонны как раз прежде всего замечать, отчетливо разведены. Животные функционируют и не следя, достигается ли цель. Сигналы тревоги подаются одинаково совершенно независимо от того, есть рядом хоть кто-то кому их подать или ровным счетом никого, одинокая птица всё равно их подаст. Что, опять глупость, она не замечает, что некому подавать сигнал? Нет, она выполняет святой долг. Так часовой должен двигаться по уставу независимо, следит за ним офицер или нет. *Так священник должен служить литургию, всё равно, пришел ли кто в храм или нет*. Так немец остановится перед красным светофором всё равно, если нет машин и еще полчаса заведомо не будет ни одной. Или как сумасшедшая дама всё равно заботливо склоняется время от времени к кукле своего якобы ребенка.

Но таково святое отношение и человеческого ребенка к знакам. ⟨...⟩ ⟨К⟩огда ребенок в тревоге хватает маму за руку и оттаскивает от стоящей машины, «сейчас водитель для проверки включит фары дальнего света, а они *слепят*», то тут не глупость, не недостаток соображения, что *слепят* говорится не в смысле лишают навсегда зрения, а то однозначное, бессинонимичное, неистолковывающее слышание слова, о чем хорошо говорит Витгенштейн.

Еще загадочное и может быть для нас, для всего современного человечества самое важное на свете различие: человек, мы говорим, прорезает себе путь к цели, животное свято и *тупо* соблюдает свой ритуал, человек «разумен», мы говорим, животное зависит от разума «природы» или человека. Но: на высшей ступени разума человек приходит опять к святому, наивному. — Отсюда нам приоткрывается смысл аристотелевской телеологии как очистительной, катартической работы над целью. Цель в аристотелевской телеологии призвана исправить ошибки цивилизации новейшего времени, т.е. последних 6000 лет, в разгаре которой уже работал Аристотель. Цель как полнота, эн-эргия, т.е. осуществленность, — это противоположно «постановке» целей и их «достижению» в «практическом» смысле. С этой, противоположной аристотелевскому *телосу*, целью новейшее человечество вторгается в мир и природу так, как если бы назначение живого, до того исполнявшееся автоматически, перестало достигаться, и теперь уже нужно сознательное усилие человека, потому что при-

рода уже перестала работать. Забота человека накладывается на работу природы. — Но ставя себе сознательные цели и достигая их, в какой-то интимной, неосмысленной, неуточненной сфере человек продолжает их как животное не ставить, как можно прочесть, что узнавание себя было бы губительно для человечества. Есть заветная область, где человек продолжает не ставить себе целей и действует по принципу стимула и реакции — понимание цели как счастливой полноты, включающей всё.

Значит, птица кормит птенца вовсе не для того чтобы его накормить, а потому что он пищит и разевает рот, действия по программе и у птенца и у родителя? И родитель не может не видеть умирающего своего ребенка, но спокойно смотрит на голодную смерть своих собственных детей вне гнезда. Птица реагирует на гнездо. Птенцы должны быть в гнезде, вне гнезда чужие. Это значит что птица реагирует не на птенца, а на *гнездо-с-яйцами-птенцами.* Тут мы вспоминаем, что гнездо было слеплено *слюной* птицы. Оно выделение птицы в том же смысле как яйцо, равно яйцу, высиживание это сидение в равной мере на яйцах и на гнезде, высиживание продолжение, повторение, мимесис процесса лепки гнезда; гнездо лепится не для-того-чтобы, а как птица имеет клюв и коготки, так она будет строить гнездо. Так что вполне можно считать, если хотите, что птицы имеют такой клюв, такие крылья и гнездо; повторяют себя в равной мере клюв и гнездо, операция с гнездом так же принадлежит птице как ее лапка?

Как птица имеет лапки, так рыба плавники; как у птицы гнездо, так и у рыбы. Такие разные, птицы и рыбы служат одним операциям, передвижения, продолжения рода. Совсем другой вид, класс, семейство, но угадан тот же процесс. Рыбы тоже набрели на делание гнезда, разве вглядевшись в птиц?

Рыбы и птицы скатились тут в одно, что-то настолько простое, элементарное, во что действительно скатываешься, возвращаешься. Свое тело имеет внутри зародыши, разрастающиеся; развертывая, повторяя то же, птица строит своим клювом из чего попало своими слюнками гнездо, как бы докладывая о том гнезде, каким является она сама внутри. Травинки гнезда как ее собственные перья, клей слюны как ее собственная кровь. Можно подробнее говорить об этом. Гнездо строится как возвращение домой.

«Забота о птенцах». Лучше представим себе фабрику воспитания человеческих младенцев, какие-нибудь ясли, запланированные, как фабрика-кухня, в 20-е годы. На этой фабрике важно будет выполнить функцию. Птица служит функции. Она отчаянно защищает своего ребенка, пока он жив, но если налетевшему про-

тивнику удастся убить птенца, только просто убить, родитель сам немедленно его съест. Только что он был жив и требовал пищи, сразу же сам становится пищей.

Ужасно? Лучше посмотреть на птицу иначе: она дана в комплекте, перья, клюв, жест, крик, поведение, одно.

Сюда примечание: Пушкин: поэты некомплектные жители света. Гёльдерлин: поэтически живет человек. Это примечание не отсылка, а вопрос: что такое поэт? главное, сколько поэтов? Петрарка говорил, что их мало, не на каждое поколение находится поэт, могут проходить поколения без поэта, счастливо поколение, у которого поэт есть. Примечание окончено.

Выставление, дисплей: как выбрасывание символа, флага. Но ведь сначала окраска тела была так же выброшена телом животного, воплощена так сказать в его шкуре и пере. В демонстрации окраски животное опять возвращается к тому что уже было, к выбрасыванию этой окраски при сотворении животного. Оно делает тот жест, который встроен, вращен в его тело. И важно не думать, что будто бы ясно, что раньше была физиология, окраска тела, а потом жест, знамя. Поведение конечно генетически предписано. Но в свою очередь генетику несут особи, а их существование зависит от поведения. Не будем исключать, что поведение, так сказать на пустом месте, когда еще не было никакой или очень мало генетики, опережало, и к нему подстроилось тело. Или еще вернее может быть: с самого начала, очень «давно», т.е. всегда, животное, вообще живое это уже выступание, *дисплей,* и нельзя сказать на каком сначала уровне, молекулярном, фенотипическом или поведенческом. Туда, в это начало надо смотреть. И мы этой дорожкой придем не к «началу живого», а к дисплею всех дисплеев, блеску света. Ему если хотите подражает, в порядке первого мимесиса, всякое показывание чего бы то ни было.

(Соглашаемся: такое впечатление, что в распоряжении животного несколько клавиш, правит обязательная необходимость среагировать, стимулы для реакции могут вызвать разные реакции. Служба, официальность в том, что главное — это не упустить среагировать; сигнал обязательно должен быть выполнен, так что его невыполнение это тоже срабатывание особого рода.)

Еще один пример этого сквозного мимесиса, затрудняющий определение первичности-вторичности. Птица клюет своим клювом. Птенец прежде всего клюет клюв, в клюве родителя находит пищу. Клюв маркирован, выделен, он и клюющее и то что клюют. Уже для всей полной ясности клюв у некоторых птиц отмечен еще и красным пятном, чтобы птенец знал куда клевать. Опыты с по-

казом искусственного клюва дают повод биологам говорить, что птенец генетически запрограммирован на *клевание клюва.* Мы можем сказать, что это естественно: клевание вызвано острым, жгучим голодом птенца; острым как клюв. Как голод толкает, выгоняет к действию, так сам клюв выступающая, вонзающаяся часть тела. Клюв *сильный,* по крайней мере сильный и крепкий и острый как голод. Клюва *много* (он т.е. длинный), как много может быть съедено. Встреча птенца с клювом родителя подчеркивает выступание клюва.

Но ничего не начинается из ничего. Клювом клюют потому что он с самого начала клюющий, и не потому что клювом птенец пробил себе выход из яйца, а потому что клюв с самого начала, не позже птенца, птенец не раньше клюва, уже проклюнулся, просунулся, как бы *клюнул* из тела. Не было причин наоборот, если нос так выделился в теле, не просовываться ему дальше во всяческое вещество. — А встреча клюва с другим клювом, при первом клевании родителя в клюв, при ритуальном кормлении самки, при кормлении потом птенцов не показывает ли на возвращение клюва к клюву, к самому себе, к клювности, к естественности ее начала? Клюв в своей истории многократно находит себя, убеждается в себе, впадает в движение просовывания (как просовывание пищи в широко раскрытый клюв птенца), которое как бы не имеет истории, было с самого начала, в том смысле, что не один клюв, а живое было выступанием на дразнящий вызов мира, а клюв проклюнулся как один из эпизодов, слоев этого выступания, как крылья прорезание воздуха (хотя опять впереди рассекающий воздух клюв).

Нос птице для столького многого, что в каком-то смысле вся птица это один нос, выступающий, пронюхивающий, выискивающий. Нос первый взрезает воздух, крылья уже служат ему, толкают его, вступая в свои сложные отношения с воздухом и ветром. Но пролетаемое пространство: оно угадано, измерено (мимесис: от «меры», вымеривание, и на-мерение в первичном смысле размаха на полный захват того, чему мимесис, в конечном счете всегда захват мира, хотя получается конечно захват того, что можно захватить — и значит в настоящем мимесисе захват это охват, продолжение и расширение мира) — я говорю, пролетаемое пространство угадано, измерено носом, клювом, его продолговатостью, линейностью. Распространение, вторжение, захват, не столько даже проводимый носом, сколько с самого начала уже заложенный в его стрéлке, нацеленности, в его *намерении,* с самого начала предполагает захватываемое, атмосферу, ее простор, но и

ведь спровоцировано этим простором, так что захватываемое одновременно захватывающее! Захват мира это всегда захват мира, переверните родительный падеж.

Но господа, а захватывающее воздуха, духа чем спровоцировано. Разницей плотности вещества и воздуха, т.е. опять в конечном счете *удобной* раздельностью энергии и вещества в нашей части мироздания, как говорят физики. И не обязательно говорить, что мы тут повторяем первые интуиции Шеллинга, Окена, в самом начале прошлого века, Петра Берона в его середине, говоривших о первоначальном расслоении первичного эфира. Без далеких теорий раз-личение в начале всего, это простая феномено-логия, мы это чувствуем, и недаром же один московский философ сделал открытие, что сознание начинается с различения, только по ошибке ему кажется, что различение это различение чего-то от чего-то, проводимое сознанием. До сознания и до всякого «чего» раз-личение, т. е. показывание лица, уже есть, из мирового яйца уже проклюнулся нос божественной птицы. Время, движение, история взведены этими всемирными часами, не так, что в первом явлении есть мера и ритм, а в том смысле, что никакой меры и никакого ритма нам не хватит для того чтобы измерить первое со-бытие, и поэтому счет времени и история, не беспокойтесь, в любом случае будут идти вечно, всегда: *уже* однажды случилось такое, что не вычерпать никаким счетом, не охватить никаким разумением.

Когда такая пружина дана, остальное, нос может хоть даже и не становиться. И без него достаточно *странности.* Живое в этом смысле просто эпизод, одно из приключений света.

Яснее становится, во что втянуты животные в своей верной службе (что животные *верно служат,* хорошо угадано в волшебной сказке). В конечном счете это служба при событии событий как участие в нем. Живое, и человеческое тоже, при операциях, словно привлечено, приставлено к делу, взято на службу, но которая им не в тягость, придает им важности. Дисплей, показ своих размеров, размахов и расцветок такой же признак гордости, как поза «грудь вперед, лицо приподнято» у военных на параде. Этот показ животных означает, что они при службе и их не надо сбивать с толку.

Кстати, когда птенец клюет картонную модель клюва, с красной точкой (хотя и одной схемы клюва достаточно, модель с красной меткой будут клевать вдвое больше), «голову» модели можно покрасить хоть черным, хоть зеленым. Голову конечно видят, разумеется она входит в поле зрения, но она не нужна, нужен клюв и/или красная точка, родителя могут клюнуть и в красный глаз,

настолько красная точка знак клюва. *На этой ступени, в этот момент кормления*, подчеркиваю, неважно ни как выглядит родитель, ни его поведение в остальном, кроме приноса пищи в клюве. Словно с неба птенцу спущен кусок рыбы, от богов; если бы можно было просто в воздухе повесить красную точку, птенец бы туда клюнул. — Кстати, после этого говорите о роли цвета. Малиновка показывает в дисплее красное оперение впереди, на видном месте тела. Колюшка показывает красное брюшко. Черные усы показывает американский дятел. Цвет вроде бы даже первое в дисплее. Потом формы, они и так тоже есть, но их специально *показывают*; потом крики, пение; потом жесты, движения, как танец зигзагом у рыб.

Правда структурализма: первое строение, различение света-вещества, повторяют все, впадают в него, опираются на него. Все остальные деления, членения строятся на том первом, структура на структуре. Любая операция возвращение, круг. Операций тогда можете считать хоть и всего одна, возвращение, круг. Разнообразие оттого, что первое деление богато и оно вмещает *любые* и *все* различения, всё туда войдет.

И живому некуда скользнуть иначе как во что-то готовое.

Но: всё что движется-действует-растет имеет от чего оттолкнуться, куда скользнуть, в первое раз-личение, однако оно, расстраивая этим московского философа, не между чем и чем, а — неуловимо какое! Всякое *возвращение* поэтому только кажется просто, в этом неправда структурализма и правда Умберто Эко, в книге La struttura assente: структура только манит и обманывает уловимостью, структуры в конечном счете не оказывается, мы проваливаемся в пустоту.

Мы *катастрофически* настроены на правильное решение, которое нам кажется где-то готовым. Проявление этой нашей готовности — смертельная усталость, до цинизма, и раздражение, до наглости и срыва, до провокативности, властей, которые прежде всего и в массовом порядке испытывают давление этой настроенности, постоянно видят толпу, ее энциклопедическое (вкруговую) недоумение практически всем, незнание как поступить буквально во всём и обращение к власти, гражданской, академической, медицинской, спортивной, экономической, в убеждении будто *там* знают. Знать как поступить живому, каждому вот этому живому, можно только знанием, от которого не поздоровится, — знанием, как вообще бывает. Т.е. это знание дисциплины, распорядка. Властный, уверенный формализм, знание как *быть,* имеется только у нечистых уже форм власти, смешанной с идеологией, догматиз-

мом. Это мнимое знание, мнимость которого ясна внутренней пустоте, и она обнаруживается в конце вождей человечества.

В чистой форме тоталитаризма, в дисциплине животного мира, в бюрократической машине закон тоже уверен⟨ный⟩, требование неукоснительно⟨е⟩, но оно никогда не связано со знанием, что и как надо и как *быть*. У честного, не коррумпированного чиновника, государственного деятеля такое же недоумение перед явлением жизни, общества, государства, как и у пьяного бродяги без документов.

Заранее данное, априорное знание предшествует искомому так же, как энергия (*дюнамис*) у Аристотеля предшествует возможности (потенции), к ней возвращается всякое усилие и искание, — ее, энергию, лучше понимать негативно: что она *не* развертывание возможностей. Мало ли что живое существо может делать, сколько у него механизмов. В энергии, т.е. на самом деле, существует *никогда не известно что*. Полноту, *целость* (другое название энергии) можно понимать формально-негативно, как отрицание всего *этого вот* как несовершенного. Совершенное — как то, что никогда не дано, что установится только потом, в порядке дарвиновского отбора. Его казалось бы позитивное определение, «красота», на самом деле даже словесно негативно: formosus это «имеющий форму», форма это то, что можно показать, товар лицом, дисплей. Определение красоты как *цвета*, «красота», отсылает опять к свету, этой бездне, от которой и в которой все апории.

Красота остается формальным и тоже неуловимым критерием и в машине, и в научной теории, и в поступке. То, что мы сочли бы достижением, безусловным, это и не напряжение всех сил, хотя и оно тоже, и не наоборот расслабление. Нельзя уже теперь сказать, когда мы поняли что жизнь это служение, что цель жизнь, и абсурдно говорить что не жизнь.

Конрад Лоренц напоминает о необычности этой ситуации, он называет ее современной; может быть точнее назвать ее *настоящей*, нашим действительным положением: мы заглядываем туда, куда никто никогда прежде не смотрел. Это положение неудобное, трудное; Лоренц предлагает названия для необходимого тут «великого становления», großes Werden, и это названия традиционные: «творчество»; «единство». Он цитирует Тейяра де Шардена, créer c'est unir[348*], и это тоже возвращение к старому тезису, единство и бытие взаимообратимы, esse et unum convertuntur.

К сожалению, и Лоренц и многие проваливаются, поддержанные наличием механизмов счета и расчета, что единение это ре-

---

348* Перевод: творение есть единение

комбинация. Смотрите, говорит Лоренц (пример не его, как и ход мысли общий для современности; Konrad Lorenz, Zivilisationspathologie und Kulturfreiheit—Freiheit des Menschen-Im Auftrag des Direktoriums der Salzburger Hochschulwochen hrsg. von Ansgar Paus. Graz; Wien; Köln: Styria, 1974), встроим в простейшую сеть постоянного тока конденсатор, ток не сразу наберет номинальное напряжение, сначала оно будет уходить на зарядку конденсатора. Встроим в цепь индукционную катушку; наоборот, напряжение в первый момент будет номинальным, а потом упадет. Но теперь подключим и конденсатор и катушку; появится чего раньше не было, новое свойство системы, колебания.

Боюсь, что это типичные поиски потерянного там, где светлее и легче искать. Как раз комбинирование удается современному человеку очень легко и он здесь может сделать *необозримо* много. Эта необозримость однако дурной бесконечности. Ничего wesensmäßig[349]* нового здесь нет, колебание сети получено не первичное, за более высокую ступень принимается характерным образом нагромождение сложности, как будто бы нам мало уже и сейчас задыхания. В экстазе, или уж хоть в безумии и отчаянии больше касания к этому Neuwerden[350]*. Ни вырастание живого на неживом, ни появление человека из обезьяны не новость после расслоения света и вещества. Хотя, конечно, угадать пространство — странность — где спрятаны начала и концы еще мало, чтобы сразу уже и участвовать в сотворении мира.

Никто нигде ни на небе ни на земле не знает, что́ именно сейчас нужно и в какое спасенное состояние должно скользнуть мироздание. Этого не могут знать и сверхумные инопланетяне. Другое дело, что они могут не хуже нас знать вот это, если сказать по Достоевскому, что красота спасет мир. Т.е. что-то получаемое не комбинациями. Частое судорожное движение мысли, которая всё еще пытается скомбинировать что-то, что выведет ее из ее же конструкций (как Мюнхгаузен сам себя за волосы). Сюда, к этим попыткам, надо отнести теории самоорганизации и внимание к геометрической фигуре фракталу: попытки формализовать возврат от обобщений, которые получаются при включении живой реальности в математические схемы, к этой реальности. Эти усилия вызваны догадкой, что, обобщив всё, наука остается с ничем. Догадкой, что ловили воду решетом.

349* Перевод: сущностно, в соответствии с сущностью

350* Перевод: новое рождение, становление

Феноменологическая строгость требовала возвращаться к фигурам действительности не усложнением схем, которые от нее как раз увели, а пересмотром понятий, которыми наука разрешила себе схематизацию, начиная с понятия *предела*. В новых подходах ново только опять же старое внимание к вызывающей, неуловимой реальности; а так — они продолжают развертывать инструментарий вычислительной техники.

Что человек животное, ein Tier, Лоренц при своем внимании в животным не может не согласиться. Он запрещает только говорить что человек eigentlich nur ein Tier, собственно лишь животное, это будет eine zynische und wertblinde Blasphemie[351]*. Это звучит гуманно и политически корректно, но не безопасно, потому что настраивает надеяться, что с той же уверенностью, с какой гуманное благодушие берет слово, оно может и продолжать досказывать, в чем же и как человек не только животное. Но весь гуманитарный инструментарий способен опять же только к перебору и суммированию конструкций, в надежде, что из сложности образуется качественно новое знания. Слепое к ценностям отчаяние лучше в этом отношении спасения от дурной бесконечной рациональности; оно не ошибается, что в каждый момент никто нигде не *знает,* как быть; ошибка может быть только в предсказании, что удача принципиально невозможна. Живое это наслоение удач. Если тебе удача уже не удается, не обязательно так всегда будет и со всеми.

Печальная привычка к комбинированию, на всякий случай, вдруг что-то получится, определяет и глаза, которыми мы смотрим на живое. Между простыми, наивными животными, как птицы, и человеком — приматы, обезьяны. Конрад Лоренц наблюдает оранга. Он смотрит на банан, до которого не может достать, отходит разочарованный, словно потеряв интерес к подвешенному слишком высоко банану. Смотрит отрешенно на ящик. Потом на ровный пустой пол, в месте под связкой бананов. И вдруг оранг там, на пустом полу, где ничего не стоит, *видит* ящик, которого там нет, и себя на ящике. Оранг кричит от радости и мчится, перекувыркиваясь от избытка чувств, восстановить справедливость, *чтобы ящик был* там где его нет и где оранг его видит, прямо под бананом. У оранга, по Лоренцу, появилось пространственное воображение. Скоро дойдет дело и до человека.

Догадка оранга кажется достижением. В сравнении с таким его поведением мир птиц, которые *никогда* не вообразят яйцо, ле-

---

[351]* Перевод: циничное и ценностно слепое надругательство

жащее на краю гнезда, лежащим на дне, пустом, не увидят в той пустоте яйцо, которого там нет, и не сопоставят яйцо, свое же ведь, на краю гнезда с тем, которого *нет* в глубине гнезда, — птица кажется мертвенно тупой, застылой в какой-то ледяной окаменелости, косности, миллионолетней неподвижности. Так? у птицы нет пространственного воображения?

Есть, да еще какое, планетарное. Птица тоже ведь чувствует крылом, скольжением тела по воздуху, склонением горизонта — юг, который она не видит глазами и куда перелетит, так что где ее нет, она там *будет*! Вовсе не «пространственная интуиция», räumliche Einsight, отличает оранга от птицы, *а мера серьезности в отношении к миру.* Птица сама себя всерьез перемещает по планете; переместить ось вращения земли — результат будет тот же, допустим птица как человек умеет или сумеет это сделать; но птица этого не сделает, потому что она и так уже взвалила планету на себя, перемещает ее движением крыльев, оставаясь центром, сдвигая движением крыльев атмосферу и с ней сушу и море.

Не догадываясь, никогда, так же жестко как не имея рук (но и настоящих ног тоже, птица как бы без рук и без ног), скатить свое же яйцо в теплое гнездо, давая ему выстудиться, птица этой своей скованностью как бы вызывает миропорядок идти своим путем, жестко связана с ним своим невмешательством; именно тем, что ее прикосновение к целому это только протягивание в него своего клюва, своим заострением втягивающего ее в быстрое, стрелообразное движение, она вбирает его в свое движение. Птица влетает в воздушное пространство, и этим она обозначает его свойства.

Оранг — и потом человек — наоборот тронет ящик и приведет всё в движение рукой, которой у птицы нет, сместит и останется потом стоять всегда с передвинутым ящиком, даже когда банан уже сорван ящик там стоит, с поднятым, в конечном счете, земным шаром, с его сдвинутой осью. *Прав ли Лоренц, что существенное отличие обезьяны, потом человека, в пространственном воображении, потом в мысли?* Сам же Лоренц после этого начнет говорить об ошибках цивилизации. Птица, устроившись *глупой*, доверилась не своему разуму и не прогадала; оранг, введя в действие свой разум, остался с ящиком, стоящим на полу его клетки, что теперь оранг будет с этим ящиком делать, куда он его передвинет и зачем, ведь больше бананы сверху не свисают, он все сорвал. Всю нефть человек уже извел. Что оранг теперь будет делать с ящиком посреди комнаты, что человек будет делать с буровыми вышками, с оседающей почвой, с ядерными отходами.

Первая эффектная разница между человеком, который занимается бурением, и птицей, которая не занимается, становится какой-то слишком проблемной, интереснее становится разница между человеком, который странным образом животное, и человеком, который не животное; есть ли вообще такой; именно то, есть ли эта вторая разница или нет, ⟨эта⟩ *может быть несуществующая* разница становится интересной проблемой, а первая явная, бросающаяся в глаза разница остается интересной только в одном-единственном отношении, вот каком. Морской бурильщик и Жак-Ив Кусто находятся примерно на равной ступени умственного развития и технического вооружения. Настоящим достижением на этом уровне научной вооруженности оказывается как-то не количество и сложность передвинутого в природе, а наоборот способность, если она еще есть, вернуться к способу птицы, вмещению планеты в себя, сохраняющему встроенность в планету. Т.е. достоинством оказывается мысль как раз ***не*** комбинаторная (возвращение к птице это и не самолет, и не планер), а возвращающаяся, как бы снова вклеивающаяся в космос, и прежде всего берущая на себя нерешенность, нерешительность, нерешаемость живого.

Все разговоры об отличии человека от животного бледнеют, потому что человека оказывается два, как жизни у нас оказывалось две, причем один и тот же человек и разбрасывает ящики и возвращает всё на место. Человека два, человек близнец, двойник, другой себе, не так, что комбинатор в человеке должен быть уничтожен, а победить отказавшийся от расчета и отдавшийся закону; тот и другой один человек; *дело* в том что знать и понимать близнецы как *близнецы* не могут, их общение успевает пройти рано и незаметно для них самих. Один и тот же человек и разбросал свое непоправимое хозяйство по планете и собирает его. Насколько наука этология замечательна в полевых исследованиях и сопоставлениях, настолько она, как всякая наука, зависит от культурного фона.

Совсем не кажется верным то, что Лоренц говорит вместе со всем современным сознанием, что животным их поведение диктует геном, а у нас управлением занят мозг, да еще коллективный[352]. Это явно более сложная, но не обязательно высшая форма. Существо человека скорее в том, что он *несмотря* на мозг, несмотря на нагромождение систем на системы может всё равно быть в природе и относиться к ней в обоих смыслах слова, а не только в одном.

---

[352] *Konrad Lorenz.* Zivilisationspathologie und Kulturfreiheit..., p. 159.

Или по-другому говоря: суть дела в способности техники *подражать* природе, опять не только в одном значении имитации, но и мимесиса. Человек остается там, где он *сохраняет* в своем виде способность жить на птичьих правах, без рук без ног (по Витгенштейну).

Конечно Лоренц прав, что если лук, или теперь компьютер, изобретен, то потерять его человечеству, хотя это приобретенные свойства, так же маловероятно, как потерять какой-нибудь телесный орган, сравнимый по своей Arterhaltungswert[353]*. Но само по себе разрастание порождений ума ничего еще не обеспечит. Поскольку возврат к пониманию неизвестности цели и к пониманию загадки (выдвинутости, выставленности, маркированности) всего живого задача для будущего, на сейчас я назвал бы действительно *существенной* отличительной биологической ⟨особенностью⟩ человека не концептуальное мышление и объективацию, а отчаяние и нигилизм прямо посреди достатка и относительного благополучия.

И отличием человека от животных лучше бы назвать не речь, создание текстов и их толкований, а способность к витгенштейновскому различению между *сказать* и *показать*. Настоящая удача странная вещь: ее нельзя назвать иначе как удачно, т.е. ее, о ней вообще нельзя сказать, ее надо обязательно показать, или ее нет.

Старые имена удачи, *единое*, *целое*, продолжают быть удачными, но только когда их слышать в их полноте: единое как уникальное, целое как целебное. Новые имена, *система*, *равновесие*, уже не имеют той заманчивой остроты. Они и проблематичные. *Равновесие.* Но спасительно может быть безумие, Дон Кихота.

Разум. Но высшей способностью и у человека, как у животных инстинкт, ⟨остаётся⟩ религия, страх перед *всем,* именно потому что человек может всего коснуться.

Я предпочитаю говорить о *двух* человеках, о близнеце и двойнике (*не* так, повторяю, что один хороший другой плохой, а так что один не знает другого), чем как Лоренц, говорящий о дегенерации человека. Потому что ка́к Лоренц не замечает, что с темой дегенерации мы опять человека упускаем, он ускользает, ведь Лоренц сам говорит, что удачной приспособленностью в одном направлении, получив большие материально-энергетические выгоды, живое может упустить выполнять другие требования к живому. Он приводит пример, который был у нас: паразита sacculina sarcini, который выходит из яйца типичным рачком со всеми час-

---

353* Перевод: ценности с точки зрения сохранения вида.

тями тела, но он паразитирует на Strandkrabben, впивается в них, их животы, и ему становятся не нужны, он теряет глаза, лапы и вообще расчлененность тела, становится мешкообразным созданием, дегенерирует до уровня гриба, прорастающего сквозь тело хозяина.

И другие перечисляемые Лоренцом признаки деградации человека человека собственно не касаются, точно так дегенерируют и животные. И то ужасающее Лоренца свойство современной цивилизации, что дегенеративная масса не только не ощущает болезни, но наоборот, считает себя благополучной, жизнеспособной и жизнерадостной как никогда, по тому же Лоренцу, который от крайней встревоженности впал в наивность, тоже ведь не человеческая черта. Платяная вошь от изобилия тепла и питания впадает в такое благодушие, что перестает, в отличие от блох и тараканов, бежать от опасности, компенсируя размножением убыль от отлова своим хозяином. То же — domestikationsbedingte Vermehrung des Freß- und des Begattungsverhaltens und, zumindest in bezug auf letzteres, die typische Abnahme des Selektivitat[354]*. Опять ничего улавливающего специально человека, потому что и «сексуальная волна», bedrohliches Symptom des Verkommens, не специально человеческая черта, In der für Haustiere so typischen Weise verschwinden die feineren Verhaltensmuster der Paarbildung, während der Kopulationstrieb überwuchert. Feinere erotische Verhaltensweisen, wie zum Beispiel der Vorgang des Sich-Verliebens und der Werbung, gelten überhaupt nicht als sexuell[355]*.

Поскольку это rasch um sich greifende Absinken[356]*, отрицательная селекция, о которой мы давно слышали, вовсе не специально человеческая беда, то все эти тревожные наблюдения к человеку собственно не относятся, его не касаются, они касаются вообще всего живого и грубо говоря не наша забота. Наоборот, если всё живое сползает, то и человеку тоже естественно сползать. Если хотите привести причины, почему человек в отличие от всего живого не имеет права поддаваться естественному пути выго-

---

354* Перевод: обусловленное доместикацией распространение поведения, ориентированного на питание и оплодотворение, и, по меньшей мере в отношении второго, типичное ослабление селективности.

355 Там же, p. 182. * Перевод: опасный симптом упадка [...] Исчезают утонченные образцы поведения в формировании пар, доминирует инстинкт совокупления, что можно хорошо наблюдать в случае домашних животных. Утонченные эротические способы поведения, например, процесс появления влюбленности и ухаживания, вообще не считаются сексуальными.

356 Там же. * Перевод: быстро распространяющийся упадок

ды, удовольствия и благополучия, то *найдите* человека, сначала. Лоренц цитирует Вильгельма Буша:

Aufsteigend mußt du dich bemühen,
Doch ohne Mühe sinkest du.
Der liebe Gott muß immer Ziehen,
Dem Teufel fallt's von selber zu[357*].

Тогда пусть Бог и тащит, это его дело, его работа. Человек, неуловимый, ускользает в свои умения. *Лично* его не упрекнешь, виновато в дегенерации живое вообще. Человек *должен* взять на себя заботу обо всём мире? Но почему? Цель живого неясна. Сравнение с другим живым нас, так или иначе, подводит к *задаче* правды, прямоты. *Не* теоретической проблеме, а *задаче* правды.

Возвращаемся к поведению животных. Птенец чайки будет среди предлагаемых моделей безусловно предпочитать клюв с красным пятном. Красная точка как указание цели, цель клюв, точка как раз там, куда надо клевать. Как возникла эта точка, естественным отбором? случайно в разных местах тела возникала из-за мутаций точка, и это было безразлично для вида, но мигрировавшая на клюв точка оказалась так полезна, что из всего вида выжили только наследники этой мутации? Объяснение явно не звучит. Естественный отбор точку, по Бергу, который здесь прав, закрепил, но попала на клюв она не естественным отбором, легче и прямее объяснить ее тем, что клюв достаточно важное событие чтобы важное место клюва было как-то отмечено. Не очень удобно и говорить что генетически заложена реакция птенца на красную точку. Здесь так же как с цветом глаз: черных глаз нет в генетической программе, есть сетка запретов и разрешений, которые в ходе развития организма определяют выбор в сторону вот этого решения. Ведет, диктует всё-таки многослойная, с разных сторон подпитанная сосредоточенность, нацеленность на вторгающуюся, нацеливающуюся часть тела.

Теперь о четком различении между формализмом и персонализмом у животных. В случае когда самец гонит самку, которой подрисовали усики, побеждает формальная программа; персональное отношение к этой самке у самца есть, он ее примет после очищения. Личное опознание это другая система, животное принадлежит то к одной то к другой. Как в человеческом мире, личные отношения одно, официальные другое. Отличия в одежде, ма-

---

357* Перевод: Поднимаясь, ты должен потрудиться, / а опускаешься без труда. / Господь Бог должен всегда тянуть, / а к дьяволу падаешь сам собой.

нерах, языке одно, переход на личности другое. Но ведь эти порядки, два, могут смешиваться, как например дедовщина в армии это попытка формализовать личные отношения, уйти от личностей.

Воробьи различают друг друга, мы их хуже различаем.

Переход с официального уровня знаков на неофициальные — это примерно как явно для глаз было видно по одежде, манерам, языку различие каст до революции, и после революции негласная иерархия стала мощнее, но для глаз менее заметна, как например когда главный человек был всех беднее.

Замечание о цвете: его важность никогда не мало будет подчеркивать. Восприятие цвета трудное, похоже что птицы и насекомые берут диапазон более коротковолновый, красный для них это инфра-желтый, т.е. черный, а ультра-фиолетовый какой-то отдельный цвет. И растения знают это, давно согласованы с глазом насекомых: посмотрите, красных цветов фактически чистых нет, зато синие, фиолетовые — и среди этих там где мы видим один цвет животные и насекомые видят возможно больше.

31 (26.5.1998)

Мы в этом курсе и в других давно уже идем путем запретов себе: нельзя оказывается думать так, считать так. В этом есть правда: когда ищешь критерий знания, находишь незнание: энциклопедичность нашего незнания, знание в отношении всего что «всё не совсем так просто и не совсем так как нам казалось», это и есть мера знания, одинаково в науке, в философии и в искусстве жизни.

На непопулярном пути всегда приятно на кого-то сослаться, кого-то показать. Прочитаем из заключения книги Тинбергена об инстинкте:

«Man is an animal. He is remarkable and in many respects unique species, but he is an animal nevertheless»[358*]. Примечание: его громадные отличия похоже не совсем именно *его* отличия, они сложно сцеплены с остальным живым, способом, какой мы не очень знаем и в котором скорее всего не меньше служения чему-то чем видно у животных. «In structure and functions, of the heart, blood, intestine, kidneys, and so on, man closely resembles other animals especially other vertebrates. Paleontology as well as comparative anatomy and embryology do not leave the least doubt that this resemblance is based on true evolutionary relationships»[359*]. Это остается верно если и связь во времени обратная, от готового человека к животному: тогда животные тем более показывают нам нас как развернутое перед нами то, что мы есть. «Man and the present-day

---

358* Перевод: Человек — это животное. Это примечательный и во многих отношениях уникальный вид, но тем не менее животное.

359* Перевод: В своем строении и функциях (сердце, кровь, кишечник, почки и т. д.) человек очень напоминает других животных, в частности, других позвоночных. Палеонтология, как и сравнительная анатомия и эмбриология, не оставляют ни малейшего сомнения в том, что это сходство поистине основывается на эволюционных связях.

primates have only recently diverged from a common primate stock»[360*].

Но изучение одинаковости этоса живого только еще начинается, почти всё тут лакуны. Думают, что только низшие рефлексы, отдернуть руку или лапу от огня, общие для всего живого, поведением человека занята психология и этика, из презумпции что только у человека настоящая душа и нравственность. Не хватает целой науки, она после Аристотеля так и не сложилась — для Аристотеля была естественной, — которая брала бы поведение человека *и* живых существ других, всех, в равной мере. «One of the main reasons for this is the almost universal misconception that the causes of man's behaviour are qualitatively different from the causes of animal behaviour»[361*].

«Причины» здесь у Тинбергена двусмысленно. Лучше на примерах посмотреть, что он имеет в виду. «Misconception» имеется в виду та же, что общее свойство человека считать себя другим, особым. Я сам скорее всего буду небывалым, ни на кого не похожим, единственным в мире, наша семья уникальная, только в нашей деревне говорят не смешно, а в соседней уже смешно; только русские имеют врожденную нравственность. Это повсеместно, универсально; за любую вещь хватаются как за признак исключительности. Пример наугад: витгенштейновское возвращение человека в биологию, «язык есть часть нашего организма», переводчик естественно спасает, из биологии переводит в культурные структуры: «язык есть часть нашей организации». Пример у всех перед глазами: сознанию придается громадное или решающее значение, будто оно руководит и правит. Для чего сознание, загадка. Если опять вспомнить Витгенштейна, это как водитель машины, чтобы ускорить ее ход, начинает толкать рулевое колесо вперед.

«Somehow it is assumed that, when, in investigating behaviour, one climbs higher and higher in the hierarchical structure, ascending from reflexes or automatisms to locomotion, from here to the higher level of consummatory acts, and to still higher levels, one will meet a kind of barrier bearing the sign „Not open to objective study; for

---

360* Перевод: Человек и ныне существующие приматы — ветви, недавно отошедшие от общего ствола.

361 *N. Tinbergen.* The study of instinct. Oxford: Clarendon press, 1951, p. 205.
* Перевод: Один из главных аргументов — почти вселенское недоразумение, что причины человеческого поведения качественно отличаются от причин поведения животных.

psychologists only"»[362]*. *Необъективным* исследованием Тинберген вежливо называет то, которое мечтательно воображает сознание, т.е. деятельность удобного распоряжения понятиями и операции с лексикой, пункт управления сначала исключительным сознательным индивидом, а потом по его совету — и целым обществом.

«Some psychologists even assume that emotions like hunger somehow take part in the objective causation of behaviour. In this assumption, there is a real conflict between psychology and ethology»[363]*. Психология круто уходит, по своему концептуальному устройству, по своей терминологии, от того, что недоступно сознанию. *На самом деле* и *при настоящем голоде* человек будет делать неожиданные и непонятные для него самого вещи, а привычное «чувство голода» скорее всего прекратится. Поведение искания пищи, food-seeking behaviour, может сопровождаться или нет ощущением голода и зависит не от него, а прямо от биологии, например от контракции мускулов стенки живота. И наоборот, чувство голода может быть без голода. Человек соскальзывает в food-seeking behaviour не потому что он решил так поступить, осознав чувство голода. Ощущение голода только одна довольно загадочная составляющая голодного поведения, которое перестраивает в конечном счете всё тело. Когда начинается голодное поведение, скорее всего только на его ранних ступенях, появляется чувство голода. — Если оно не для того чтобы дать мне сигнал нужного поведения, то для чего же? Спрашивая так, лучше далеко не идти и удивиться сначала нашей уверенности, что можно и нужно выяснить *причины*, будто бы всё в нас должно быть для чего-то. *Может быть чувство голода и ни для чего, просто так, как танец, песня, настроение.* «When the food-seeking drive is aroused, the subject experiences hunger»[364]*.

---

362 Там же. * Перевод: Так или иначе предполагается, что когда, занимаясь исследованиями поведения, кто-нибудь поднимается всё выше и выше по иерархической лестнице, восходя от рефлексов или автоматизмов до перемещения, а отсюда — до более высокого уровня брачных актов, а потом еще и еще выше, он упирается в некую границу с табличкой, где написано: «Не для объективного исследования; только для психологов».

363 Там же, p. 206. * Перевод: Некоторые психологи даже допускают, что чувства вроде голода каким-то образом участвуют в объективной причинно-следственной поведенческой цепочке. В этом допущении — реальный конфликт между психологией и этологией.

364 Там же. * Перевод: Когда пробуждается инстинкт поиска пищи, субъект испытывает чувство голода.

«The instinctive food-seeking drive often conflicts with reason. This is a rare phenomenon in normal Western society. But everyone who has lived through periods of real starvation — a condition, common enough outside the Western world, that has touched western Europe just long enough to make its significance clear to us — knows how relatively weak reason is when it is up against really powerful instinctive motivation»[365]*.

Мощные, решающие вещи проходят и задевают человека — мощные как миллионы и миллиарды лет, впрессованных в его организм, — так, что он встает только в недоумении перед самим собой. Эта мощь незаметна, ненавязчива, ее если хотите заметить можно только случайно. Наблюдателю брачного поведения животных, их демонстраций, display, случайно как странность приходит в голову, что ему это вроде бы знакомо по человеку, по нему самому и по другим, но странное ощущение вроде соловьевского стыда мешает спокойно раскрытыми глазами смотреть на наше родство, да что там, полную одинаковость с животными. «Mating behaviour in man... Now every individual among us who has the habit of self-observation, and who has not forgotten his youth, knows how often the urge has driven him „blindly", „against his better judgement" to obey it, when there was a conflict between better judgement and drive. Falling in love changes one's entire outlook upon one's surroundings. Criminologists teach us that the number of crimes, even of serious ones like murder, committed in obedience to the instinctive urge to show off before a female is astonishingly high. Quite different, but from our standpoint equally significant, are murders due to sexual rivalry»[366]*.

---

[365] Там же, p. 208. * Перевод: Инстинктивное искание пищи часто вступает в конфликт с разумом. Это редкий феномен в нормальном западном обществе. Однако каждый, кто пережил какой-то период голодания (это состояние широко распространено за пределами западного мира и оно было в течение длительного времени знакомо и Западной Европе, так что его значение для нас очевидно), знает, насколько ослабевает разум, когда он сталкивается с действительно могущественной инстинктивной мотивацией.

[366] Там же. * Перевод: Поведение при спаривании у людей... Теперь каждый индивид среди нас, у кого есть привычка к самонаблюдению и кто не забыл своей молодости, знает, как часто внезапный порыв «слепо» толкал его, «вопреки суждению разума» заставлял повиноваться себе. Ему знаком конфликт между разумом и инстинктом. Влюбленность полностью меняет взгляд на окружающие вещи. Криминалисты говорят, что число преступлений (даже таких серьезных, как убийства), совершаемых под воздействием инстинктивного желания покрасоваться перед женщиной, поразительно велико. От них отличаются убийства на почве сексуального соперничества, но с нашей точки зрения они не менее важны.

Те случаи сложные, и для наблюдения и для понимания, в них слишком много переплетений. Вот более простые случаи. Displacement activities, замещающая деятельность — замещающая в спорных случаях драку или бегство, — как почесать за ухом в конфликтной, сложной ситуации. У птиц, уток например, то же движение, поправить или тронуть клювом перья за шеей. В более широком смысле начать себя приглаживать, чистить в угрожающей, тревожащей ситуации врожденная, общая человеку со всем животным миром черта. «In women it mostly takes the form of adjusting non-existing disorder of the coiffure, in the man it consists of handling the beard or moustache, not only in the days when men still had them but also in this „clean-shaven" era. Further, it is striking that displacement scratching can be observed regularly in primates»[367]*. (Драку, войну и бегство пропускаем, но как у животных почти у всех бегство, спрятаться, почти всегда первая и самая частая реакция, у живого существа вообще, так у человека, и так называемая «замкнутость», и «нелюдимость», или «внутренняя эмиграция», и «диссидентство», и «озверелость», это всё случаи бегства, настолько частые, что у множества людей в течение дня главные реакции это сложные наслоения бегства. Что мы запуганы, мы обычно забыли, ⟨забыли⟩ о страхе, а к нашим ускользающим, отвлекающим маневрам мы так привыкли, что уже их не замечаем. Но то же самое и у животных. It is only too easy to evoke escape tendencies. In the most clear-cut cases these are easily inferred, for overt escape behaviour can rarely be mistaken. But even a weak activation of the escape drive inhibits other behaviour, and it requires sharp observation and considerable experience with a given species to detect slight signs of inhibition through fear. This is not astonishing when we realize how many people fail to recognize even rather obvious expressions in their fellow-men, and also how much more difficult it is to recognize such expression in species other than our own.[368]*)

---

367 * Перевод: У женщин это, как правило, принимает форму поправления прически, которая в полном порядке, у мужчин — в поглаживании бороды или покручивании усов, причем не только тогда, когда мужчины их носят, но и в эпоху «чистой выбритости». Далее, поразительно, что замещающее поскребывание регулярно наблюдается у приматов.

368 *N. Tinbergen.* Social behaviour in animals..., p. 137. * Перевод: Слишком легко вызвать стремление к бегству. В наиболее очевидных случаях эти тенденции к бегству легко обозначить, поскольку открытое поведение бегства бывает трудно воспринять как-то иначе. Но даже слабое побуждение к бегству мешает другому поведению; и необходимо дотошное наблюдение и исследование данных видов, чтобы обнаружить неуловимые признаки подавленности страхом. Это неудивительно, когда мы понимаем, как много людей неспособ-

У причесывающихся женщин перед зеркалом сознанию нетрудно увидеть умысел, т.е. что-то понятное сознанию, его намерению-исполнению: женщина якобы имеет цель понравиться, поэтому и т.д. Смеются, что деятельность мало рациональна, или наоборот вместо миловидности появляется напряженность. Когда приписать схему намеренной деятельности не удается, сознание задумывается, встает в тупик; так когда умирающий уже глубоко в бессознании «обирается», делает движения упорядочения чего-то на своем теле. Это та же displacement activity как приглаживание перышек в конфликтной ситуации у птиц, и на том же уровне глубокого сна.

Мой пример: для яростного клевания зерен у петухов как замене драки аналог, displacement activity, обильное едение пищи, как от нервного стресса в древней Москве, или в современной Москве, тоже от стресса и страха, демонстративное ресторанное едение. К тому же глубокому, наследственному уровню замещающей активности в стрессе надо наверное относить ковыряние носа, за которое тоже стыдно и которое наблюдается в сходной ситуации у обезьян.

Another innate displacement activity in man seems to be asleep. In low intensities, in the form of yawning, it is of common occurrence in mild conflict situations. Just as in some birds (avocet, oystercatcher, and other waders) actual sleep is an outlet in situations where the aggressive instinct and the instinct of escape are simultaneously aroused. Reliable and trained observers, among them Professor P. Palmgren of Helsingfors, have told me that in situations of extreme tension at the front, just before an actual attack, infantrymen may be overcome by a nearly insurmountable inclination to go to sleep. Sleep, as is known from Hess's experiments, is a true instinctive act depending on stimulation of a centre in the hypo-thalamus. It is also in line with other instinctive acts in that it is the goal of a special kind of appetitive behaviour [369]*.

ны увидеть даже вполне очевидные выражения у своих товарищей, и насколько сложнее бывает увидеть такие выражения у других видов.

[369] *N. Tinbergen*. The study of instinct..., p. 210. * Перевод: Другая врожденная замещающая активность у человека — это, видимо, тяга ко сну. В слабо выраженной форме, например, в виде позевывания, она обычно встречается в мягких конфликтных ситуациях. Подобно тому, как у некоторых птиц (шилоноска, кулик-сорока и другие болотные птицы) актуальный сон оказывается выходом в ситуациях, когда агрессивный инстинкт и инстинкт бегства возникают одновременно. Надежные и опытные наблюдатели вроде профессора П. Палмгрена из Гельсингфорса рассказывали мне, что в ситуациях предель-

Как зевание — displacement activity, так, по-видимому, нежелание утром вставать. Пехотинцев, которые смертельно хотят спать перед опасной операцией, разбудят. Красивый аналогичный случай у О.А.С. в журнале «Волга»[370] (франц. пер. летом этого 1998 года), которая только догадывается, что с ней произошло что-то, она думает, общечеловеческое; оказывается общее для всех живых существ: «Прямых причин расстаться с жизнью у меня не было, и я, пожалуй, даже горевала, что их нет... Сделать это мне хотелось единственным образом: прыгнув с горы... И вот я... забралась на высокую площадку и подошла к краю. Солнце было высоко, горы безлюдны. Очнулась я, когда солнце садилось. И забыла, зачем я здесь. Подумала только, что нужно успеть спуститься в город до темноты. На склонах горела прошлогодняя трава. Я прибежала в гостиницу в подпаленной одежде... Мне рассказывала одна деревенская девушка, которая отравилась эссенцией, про такой же столбняк: она поднесла к губам бутылку и заснула до рассвета. Потом ее как будто кто-то толкнул — и она успела всё проглотить, пока в доме не проснулись. „И пила как воду", — сказала она. Наверное, так бывает часто. Но меня никто не толкнул».

И не заметив это, человек будет в стрессе зевать, в Гефсиманском саду в предчувствии страшной опасности засыпать. Сознание нужно для того чтобы понять настоящие причины и — исправить ошибки того же сознания. Я сейчас оставляю эту загадку и не пытаюсь ее распутать: сознание нужно, чтобы исправить ошибку, а ошибкой было само сознание.

Как животные показывают себя друг другу, так, похоже, они не против чтобы к их жизни присматривались. Это другая сторона их любопытства. Этолога удивляет, как неожиданно близко птицы подпускают наблюдателя, когда поняли что он не опасен[371]. Это еще одно добавление к тому, что говорилось о глазах.

Опять же другая сторона этой охоты животных, чтобы на них смотрели, — уже упоминавшаяся увлекающая, затягивающая

ного напряжения на фронте, непосредственно перед атакой, пехотинцев порой охватывает непреодолимое желание уснуть. Сон, как мы знаем из эксперимента Гесса, — это настоящий инстинктивный акт, зависящий от стимуляции некоего центра в гипоталамусе. Таким образом, он находится в одном ряду с другими инстинктивными актами в том смысле, что является целью особого рода поискового поведения.

[370] 1991, № 6 (Похвала поэзии). ⟨См. также: *О.А. Седакова*. Проза. М., 2001, с. 58⟩.

[371] *N. Tinbergen*. Social behaviour..., p. 133.

сила живого. О растущем зачаровывании муравьями уже мы читали мирмеколога; но то же и пчела: «Its sustained flight, its powerful sting, its intimacy with flowers and avoidance of all unwholesome things, the attachment of the workers to the queen — regarded throughout antiquity as a king — its singular swarming habits and its astonishing industry in collecting and storing honey and skill in making wax, two unique substances of great value to man, but of mysterious origin, made it a divine being, a prime favorite of the gods, that had somehow survived the golden age or had voluntarily escaped from the garden of Eden with poor fallen man for the purpose of sweetening his bitter lot»[372].

Как в старину так и теперь. Как Wheeler не насытился тридцатилетним наблюдением муравьев, так Тинберген уверяет и подчеркивает, что после сотен наблюдений своих чаек он продолжал видеть новое в их поведении. Social behaviour звучит у него уже в смысле *для нас* социального, нас задевающего. Своим наблюдением он участвует в самом интересном из социума птиц «For bird work one has to get up early. Most birds show a maximum of activity, particularly of reproductive behavioue, in the hours round sunrise. A second, but lower maximum falls in the evening. It is best to arrive an hour before sunrise, and stay till three or four hours after sunrise, when the activity wanes. Once you get used to being in the field early, you will like it much better than getting out later when the sun has already climbed high, the dew has evaporated, and the scenery has become dry, colourless, and dull. Further, the more promptly one reacts to the alarm clock, the easier it is»[373].

---

[372] *W.M. Wheeler*. Social life among the insects, N. Y.: Harcourt, Brace and Company. * Перевод: Ее длительный полет, ее мощное жало, ее интимная связь с цветами и избегание всех бесполезных вещей, преданность рабочих пчел королеве (которую древние считали королем), уникальное поведение в рое, удивительная деятельность по собиранию и хранению меда и искусные навыки в изготовлении воска — два вещества чрезвычайно ценных для человека, таинственного происхождения, — всё это сделало пчелу божественным существом, любимицей богов, которая как-то пережила Золотой век или самовольно покинула Эдемский сад вместе с падшим человеком, чтобы подсладить его горькую участь.

[373] *N. Tinbergen*. Social behaviour..., p. 133—134. * Перевод: Чтобы наблюдать за работой птиц, нужно вставать рано. Большинство птиц демонстрирует максимум активности, в частности, репродуктивного поведения, в часы рассвета. Второй, меньший максимум приходится на вечер. Лучше всего прибыть за час до заката и оставаться три-четыре часа после заката, когда активность сходит на нет. Раз выйдя в поле спозаранку, вы полюбите раннее утро намного больше, чем поздние часы, когда солнце уже поднялось высоко, роса испарилась, сцена высохла, стала бесцветной и скучной. Самое простое — завести будильник, так легче.

Основатель современной этологии сжился с этим желанием животных, чтобы на них смотрели. Конрад Лоренц своих животных полуприручил так, что они втягивали его в свою жизнь: «they court or fight him, or try to make him join them when they move about»[374]*. — Войти в жизнь животных так, чтобы не расстроить ее, зная что они со своей стороны очень внимательны к человеческому наблюдению и гибко меняют свое поведение, в этом весь трюк. «The trick is, to insert experiments now and then in the normal life of the animal so that this normal life is in no way interrupted; however exciting the result of a test may be for us, it must be a matter of daily routine to the animal. A man who lacks the feeling for this kind of work will inevitably commit offences just as some people cannot help kicking and damaging delicate furniture in a room without even noticing it»[375]*.

Еще бы не быть захваченными. Мы возможно уже последние поколения, которые наблюдают этот вызывающий, задевающий спектакль жизни, в котором мы участвуем. На нас возможно прервется цепочка жизни, ее миллиарды лет. Уже вычерпаны в основном ископаемые нефть, уголь, во многом даже газ, скоро очередь за кислородом; по сравнению с историей земли это произошло собственно мгновенно. Но ведь в каждом поколении жизнь рискует. Острота момента не этот риск, который был один и тот же всегда, а ожидание от живущих в этом звене жизни, в этом поколении, что они найдут секрет удачи, бытия, т.е. полноты, имущества, удачи, добра. Иначе провал.

Почему тело *наше*, хотя оно создано и определяется событиями, случайными, миллионов лет нашей истории и миллиардов лет истории других живых существ. Ответ простой, проблемы нет. По той же причине язык *наш*. Потому что все те слои, которыми создано тело и язык, каждое из событий, были удачей, бытием того же рода, какое мы признаем своим. Создание нашего тела было нарастанием удач. Поэтому тело и язык нам помогают; сколько мы на них ни полагаемся, как их ни развертываем, в них открыва-

---

[374] Там же, p. 136. * Перевод: они оказывают ему знаки внимания или защищают его или пытаются вовлечь его в свою деятельность.

[375] Там же, p. 138. * Перевод: Трюк в том, чтобы встроить эксперимент в нормальную жизнь животного, чтобы не нарушать ее течения; результат испытания может быть сколь угодно потрясающим для нас, но для животного оно должно быть повседневной рутиной. Человек, у которого нет чутья для такого рода работы, неизбежно нанесет обиду, подобно тому, как некоторые люди опрокидывают мебель и ломают предметы в комнате, даже не замечая ее изящной обстановки.

ется нужное, полезное. Коллектив миллиардный живых существ работал вместе с нами над созданием нас. И на каждом шагу, в каждом звене всё могло сорваться, и каждый раз *тем* удавалось не сорваться. Поэтому и нам тоже.

Поэтому когда говорится, как принято считать, «символически», например в 50-м псалме, «возрадуются кости смиренные», то это не *символические* кости, а *те самые*, жесткая терпеливая опора, которая требовалась *любому* поведению *всех* наших предков, под-тверждалась в том любом поведении и сложилась в скелет. Поведение могло ориентироваться на жесткость законов света, на звезды, из стального сделанные (sidera). Что здесь чего символ. Кости символ смирения, потому что они как земля, как самое глубокое, неподвижное в земле: камни, на которых лежит почва, это кости земли. Земля смиренная потому что ее всё топчет, она остается после живого, в нее живое уходит. Всего дольше от живого остается самое земное в нем. Мы в этих соображениях делаем такой стандартный мифологический, символический ход, или может быть поэтический, метафорический, подыскивая для некоторой идеи, *смирения* тут например в нашем случае, подходящее вещественное, материальное, наблюдаемое и осязаемое выражение. Выстраиваем метафорический мыслительный ряд, пользуемся образами, как говорят, укорененными в чем-то, допустим в художественном видении, или в бессознательном, или на уровне архетипов сознания.

Теперь, похоже, после нашего экскурса в лес обходный путь через сознание, или подсознание, нам не будет нужен ни в случае этих слов псалма, ни вообще никогда. Живое не через сознание, а прямее, своим выступанием, отмериванием, или вымериванием бытия, на-мерением взяло в себя как могло что могло, бактерии и беспозвоночные по-своему, а свободно движущиеся по суше, вдоль земли, по отношению к земле, в водном и в воздушном океане так, — иначе они не могли, у них не получилось, — что они должны были землю на себя взять, в себя землю включить в виде костей, скелета: чтобы двигаться по земле, им нужно было по отношению к земле, каждому, стать словно другим космическим телом, раздвоить собой землю, оттолкнуться потом от нее, она нам равная, прямо или через среду, воздушную или водную. Они движутся по земле как сама же повторенная земля, как ее слепок (в этом смысле надо понимать вылепливание человека из земли, как вылепливание второй земли), ее зеркальное отражение. Они (то есть мы) вобрали землю не как-то через отражающую деятельность сознания, а прямо, телом, частями тела.

Разница между человеком, всей вообще жизнью и землей куда-то девается. В конце концов все мы живем внутри одной природы. Не оказывается разницы, кроме частностей, между человеческим и животным обществом. Например, различение персонального и официального здесь одинаково. Этология, развившись, поднимется до спокойного аристотелевского одинаково нравственного оценивания, по мужеству, мудрости, добродетели, или наоборот порочности, злобности, лени, одинаково человеческого и животного. Да этология уже и начинает так делать: у Конрада Лоренца, который видит одинаковые пороки у цивилизации и у по крайней мере домашних животных, да и не только; у Тинбергена, который тут вместе с Лоренцом, осуждение выродка самца чайки, который отказался сменять самку на гнезде и не был достоин иметь потомство.

Тут разумеется хорошо если кто вспомнит: но ведь человек постоянно обсуждает всё, а животные нет, записывает, *осознаёт.* Но только *что* именно человек описывает и осознаёт. Не надо спешить говорить что всё что угодно, всё в мире. Как раз к тому чтобы увидеть мир, например начать по-настоящему наблюдать живое в себе и в других, человек приходит не сразу. Да и тут ему надо пробиться через нагромождения сознания. *Человек осознаёт и описывает прежде всего то, что сам строит, свои постройки.* Это настолько общее правило, обычное дело, что его даже пытались, например Эрнст Кассирер, представить законом: человек способен осмыслить, понять только то, что он сам создал. Это неверно, и интересно думать в этом направлении. Здесь мы должны будем вспомнить тезис, который предлагала для современности например Ханна Арендт, то же и независимо от нее у Вернера Гейзенберга: человек в современную эпоху везде, в изучении природы тоже, в своих теориях и открытиях встречает всегда и везде уже только самого себя. И возражение Хайдеггера: наоборот человек теперь уже нигде не встречает, не видит, не находит самого себя. Но не будем отвлекаться на этот клубок вопросов и заметим только эту правду: человек первым делом запоминает, сознаёт, осмысливает, записывает, сводит в библиотеки прежде всего, в основном, а может быть даже и исключительно, то, что сам создает и строит.

Тогда всё различие между человеком и остальным живым сводится к тому, что остальное живое работает только наверное ⟨т. е. наверняка⟩ и записывает себя в генетической программе, а человек делает такое, что в генетической программе не записывается и нуждается в записи на бумаге, на глине, на чем-нибудь. Жи-

вому, и человеку в той мере в какой он себя не знает, не сознаёт, в какой он остается живым существом, запись не нужна потому что оно остается внутри странной софии, внутри ее авто-мата. Человеку становится запись нужна, потому что он *переступает* закон, строит то, что природа не подхватит и не закрепит. Память о предпринятом, построенном называется «сознанием», «культурой». *Сознание* первоначально то же слово что *совесть*. Мы возвращаемся к этой их неразличимости: сознание это совесть пре-ступления, переступания за природу, куда? в пустоту, пользуясь тем, что она есть и впускает.

Из-за этой взвешенности в пустоте человеческих построек сразу встает проблема добра и зла. То, что строит, создает человек в пустоте, имеет смысл только если его техника умеет подражать природе, т.е. угадывать, удаваться как бытие, полнота, богатство. Цель построения должна быть добро и зло, иначе для чего. В пустоте, которая впускает человеческое творчество, никаких путей нет. Нет никаких «исторических законов», нет никаких богов, которые бы где-то прочертили безопасные надежные пути. За «исторические законы» принимают или продолжающееся прямо в середине человеческого строительства действие природы, или закономерности инерции, которые есть у любого движения, всё равно, осмысленного или бессмысленного. Надеяться, что где-то «во всём этом», во всём предприятии культуры, есть смысл кроме того, который нам удастся найти, осуществить, идиотически глупо, — как всё равно, помните у Гераклита, кто-нибудь стал бы разговаривать с домами, строил своими руками и потом начинал у построенного спрашивать о его, построенного, и о своем собственном смысле. Я не имею смысла; построю тогда что-нибудь, на что способен одной из моих многих способностей; может быть, это и будет мой смысл.

В этих обстоятельствах изучение общества животных не только не менее ценно чем человеческого общества, но имеет дело с чистым событием, которое продолжается и в человеческом обществе (банкет в ресторане как яростное клевание зерна петухом перед носом другого петуха), только уже не просто усложненным от переплетения, но, что хуже, запутанным, затемненным до нераспутываемости. Изучение животных имеет и прямую поучительность урока смирения, служения, мужества. Видеть в человеческом мире что-то *плюс* к природе не нужно — откуда чему взяться, откуда?! если не из природы?

Есть ли в человечестве безусловно хорошие вещи? Да, как *мысль*, *поэзия*, *подвиг*, но они страшно трудные и редкие, всегда

как у животных, которые всегда живут на пределе усилия, на кромке голодного вымирания. В настоящем человек брошен в амеханию, растерянность. — Возможен ли внутри культуры, громадного уже воспоминания о переступании, эту запись постоянно хочет стереть каждая новая революция и эту запись каждый раз восстанавливает совесть, которая и есть сообщение о преступлении, — возможен ли внутри культуры возврат к природе, к софии, к настоящему автомату? Конечно возможен, он самое естественное, возможен безусловно всегда; и всё, что строил человек, было всегда по-своему добром, только вовсе не всегда без-условным, обычно условным, в условиях, и требовало новых слов для своего обоснования и запоминания.

Теми же средствами строительства человек может и разобрать, де-конструировать, только от трудного, безусловного разбора его будет всегда прямо посреди деконструкции всё равно сбивать на новую конструкцию. Потом еще сомнительно, *чем,* какими средствами ведется разбор, кто его ведет, если не прочитан человек. Всего человека, от костей до волос, можно читать как книгу, как наслоение событий на протяжении *миллиардов* лет, потому что человек вобрал в себя всё живое. Поэтому когда где-нибудь в религиозно-философском дискурсе говорится например о «горизонтали и вертикали», то не просто бессмысленно, а смешно при этом в виду иметь схему, чертеж вертикали и горизонтали, когда эти понятия — продолжающееся в памяти культуры событие вставания живого на ноги, головой вверх; а это вставание в свою очередь было измерение собственным телом высоты, направления к звездам (именно к звездам, не к солнцу, потому что к солнцу повернута и пчела на четырех ногах, и горизонтально летящая птица).

Человек книга, которая написана вообще за миллиарды лет, и потом еще особенным, *поднявшимся на ноги* образом еще 5 миллионов примерно лет, 150 тысяч поколений. Все те поколения помнили о своих поступках и преступлениях прочно, наизусть, par coeur, сердцем; последние 100 поколений почему-то разрешили отодвигать, откладывать в библио-теку память о своих делах.

Острота нашего момента, это стоит иметь в виду, вовсе не в том что на нас, на нашем поколении после 150 тысяч поколений или после может быть сотни миллионов животных поколений всё сорвется. Всё сорваться могло на любом поколении, с одной стороны, а с другой, Гея устойчивое образование, она уже много раз меняла своих кукол. Острота нашего момента, повторим, в том что независимо от того, станем мы давним прошлым, ⟨бывшим⟩

миллионы лет назад для какой-то будущей жизни, или нет, для нас как для той будущей жизни и для всякой прошлой жизни стоит задача в теперешних уникальных условиях, всегда всё меняется и всегда всё новое, найти *смысл,* например хотя бы в нигилизме и отчаянии. Ведь не мы же в конце концов отчаиваемся потому что всё плохо, а всё плохо потому что мы отчаялись. Никогда не бывает так много отчаяния как в «благополучии» жизни. Ошибка в том, что считать благополучием. Может быть критерии «благо-получия» другие, оно в том, чтобы из наших поступков получилось благо. Может быть и критерии каждый раз надо найти заново, создать, и это трудно.

Цель жизни не жизнь. Возвращаемся к Аристотелю, которого мы зря оставили 25 ноября. Всё сказанное после того, в экскурсе в новых авторов, можно считать подготовкой к основательному чтению биологии и вообще Аристотеля. Вот почему.

Мы остановились тогда на вопросе из «Рождения животных» 741 а: почему, если вся материя дана женским началом, нужно еще *живое*. В так называемых «ветровых» яйцах есть жизнь, они не мертвые, не уроды. Эта жизнь только растительная, а для животного, движущегося, с частями, это движение было бы невозможно без «чувства», эстесиса. По-своему я это уже сказал: животное *намерено* ходить по земле, т.е. оно должно стать в отношение к земле, отнестись к земле, стать в отличие от растения, вросшего в землю и не отрываемого от нее, вторым этим живым — земля во всей античности живая и чувствующая, этим открывается огромная тема досократической, странно сказать, *биологии,* которая одновременно онтология.

Но и на том «эстетисе», которое привносит мужское, у Аристотеля мы сразу споткнемся и потребуется то, к чему я приглашаю: разобрать «эстетику» Аристотеля, это потребует сплошного пересмотра всей эстетической проблемы, и для начала отбросить ту чушь, что «эстесис», чувство как низшее, противопоставлено, как говорится, у Аристотеля высшему познанию, допустим научному.

Прочитаю Ахутина об «эстесисе» из статьи, которая еще появится в следующем номере «Архе». Ахутин предлагает забыть на время или лучше навсегда о «сенсуализмах» с их принижением чувства[376*]. Знание есть восприятие, эстесис, «в смысле — прямое

[376*] См.: *А.В. Ахутин.* Чтение «Теэтета». — АРХЭ: Труды культуро-логического семинара. Вып. 3. М., 1998, с. 129—133 (статья вошла в сборник *А.В. Ахутина* «Поворотные времена» (СПб., 2005)). Ср. там же, в «АРХЭ»,

и простое (непосредственное и неразложимое) *схватывание, опознание, распознание,* причем всё целиком здесь и сейчас. Речь идет ... о форме *полного знания...* То, как (и чем) сущее оказывает-ся, являет-ся, и то, как оно вос-принимается — одно и то же. Существующее есть существующее того мира, который *оказался очнувшемуся, очутившемуся* в нем человеку... *Основание* это родственно как раз парменидову тождеству... внимание и бытие... *Эстесис* это то, в чем и как само существующее всегда уже открыто каждому (оказалось) и чем каждый всегда уже вовлечен в него (очутился). Это стихия их *проникновенности*».

Мужское, или вернее необходимая для движущегося (исторического) живого существа встреча мужского и женского и начинается с *представления,* во всех смыслах, показа лица, то что в этологии называется *дисплей.* И это представление конечно не новость после того показа, который развернут пространством, простиранием сцены света и вещества. Этим космическим событием запрограммировано и представление мужского-женского, ведущее к «эстесису», первому в-ниманию, в-биранию всего не «сознанием», а телом, всем существом.

На перепутье трех дорог. Одна, которая была открыта с самого начала, но я о ней умалчивал, — досократическая биология космоса. Другая — настоящее, внимательное чтение Аристотеля. Третья — возвращение к за-кону всего живого, к ре-лигии, служению. Осенью, когда собирают урожай, мы решим, по какой из этих трех или совсем по новой пойти.

из заметки В. Б. «По поводу „Чтения Теэтета"»: «Развертывание *эстесиса* у Ахутина и своевременно, и необходимо, чтобы вытеснить негодную схему „ощущение-мнение-наука-София", якобы отвечающую античной иерархии познания» (с. 199).

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 5

ЛЕС (hyle) 11

1 (2.9.1997). 13

2 (9.9.1997). 28

3 (23.9.1997) 42

4 (30.9.1997) 56

5 (7.10.1997) 69

6 (14.10.1997) 81

7 (21.10.1997) 94

8 (28.10.1997) 109

9 (4.11.1997) 125

10 (11.11.1997). 140

11 (18.11.1997). 151

12 (25.11.1997). 163

13 (2.12.1997) 175

14 (9.12.1997) 187

15 (16.12.1997). 192

16 (23.12.1997). 205

17 (10.2.1998) 219

18 (17.2.1998) 233

19 (24.2.1998) 245

20 (3.3.1998) 257

21 (10.3.1998) 269

22 (17.3.1998) 285

23 (24.3.1998) 299

24 (7.4.1998) 311

25 (14.4.1998) 326

26 (21.4.1998) 340

27 (28.4.1998) 352

28 (5.5.1998) 364

29 (12.5.1998) 378

30 (19.5.1998) 393

31 (26.5.1998) 409

Научное издание

Владимир Вениаминович Бибихин

ЛЕС (hyle)

(проблема материи, история понятия, живая материя в античной и современной биологии)

Утверждено к печати
Редколлегией серии «Слово о сущем»

Редактор издательства *Л. В. Арсеньева*
Технический редактор *О. В. Новикова*
Компьютерная верстка *Т. Н. Поповой* и *Л. Н. Напольской*

Лицензия ИД № 02980 от 6 октября 2000 г.
Сдано в набор 25.06.10. Подписано к печати 7.12.10.
Формат 60 × 90 $^1/_{16}$. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 27.1. Уч.-изд. л. 25.8.
Тираж 1000 экз. Тип. зак. № 3609. С 22

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
E-mail: main@nauka.nw.ru
Internet: www.naukaspb.spb.ru

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-02-025445-9

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА
«НАУКА» РАН

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ
В СЕРИИ «СЛОВО О СУЩЕМ»

Платон

ЗАКОНЫ

«Законы» — самый большой по объему диалог Платона. Он относится к числу поздних диалогов афинского философа и содержит подробно разработанное законодательство античного полиса. Проект наилучшим образом организованного полиса мы находим в диалоге «Государство», однако этот, с точки зрения Платона, близкий к идеальному проект философ не считал осуществимым в ближайшем будущем. В «Законах» он описывает устройство «второго по достоинству» государства, которое несколько дальше отстоит от идеала, но зато имеет, по-видимому, больше шансов на то, чтобы быть осуществленным на практике.

Небольшой диалог «Послезаконие» тематически примыкает к «Законам»; «Письма» позволяют получить представление о политической деятельности Платона.

Для тех, кто интересуется античной историей, философией, социологией.

Ознакомиться с информацией об Издательстве, планах выпуска и наличии книг для реализации можно на сайте Издательства www.naukaspb.spb.ru.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА
«НАУКА» РАН

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ
В СЕРИИ «СЛОВО О СУЩЕМ»

Р. Гайм

ГЕРДЕР, ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ

В 2 т.

Немецкий историк литературы и философии, публицист Рудольф Гайм (1821—1901) написал обстоятельную монографию о немецком философе-просветителе Иоганне Готфриде Гердере (1744—1803) в 1877—1885 гг. Данное издание является переизданием перевода этой монографии, осуществленного в 1887—1889 гг. профессором В.Н. Неведомским.

Для философов, историков, культурологов.

Ознакомиться с информацией об Издательстве, планах выпуска и наличии книг для реализации можно на сайте Издательства www.naukaspb.spb.ru.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА
«НАУКА» РАН

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ
В СЕРИИ «СЛОВО О СУЩЕМ»

Я. А. Слинин

ОТ ПЛАТОНА ДО САРТРА

Поиски аподиктической истины

Тексты, помещенные в этой книге, написаны в разное время, но все они так или иначе затрагивают тему поисков аподиктического, не подверженного никакому сомнению знания, длившихся на протяжении всей истории западноевропейской культуры и продолжающихся ныне, в условиях единого всемирного культурного пространства.

Действующими лицами первого текста являются Платон и Аристотель. Затем следуют статьи, посвященные таким представителям патристики, как Августин Блаженный, Иоанн Лествичник, Иоанн Дамаскин. Новое время отражено в работах, связанных с анализом произведений Декарта, Мальбранша, Спинозы и Лейбница. Затем идет статья об Иммануиле Канте. Завершается книга блоком работ, в которых рассматривается одно из основных направлений XX века — феноменология. Сюда относятся статьи об основателе феноменологического движения Эдмунде Гуссерле и участниках этого движения: Мартине Хайдеггере, Николае Гартмане, Жан-Поле Сартре.

Для специалистов-философов и широкого круга читателей, интересующихся фундаментальными проблемами современной культуры.

Ознакомиться с информацией об Издательстве, планах выпуска и наличии книг для реализации можно на сайте Издательства www.naukaspb.spb.ru.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА
«НАУКА» РАН

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ
В СЕРИИ «СЛОВО О СУЩЕМ»

К. А. Сергеев, Я. А. Слинин

АНТИЧНОСТЬ И НОВОЕ ВРЕМЯ О КОСМОСЕ И ЕГО ПОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКОМ

Монография посвящена анализу античных и относящихся к новому времени учений об устройстве мироздания и способах его познания человеком. В ней рассматриваются основные категориальные формы познания — материя, движение, бесконечность, сущность, субъект и др., демонстрируются различия в понимании этих форм в античности, средневековье, науке нового времени. Модель вселенной, построенная наукой Галилея и Ньютона, сопоставляется с представлениями о космосе, принадлежащими Платону и Аристотелю.

Для специалистов в области философии и научной методологии, а также для широкого круга читателей, интересующихся фундаментальными проблемами философии, логики и естественных наук.

Ознакомиться с информацией об Издательстве, планах выпуска и наличии книг для реализации можно на сайте Издательства www.naukaspb.spb.ru.

АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ «АКАДЕМКНИГА»

Магазины «Книга — почтой»

121009 Москва, Шубинский пер., 6; 241-02-52
197110 Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., 7Б; (код 812) 235-40-64

Магазины «Академкнига» с указанием отделов «Книга — почтой»

690088 Владивосток-88, Океанский пр-т, 140 («Книга — почтой»); (код 4232) 5-27-91
620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»); (код 3432) 55-10-03
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 298 («Книга — почтой»); (код 3952) 46-56-20
660049 Красноярск, ул. Сурикова, 45; (код 3912) 27-03-90
220012 Минск, пр-т Независимости, 72; (код 10-375-17) 292-00-52, 292-46-52, 292-50-43
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; 124-55-00
117192 Москва, Мичуринский пр-т, 12; 932-74-79
103054 Москва, Цветной бульвар, 21, строение 2; 921-55-96
103624 Москва, Б. Черкасский пер., 4; 298-33-73
630091 Новосибирск, Красный пр-т, 51; (код 3832) 21-15-60
630090 Новосибирск, Морской пр-т, 22 («Книга — почтой»); (код 3832) 30-09-22
142292 Пущино Московской обл., МКР «В», 1 («Книга — почтой»); (13) 3-38-60
443022 Самара, пр-т Ленина, 2 («Книга — почтой»); (код 8462) 37-10-60

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 57; (код 812) 272-36-65
бук. 273-13-98
197110 Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., 7Б; (код 812) 235-40-64
199034 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1; (код 812) 328-38-12
199034 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 9 линия, 16; (код 812)
323-34-62
634050 Томск, Набережная р. Ушайки, 18; (код 3822) 22-60-36
450059 Уфа-59, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»); (код 3472) 24-47-74
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49; (код 3472) 22-91-85